

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1997

6

1997

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6(866)

Июнь, 1997 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРГЕЙ НОВИКОВ — Эпоха кончилась. А утро не взошло, стихи	3
РОМАН СОЛНЦЕВ — Иностранцы, маленькая повесть	9
АЛЕКСАНДР ПОКРОВСКИЙ — В автономном плавании, стихи	34
АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН — Вологодские ложи, стихи	37
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ — Грибники ходят с ножами. Хроника	40
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Иероглиф, стихи. Публикация Марианны Роговской-Соколовой. <i>Наталья Аришина</i> . «Вот и нет меня на свете...»	92
ДАНИИЛ ЖУКОВСКИЙ — Под вечер на дальней горе... Мысли о детстве и младенчестве. Публикация и предисловие Т. Н. Жуковской	96

ПУБЛИЦИСТИКА

В. С. НОВИКОВ — На театре Черного моря	122
--	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

М. ДЕЛАГРАММАТИК — Военные трибуналы за работой	130
Н. ПЕТРОВ, О. ЭДЕЛЬМАН — Новое о советских героях	140

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЛЬЯ САФОНОВ — Одя. История одной недолгой судьбы	152
«ОБНИМАЮ ВАС И МАТЕРИНСКИ БЛАГОСЛОВЛЯЮ...». Переписка Вячеслава Иванова и Лидии Зиновьевой-Аннибал с Александрой Васильевной Гольштейн. Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания А. Н. Тюрина и А. А. Городницкой	159

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕВГ. ШКЛОВСКИЙ — Время и место. Заметки о трех поэтах	190
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Борьба за стиль

- НИКОЛАЙ СЛАВЯНСКИЙ — Вестник без вести. О поэзии Ивана Жданова 200
ЛАРИСА МИЛЛЕР — Уютный дом с видом на бездну 207

По ходу текста

- АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ — «Макулатура» как литература 210

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

- Валерий Липневич. Прощание с вечностью 214
Светлана Чекалова. В присутствии Набокова 218
Дмитрий Бак. Новая петербургская философия 230
Игорь Кузнецов. Карл Сельвинский и другие 233
Юрий Кублановский. Анна Тимирева и адмирал Колчак 235

-
- Анатолий Кузнецов. — Мария Юдина. Из воспоминаний; «Творческие пути теснейшим образом переплетены с нравственными...». Письма М. В. Юдиной Р. В. Матсову; И. С. Бах. Ария с различными вариациями («Гольдберг-вариации») для клавира с пометками Марии Юдиной; М. В. Юдина. Фрагмент воспоминаний 238
Ирина Сурат. — Сергей Денисенко. Эротические рисунки Пушкина 242

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

- А. В. — *Drugaya zhizn* 244

БИБЛИОГРАФИЯ

- Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 247
Периодика (составитель Андрей Василевский) 250
SUMMARY 256

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 2189 экземпляров журнала «Новый мир».

СЕРГЕЙ НОВИКОВ

*

ЭПОХА КОНЧИЛАСЬ. А УТРО НЕ ВЗОШЛО

* *
*

Эпоха кончилась. А утро не взошло.
Садится ночь, как призрак, на скамейку.
И миром правит темное Число:
дыши, люби и думай под линейку.

Над городом порхает счетовод,
и метроном чеканит шаг по-прусски...
Дитя отцу, волнуясь, задает
вопросы об усушке и утруске.

Все продано. Все куплено. Щелчок.
И кассовый сверкает звон обвальный...
И в детской на волшебный сундучок
с размаху ставят автомат игральный.

Из всех существ одна лишь стрекоза
живет, как встарь, цифири не итожа,
свои гуманитарные глаза
слезит в потемках с ледяного ложа.

Идет луна, как одинокий страж.
Пейзаж подернут слюдяным сияньем...
Кассирша поправляет макияж,
и мертвый Бог стоит за подаяньем.

Новиков Сергей Леонидович (род. в 1951) живет в Ялте, по образованию — педагог-филолог. Переменил множество занятий: работал экскурсоводом, заведующим библиотекой, младшим научным сотрудником на Поляне сказок в Ялте. Сейчас — газетный журналист. Стихи публиковал редко («Юность», «Огонек»), автор одного стихотворного сборника, вышедшего в местном издательстве крошечным тиражом. В толстом журнале печатается впервые.

* *
*

Дочь умерла. Внук Толик спился с круга.
Прохожему с дороги не видна,
глядит на улицу спокойная старуха
из глубины закатного окна.

Уже стекает сумрак сокровенный
в старухино наземное жильё.
И что сиротство наше во Вселенной
в сравненье с одиночеством ее!

Она глядит, уже почти готова
ответствовать небесному истцу.
Мерцает золотом оконная основа,
и облака кочуют по лицу.

Она глядит... И что ей суд небесный!
Да и найдется ль в чем ее вина,
когда такую мерой полновесной
уже и здесь заплачено сполна!

* *
*

Ангел жизни быстротечной
тронет тумблер специальный —
на земле библиотечной
наступает День списанья.

Наступает час прополки
этих нив... Что чин и званья!
Как баян, снимают с полки
неподъемные издания.

Я скажу, наверно, с риском
на себя навлечь упреки:
нет, не взрывом и не взвизгом
завершаются эпохи.

Но в глуши дворов товарных,
в пламени неумолимом
(под присмотром двух пожарных) —
слабым пеплом, легким дымом...

Невеликая морока!
И — увы! — давно знакома.
Хорошо горит эпоха
глянцевых фотоальбомов.

Молодой завгар губастый
книжку из огня достанет —
на него с обложки глянет
удалой дояр зубастый.

Так вершится без эмоций
эта гибель чьих-то акций,
эта перекройка лоций
и уценка репутаций.

И уже себе медали
из мундира на портрете,
роясь в тлеющем развале,
вырезают бритвой дети.

Сосед

Если доску он пилит, — то, значит, пока он не умер,
потрясатель Декарта, бурильщик шестого разряда,
это значит, в бостоновом синем костюме
он еще не отплыл за предел своего палисада
в самодельной ни шаткой ни валкой фелюке
по октябрьской грязи крутого замеса
в направлении створа гигантской разлуки,
пожирающей звуки хищней Днепрогэса.

Коммунальный Шопен... Профсоюзная тризна...
Коммунхоз. Коммунтранс. Под священной золою
вот и все, что от звонких пластов коммунизма
в словаре остается ракушкой сухой мезозоя.

Спи, сосед. Ты ни в чем не виновен.
Разве в том, что, с устатку не в форме,
уголек для чадающих лубяньских жаровен
выдавал на-гора по стахановской норме.

Вот и вышел тебе мавзолеей подземельный,
как итог и награда за подвиг ужасный,
тесноватый объем кубатуры отдельной,
безлимитный метраж на жилплощади красной.

То ль от листьев, на эту жилплощадь опавших,
устилающих плиты ничейных надгробий,
то ль от крови, просторы ее пропитавшей?

Нет.

От крови.

От крови.

От крови...

* *
*

У города большого на задах
я наблюдал, как сыростью весенней
старухи в зацветающих садах
прилежно изучают жизнь растений.

Закутавшись в потертые пальто,
склоняются к земле подслеповато,
как будто бы хотят увидеть то,
чем глубина подземная чревата.

Опять встает двужильная трава,
 преодолевая тяжесть сна и тленья...
 Они глядят, как бы черты родства
 найти пытаясь в этом шевеленье.

Им видно то, чего не видим мы.
 Звенит росток, пронзая прель и нежить,
 чтобы старух из невозвратной тьмы
 спасительно и лживо обнадежить.

* *
 *

В эпоху культуризма,
 пленяя дев земли,
 бульваром густолистым
 такие люди шли!

Косым объемом легких
 на зависть праздных глаз
 весь небосвод при вздохе
 зачерпывали враз.

Как истово метелил
 ты грушу по утрам!..
 Холодные гантели
 гудели по дворам...

И трицепс, как ваятель,
 прощупывал,
 суров,
 твой демон и приятель
 Валера Наждаков.

В эпоху культуризма
 такие фильмы шли,
 что чопорные клизмы
 в прокат scandalить шли!

И в сквере возле рынка
 подпольно и на бис
 с хрящей рентгеноснимка
 хрипел ансамбль «Битлз».

.....
 Куда все это делось?
 В какой ушло сокров?
 В шашлычной пустотело
 зияет Наждаков.

Никто не ждал подвоха,
 но стрелкой часовой
 проколота эпоха,
 как шарик голубой.

И — смотришь — кропотливо
унылый неофит
в глухом углу архива
уже над ней корпит.

Он числит, он итожит,
он знает все на «ять»,
но ничего не сможет
он в ней, увы, понять.

Увы! В глухую темень
ушло, во мглу пучин
загадочное племя
реликтовых мужчин.

Сошло, держась за стрелки,
гуськом, по цифрам вниз
в грохочущий и мелкий
швейцарский механизм.

И словно из-под пресса,
прильнув к стеклу лицом,
мерцают Элвис Пресли
и Эдуард Стрельцов...

Карьер

Кто в карьере песчаном, заброшенном
жжет холодный огонь до утра?
Или спившийся сторож непрощеный
охраняет развалы земного нутра?

А бывает — протяжно и жалко
всхлип раздастся... Иль это, дымясь,
привокзальная корчится свалка,
шевелится тяжелая грязь?

Кто там бродит? Кому там не спится
за грядой отсыревшей пыли?
Отчего изменяются лица
у полночных прохожих земли?

Или это бессонная совесть,
тень уснувших хозяев своих,
прибредает в тумане по пояс
беспробудных оплакивать их?

И порой горожанин примерный
содрогнется, от страха незряч,
когда ночью из бездны карьерной
свет доносится...
Слышится плач...

Памяти старой Ялты

И в кладке стен полигональной,
чей росчерк серый строг и сух,
эпохи доиндустриальной
еще живет артельный дух.

И душный ветер Средиземья
пролетом из иных глубин
еще в сады заносит семя
адриатических маслин.

И Диогенов местных орден
царит у круглого ларька.
И рыбы ходят, как на корде,
послушны глазу рыбака...

А там, в четвертом измеренье,
переходящем в синеву,
аутской дачей бродят тени,
которых я не назову...

Там света бисерною ниткой
чуть тронут берег нежилой,
пока не ставший ни открыткой,
ни сувенира мишурой.

И птица с высоты надмирной
глядит, уставя круглый глаз,
как, задымив, уходит в Смирну
какой-нибудь «Владикавказ».

И, растопырив свой треножник
вблизи лотка, где пышет снесь,
безумный пробует художник
свой краткий век запечатлеть.

Но дождь идет... Не уставая,
летит дремучая вода,
и Рим ракушечный сминает,
и мир игрушечный смывает
с бумаги слабой навсегда.



РОМАН СОЛНЦЕВ

*

ИНОСТРАНЦЫ

Маленькая повесть

1

Они уже давно ходили мимо этого нового, диковинного для здешних мест двухэтажного дома с башенкой, принюхиваясь, как волки, к чужому дыму, вечерами всматриваясь сквозь яркие щели иной раз неплотно прикрытых железных ставен и не решаясь постучаться в высокие ворота. Хозяйка мельком видела их и молчала — шмыгала взад-вперед, маленькая, невзрачнолицая, в свитере чуть не до колен, варила еду внизу, на первом этаже, избегала по винтовой лестнице и подсаживалась к электрической швейной машине. Сын утрюмо читал книгу на английском, с ногами в кресле, накинув наушнички. Отец семейства, худоба, с длинными, чугунными от загара руками, со смешной сизовато-рыжей бородкой от уха до уха при гладко выбритом подбородке, чистил ружье или, уйдя через сени в мастерскую, точил к утренней работе ножи и стамески.

Крестовые хоромы приезжих, крепко сложенные из кедровых плах толщиной фута два каждая (более полуметра), располагались на взгорке, на самой окраине села Весы, выше плотбища, за кучей выворотней и отпиленных комлей с растопыренными корнями, напоминавших приезжим всяких сказочных чудовищ... Кстати сказать, местные жители уверяли, что правильное, еще с царских времен, название села — Бесы, но в советские годы, дескать, Бесы заменили на Весы... Когда-то была большая старообрядческая деревня. Теперь же оставалось тут дворов сорок, еще не разобранных на дрова, с лодками на огородах и возле калиток. Но из них изб десять заколочены наглухо, хозяева поумирали, а родственники не едут; десятка же полтора с досками крест-накрест на окнах оживают только летом, когда с грохотом к ним, по жару, в клубах пыли, подкатывают на мотоциклах, а чаще на тракторах наследники, вечно пьяные краснощекие парни из райцентра или из Железногорска, — порывачить, отдохнуть до беспамьятства.

А места красивейшие! В небесах, вдали, сверкают сахарные головы не тающих круглый год гольцов. Чуть ниже — из голубого слепящего небытия, — как бы постепенно проявляясь, уступами сходят кедры со скрипичными завитушками на вершинах и темные ели... там мох глубок, как диван, и брусника красна, что пожар... А пониже — черника, голубика... А еще ниже — пространство как бы рвется с шумом на части. Здесь светло, здесь гари, малинники, красная смородина, медовый дух. Поляны с озерами, как жостовские подносы с самоварами, подступают с двух сторон к рямой из-за просвечивающих каменной речке, вытекающей со звоном из узкого и темного урочища. Но на моторке можно взойти. Если не к ногам каменного Саяна, то — как уверяют здесь — хотя бы к мизинцам его... Откуда-то оттуда и выползают — как раз мимо дома приезжих — по утрам мохнатые звероподобные горы тумана.

В селе Весы тихо, словно на каком-то другом свете, — лишь изредка, если подует западный ветер, можно различить вдали невнятный гул и топоток железной дороги. Переселенцы, наверное, выбрали Весы еще и по этой причине: тут мало шастает чужого, зеворотого люда, все друг друга знают — уж до третьего колена точно... Народ проживает основательный, с древними иконами в красных углах, с десятком берданок и карабинов в снях, с кучей движков и мотопил во дворе. Можно увидеть кое-где рога сохатого, прибитые над воротами, а то и чучело глухаря — видно, не бедна еще тайга вокруг.

Но не сразу новые люди решились переехать сюда. Сначала, только повернула зима на весну и ледяной ветер задышал возле щеки, как пламя автогена, явился со стороны станции смешно укутанный в шаль, в романовском полушубке, валенках и немецкой кепке с меховым подкладом сам будущий хозяин. Сопровождал его мужичок пониже ростом, но шире в плечах на четыре кулака, в черном — уж не милицейском ли — тулупе, с начальственным, словно из бочки, голосом и грозным выражением на брыластом, плохо выбритом лице. Оба тащили за спиной рюкзаки, в которых звякало и булькало. Новоприбывшие изумили местных жителей тем, что обошли не торопясь — до вечера ходили — все небольшое это село, кланяясь перед калитками, знакомясь. При этом женщинам-старухам дарили флакончики с пахучей зеленоватой водой, а мужчинам предлагали выпить хорошей водки за знакомство, на столы выставлялись звонкие, как сосульки, трехсотграммовые бутылочки.

— Не обижайте моего друга, — басил коренастый мужичок и показывал на поселенца, который, поминутно протирая очки с толстенными мутными стеклами, благодарно кивал в свою очередь, стеснительно улыбался и мекал, совершенно, видимо, еще не умея говорить по-русски. Даже пританцовывал от бессильного усердия на месте. — Из Англии он, жердина. Вот, влюбился, говорит, в Россию... хочет тут жить. Коннель его фамилия, зовут Френсис.

— Конев? — переспросил кто-то.

— Можете и Коневым величать, не обидится. Хоть маршалом Коневым. Но вот что... — и он с суровым нажимом оглядывал тех, с кем говорил. — В его жизнь не соваться. У них это строго. «Мой дом — моя крепость». Специально за этим будет правительство следить, разведка и прочая. Ну и наша областная администрация. Такой эксперимент. Землю дают, разрешили строиться... Пусть трудится, так сказать, на русской земле. Свой дом с садом отдал нашим детишкам, которые в Англию учиться поехали. Так что тут квиты. Главное, значит, чтобы никто не лез ни с советами, ни с просьбами. Мужичонко он добрый, но политика есть политика.

Услышав слово «политика», еще не так давно приносившее одни неприятности, бородатые весовчане в ответ, сумрачно помаргивая, словно фотографируя иноземца, безмолвствовали, что, видимо, означало: а на кой нам лезть-то к нему.

— То-то! — удовлетворенно заключил черный тулуп и вдруг чуть не упал — крутанулся на месте. Это он узрел местных синеглазых девчушек, еще не испорченных городом, белозубых, лузгавших каленые кедровые орешки. — Батюшки!.. — И враз переменялся в лице, стал похож на мальчишку, надевшего на себя медвежью шкуру с медвежьей мордой. — Ка-расота какая! А, Френсис?!

— О, йе!.. — с готовностью заулыбался молчаливый гость и наконец, заикаясь, произнес по-русски: — Си-би-ер — крас-собо... О!.. — и, показав на окрестную тайгу, приложил руку к сердцу. — О!..

Жители Весов тускло и непонятно смотрели на иностранца. Крепыш в черном полушубке, угрожающе нахмурясь, снова стал объяснять, что, как только англичанину построят дом, подъедет и его семья — жена с сыном. И уж тогда тем более — ни-ни! А чтобы он тут, Коннель, не тыкался, как

котенок в гвозди вместо соска матери, он, Николай Иванович Ярыгин, первое время с ним побудет. И если кто захочет о чем-нибудь спросить, спрашивать у него, у Ярыгина.

Жители Весов уже в сумерках наблюдали, как иноземец с Николаем Ивановичем за околицей жгли костер, ходили вокруг него размашистыми шагами, явно что-то мерили, отмечали в снегу прутиками. И потом, так и не попросившись ни к кому переночевать, ушли в сторону железнодорожной станции...

А через неделю со стороны райцентра по тракту, нещадно ревя, по гладкому, как фарфор, зимнику, приползли «КамАЗы» с прицепами — они волокли красные кедровые бревна, гору теса. И с ними явилось человек семь плотников. Эти люди прежде всего сколотили себе в тайге, под сопкой, жильё-временку с топчанами, зарядили дровами привезенную с собой железную печьку. И принялись строить дом для англичанина, сверяясь с длинными чертежами.

Народ в Весах никогда не покажет любопытства к чему-либо, пока не пригласят посмотреть и высказать мнение. К тому же Николай Иванович яснее ясного все объяснил. Да и своих забот у местных мужиков выше головы, хоть и демократия во дворе, — вот-вот ледоход, а там паводок, время плоты вязать и вниз, до енисейской протоки, протаскивать. А поскольку на пути следования — камни, шивера, течение бешеное, жердями не удержать, на плоты спереди и сзади крепятся движки с винтами... а вдруг откажут?! Надо проверить-перепроверить досконально, в полный голос, как Лидию Русланову, все моторы... И длинные жестяные лодки подлатать. И патроны набить от медведя-шатгуна или человека лихого жиганами. И сети зачинить, и сапоги резиновые, одежду поправить... Так что некогда местному народу, некогда глазами лупать.

Но имелись и в Весах вечные бездельники-наблюдатели, пропойная троица: Генка по кличке «Есенин» — тоненький, как мальчишка, но пухломордый, с сонными светлыми глазами, веки висают до зрачков; трепещущий от пьянства как осиновый лист, остроносый, с железными челюстями Павел Иванович, некогда капитан катера; и Платон Михайлович, пузан под центнер, с черной бородищей, этот все время курит махорку и дышливо пыхает, но выпить может за один присест литра полтора водки. Всю весну они наблюдали с тоской, как молчаливые рабочие рубят дом иноземцу. Трудятся от темна до темна, молчком, будто сами нерусские, и ни разу не было видно, чтобы пили-гуляли.

— Видать, долларами плотят, — прохрипел Платон. — Если долларами, то пить нельзя.

Проходивший мимо Николай Иванович словно на столб наткнулся, насупился:

— Вы что тут, ворон ловите?? Если что слямзите, яйца оторву. Держаться на расстоянии двести метров, ясно?

— Ясно, — вздохнул-прохрипел Платон, как бы наиболее соответствующий из тщедушной троицы для переговоров с могучим покровителем и переводчиком англичанина. — Учимся труду.

— А, это всегда пожалуйста. Учитесь, учитесь и учитесь. Но дополнительной работы нет и не будет, у нас все по договорам рассчитано...

К концу июня жильё англичанина было готово: длинное, с пристройками — мастерской, гаражом — и отдельно стоящими баней и клетью. Первый этаж дома рабочие облепили ярким, как пионерский флаг, кирпичом (от пожара), а вокруг воздвигли двухметровый лиственничный заплот — теперь ничего не видать, что во дворе делается. Разве что если на сопку взлезть и сверху, из тайги, смотреть. Дом красиво так вознесся у реки на взгорке, словно век тут стоял. Да еще по непонятному настоянию хозяина красноватые венцы и белый тес обработали напылением, особой химией — и стены стали темны, будто и вправду строение пережило все

революции нашего века... О современной жизни говорила только телевизионная антенна на крыше, покрытой сверкающей белой жемчужной пылью. Да еще над баней в небе вертелся, позванивая, небольшой пропеллер — наверное, чтобы свет был, когда в селе пропадает электричество.

Наконец и хозяйка с сыном приехали — понятно, одеты не по-русски. Впрочем, сейчас и наша молодежь наряжается — будь здоров. Но эти уж больно были смешны: дама в шляпе, в тонком зеленом пальто с разрезом и красно-рыжей лисой на шее, а мальчик — в синем с белыми полосками, как бы в матроске, с зонтиком в руке. И зачем ему зонтик — здесь, если гроза выкатится, лучше во всю мочь домой бежать: и зонтик тебе ветром вывернет, и штаны к ногам дождем сдерет...

А потом месяц или два жители Весов не видели толком иностранцев. Только со спины, только выезжающими из ворот на мотоцикле или верхом на тракторе — да-да, семья купила небольшой трактор. Японский или южнокорейский — с иероглифами. Хозяин сам за рулем, с двухствольной «вертикалкой» на ремне — наверное, медведей боится. Местные наблюдатели не сразу сообразили, что это за ящики (три или четыре штуки) вывозят новые жители Весов время от времени за озеро, к полям, засеянным гречихой, и оставляют под надзором мальчонки с книгой в руке. Как-то побрели бездельники гуськом на полусогнутых, прячась в душных подсолнухах, — подсмотреть. Прислушались — гудит что-то в коробках... Потом Генку «Есенина» пчела в лоб ужалила — враз опухла переносица, глаза стали как у японца — и наконец дошло: улы! Ишь ты, медом решили разжиться, небось торговать будут. А что, дело выгодное: хороший мед нынче в цене. И медовуху можно гнать... Да ведь не умеют! Можно и подсказать, конечно, как это делается...

Пока наблюдатели обменивались соображениями о дальнейших своих действиях, вдруг из золотых вечерних сумерек с хриплым лаем на толстого Платона бросилась красная собака — и за ногу! И когда только овчарку успели приобрести, капиталисты проклятые?! Тройка бездельников ретировалась сквозь кусты шиповника, где тщедушный Павел Иванович, шелкая металлическими зубами, и завис в колючках, как в гамаке, — ни туда ни сюда... Слава Богу, страшная псина с ошейником и белым пятнышком над глазом, будто подмигнув, вернулась к пацаненку в матроске.

А еще к концу лета стало всем известно: там же, в русских полях, чужеземной семье выделена земля. Кто говорил — сорок, кто говорил — десять гектаров. И уже посеяны рапс и рожь. А затем и корова подала голос во дворе у Коннелей.

А вскоре еще выяснилось: сам-то хозяин, помимо того что и на тракторе ездит, и пчел не боится, и на моторке храбро в одиночку к Малым порогам поднимается (правда, весь с головы до ног в зеленой резиновой одежде), в свободное время, вечерами, вытачивает на токарном станке из кедровых обрубков всякие деревянные поделки. Использует брошенные возле плотбища комли, прочий сор. Уже два раза вывозил в райцентр на базар медно-желтые подсвечники в виде чертей, плоски, братины и гору матрешек — симпатичные такие у него матрешки, и вовсе не похожи на Горбачева или Ельцина, как нынче делают, а именно такие, по каким соскучились простые люди, — красавицы сибирские. Когда до последней, маленькой, доберешься, мяукает, как дитя... Развернулся же проклятый англичанин!

— Пусть, пусть помогает нам, обалдуям, обустроить Россию... — пояснял жителям Весов, то уезжая в город, то возвращаясь, русский друг подслеповатого англичанина Николай Иванович. — Есть чему поучиться, верно?

— Верно, — тихо отвечали местные люди, отдавая дань расторопности и уму иноземного гостя.

А три наших наблюдателя с болезненной тоской молчали. Как бы подружиться им с этим Френсисом? Он же добрый, кажись. И денег небось как у дурака махорки...

И вот в начале октября, в дождливую холодную пору, когда уже и снежком пробрасывало, а грозный Николай Иванович, по слухам, насовсем укатил в областной центр (видимо, убедился — никто представителя Великобритании не обижает), ходили они, бродили мимо нового огромного дома, скуля, как псы, и решились наконец позвонить в ворота — давно заметили: там кнопка черная в белой чашечке.

Тр-р!.. — кнопку нажал самый смелый, толстяк Платон. Нажал и на всякий случай на два шага отступил.

2

— Good Lord, but why, why should we let these dirty people in on our clean floors? — взвинченно говорила в доме тоненьким голоском маленькая хозяйка, бегая от окна к окну и одергивая до колен свитер. — Who are they? After all no one introduced them to us!

Если перевести на русский, ее слова означали: «Боже мой, ну почему, почему мы должны пускать этих грязных людей на наши чистые полы? Кто они такие?! В конце концов, нам их никто не представил!»

— Их трое, вот друг друга и представят, — вздохнув, отвечал ее муж, также выглядывая за ставенки. — Так принято, Элли... мы же в одном селе живем.

— There are lots of people who live in the same village or in the same district or in the same region with us! — тараторила хозяйка. — Мало ли кто живет с нами в одном селе, или в одном районе, или в одной области?! — Она пристукнула каблучком. — Как хотите, но я скажусь большой... Ты, — она кивнула мальчику, который с утра колот дрова, а сейчас собирался выполнить другое ответственное задание — натереть редьки к обеду, — идешь к себе. А вы, сэр, как угодно... только умоляю, не пейте с ними, а то приучите — потом из ружья не отгоните. Кстати, советую держать оружие поближе...

Коннель, сделав плаксивое лицо, скребя в раздумье горло, заросшее шотландской бородкой, спустился по винтовой лестнице на первый этаж, прошел в сени, нажал на особый рычаг — и калитка во дворе отворилась. Но, разумеется, из приличия необходимо было там и встречать гостей — Коннель, сутулясь в три погибели на сыром ветру и протирая поминутно очки, выскочил на доски двора. Здесь, как в старинных сибирских дворах, тротуар был из лиственничных досок.

— Com'in!.. Входайте!.. — воззвал он сквозь сумерки.

— Ничего, мы постоим... Здрасьте, — озираясь и почему-то оглядываясь, входили во двор-крепость бездельники.

— Здрасьвуйте, здрасьвуйте... — кивал, привычно-застенчиво улыбаясь, хозяин — милый, простой такой жердина, пахнувший сладкой иностранной водой, и указал рукой наверх: мол, туда, проходите.

— О'кей, если ты не Моисей! — выдал загодя приготовленную шутку Генка «Есенин». — А наш удел — катиться дальше, вверх! — Он процитировал, переиначив, великого русского поэта, в ответ на что хозяин хмыкнул, но вряд ли что-либо понял: уж больно выговор у Генки невнятный, большими губами-пельменями под самый нос.

В сенях гости скинули уличную обувь: Платон — рыбацкие резиновые сапоги с нависшими рваными заворотами, Генка — пятнистые галоши, а Павел Иванович — красные женские (наверное, женины) короткие сапожки. Коннель забормотал было на малопонятном русском языке, размахива-

вая руками, — дескать, надо ли разуваться. Но бородатый Платон великодушно буркнул:

— У нас, у русских, так принято. — Он еще и плащ брезентовый снял, гремющий, как сорванное с крыши железо. Генка остался в мокром пиджаке, Павел Иванович — в шерстяной волосатой кепке и грязно-зеленой болоньевой куртке.

Гости прошли и сели рядом на приготовленные стулья — кресла хозяйка предусмотрительно отдвинула в угол и положила на них газеты и ножницы (чтобы было видно). Коннель зажег на полный свет широкую, как колесо комбайна, люстру и включил магнитофон — хор запел кантату Пёрселла. Гости сидели приоткрыв рты, положив руки на колени. Бывший капитан снял наконец кепку. Руки у них были немыты. Сельчане то ли слушали, то ли блаженно дремали в тепле. В камине шаяли угли. Прошло минут десять. Френсис выключил музыку и заулыбался, кивая на свои руки:

— Вода?.. моем-надо?..

— О, йес, — осклабился пузатый Платон, уже узрев за волнистым стеклом бара темные граненые бутылки (видать, с виски?). — Можно.

Они прошли через сени в мастерскую, где был кран с водой (хозяйка не захотела их пустить в ванную, расположенную в основном доме, — еще намарают), и затем Френсис провел наблюдателей из народа вниз, на первый этаж, в столовую, где вкусно пахло, за длинный стол, покрытый клеенкой с нарисованными русскими цветами — ромашками и незабудками. Сама хозяйка появилась на мгновение с полотенцем на голове, в халате («очиен б́лна» — объяснил Френсис) и, выставив перед мужиками бутылку водки и стаканы, улыбнувшись мелкозубой улыбкой, исчезла. После нее остался тонкий запах духов.

— Ее зовут Элли. По-русски ни бьом-бьом. И вообще!.. — Френсис махнул рукой. Видимо, хотел сказать, что без женщины проще. Мужики понимающе заржали.

Но кто знает, почему Френсис мокрыми, словно плачущими глазами внимательно разглядывал гостей? Установилось ненадолго робкое молчание. Может, они чего не понимают? Может, у англичан перед выпивкой, как и вообще перед едой, сперва положено помолиться? Но Френсис, кажется, размышлял о другом.

— It is... это билá мьюзик моей страны.

И, вздохнув, пришлось спросить — это сделал пузатый Платон:

— А чё к нам-то приехали? Захотелось поглядеть другие страны? Даже квартиру свою отдали дитя́м России?

— Отдал детям, — кивнул охотно Френсис. — Один этаж.

— А чё, дом такой большой?

— Болшой. Там мама осталась, систра с детишками. Я... люблю Ру́сию... Достоевский, Толстой... да-а.

Френсис, словно спохватившись, разлил по стаканам сразу всю водку, посверкивая золотой печаткой на безымянном пальце, нарезал хлеба и очистил ножом четыре луковицы:

— Так?

— Норма!.. — прошептал Павел Иванович, не сводя синих, как у утопленника, глаз со сверкающей жидкости.

Платон завозился на маленьком для него сиденье, закряхтел, поводя брюхом. Генка же «Есенин», зажмурясь, жевал пухлым ртом, сочиняя, надо полагать, что-нибудь соответствующее случаю. Но не успел, ибо Френсис объявил тост:

— За свободную, демократишн Россию... з любовью! О'кей?

— Ес!.. — хором ответили гости и выпили. И уставились на пустые стаканы. Но, понимая, что все же нужна пауза для приличия, стали подталкивать друг друга локтями — мол, давай говори. Френсис, улыбаясь широкой,

доброжелательной улыбкой, ждал. Сам он рассказывать на русском, видимо, затруднился бы, но, судя по всему, чужую речь уже понимал.

— Да-а, богатая у нас земля, — заговорил Платон громко и короткими фразами. — Леса, поля, горы. Золото, соболь, рыба...

— О, — закивал иностранец. — Красота болшая.

— Еще бы. И у нас уже тоже... это... свобода. Выбираем. Губернаторы есть. Фермеры.

— Но нар-роду нашему палец в р-рот не клади! — проснулся было и Павел Иванович, затрепетал, как былинка, желая что-то еще сказать, но не хватило заряда — умолк, уронив плешивую, с белыми крылышками над ушами, голову.

Генка «Есенин», горестно и сильно вздыхая, хрустел луком. Он готов был наконец произнести высокое слово, и стоило Платону лишь покуситься в его сторону, как Генка зажмурился и малоразборчиво залопотал:

— Ты жива еще, моя старуха? Только я давно уже не жив. Сам себе даю от скуки в ухо, складываю медь в презерватив... Мне бы только выпить, дорогая... сжечь бы душу всю до дна... Никакая родина другая, даже Англия, мне не нужна...

Френсис наморщился, видимо постигая смысл Генкиных виршей. И осторожно спросил:

— Но почему вы пьете? — Он показал пальцем на мешки под Генкиными глазами: — Вам очием вредно. — И кивнул на Платона, могучего, желтокожего, как восточный Будда, но в русской бородище размером с супницу: — Ему не очием.

— Кстати, добавил бы, — усмехнулся тот. — Мне это лично как слону дробинка первый номер. У тя виски есть? Водку мы и сами можем тебе принести.

— Уиски?! О!.. — как бы просиял Френсис и всплеснул руками. — Я думал, вы любите только водка. — Он ушел наверх и мигом скатился по винтовой лестнице с тяжелой четырехгранной бутылкой золотисто-коричневого цвета. — О, извиняйте! — Отвернул хрустнувший колпачок и разлил снова до капли все содержимое по стаканам — правда, себе меньше всех. Принес лафитник с водой, достал из шкафчика лимон, принялся тонко нарезать узким, тонким ножом.

Платон, не дожидаясь (зачем ему эти интеллигентские штучки!), но и не особенно торопясь, выпил и, поворочав языком под щеками, сказал вдруг уже не баритоном, а басом — у него с добавлением градуса в крови голос перемещался по октаве, нисходя к рокоту (очевидно, в организме что-то перестраивалось):

— Крепка-а советка власть!.. Придется мне в колхоз вступать!.. А вопрос, почему... кхм... русские пьют... вопрос философский. Да-а. — Он широко разинул рот в бороде, загадочно блестя впалыми желтоватыми глазенками.

Как сразу понял Френсис, он был говорун, мог рассуждать по любому поводу и без повода, не прекращая пить и закусывать. И сейчас хотел что-то сказать, но его перебил шелестящим голоском Павел Иванович.

Бывший капитан катера, сутулясь, привстал, ударил сухими кулачками об стол:

— На мостике одни с-суки!.. Страну автогенном порезали!.. бакены затоптали!.. катимся боком по шиверам!..

— Примерно так, — кивнул Платон, дав знак приподнятым кривым мизинцем с черным ногтем Генке «Есенину», чтобы тот покуда помолчал. — СССР была великая держава, разве нет? С ней считались...

— Соггу!.. извиняйте!.. — с плаксивой улыбкой поправил очки Френсис. — Но Россия и сейчас великая! Считаются! Я знаю!

— Может, при вас считаются!.. — встрял Генка в разговор. — А при нас не очень.

— Юмор! — оценил Френсис и снова обратил свои близорукие наивные глаза на могучего Платона. — Если жизнь наладится... к вам снова придут с поклоном другие... э... республики. — Он, кажется, уже и по-русски возле русских стал говорить связнее. — Разве нет? Значит, надо налаживать жизнь. У вас... у вас талантливые ученые... доктора... зачем попадать... падать в отчаяние?!

— Нет, нет, мы погибли!.. — не соглашался Платон. — Это обсуждать бесполезно.

— Ночь наступила, ночь... — У Генки веки полузакрыли глаза, рот по-детски превратился в гузку. Еще, не дай бог, уснет тут. — При белом месяце... так хорошо повеситься...

— Налил бы еще, узурпатор!.. — взвизгнул Павел Иванович.

— Ешчо жена не дает, — тихо и внятно ответил Френсис, оглядываясь, чтобы гостям было понятней. — Тогда я не понимаю, я плыл на лодке — смотрю... Why?.. Почему бросать с берега в речку кровать... старое ведро, самовар... даже трактор?.. Это же ваша речка, ваша... ваша маленькая Руссия.

— Вода все унесет!.. — махнул рукой Платон. — Скажи, моряк!

Но моряк молчал, приоткрыв рот со стальными зубами и злобно уставясь на хозяина, который более не хотел угощать русских.

— Все унесет река времен... — вздохнул, окончательно зажмуриваясь и устраиваясь подремать на стуле, Генка.

— Не унесет!.. — печально отвечал Френсис. — Я здесь уже полгода? Не унесло. Вы включаете электричество в банях... пилите циркуляркой... трансформатор три раза горел. Как можно? Вы делаете драки... ножиками... веслами... я даже видел — баграми... зачем?!

— Зачем?! А потому что душа гор-рит!.. — зашипел Павел Иванович. — Хер ли тут изображаешь?! Сами нашу Расею любимую погубили!.. через евреев скупили, а сейчас...

Платон больно прижал локоть Павла Ивановича к столу — человек, затрепетав, умолк.

— Я понимаю, — терпеливо продолжал Френсис. — Понимаю. Но когда ваша страна болна... помогать надо, а не толкать дальше в пропасть. — Он понизил голос: — Говорят, у вас своих хороших крестьян опять жгут?.. Рас... как это?.. раскулач...

— Раскулачивают?.. — помог Платон и добродушно ухмыльнулся на редкость здоровыми, белыми зубами. — Да не-е!.. Это уж по пьянке... было раз иль два... из зависти... примерно так... — И толкнул Генку в бок: — В Щетинино? На центральной ферме?

Генка открыл белесые, словно замазанные сметаной, глаза:

— А хер ли?.. Дружки начальников, по блату всего себе нахватили...

— Это наши деньги! — завизжал Павел Иванович. — Прихватизировали даже пристани на Енисее... золотые рудники...

† Но разве можно жечь?.. — изумился, всплескивая руками, иностранец.

— Лесу много... — охотно заговорил Платон. — С самолета смотрел на Сибирь? Тайга до Японии. Но, конечно, лучше не жечь. Вам-то в Англии хорошо — из камня все. А у нас и церкви деревянные... — Но более не дождавшись от хозяина каких-либо слов, Платон помолчал, закрыл рот, тяжело поднялся и вздернул за шкуру поэта и бывшего капитана: — Ну, сказали спасибо и пошли? А то решит — алкоголики, не пригласит больше.

— Почему?! — удивился нехотя Френсис. — Заходите. Интересно было говорить.

— Вы слышали?! — спросил Платон у своих спутников, не выпуская их из темных широких лап. — Приглашает! Пожалуй, и зайдем. Может, еще научимся снова труд любить, поверим в жизнь...

Павел Иванович вдруг припал к Платону и зарыдал, как ребенок. Тот, отечески обняв его за плечи, повел в сторону двери — в ночь, в метель. Генка «Есенин», окончательно проснувшись, обернулся к хозяину — стоял моргая, пытаясь, видимо, придумать срочно что-нибудь остроумное. Но не сумел. Только как можно более гордо и таинственно ухмыльнулся и, чтобы не сверзиться, затопал боком с крыльца вниз, на смутный снег...

Проследив из сеней, что гости наконец ушли за ворота, Френсис повернул рычаг, и калитка заперлась. Потянул за кольцо с проволокой — в дальнем углу поместья открылась дверца конуры, и, позванивая цепью, потягиваясь, вышел во двор для несения службы пес Фальстаф.

Френсис распахнул форточки в столовой и принялся мыть с мылом стаканы, когда зашла жена. Морщась, она укоризненно сказала:

— Зачем, зачем ты их еще раз пригласил?!

Муж вздохнул и развел руками.

— Напоил раз — и выгони к черту! — заходила-забегала по комнате Элли. — Эту пошлость выслушивать... они же привыкнут... Думаешь, благодарностью отплатят? Заборы твои не будут осквернять? И зачем про пожары спрашивал? Могут удивиться, запомнить, начнут изображать верных сторожей...

— No! У них нет памяти.

— Они хитрее, чем ты думаешь...

Френсис, жалобно скривившись, протирал голубеньким платком очки.

3

Они заявили снова ровно через неделю, ввечеру. Как раз вызвездило, грянул ранний сибирский мороз, да не пять-семь градусов, а все двадцать (такое случается в урочищах Предсаянья), и скрип от шагов на снегу далеко разносился. Впрочем, уже и в среду, и в четверг за воротами кто-то переминался и курил (пес во дворе пару раз рявкнул), но в звонок не позвонили. Может быть, испугались гнева хозяйки, которая строчила на электрической пишущей машинке? Повздыхав, условились выждать еще немного, чтобы получился хоть небольшой, но круглый срок? И вот в субботу — только хотел было Френсис после бани размяченно послушать музыку и испить подогретого красного вина — звонок задребезжал.

— О!.. — только и выдохнула хозяйка. — Может быть, сделать вид, что спать легли?

— Свет горит, — пробормотал хозяин.

— Ну, иди, иди. Встречай дорогих гостей.

С виноватым видом, накинув куртку с башлыком, привычно согнувшись из-за высокого своего роста, Френсис спустился по винтовой лестнице в сени. Рычаг щелкнул — калитка вдали распахнулась. Три сизые тени, убедившись, что красноязыкий Фальстаф точно в конуре, медленно ступили во двор, поднимая колени, как бы стараясь меньше шуметь, и закрыли за собой калитку.

Френсис высился на крыльце, улыбаясь, как истинный джентльмен, который рад новым своим друзьям.

— Проходите! — Кажется, он уже лучше говорил по-русски, что тут же отметил умный Платон. Френсис употребил местное слово: — Зазимок выпал, холодно.

— Зазимок — это верно, это по-нашему! А вот и по-нашему маленький тебе презент... — Пузатый дед, сбросив незастегнутый вонючий полушубок на пол у холодных дверей, сопя, выдернул из-за спины (из-под ремня?) шкалик «Российской». — Убери куда-нибудь... пригодится. Зима долгая... А мы хотели сегодня по-трезвому, о жизни поговорить.

Изумленный хозяин, не зная, что и ответить, машинально провел их в столовую. Убрал в шкаф дареную чекушку и, вопросительно глянув на сельчан, все же достал тяжелую бутылку виски.

— Но, но!.. — замахал Платон свилеватыми от трудовых усилий прежней жизни руками. И даже Генка «Есенин», на этот раз тщательно побритый, с порезом на щеке, залопотал своими пельменями невнятно под нос нечто шутливое, вроде того, что «в стране подъяремной всему свой срок, даже если он тюремный». Только Павел Иванович замкнуто и отчужденно молчал — он был в белой, почти чистой рубашке, наглухо застегнутой у самого горла, под острым кадычком.

Наступило неловкое молчание. Френсис, не понимая, чего сегодня хотят от него сельчане, растерянно предложил:

— Может, coffee?..

— Кофе? Можно, — пробурчал Платон, зашуршал клочком газеты, свернул и, ткнув ее куда-то себе в бороду, закурил густо воняющую самосадом «козью ножку». И неожиданно спросил: — А сын у тебя что, не учится? Наши-то ребяташки в Малинино ездят...

Френсис у плиты замер.

— Сын дома занимается, — почему-то насторожившись, сухо ответил он. — Моя жена — раньше учительница, проверяет...

— А потом экстерном сдаст? Стало быть, умный мальчуган? Как зовут-то?

— Ник. Можно — Николай.

— Николай — это хорошо. Николай — сиди дома, не гуляй. А сама твоя Эля... не хочет у нас преподавать? Или ты ее и так прокормишь?

— Она работает, переводит, — объяснил Френсис и, обернувшись, более внимательно всмотрелся в лица сельчан. Что у них на уме? К чему эти вопросы? Просто ли праздные они, из приличия, или здесь некий смысл? — Она же хорошо знает по-русски... то есть по-английски... — Англичанин засмеялся и, изобразив сокрушенный вид, махнул длинной рукой: — Конечно, с английски на русски! Всякие статьи... Не много, но платят.

— А вот на днях... — включился в разговор местный острослов и поэт. — На днях мы тут по делу ехали... на трелевочном тракторе... Между прочим, слава рабочим, мы могли бы и в Малинино вашего паренька возить!.. — Невнятно, перескакивая с пятого на десятое, Генка рассказал, как он ехал с товарищами и услышал — в доме Френсиса пела под гитару женщина. И пела так звонко, хорошо. Не подумаешь, что иностранка. — В гостях кто был или уже супруженица научилась?

Френсис широко улыбнулся, но на душе у него стало неприятно. Он прекрасно понял — никакого трактора не было, да и кто этого Генку-дурня на трактор посадит. И невозможно услышать с грохочущего трактора тихое пение женщины... Значит, стояли под забором, подслушивали. Что им надо?

— Когда она поет — лучше говорит слова, — медленно ответил Френсис. — А просто говорить — пока нет... Только писанный текст.

— Ясно, — заключил Платон.

Павел Иванович сидел подавшись вперед и не отрывая от растерявшегося неведомо почему хозяина синих враждебных глаз.

— Тогда примерно такой вопрос... — Толстяк вдавил окурочек с буквойками в тарелку, машинально поданную ему Френсисом. Ощерил зубы, совсем как американец, и снова сомкнул полные коричневые губы в черной бородачке. — Вот ты спрашивал, почему мы, русские, пьем. А как не пить, милый человек?.. У Павла Иваныча, — он кивнул на немедленно задрожавшего от человеческого внимания друга, — у бывшего героя наших таежных рек, в городе сын погиб... одни девки в семье остались...

— Трамваем в городе зарезало, — пояснил Генка. — Шел трамвай девятый номер... под площадкой кто-то помер... тянут, тянут мертвеца — ни начала, ни конца...

Платон подождал, пока Генка закончит свой рифмованный комментарий, и продолжил:

— А у Генки... вообще детей нету...

— А я с ней живу... — охотно пояснил Генка. — С Танькой. Хоть пилит меня уж двенадцать лет... — И он по-мальчишески шмыгнул носом. — Но как без деток? Я бы, может, не пил... может, меня бы в Союз писателей приняли... я бы сына учил — не стихам, конечно! Охотиться, хариуса дергать... Эх, душа горит. Но нет, нет!.. — Под тяжелым взглядом Платона Генка сложил ручки лодочкой на мошне. — Только кофий.

И, чмокая, три мужика пили минут пять с отвращением черный густой напиток. «Зачем они резину тянут? — вконец обеспокоился хозяин. — Если дать виски, может, все-таки выпьют? А выпьют — скорее раскроются?»

— А я устал сегодня, — вздохнул Френсис. — Засандалю для согрева... так по-русски? Но мне не нравится пить один...

— Н-ну. — Платон незаметно, как ему казалось, ткнул локтем в бок бывшего капитана. — Если только за компанию...

И словно утренний розовый свет в сосновой роще лег на лица сельчан — они, вытянувшись, радостно-внимательно смотрели, как хозяин отвинчивает хрустнувший колпачок с иностранной бутылки, выставляет стаканы, режет лимон на тарелочке.

— А ваша страна неплохая, — буркнул Павел Иванович, желая, видимо, продемонстрировать наконец более дружественное отношение. — Флот у вас всегда был большой. Но почему вы в НАТО? Присоединились бы к нам.

— Но мы, в общем, присоединялись уже, — отвечал Френсис. — Гитлера вместе били?

— Не приставай к человеку, — остановил Павла Ивановича Платон. — Он что, Черчилль? А ты Сталин?

— Эх, калина-мáлина... хер большой у Сталина... — потирая ладошки, пробубльнул Генка.

Френсис с улыбкой поднес палец к губам и разлил виски.

— За дружбу народов, — произнес тост Платон. — А не покажете — какие паспорта у настоящих-то иностранцев?

— Что?.. — Френсис снял очки и принялся протирать стекла. И снова заулыбался. — Как выпиваю, так стекло в любой машине запотеваает, да? И очки. Пáспорты? Там... у начальников...

— Понятно, — кивнул Платон. — На прописке? Хоть и гость, а живи по российским законам. Ну, поехали на белых лошадях? — Он первым опрокинул в себя стакан и словно прислушался к чему-то: — Колокольчики зазвенели.

Минут через десять Френсис успокоился — его новые друзья, собираясь сегодня в гости, наверное, всего лишь условились вести себя поумнее, позагадочней, чтобы не раздражать англичанина, чтобы не в последний раз... а уж выпить у него они, понятно, выпьют — куда Френсис денется?!

— ...Плыл на теплоходе — на берегах стояли народы, честь отдавали... Я ж людям помогал... уважали. А сейчас?.. — шелестел тихим голосом Павел Иванович, замирая и бледнея, словно прислушиваясь к чему-то огромному и грозному, летящему над Россией. — Сына моего трамвай зарезал... Если бы он тут остался, кто бы его зарезал? Да я бы сам кого угодно!.. Санькá!.. за что?! И вот так всю Россию! Под корень!

— Другие дети у него девки... — пояснил Генка. — Конечно, не тот уровень.

— Извините, это он от горя... — вмешался снова Платон, ворочаясь на стуле и устраивая поудобнее свое многоэтажное брюхо. — Примерно так. Генофонд-то наш тью-тью!.. — Взяв с тарелки кружок лимона, протянул его Павлу Ивановичу, но тот не видел — почему-то продолжал неотрывно, напряженно смотреть на Френсиса.

Хозяин дома старательно улыбался. Он был, конечно, трезв — пил мало, да и постоянно развлекал виски водой. Но гостям это было все равно — им больше достанется.

— Фонд... Форд... — Генка, блаженствуя, медленно опустил толстые белесые веки. — Этот самый Хенри Фонд погубил наш генофонд.

— Сволота!.. — Павел Иванович наконец не выдержал, привстал и заверещал мальчишеским голосом. Дружки с обеих сторон тут же потянули его за руки, но он подскакивал и бился, будто оказался под сильным электрическим током. — Фифаны!.. Все пропало!.. Нет уважения! Нету счастья!.. веры!.. Предатели в Кремле! Вредители!

— Тихо, тихо!.. — рывком опустил его за штаны на стул Платон. — Это наши, русские дела... Ты ему зачем?! Он-то при чем?!

— А при том!.. — Павел Иванович, размахивая руками, хотел было снова подняться, да закашлялся до взвизга и соплей.

И тут Генка «Есенин», будто только что дошла до него его собственная беда, заблестел розовыми слезами, забормотал-замаек:

— Вот вы... иноземец... смóтрите, думаете: зачем мы себя губим? А смысла нет жить дальше. Я вот всю жизнь с Танькой... уже не люблю... а уйти не могу — нельзя... Русь под Богом стоит! — Генка наотмашь перекрестился. — Сам мучаюсь, баба моя мучается... а нельзя! «А годы уходят — все лучшие годы...» Где там соловьи — их нету в Сибири! Только в книгах. И счастье только в книгах! Мы верили книгам. — Он уже рыдал, перекосив рот. — Только книгам! Мы самый читающий народ. А пришли к чему? Обман, все обман!..

Платон нахмурился и, потянувшись, по-отечески потрепал Генку за локоть:

— Ну, хва, хва, парень... Френсис сам грамотный, сам небось много читал. Достоевского. Я о себе скажу. — Платон повел скошенными могучими плечами. — У меня и дети есть, и внуки уже... Все у меня есть, Френсис... А когда у человека все есть, он начинает задумываться о главном. И я задумался о главном — о жизни и смерти. И чем больше думаю, тем больше пью. — Он вытряхнул себе в стакан последние капли из темной бутылки и слил в улыбающуюся пасть. — Я философ, Френсис. Да нынче каждый в России философ! Нас даже в лагерях кормили марксизмом. И я тебе, Федя, так скажу: в самом деле, порой жить не хочется...

— Но почему?! У вас такие возможности... — забормотал Френсис, поправляя очки и недоуменно глядя на толстяка. — Здоровье... талантливый народ... Вы же сами... Про реку я говорил. А на днях, смотрите, — плот на берегу горит... разве мало сухостоя? Такой кедр напиленный лежал... как розовый мрамор... я бы даже купил, если бы сказали...

— Всех сжечь... — пробормотал Павел Иванович, не поднимая головы. — Всех, всех. Все суки.

— Ну-ну, ты чё, Пашка?! — Платон повысил голос.

Генка рассмеялся:

— А в Николаевке вот недавно... тоже спалили... шибко богато жил, говорят, пада... всех обобрал...

— Вор? — попытался уточнить Френсис.

— Да ладно, чего ты, — ухмыльнулся Платон. — По пьянке опять. Отстроится. А вообще, народ иной раз правильно обижается. Кому-то землю по благу лучшую дают, кредиты... А ведь это наша общая земля... верно Пашка говорил — общие деньги...

— Но не всегда же! — вдруг вырвались страстные слова и у англичанина. — Есть же — своим хребтом, своим горбом?! Есть же своими честными руками работающие люди и много зарабатывающие! Их тоже — жечь?!

— Тоже... — еле слышно прошелестел бывший капитан, утыкаясь белым крылышком седины в стол.

— Упаси Бог!.. — загремел басом Платон и выпрямился на стуле. — Вы чего, хлопцы?! Еще понапишут про нас в их газетах... Мы что, продотрядовцы-чекисты, что наших дедов грабили да сюда ссылали?

— Да мы ничё!.. — непонимающе лупал глазами Генка.

Платон, через стол, ткнул во Френсиса пальцем:

— Ты прав, прав! За тобой культура... это как газоны растить... Примерно так. Ты нас стыди, стыди... А мы тебя, между прочим, охраняем от проезжих бичей... но это тебе не обязательно знать! Если не дай Бог, это ж позор на наше село, на всю Россию. Мы, может, у тебя учимся жить... жизнь по-новому любить. Только, боюсь, не поздно ли? Мы же после трех революций все тут обреченные... Самолеты падают. Военные склады взрываются. Катастрофы за катастрофами... Конец России! — И Платон провел рукой по утопленным в желтые ямки глазам.

И как по команде Генка с Павлом Ивановичем, вскрикнув, оба заплакали навзрыд. Френсис уже стал кое-что понимать в играх этих легко возбудимых и, наверное, вправду конченных людей. Но ведь не выгонишь?

— Эх, эх... — бормотал Платон. — Кто душу русскую поймет?.. — Он тоже перекрестился. — Душа русская, она, брат, всех жалеет... сама умирает, а всех понимает... Мы же Африку поддерживали... Кубу... да и сейчас то этих, то тех! А самим нам уже ничего не надо! «Гори-ит, гори-ит моя деревня, гори-ит вся ро-одина моя!..»

Френсис обнял плачущего Генку. Тот задышал ему, икая, в самое ухо:

— Откровенно скажу, Федя, грешен... Блядую на стороне, а бросить не могу... вот и пью... Скажешь: лучше бы ты бросил, она же наверняка чувствует?.. Да в том и беда — обожает. Вот и пью. И вся Россия так... с нелюбимой властью восемьдесят лет. Вот и хлещем — все веселее! — И дурашливо прокричал: — Ленин, Сталин и Чубайс проверяют аусвай!

Англичанин уговорил гостей выпить еще и налил им из дареной чекушки пахнувшей ацетоном водки. Было уже часов одиннадцать ночи, когда наконец три сельчанина, поддерживая друг друга, уронив стул и тарелку с окурками на пол, поднялись из-за стола и побрели домой — сквозь морозную, ясную, многозвездную, как старинная русская сказка, ночь. В прежние годы, наверное, в эту пору рыдала бы от счастья гармошка, летели посвистывая сани по дороге с лунными тенями, брякали колокольцы... Но в нынешней ночи было пусто, только глухо взбрехивали по дворам собаки — полуволки-полулайки — и где-то в стороне железной дороги стреляли и стреляли в небо красными ракетами... Видимо, свадьба.

Но гости от Френсиса ушли не просто так — хоть и были пьяны, взяли слово, что добрый иноземец посетит их семьи с ответным дружественным визитом.

— Да, — кивал долговязый Френсис в сенях. — Да. Спасибо.

Когда он вернулся в столовую, набитую синим дымом махры, там уже стояла его бледная, востроносенькая жена. Укоризненно глянув на него, покачала головой:

— Милый, ну зачем, зачем ты согласился к ним пойти? Это же не лучшие люди... основной народ и уважать не будет... Да и с собой придется что-то взять — они же уверены, что мы миллионеры. Уже привыкают... постепенно начнут шантажировать...

— Да о чем ты?! — Френсис махнул рукой.

Конечно, жена права, но отказать он им не смог. Лучше дружить с ними. Сказать правду, он уже чего-то теперь опасался. И ему хотелось по-

пристальной заглянуть в глаза этих людей — возможно, самых ничтожных, но и самых страшных людей села Весы... Сам лез им в пасть.

На следующей неделе он посетил дом Платона, и могучий дядька упил его теплой самогонкой собственного изготовления, отдававшей дымком, сахаром, обманчиво некрепкой на первый вкус. Наливал и подливал, напевая рваным басом старинную казацкую песню «Горят пожары» (и чего он ее вспомнил?!), и, щекоча огромной, как подушка, жесткой бородой, целовал англичанина в уста:

— Поймешь ли ты, друг, поймешь ли нас, русских?! Я тебе то скажу, чего никому... В молодости меня пытали, кто отец мой, дед. Отец — коммунист на флоте, в Петропавловске-на-Камчатке, а его расстреляли, будто он убийство Кирова готовил. А дед еще раньше в Китай ушел, был дружен с Александр Васильичем... — Старик прошептал Френсису на ухо: — С Колчаком! — и чмокнул в ухо. — Сталин пообещал всех простить, дедуля вернулся, его тут же в Москву — и к стенке. Ну как я могу любить власть, даже если она сейчас иначе называется?.. Начальнички-то те же! Мы лет на сорок повязаны, пока они не сдохнут и дети их красной икоркой не давятся... Так как же русский человек может твердо жить?!

Френсис неловко отвечал:

— Все-таки берегите себя... вы же глава семьи, на вас равняются...

— Это верно, — охотно соглашался пузатый Платон. — Но меня и на них хватит. — Он шлепал по спине полную, румяную свою жену-старуху и подмигивал: — Анька?!. Но и гость наш не промах! Глянь на него — на вид... а с деревом умеет обращаться. Он подарки принес — это же он сам вырезал тебе ложки-поварешки! Где внучка моя?! Ну-ка сюды ее! — И, гульгулька, тыкал темным пальцем в грудь маленькому существу, спешно принесенному нагишом из соседнего, сыновнего, дома. — Смотри и запоминай, Ксения Михайловна! Этот иностранец спасет нас своим примером! Я мало кого уважаю, а его зауважал! — И крохотное дитя смотрело на смущенного дядю в очках чудными бессмысленными глазами.

Френсис вернулся домой за полночь, хватаясь за стены. Потрясенные его видом жена и сын вынуждены были раздеть его, тяжелого, как обрубок кедровой лесины, на ковре в большой комнате с камином и перенести на кровать.

— Ну и папа, — сказал Ник, морщась. — It is impossible. Невероятно.

— Тебе худо? Чем они поили тебя?! — спрашивала Элли. — Дать что-нибудь?

— Только твой поцелуй... — пытался шутить Френсис.

— Зачем тебе эти ничтожества? Чтобы я их больше не видела! Ведь говорила — надо было нам на Север ехать... Там народ мужественный, хороший...

— Но там восемь месяцев ночь... — вздохнул мальчик. — Мы бы быстро потеряли зрение.

— Главное — не потерять веру в капитализм, — кисло улыбался Френсис. Он стонал и всю ночь пил воду.

А дня через три ему пришлось побывать еще и у Генки «Есенина». Френсиса поразили грязь и бедность в избе молодой еще пары. Под потолком криво висела голая лампочка. На стене красовались Сталин и Есенин. Печь давно не белилась и стала серо-желтой. Жена Генки Татьяна, красивая белокожая женщина, с полной грудью, в рваной кофте, сама пьяная, сидела уткнувшись в угол — может быть, от стыда — в экран старого телевизора. Генка, непрерывно болтая, угощал иностранца малосольными хариусами, усохшими и плотными, как гребенка. И умолял выпить еще «Российской», магазинной. И Френсис, давясь, пил.

— Я тебе одному правду скажу... — бормотал Генка, оглядываясь на жену. — Вот, при Таньке-Встаньке... Это когда я заболел... на снегу

уснул... а она в слезах дома лежала, не вышла посмотреть... Ну, устала баба... Вот и отморозил я все эти дела...

— Тогда извини меня, — тихо отвечал Френсис Генке. — Получается, не ты ее не бросил, а она тебя?..

— Да как она может бросить?! Ей уж за тридцать.

Френсис хотел что-то сказать, но только вздохнул и положил руку Генке на плечо. А тот вдруг, покраснев, залопотал что-то невразумительное, выскочил в сени, вбежал с топором, подал Френсису и плащмя лег на пол.

— Смотри!.. — замычал жене. — Глянь сюда!

— Чего тебе?.. — неловко улыбаясь и играя плечами перед гостем, спрашивала она.

— Никому не доверяю, а ему доверяю! Он добрый, добрый... Вот моя шея, друг Федя... если виноват в чем, руби!

— Ну, не надо, ну, хватит... — тяжело смутился Френсис и отнес топор подальше, в чулан, за дверь.

На поход к Павлу Ивановичу у англичанина уже не хватило сил: шляясь по морозной ночи в распахнутой дубленке с новыми друзьями, выслушивая их проклятья, афоризмы и речи о гибнущей России, Френсис сильно простудился и вскоре слег с температурой тридцать девять.

Полупьяная тройца пришла было навестить щедрого друга-иноземца, но в воротах встала, как столбик, жена. Она тихо и твердо молвила вполне по-русски:

— Пожалуйста, оставьте нас в покое. На этом все.

— Н-ну, хорошо... — то ли с угрозой, то ли растерянно ответил их главарь, пузан в бороде, и три человека медленно, оглядываясь потащились к огням своих изб.

И после этой встречи семья Френсиса долго не видела знаменитых пьяниц села Весы.

4

Но как-то после Нового года Элли пошла в сельский магазин за хлебом и вернулась бегом, перепуганная. Сбросив турецкую шубейку, изукрашенную цветами на спине, она пошептала с Френсисом, родители отослали сына в мастерскую и, закрыв двери, сели держать совет.

— Как можно точнее, что ты слышала, — потребовал Френсис.

Выскочив из дома на мороз (а Элли всегда, можно сказать, не ходила, а неслась стремглав), встречая по дороге местных сельчан, она удивилась, как странно все они на нее смотрят. Кто-то из женщин вовсе не ответил на кивок. А некоторые разглядывали Элли отчужденно, будто в первый раз видели. «Господи, да что случилось? — недоумевала она. — Может, из троих алкашей кто-то умер и теперь мы виноваты?..»

Все прояснила продавщица Лида, смуглая казачка с золотыми зубами (к счастью, в магазине больше никого не осталось, поскольку малининский хлеб разобрали):

— Ой, а чё же вы стеснялись? Таились-то зачем?..

Оказывается, она была в Малинине, и там между делом у нее спросил на оптовой базе один из начальников, как, мол, в Весах поживают Николаевы, хорошо ли прижились. «Какие Николаевы?» — естественно, удивилась Лида. «Как какие? Ну, которые в новом доме, у плотбища». — «Англичане?» — «Да какие они англичане... ну, жена вроде когда-то где-то переводчицей работала...» — «Быть того не может, — возражала Лида. — Они еще вчера ни тятя, ни мама выговорить не умели». — «Да говорю тебе, на Новый год у заместителя главы администрации французское вишишко пьем, он и рассказал! Говорит, от отчаяния, видать, на такую придумку пошли... им уже в двух районах жизни не давали. Один год мельни-

цу строили — столько денег вбухали, — а кто-то подпалил... Под Енисейском взяли собак для охраны да лис разводить, красных крестовок, — и снова нашлась завистливая душа — отраву подсыпала... Мне их Николай Иваныч из сельхозотдела сосватал... Но у нас-то, я говорю, никто не обидит! И ведь не обидели?!»

— И чё вы молчали?! — повторила радостная Лида. — Таились вовсе ни к чему. Народ у нас хороший.

Эля старательно рассмеялась, оглядывая полки со сникерсами и корбками овса «Геркулес», и как бы безразлично пояснила:

— Да это сынок у меня, изучает язык... Мечтает поехать... в Кембридж, что ли. А нам все одно. Мы же домоседы, никому не мешаем... Феликс свои поделки режет, я за машинкой сажу... Жаль, что хлеба-то нет.

— Так и быть, отдам из своих... — засверкала глазами Лида и протянула Эле теплую еще, с оранжевым верхом буханку. — Бери, бери!

— И ты всем тут же рассказала? — спросила Эля, машинально убрав руки за спину, но потом все же заставив себя принять хлеб. — Ну и правильно! Мы сами уж собирались... в мае, когда год исполнится.

И она побежала домой, почему-то мимо дороги, по сверкающим под солнцем сугробам, не видя ничего и чувствуя, как мороз ломит зубы — улыбка застыла у нее на лице.

— Вот так, Феликс!.. — И Эля заплакала.

Муж выслушал жену, кивнул и закурил. Давно он не курил.

— Это все твои игры! Твои глупости! Твой бред!..

— Н-да. — Феликс поднялся и стал ходить взад-вперед, как он делал всегда, когда случались неприятности. — «Я миленочка люблю. Я миленка утоплю. И кому какое дело, куда брызги полетят?!» Это Николай Иванович растрепался. А ведь обещал...

— Господи, был ты ребенок и остался! Неужели не было понятно, что все равно просочится? Вы же, мужики, трепачи хуже баб! Да и смысл?.. Мельницу нам не потому погубили, что русские... а только потому, что ты похвастал, какой доход она даст. Надо приbedняться, я тебе всю жизнь говорю. Надо быть смиренней, смиренней! В бывшей соцстране зависть — страшная сила! А ты вечно: «Я это сделал, я это мигом сообразил!..» Талантливый да еще хвастливый! Кто это вынесет?!

Феликс угрюмо молчал. Лицо у него осунулось, постарело, словно он утром плохо побрился. И шотландская бородака придавала ему теперь вид не джентльмена, чего он добивался, а неряшливого типа вроде рок-певца или базарного торговца.

Эля вскочила и, оглядываясь на дверь, зашептала:

— Прости, но я думаю, нам надо срочно, срочно уезжать! То, что узнали сельчане, их озлобит. Это же понятно.

— Но почему?! — закричал Феликс. — Что мы им плохого сделали? Я раздаю игрушки бесплатно во все праздники... лес не ворую, я покупаю... в речку отходы не валим...

— Не знаю. — Эля словно споткнулась. — У меня предчувствие. Сегодня любой повод, выделяющий людей, вызывает злобу.

Муж пожал плечами:

— Бог любит троицу. Нам здесь должно повезти...

Но через день случилась первая неприятность: заболел Фальстаф. Пес лежал на истерзанном, измятом снегу возле конуры, закатив глаза и хрипя. Явно был отравлен. Рядом валялась кость с клочком мяса. Он никогда не брал еду из чужих рук, но это лакомство кто-то перебрал через забор — и пес не удержался (может, решил, что кость оставил хозяин?..). Белое пятнышко над левым глазом дергалось. Пес окошел к вечеру.

Собаку похоронили — и той же ночью на воротах кто-то вывел огромными черными буквами: «Предатели Родины сколько вам заплатила ЦРУ?»

Феликс с сыном замазали надпись охрой, на досках буквы сделались почти неразличимы, но Феликс понимал: это лишь начало.

Николаевы перестали выходить на улицу. У Эли было несколько трехлитровых банок муки, за хлебом она больше не бегала — пекла блины. Корова Таня давала молоко — стало быть, имелись в наличии и масло, и сметана. Можно было прожить.

Но неожиданно среди ночи во всей усадьбе погасло электричество. Неужели опять в селе сожгли трансформатор?! Кто-то включил огромные спирали в каменке своей бани, разумеется минуя счетчик? Но у ближайших соседей, за кедрами и оградой, окна светились. Николаевы зажгли свечи, и, взяв фонарик, Феликс покрутил пробки счетчика — здесь все было в порядке. Потом выбежал на улицу обследовать ближайшие столбы. Провода были на месте, нигде не свисали, и на них не были наброшены другие, которые могли бы вызвать замыкание.

К утру у Николаевых потекли холодильники. Для освещения можно было бы использовать динамо-машину над баней, собранную Феликсом еще в областном центре из отходов военного завода, но пропеллер не вращался: сияла тихая морозная ночь.

Феликс утром снова вышел к столбам — кажется, все на них как должно быть. Хотя снизу толком не разглядеть. Электромонтера вызвать из Малинина? Но Николаевым было известно — единственный телефон, стоящий в доме фельдшера Нины Ивановны, уже месяц как не работает. Сесть на трактор да поехать за ним? Но трактор не завелся, промерз.

Феликс, задрав голову под проводами, стоял и размышлял. Эля дрожала в воротах:

— Это они, они, твои друзья-алкаши.

— Быть не может. Им не долезть до проводов. Кто-то другой подхихимчил. — И Феликс наивно пробормотал: — За что?!

— За все, — был ответ. — А сейчас они ждут, что ты потащишься к ним с поклоном... мол, помогите... И тут бутылкой не обойдешься, слупят не меньше миллиона!..

— Я к ним не пойду, — отрезал Феликс. Он вернулся во двор, решив сколотить длинную лестницу (не снимать же с крыши?). Перебрал все имеющиеся в наличии доски, жерди и не нашел подходящих крепких слег. Пойти срубить в тайге пару пихтенок? Передумал, взбежал в мастерскую и, шлепнув себя ладонью по лбу, быстро и ловко смастерил из старых коньков сына и мотка колючей проволоки некое сооружение, которое позволит — он был в этом уверен — подняться по столбу к изоляторным чашкам.

— Не смей! Сорвешься! — запрыгала рядом жена. — Ты тяжелый!

— Я залезу, — предложил молчаливый Ник и снял с головы наушники. — Мне это нетрудно. Dixi. Я сказал.

— Что?! Да вы что?! — возопила маленькая, обычно хладнокровная женщина и толкнула задумавшегося мужа в плечо: — Убить его хочешь?! Нет!

Но мальчик уже сунул в карман плоскогубцы, надел толстые кожаные перчатки и, повесив на локоть моток проволоки, получив все инструкции от отца, шел за ворота.

Он карабкался по столбу, а Феликс бегал вокруг и руководил. Стоя поодаль, на их действия смотрели с ухмылкой сопливые мальчишки из села.

— Па!.. — закричал сверху сын. — А тут... тут полиэтиленовый пакет! Проволока отмотана и на этот мешок накручена! Вот и нет контакта! Не поленились же!..

Когда через полчаса, старательно улыбаясь (точь-в-точь как отец или мать), замерзший Ник сполз со столба, Феликс в сенях включил линию — и в доме загорелись лампы, зажурчали холодильники, заговорил телевизор.

Вечером Феликс зарядил ружье холостыми патронами и демонстративно постоял с ним на улице, возле ворот.

Но только сели ужинать возле горящего камина, как за окном послышался скрип снега, раздались пьяные, натужные крики:

— И не выйдет, не скажет: простите, мужики! Бежал от прокурора!

— А я-то ему поверил! Как Берии, не отказал в доверии... Топор дал в руки — мол, бей! А он лыбится!..

— А я душу ему раскрыл — а он в душу наплевал!.. Внучке говорю: вот иностранец... А он такой же иностранец, как ты, Пашка, папа римский!

— Кровососы, бля!.. Не видать им покоя на русской земле!

Они свистели на улице, улюлюкали, падали, хохотали... Семья Николаевых включила громко Моцарта — Двадцатый фортепианный концерт — и пыталась ужинать.

На следующее утро Феликс выглянул за ворота — никаких надписей на заборе не было. Николаевы несколько успокоились.

Прошло еще двое суток.

На рассвете в субботу сын не постучавшись вбежал в спальню к родителям:

— Папа, мастерская!..

Френсис вскочил, бросился полуголый к двери, ведущей в рабочее помещение, отворил — оттуда густо повалил дым, что-то трещало и сверкало красным. Эля закричала.

— Не бояться! — Феликс быстро одевался. — Сейчас сообразим.

Горело с дальнего угла — там зияло разбитое окно. Видимо, в него забросили бутылку с бензином. Огонь растекался по деревянному полу, кое-где уже почерневшему — прихватились доски. Стол с заготовками был охвачен прозрачным пламенем — или это играл отсвет? Пожар начался, судя по всему, не более десяти минут назад, Николаевы не почувляли дыма лишь потому, что дверь в мастерскую закрывалась плотно, а ночной хиус был, как всегда, из урочища — запахи относило во двор, к тайге. Если бы жив был Фальстаф, он бы завыл. А корова, возможно, и мычала в стойле, но хлев располагался в дальнем конце двора.

За водой бежать к реке, долбить прорубь не было необходимости — у Николаевых вода имелась своя. В предбаннике еще летом Феликс пробурил скважину и поставил электронасос «Аза». Вот только не купили (глядя на зиму-то, к чему?) длинного пожарного шланга. Да и тонких резиновых не удосужились приобрести — садом решили заняться на будущий год. Придется бегать с ведрами.

Быстрыми жестами своих длинных рук Феликс утвердил Элю возле насоса, мальчика погнал с ведром воды на чердак — чтобы пламя, если оно прорвется через щели наверх, не подожгло стропила и неизбежный плотницкий мусор. А сам, схватив ведра (пока Эля заполняла два других), понесся по лестнице, через основной дом в сени налево, и водой, тут же превращавшейся в пар, через открытую дверь — на станки, на полы...

К счастью, за четверть часа огонь удалось погасить. Обгорел подоконник окна, в которое забросили «гранату Молотова», угол рабочего стола, пламя подпортило деревянные поделки, но пол остался цел (только с черными розами кое-где), не говоря о потолке — его лишь лизнула красная стихия. На всякий случай Феликс самолично поднялся на чердак, где продолжал стоять, трясясь от возбуждения, Коля с ведром воды в руках.

— Все нормально? — спросил отец.

— Да. Только мне показалось... — мальчик махнул рукой. — Туда вместе с дымом что-то вроде розовое скользнуло...

Хоть на крыше гореть и нечему, Феликс откинул верхнее окно, обитое жестью, вылез наверх, но на морозной пленке поскользнулся — и сполз на ногах, размахивая руками (ведро отбросил), до самого края, до водосбор-

ного ребра. Там, не удержавшись, грохнулся лицом вперед, порезав пальцы о жесть. Но с крыши не слетел. Медленно встал и вернулся на чердак.

— Все о'кей.

И только сейчас увидел, что, несмотря на мороз, он бегал с ведрами без перчаток.

Николаевы никакой помощи со стороны, конечно, не дождались. В селе Весы не было пожарной команды — люди в случае беды спасались сами. Конечно, родня помогала родне, соседи — соседям. Но к дому странных новых поселенцев никто не подбежал, не предложил подсобить. Только вновь на улице, метрах в ста, переминались на сугробах мальчишки и смотрели, как над домом поднялся было черный дым и вскоре, став серым, развеялся...

К вечеру горе-англичане протопили баню, вымылись. Пока мылись родители, мальчику было выдано ружье с холостыми патронами и разрешено стрелять в любого подозрительного человека, кто будет шастать у заборов.

Среди ночи Эля и Феликс выпили красного подогретого вина, и только сейчас до них дошло, какой беды они миновали. Если бы бутылка с бензином была брошена не на рассвете, а в полночь, они могли бы ввремя не спохватиться. Эля плакала, сморкалась в платочек, пыталась улыбаться и снова плакала:

— Все, все. На этом все. Я больше не выдержу. Четвертый раз с нуля начать уже не смогу. Надо по-быстрому все распродать и — уедем...

— Почему?!

— Ты сам знаешь, почему. Нам здесь не жить. Поедем к моей маме в Крутойярск-26. Там, в зоне, никто не тронет.

— А что я там буду делать? — застонал Феликс.

— Придумаешь. Ты талантливый.

— За медные деньги паять никому не нужные микросхемы? Мед разводиться нельзя, химия, все отравлено... хлеб сеять негде... рыбу ловить не советуют — светится... Что мнил там делать? Матрешки резать?

Эля плакала, Феликс курил. Мальчик лежал в соседней комнате и продумывал свои уже почти взрослые думы. Он обязательно поступит в Кембриджский университет, он будет учиться и работать, заработает денег... Он пригласит маму с папой в Англию, пусть они вместе с ним проживут года два-три, пока на родине дикий капитализм не перерастет в цивилизованный... Тогда здесь и отцу с мамой найдется применение — они же очень талантливые.

Наутро Феликс чернее негра собрался в Малинино. Они с Элей договорились: Феликс даст в тамошнюю газету объявление, что их усадьба срочно продается (вместе с коровой, моторной лодкой, трактором в гараже и пчелами в подвале), а районных начальников попросит весной перевезти их на вертолете в верховья Кизыра, ближе к гольцам Саянским. Там, где никого, кроме медведей (даже охотничьих избушек нет), они построят дом и будут жить. А разбогатеют — со временем сами купят вертолет.

— Ты у меня прямо Ленин, — шептала, утирая слезы, Эля. — Мечтатель! Ну, хорошо, хорошо... О, Good Lord!.. Только бы скорей отсюда... Если до весны найдется покупатель... И если Николай Иванович снова поможет со строительством...

— Поможет! Потому что предатель, растрепался! Я еще с ним буду иметь разговор!

Феликс ушел к железной дороге, Эля с сыном остались дома.

В Малинине, в здании бывшего райкома партии под трехцветным флагом длинные коридоры были покрыты темно-красной, вытертой до нитяной основы ковровой дорожкой. Но на дверях блестели новенькими золотыми буквами фамилии начальников. К главе администрации Феликс решил не соваться, он вспомнил — продавщица Лида что-то рассказывала про заместителя... Заместителей оказалось в этом здании трое.

— Скажите, пожалуйста, — спросил Феликс у проходившей мимо хмурой женщины с бумагами в руке, — кто из замов отвечает за еду, что ли?.. снабжение?.. — Он совершенно отвык за год от казенной речи, с трудом слепил фразу. Но женщина поняла:

— Кутаков.

Секретарша Кутакова, молодая розовая девка, очаровательно улыбаясь, сказала Феликсу, что шеф очень, очень занят. Феликс с досадой почесал бородку и вдруг нашелся:

— Передайте, это, мол, русский англичанин... Он поймет.

В глазах секретарши мелькнуло удивление, она, кажется, что-то вспомнила... Да и быть не может, чтобы они здесь не судачили о странных новопоселенцах в селе Веси!

— Щас!.. — Девушка скользнула в дверь к начальнику и через секунду выплыла, с любопытством глядя на долговязого посетителя в дубленке и унтах. — Проходите, Олег Иваныч примет вас.

Заместитель главы администрации, смуглый человек с усиками, очень похожий на таджика или узбека, но, судя по фамилии, русский, стоял возле сейфа и, сконфуженно расплывшись в улыбке, раскинул руки как бы для объятия:

— Дорогой наш подопечный!.. Лучше поздно, чем никогда!.. — И, сведя руки, даже неловко хлопнув в ладоши из-за того, что Феликс запоздал протянуть свою, он продолжал: — Слышали!.. Вот мерзавцы!..

Он, видимо, чувствовал свою вину. И откровенно побаивался не-большого, но все же областного начальничка с плечами, как у баяна на свадьбе. Ведь Николай Иванович Ярыгин наверняка просил их здесь приглядывать за «другарем», помогать. Да вот не уберегли от неприятности. Кутаков слушал Феликса (про объявление в газете, про новый переезд) и кивал как заведенный.

— Вы... вы еще нашему общему другу не сообщали? Про вчерашний поджог? И не надо! Мы тут все сделаем... покроем, так сказать, ущерб...

— Да не стоит, — скривившись от неловкости, отвечал Феликс. Он принялся протирать очки. — Вы мне помогите только в Саяны летом улететь.

— Обязательно! Непременно!

— Это же тоже ваш район?..

— Наш, наш! С этой, западной, стороны — наш, — отвечал заместитель главы администрации. — И ни о чем не беспокойтесь! Отправим с гляциологами... бесплатно отправим... а объявление в газету я сам лично продиктую! Сейчас же! — И смуглый человек с усиками, похожий на таджика или узбека, проводил гостя до второй, коридорной, двери.

5

Но когда к ночи Феликс вернулся домой, он с замершим сердцем увидел на краю села грязно-розовое облако света. Заплот с воротами лежали на снегу, черные, затоптанные. А дом стал вдруг низеньким — лишился второго, деревянного, этажа, потерял и крышу, и застекленную башню, где так и не успел Феликс оборудовать себе «монплеzir» — уютную спальню для летнего времени... Внешние пожарозащитные, в полтора кирпича, стены первого этажа устояли, но в проломы окон было явственно видно — внутри все выгорело. Огонь кое-где еще скалил красные зубы.

Феликс пробежал во двор — пожар уничтожил и мастерскую, спасенную вчера, но пощадил расположенные в стороне баню и хлев с коровой. В воздухе вились проснувшиеся, вылетевшие из подвала пчелы — или это Феликсу показалось? Наверное, ключья сажи.

Эля, в шубейке и в шерстяной, воняющей гарью шали, с какой-то палкой в руке, и сын молча замерли на улице, вокруг них валялись на гряз-

ном снегу постели, сумки, ведра, сапоги, костюмы с вешалками, подушки...

Феликс сунулся было прямо в дымящийся зев раскуроченного огнем дома, но махнул рукой и отвернулся.

Сын исподлобья, с немалчишеской ненавистью глядя на село Весы, рассказал отцу, как среди бела дня — они с мамой как раз обедали — подкатил трактор и люди с обмотанными кашне мордами стали стрелять из ракетниц прямо по окнам... заряжали и стреляли... выстрелили раз двадцать... Мама и сын легли на пол, а когда вскочили (трактор уехал), дом уже горел. Мама побежала за водой, скатилась по лестнице, вывихнула щиколотку. Без Феликса потушить не удалось, огонь был бешеный — так, наверное, горит напалм (замечание сына).

Никто из сельчан не прибежал помочь, только продавщица Лида с новым своим воздыхателем — азербайджанцем Мусой — постояла у ворот. Муса и снял ворота. И забор перед окнами повалил, ожидая, видимо, приезда пожарных. Да откуда в тайге пожарные?

Выслушав сына, ни слова не сказав в ответ, Феликс принялся таскать спасенные мокрые вещи в баню. И, опомнившись, ему принялись помогать Эля и Коля. Завтра, днем, можно будет посмотреть внимательней в доме — вдруг что сохранилось из металлических предметов? К счастью, пламя не проникло в гараж, за толстую кирпичную стену, — трактор, какой он ни есть, все же, видимо, цел. Хоть на продажу пригодится...

Электропроводка выгорела, света не было и в бане, но здесь стояли в банке свечи и лежал спичечный коробок. Семья стала располагаться на ночь.

В бане было тепло еще со вчерашней топки и сухо.

Сына положили на полок — его трясло, — а сами легли на чистые лавки. Но едва Эля потушила фитильки, как на улице заскрипели по снегу колеса, замяукала по-модному машина, замигали фары.

— Кто там еще?.. — Феликс набросил полушубок и, прихватив топорик, лежавший в углу, возле дров, вынырнул в темноту. — Товарищи мародеры подоспели?

Из «Нивы» неловко вылезал задом в огромном тулупе Николай Иванович. Он посмотрел на Феликса, его широкое маслянистое лицо пьяно кривилось.

— Сучья порода!.. — загремел он, сжимая кулаки. — Бляди!.. Я сам сожгу все это село!.. Слабо?! Я-то еду насчет мастерской разобрать... скажи, Санька?! А тут уже Сталинград?! Где?! Где этот Платон, бригадир бывший? Он — заправила, мне всё доложили... Саня! — Он заорал шоферу, находившемуся от него в полуметре, тонколицему парню в пятнистой меховой куртке: — Ну-ка, афган, сюда их! Этот возле клуба живет, на воротах две рыбки из дерева... Я его... я из него русалку сделаю!.. По дороге других прихватите!

— Да что теперь, — пробормотал Феликс.

Но водитель, бесстрастно кивнув начальнику, газанул на всю деревню и укатил.

— Теперь так, — обратился городской гость к Феликсу. — На сколько застрахован дом?

— Ни на сколько, — отвечал хозяин пепелища. — Денег же больше не было, я трактор купил, улы.

— Мудила! — завопил Николай Иванович на друга. Во мраке двора возникла хромая, закутанная в одеяло Эля — беспокоилась за мужа. Узнав Николая Ивановича, остановилась поодаль. — Извините... это я по-русски, не знаю, как по-иностранному... Почему у меня не попросили?!

— Пойдем туда, — кивнул в сторону бани Феликс. — Чего на холоде стоять?

Николай Иванович, отвернувшись, гневно сопел. Наверное, слухи не без него родились, где-нибудь на людях пошутил, проехался по мнимым англичанам, устроившись на жительство в таежном Малининском районе, но признать за собой вину было ужасно обидно. Разве не он, Ярыгин, привез сюда Николаевых, разве не он организовал работу плотников из полувоенной фирмы, с ближайшего «почтового ящика», разве не он обходился село со спиртным в рюкзаке, предупреждая, чтобы не обижали гостей? Но он понимал и то, что замкнутым староверам было все равно, кто приехал и надолго ли (коли разрешили поселиться, чего зря воздух языком молотить?!), лишь бы новые люди не лезли в душу, а главное — не посягали на их налаженный быт. А вот алкаши... чем больше с ними якшаешься, тем хуже. А Николай Иванович уже знал — «сарафанное радио» доложило: отпетые бездельники и болтуны села Весы не раз ходили к Феликсу и вместо того, чтобы гнать их с порога, милый, интеллигентный человек терял с ними драгоценное время, угощал их, терпел бессмысленные речи о России — видимо, полагая, что именно так повел бы себя истинный англичанин, наслышанный о загадочной славянской душе.

— И вообще, что это была за идиотская выдумка — выдать себя за англичан?! — Он обратился к Эле, дрожащей в глубине двора: — Он и в институте был таким же наивным, веришь? Ему только намекни, что собираешься к девушке, а денег на цветы нет... Тут же всучит займы — из нашей-то нищенской «стипы»... Отдаст, а сам потом ночами цемент грузит в порту...

— Хватит, — отвернулся Феликс и засунул наконец топорик ручкой себе за ремень брюк. Пальцы мерзли. Спрятал руки в карманы шубейки. — Хватит.

— Понимаю, от отчаяния на эту глупость пошли... И я, дубина, поддержал... Он и в институте вот так — то стенгазету выпустит... я же комсоргом был... Да где же, где эти бандюги, урки сраные?! — Николай Иванович выхватил из-за отворота тулупа наган и, не успев Феликс остановить его, жажнул в воздух. И, будто по этому сигналу, из-за кедров и чужой изгороди показалась, вслед за скачущими шарами света, машина.

«Нива» резко остановилась, Николай Иванович открыл дверцу и выбросил за шкирку на снег легкого, стонущего от страха Генку. За ним, оттолкнув переднее кресло, выпал Павел Иванович, и медленно выкарабкался Платон:

— Ну, чё, чё, чё?..

Все трое были в дым пьяны (или притворялись?). Эля, зарывав, кутаясь в тряпье, укывляла прочь, к сыну.

— Из-за чего сыр-бор, начальник? — Платон поскреб бороду и рыгнул. — Нас тут и во сне не было. Ни трактора у нас, ни ракетниц! Ой, бля, какая луна... как задница хорошей бабы!

Николай Иванович рывком схватил толстяка за грудки и приподнял. Но, захрипев, оттолкнул прочь, схватился за сердце.

— Н-наел же ты дерьма, Платон Потапов!..

— А сам?! — дерзко отвечал Платон, вставая со снега. — Только ты в буфетах райкомов-х...комов, а я — тут, из реки.. А результат?! Два сапога пара!

И впрямь: грузный, в расстегнутом тулупчике, раскинувши сильные кривоватые руки, он был сейчас очень похож на Николая Ивановича — разве что борода отличала.

— За что человека обидели?! — тихо спросил Николай Иванович, все еще давя на сердце под тулупом. — Да вы знаете, кто это?! Это... золотой, прекраснейший человек!

Феликс скривился, понимая всю бессмысленность начавшегося разговора, уйти бы к жене, но взгляд его словно прилип к трем бездельникам из села Весы. Генка стоял в облезлом пальто, без шапки, растирая уши и

облизывая белым языком губы. Павел Иванович грепетал, как нитка, опустив голову. Но это сейчас они так. Утром, пока спят хозяева, наверняка ловко и быстро прокрадутся в сумерках, чтобы поискать в выгоревшем доме — вдруг да что-то найдется на продажу, чтобы водки купить.

— Сволота, растленная партией родной!.. — бессильно кипятился Николай Иванович перед позевывающим Платоном. — Да это, может, неудавшаяся гордость России!..

— Я тоже... — был хриплый ответ.

— Ты?! — заорал Николай Иванович, перебивая Платона. — Ты, когда бригадиром тут был, — ты же миллионы наворовал... еще теми деньгами... У тебя во дворе одних моторных движков, как соседи говорят, штук сто — поломанных, целых... Ружей — не счесть... пять телевизоров в избах... А уж сколько тракторов, бензопил рассвал по родне — никто не знает. И несмотря на это — побираешься! Проглот! И дал же тебе Господь здоровья!.. Лучше бы вот ему... Он своими руками уже третий раз на голой земле строился. И ни у кого не воровал! Брал кредиты, возвращал... но сейчас-то как ему вернуть?! Суки!

— А мы при чем?.. — Платон тускло, как рыба, смотрел на городского начальника, метавшегося перед ним. О чем он думал в эти минуты?

Феликс впервые в жизни почувствовал искушение выхватить топорик и рубить, рубить, рубить, разрубить этот огромный комок мяса, провонявший водкой. И тут же сам себе сказал с горечью: «Это уже предел! Неужели сдаюсь? И становлюсь таким же быдлом?»

— Его спалили в Партизанском районе, его обидели под Новоселовом... И вы тут?! Я же точно знаю! Мы же с собаками проверим, по следам, пады весовские!

— Я тебе снова говорю, начальник, — вздохнул Платон. — Мы его не трогали. А кто?.. Народу в тайге много... Вишь, люди с ними тут как с иностранцами... может, душу им раскрывали... А эти веселились, хапая наши богатства.

— Какие ваши богатства?! Он хоть на копейку взял чего-нибудь вашего?! Дерево, жель, улы — все купил на свои! Помогает совхозу растения опылять... своими руками режет поделки... Сам косил рапс, на будущий год собирался рожь молотить. А что иностранца изобразил — так это его личное дело! Ты хоть марсианином назовись...

В разговор несмело встрял Генка «Есенин»:

— Если бы, если бы он сразу сказал, что наш... И что два раза уже его... Может, народ бы не тронул.

— Но вы же пили его водку, ели его хлеб! — Николай Иванович зажмурил глаза, не умея найти каких-то особых слов, которые повергли бы эту троицу в стыд и раскаяние. — Как могли, шушера?! А если не вы, дело еще страшнее — значит, даже в староверческом селе не осталось у людей святого! — Он повернулся к Феликсу и показал на него рукой, в которой до сих пор был зажат наган: — Этот парень изобрел прибор!.. кровь им разжижают, если у кого тромбы... Придумал, как из смолы-живицы лекарство варить — лучше хваленых американских, за которые долларами платим... Наши ребяташки из Чечни молиться на него должны, скажи, Санька?! — Он вспомнил про своего шофера, который стоял прислонясь спиной к машине, жуя жвачку и готовый в любую минуту помочь шефу. — Скажи этим подонкам! И только потому, что таких, как вы, подняли из говна и дали вам право выбирать во власть таких же болтунов и жуликов, он оказался не нужен России! В тайгу ушел... но и этого сделать вы ему не дали! Сами-то уже ничего не можете! Руки трясутся... Сопли текут, как Енисей на большом пороге!

Платон судорожно зевнул мохнатой пастью и ответил тихо, как-то даже вяло:

— Ты, начальник, не шибко... Я уж восемь слов насчитал, оскорбляющих мою личность. И свидетели есть. Посадить тебя не посадят, а на штрафок можешь налететь. У нас в стране демократия, свобода.

Николай Иванович словно бежал и об стену плашмя ударился.

— Да хоть пожалейте, собаки! — зарычал он. — Поднимите народ! Помогите отстроиться! Это ж за месяц можно сделать, если всеми силами...

— О чем вы?! — наконец опомнился Феликс. — Уже решено — мы уезжаем. — Он подумал, что придется, видимо, продать одно старое свое изобретение канадцам, давно просят, — иначе где денег взять? Может, хватит расплатиться с половиной долга...

Платон, тяжело сопя, молчал. Генка — пухлогубая мумия — тер уши и кивал то ли Феликсу, то ли Павлу Ивановичу, который что-то шипел рядом, постукивая от холода стальными зубами.

Над сизой, над желтой, над белой тайгой восходила яркая плоская луна.

Николай Иванович вдруг усмехнулся и кивнул Генке:

— Это же ты, Гена Шастин? Который стишки кропает?

— Я, — замер Генка «Есенин».

— А ты знаешь, что у тебя двоюродная сестра, которая в Ленинграде жила, уехала лет десять назад во Францию, вышла замуж и померла... Ты ее наследник. Миллионов пять франков твои.

Генка откинул от мерзнувшей головы руки и аж помертвел. Николай Иванович глянул на Платона, неуверенно разинувшего рот, на обомлевшего Павла Ивановича и с треском расхохотался:

— Поверил?! Фи-ига тебе! Даже если бы у тебя была богатая родственница, даже мать была бы жива, разве бы она что оставила такой мр-рази?..

— Ну хватит, — буркнул Феликс. — Идемте в дом... то есть в баню. Не вышло у нас любви... Может, так и надо. Просто я таких людей больше к себе за стол не посажу.

— Посадишь! — с горечью возразил ему Николай Иванович. — В том-то и беда, что посадишь.

— Нет, больше нет. — И Феликс обернулся к Платону. Голос у него был еле слышный. — Только если вы еще здесь появитесь, пока мы здесь кантуемся, сожгу все ваши четыре дома. Надеюсь, понимаете, Платон Михайлович, Геннадий Николаевич, Павел Иванович... я никогда зря не говорю.

— Еще по отчеству с ними!.. — Городской гость вспомнил о нагане и вскинул его над головой. — А ну отсюда!.. Геть!.. Увидимся на следствии. Обещаю как минимум по пятаку... За что — наскребем!

Первым рванул и тут же упал Генка, на него наступил Павел Иванович, и они, отталкивая друг друга, побежали в сторону деревни. Платон, пошатываясь, но сохраняя достоинство, остался на месте, зло посапывая ноздрями внутри бороды, похожей сейчас на черную радиотарелку сталинских времен, которая вот-вот объявит что-то чрезвычайно важное.

— Сами виноваты. Иностранцы не иностранцы, а вечно перед Западом на цирлах. А мы — русские.

— Что?! Нет, сука, это вы — иностранцы... р-рать, которую Марк поднял в России. На немецкие же деньги! Что-то у себя они там не сделали революций! Люмпены, ворюги, это вы — иноземцы на погибель России. А мы-то как раз — еще живой корень ее. И я лично вот этими руками помогу Фельке отстроиться в четвертый раз! И сам, сам денег займу! И охрану найдем — вон Санька подберет парней! Только увидят прощелыг вроде тебя, с протянутой рукой у забора, будут стрелять на поражение! Пш-шел, говорю!

Платон, ухмыляясь, постоял еще несколько секунд и побрел наконец прочь — пузатый, мощный, несмотря на свои шестьдесят пять или семьдесят лет, мимо плотбища с торчащими из белого снега черными руками коряг, в сторону села, где уже и окна не светились — народ спал.

— Ну, посидим же с нами? — снова попросил Феликс. — В гараже у меня виски оставалось... может, пролезем через обломки.

— Что?!. — Николай Иванович щелкнул пальцами водителю. — Когда мы в командировке, у нас этого добра... Да, и стаканы.

Шофер достал из нутра «Нивы» бутылку водки, палку колбасы, два стакана и подал шефу.

— Подожди тут.

Николай Иванович и Феликс зашли в предбанник. В печи гуляло-гудело пламя, трещали дрова. Эля сидела напротив огня, обняв гитару. Мальчик внутри бани, на полке, кажется, спал.

— Гитару спасли? — удивился Феликс.

— Это Коля. — И Эля внимательно посмотрела в мясистое лицо гостя. — В честь тебя, получается, сына-то Феликс назвал.

— Ну, не добивай меня, Эля!.. — захрипел городской гость и, сняв голубую песцовую шапку, обнажил лысину во всю голову. — Но, истинный Бог, не я протрепался! В администрации малининской, верно, девки-паспортистки болтанули... Хоть и угощали мы их... А может, как раз наоборот — если бы холодно вошли-вышли, забыли бы про нас. А к людям по-человечески — и получаешь в морду... Что-то случилось в России — нельзя по-человечески.

Мужчины налили водку в стаканы и молча выпили.

— Ты не хочешь? — спросил Феликс у жены.

— Пусть, пусть выпьет! — засуетился Николай Иванович. — Она намерзлась.

Эля мужественно выщедила треть стакана. И они долго сидели, глядя в огонь. Мальчик Коля, лежа лицом к потолку, не спал — он смотрел на прозрачные капли смолы, выступившие по доскам, и думал о том, что когда он поступит в Кембридж и заработает переводами или как репетитор денег, то сразу же вытащит родителей из Сибири — в спокойной королевской стране их больше никто не обидит. И они сюда никогда не вернуться. Потому что эту страну навсегда заразили смертельной болезнью коммунисты.

От печки в бане и предбаннике стало жарко. Мужчины вышли на ледяной, хрустальный воздух покурить.

Над сказочной, в бело-серебряных узорах, тайгой плыла яркая круглая луна. И в ней как в зеркале отражалось лицо сатаны, страшного шута, облюбовавшего себе Россию. Его бы поймать да привязать к колу, чтобы сох без воды и, главное, без человеческой крови. Может, все-таки остаться здесь? Небось во второй раз не пожгут?

Где-то вдали пьяный, дурашливый голос тянул песню со словами: «Прости меня, мамка, беспутного сына...» Повторял и повторял одну и ту же строку. И вдруг Феликсу показалось — это Генка «Есенин», для того и кричит так истошно громко, чтобы слышал именно Феликс... мучит его стыд, скребет душу... И хотелось поверить в эту мысль, и страшно было поверить. Силы человеческие не беспредельны.



АЛЕКСАНДР ПОКРОВСКИЙ

*

В АВТОНОМНОМ ПЛАВАНИИ

* *
*

— Раз! Два! —
Это мы учимся сдергивать автомат
С плеча по хлопку старшины
До совершеннейшей одури
— Раз! — и уже передернул затвор
Потому что страшно ночью
Когда идешь на пост
Все кажется, что смотрит кто-то
Из-за спины
Я даже сейчас чувствую
Когда за спиной кто-то стоит
Всегда оборачиваюсь и смотрю человеку в глаза
А во сне до сих пор сдергиваю с плеча
По хлопку старшины
— Раз! — и уже готово
Скажи: «Два!»
— Два! —
Я уже выстрелил

* *
*

Я когда-то рыл могилу за 20 минут
На скорость
Так мы спорили
А мы спорили тогда на все подряд
На всякую ерунду
Кто проскачет быстрее на четвереньках
Или сильнее проорет
Потому что были курсантами
А тут убили офицера
И нас послали рыть
А когда долго роешь яму,
То ничего в ней скорбного нет,
И поэтому мы смеялись и шутили
И кидались друг в друга
Комьями глины,
Только когда привезли гроб и родню
И начались всякие крики,
Мы отошли в сторонку и надолго там замолчали.

* *
*

— Встать-сесть! Встать-сесть! —
 Старшина нас тренирует,
 Мы не приняли присяги,
 Мы не приняли, но знаем,
 Что приказы командира
 Или просто размышленья —
 Все для нас — веленье Родины,
 А старшина такой же, как и мы,
 Только он попал в училище с флота,
 А не просто из школы,
 И учимся мы с ним в одном классе,
 В том самом, где сейчас мы приседаем,
 А в ушах у меня ненависть стучит зелеными молоточками,
 А потом, через много лет, он бросится ко мне навстречу:
 — Саня! —
 А я никак не могу пожать ему руку,
 Потому что в ушах все еще — «Встать-сесть!»...

* *
*

А на пятьдесят шестые сутки
 В автономке
 Начинает казаться,
 Что все это происходит не с тобой,
 И люди все какие-то ненастоящие,
 А механизмы, —
 Придуманы кем-то.
 А потом дотрагиваешься
 До кого-нибудь
 Случайно,
 Чувствуешь — тепло,
 И отпускает...

* *
*

На Новый год
 Лейтенанты собрались у Машкина в общежитии
 И пили шампанское, как гусары, из горла,
 Сидя на краю открытого окна,
 Свесив ноги с четвертого этажа,
 А потом решили бутылки бить
 — Об чего?!
 — Об унитаза! —
 Раз!
 Первая же развалила унитаз до основания
 В мелкую крошку
 Полгода надоедали соседям:
 — Разрешите у вас облегчиться? —
 Летом пошли воровать унитаз на стройке,
 В городке ведь не купить,
 Обратились, надев унитаз Сереге Баженову на голову,
 Так просто удобнее,
 Так их, с мраморной головой, и взяла комендатура,
 Комендант выслушал эту историю и сказал:

— Отпускаю, — а помощнику своему объяснил свое решение так:
 — Пусть хоть гадят по-человечески...

* *
 *

Двоих размазало
 По переборке,
 Их послали сравнивать давление
 По вдвунной,
 Там дырку заделывали
 Ну и накачали, конечно, отсек воздухом,
 А они решили, что через переборочную дверь
 У них быстрее получится,
 Они летели по воздуху метров десять,
 Пока не превратились в паштет, завернутый в ветошь
 Я теперь просто отношусь
 К любой смерти,
 В том числе и к своей
 Собственной

* *
 *

Девушка в самолете рассказывает о спасательном жилете:
 Как надевать, надувать, куда дудеть,
 А я вспоминаю, что у нас их называли подосиновиками,
 Потому что оранжевые и сверху среди волн хорошо различаются,
 Очень удобно собирать.
 Трупосборниками.
 Потому что через пятнадцать минут в ледяной воде
 Сердце все равно останавливается
 У соседей при выходе из бухты всю швартовую команду смыло
 Одним ударом волны
 Так они даже ход не сбросили
 И не искали
 Зачем?
 И так когда-нибудь подберут

* *
 *

Не знаю, не знаю,
 Откуда берется одиночество
 Ты ведь не один
 Ты в море, на корабле
 И здесь еще сто человек
 И все вы всунуты в железную такую штуковину,
 Полную всяческих каверз,
 А она под водой
 Крадется
 И одиночество к тебе тоже подкрадывается
 Вот кольнуло вроде, вот еще
 А я знаю, как с ним бороться
 Нужно прижаться к чему-нибудь спиной
 Сильно
 Потому что оно подбирается
 Со спины

АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН

ВОЛОГОДСКИЕ ЛОЦИИ

Губернский город N

Провинциальный ампир в облупившихся деревянных колоннах.
Спортлото. Пиво — воды. Дискотека по субботам.
Просвечивающие светлокожие северянки.
Гостиница, где останавливался Чичиков.

Тишайшая река Сухона

То каменистые, то песчаные, все более хвойные к устью берега.
Крылатые распростерты над дворами дома, точно большие деревянные самолеты.
Мокрое дерево причалов.

Вместо путеводителя читаю лоцманскую книгу.

Плотник

Деревенский плотник ходил на три войны и воротился целехонек.
В тридцатые, хотя сам неверующий, отказался лезть на церковный купол рушить крест. И тоже обошлось.
В молодости цыганка подарила ему заговоренный перстень. Может, приглянулся или недоговаривает чего при старухе.
И теперь, в свои восемьдесят девять, степен еще. Потерял за жизнь всего ползуба, сломанного в голод о кобылью кость.
Такие же крепкие в избе лавки, стулья, стол — все самодельное.
Года два назад смастерил для себя про запас и просторный прочный гроб.
Хранил в чулане, но прошедшей зимой отдал помершему соседу.
Видно, пока не его черед.

Псалом

Старуха, когда девушкой была, пела в хоре в деревенской церковке. Верстах отсюда в семи.
В двадцатые годы ту церковь срыли.
И вот, говорят, порой с того места, где стояла она у кладбища, слышатся стало будто пение из-под земли. Женские голоса выводили псалмы...
Тамошний Мишка-активист, чтоб развеять вредную агитацию, отправился сам послушать. И — услышал!..

После он, рассказывают, умом тронулся. И был увезен в специально присланном автомобиле.

«И теперь иногда поют», — старуха крестится и затягивает тихий псалом.

На закате

Под высоким лесным берегом
по пустой реке
упорный буксирчик по кличке «Осетр»
тянет крытую баржу.

Перевозка скота.

Из ржавого железного нутра доносится разноголосое мычанье.
Словно из Ноева ковчега.

Тихое будущее

Опоки.

Крутая петля в прорытом рекой розоватом слоистом ущелье.
Самое красивое и гиблое для пароходов место на Сухоне.
А сколько торговых барж повыбрасывало в старые годы на камни под пятидесятиметровой стеной!

На вдающемся в излучину зеленом языке по-старушечьи дремлет на солнышке деревенька Пороги.

В сороковые тут была зона: Опокстрой.

Строили канал и шлюз, чтобы проводить мимо опасного места слабосильные суда.

Заключенные насыпали дамбу лопатами. Тачками свозили песок из карьера. Тесали бревна.

На плотях переправляли с высокого берега битый кирпич от разваленной церковки: когда-то она встречала у опасного места пароходы, и капитаны крестились на нее, миновав перекат.

Зеки жили в бараках и могли любоваться через реку отвесными срезами треугольных холмов, похожими на розовые египетские пирамиды.

«Сколько их было тут, сколько было! И там вон зона была, и еще там», — замахала рукой мелкая скороговорчатая старушонка, волокшая от берега пойманную в реке большую доску и задержавшаяся перевести дух.

«Южных каких-то пригнали, в ноябре. А зима была лютая, и еды никакой. Поначалу еще гробы делали, после стали просто в машинах возить, будто камни. В яму на угор. И то сказать, человек по тридцать иной день помирало-то!»

Судя по срокам, «южные» были из чеченцев или из крымских татар.

Шлюзы строили с 41-го, почти шесть лет.

В 47-м пустили.

Они простояли одну навигацию: весенним паводком дамбу смыло.

На моторке меня подвезли к развалинам шлюзовых ворот, гниющим в теплой заводи.

По бокам топорщилась наружу бревенчатая обшивка канала с остатками заполнявшего ее некогда щебня и битого кирпича.

Из коричневой воды высунулся, хватая воздух круглым ртом, серебряный лещик.

Створы уходили вверх переплетом тяжелых брусьев, свинченных на громадных поржавелых болтах. Они были чуть приотворены, и за ними открывалась дорожка стоячей воды с набившимся туда топляком, заключенная в нагретый солнцем коридор таких же гнилых свай и вываливающейся обшивки, уже поросшей ивняком и осокой. Точно ворота в тихое будущее.

Давешняя старушонка служила в зоне вольнонаемной поварихой.

В деревне доживают век бакенщики, речные водомеры.

Летом к ним наезжают городские внуки.

Потому по затянувшейся травой ущербине прежнего карьера пасутся две-три коровы и с десятков овец.

По коварной излуине, старым путем, осторожно пробирается небольшая баржа, отчетливо тарыхтя в удивительной солнечной тишине.

Небесная навигация

Ветер сплавляет по небу вереницы ватных плотов.

Status quo

Великий Устюг весь в церквях и в поленницах дров.

Статуя Вождя, выходящего из храма.

При доме престарелых действуют гробовые мастерские.

С деревянных мостков на реке бабы трут и полощут белье, не прерываясь с XIII века.

Мужики обсуждают подвиги Марадоны.

Станный край: за все время ни одной злой собаки.



ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

*

ГРИБНИКИ ХОДЯТ С НОЖАМИ

Хроника

ПУЛИ В ПЫЛИ

Пули валялись в пыли. Пули эти никого не убивали, разве что немножко, чисто морально. Они были свернуты из бумаги и залеплены пластилином, чтобы лететь, когда их выплевывают из трубки, через стену тюрьмы, украшенную выпуклыми крестами.

Я стоял под стеной и ждал своей «пули» — рецензии на мою последнюю рукопись.

ПАННОЧКА

Конечно, не сразу я дошел до такого состояния или, точнее, стояния. К этому все двигалось постепенно. В молодости я легкомысленно отрекался от сумы и от тюрьмы — и вот оказался с ними связан в зрелом возрасте.

Подул широкий ветер, покрыв рябью широкий невский разлив. Отсюда, спиной к тюрьме, отличный вид на ту сторону. Вот они, две главных «доминанты» нашей жизни, поднимаются за водной гладью: мрачный, слегка рябой гранитный куб Большого дома — и налево, за излучиной, желтые бастионы Смольного, «штаба революции», с прекрасным растреллиевским собором чуть на отшибе.

Да, раньше мы думали, что лишь две эти «доминанты» определяют нашу жизнь. Теперь добавилась и третья — здание из темного кирпича на другом берегу.

Помню, как в двадцать пять лет, уволившись из инженеров абсолютно «в никуда», я бродил одиноко, просто куда вели ноги. Для грустного моего настроения больше подходили пустынные улицы — видеть людей, бодро несущихся по делам, было нестерпимо. Постепенно я обнаружил целый район таких улиц — пустых, чистых, торжественных, несколько даже странных. Тут не было универмагов с орущей толпой, ни остановок с обезумевшими пассажирами. Хотя какая-то жизнь здесь шла — в окнах виднелись абажуры и даже цветы, но из подъездов никто не выходил, всюду было пусто, чисто и даже чуть строго.

Каждое утро я в волнении шел туда, смутно чуя, что именно в этой зачарованной стране ждет меня счастье.

Однажды я прошел длинную пустую улицу до конца и вышел на такую же пустую площадь под низким осенним небом. За ней поднимался прекрасный голубой собор, с колокольней, летящей в облаках, словно мачта. Чувствуя, что я близок к разгадке какой-то тайны, я пошел туда. За собором был сквер с высокими деревьями — ветер дул только в верхней их

части, стучали ветки. Гулко орали вороны. Грусть росла, становилась нестерпимой, и тут же чувствовалось, что ее разрешение где-то недалеко.

Я ходил в этот сквер регулярно, от осени до весны, и постепенно стал замечать, что здесь не так уж все безжизненно. Двор был окружен двухэтажным монастырским строением, и временами я замечал, что оттуда ходят весьма симпатичные ребята и девушки, абсолютно, кстати, не монашеского вида. Наконец, решившись, я пересек сквер, подошел к двери в начале строения, которая только что несколько раз гулко стукнула, и увидел скромную вывеску: «Обком ВЛКСМ. Отдел культуры». Я потянул за ручку — пружина была тугая, не каждому дано войти в культуру. Я поднялся по каменной винтовой лестнице — и вышел в высокий, светлый, закругляющийся коридор. На первой двери, белой, резной, висела табличка: «Инструктор отдела культуры А. В. Вуздыряк». Ну что же, я вздохнул, Вуздыряк так Вуздыряк. Пусть строгий товарищ поговорит со мной, объяснит, как мне жить, — не век же мне болтаться по улицам! Выдохнув, я распахнул дверь — и зажмурился. Огромное окно слепило желтым вечерним светом, а сбоку от него за столом сидела ослепительная красавица — черные очи, сахарные зубы, алые губы — и, улыбаясь, смотрела на меня.

— Давно гляжу на вас! — гортанным южным голосом произнесла она. — Все жду, когда же вы решитесь зайти!

— Вы... меня знаете? — Я был поражен ее добротой и красотой.

— Конечно! Вы талантливый молодой писатель!

Такое я услышал в первый раз именно от нее.

Сняв шапку, я вытер пот.

Да, с ликованием подумал я, а ты, оказывается, не так прост: удачно выбираешь места для грусти и уединения!

— Садитесь! — ласково пропела она.

С того дня моя жизнь изменилась — не сразу, правда, резко — сначала плавно.

— Я знаю, что вам нужно! Вам нужно поездить! — уверенно сказала она.

Она выписывала мне командировки, затем, обливаясь потом, я брал в бухгалтерии деньги и уезжал на пустой в это время года электричке не очень далеко — туда, куда она меня посылала: Тихвин, Бокситогорск, Приозерск. Устроившись в обшарпанной гостинице — все они были одинаковые тогда, — скромно ел в буфете, потом ходил по пустынным улицам. Все вроде бы осталось без изменений — правда, я ходил теперь вроде бы по заданию — и за деньги. И одиночество в этих маленьких городках вроде бы не было уже столь трагичным, как в Питере: здесь-то у меня и не могло быть знакомых...

Где-то перед восьмой поездкой Анна, как я заметил, стала проявлять недовольство.

— Теперь куда тебе? — Мы посмотрели на унылую, во всю стену, карту области.

— Да куда-нибудь подальше! — пробормотал я.

Она метнула на меня горячий, я бы сказал — страстный взгляд, если бы мне пришло такое в голову — в таком месте! Потом молча выписала путевку, и я побрел в бухгалтерию.

Выборг в тот раз действительно казался концом света: сырые холодные облака ключьями летели прямо по узким улицам, среди каменных старинных домов, удивительно грязных.

Поработав — то есть честно обойдя город, — я вернулся в отель. Сей-час — кипятыльничек, чайку!

Радостно сопя, потирая ладошки, я поднялся к номеру — и обомлел.

— ...Ангела?! — пробормотал я (вот тебе и чаек!).

— Я же просила тебя, — проговорила она дрожа — наверное, от холода? — не называть меня этим дурацким именем.

— Да... Анна. Ты как здесь?

— Ты по-прежнему собираешься изображать идиота?

Резко зарывав, она рухнула в мои объятия, которые я еле-еле успел соорудить.

— Гостосмыслов мне твердо обещал! — сидя в постели, деловито говорила она. — Как только начнет строиться сто шестнадцатая серия, квартиру мне дают точно... Нам! — Она ласково взъерошила мне волосы.

Да... белоснежными у нее оказались не только зубы...

— Но ведь далеко еще... сто шестнадцатая, — с тихой надеждой пробормотал я.

— Дурачок! Уже сто пятнадцатая строится! — улыбнулась она.

Да, с такими темпами строительства пропадешь...

Ночью я вдруг резко проснулся от какого-то тихого скрипа.

Широко раскрыв в темноте очи и вытянув прекрасные обнаженные руки, она медленно приближалась (из ванной?) ко мне.

Панночка! — вдруг с ужасом понял я.

Промолчав три часа в обратной электричке, я наконец решился и на Финляндском вокзале сказал:

— Знаешь... я никуда больше не поеду.

Через неделю она позвонила мне домой и радостно сообщила, что я включен в группу творческой молодежи, едушую в Будапешт.

Поезд шел через Карпаты. Вместо квелой ленинградской весны кругом была весна горячая, быстрая. От прошлогодней травы на оттаявших склонах валил пар, под мостами неслись бурные, вздувшиеся реки с задранными кусками льда. На нагретых солнцем платформах стояли почти уже заграничные люди: из черных тулупов торчали снизу тонкие ноги в обмотках, а сверху — веселые, носатые лица в кудлатых серых папахах. Все незнакомо!

И вот — впервые в жизни мы проплывали через границу. Медленный гулкий стук колес в такт с нашими сердцами, узкая, абсолютно пустая река — обычные реки такими не бывают.

Только с краю, почти под самым мостом, двое пограничников жгли ветки, и дым летел прямо в поезд.

— Поддерживают дым отечества, — проговорил остроумный Саня Бурштейн, и все, включая руководство, засмеялись.

Гулкий стук на мосту оборвался, мы словно оглохли — стук сделался еле слышным. И в окне проплыл маленький домик — абсолютно непохожий на наш.

Она сильно сжала под столом мою руку.

— Скажи — ты счастлив? — прошептала она.

— Скоро я приду! — шепнула она, быстро оделась и вышла, почему-то, как взяла тут в привычку, гулко повернув ключ.

— С какой это стати, интересно? — вдруг всполошился я.

Я медленно оделся, подергав, открыл окно и ступил на карниз. Поддерживаясь за лепные листья, а также прекрасные груди наяд (гостиница в стиле модерн), я переступал по карнизу... куда? Испуганно оглянувшись, я увидел, на какой высоте над Дунаем я висел. Почти падая, я ухватился за градусник на следующем окне.

В тускло освещенной комнате под низким бронзовым абажуром сидело за круглым столом наше руководство, включая панночку. Перед ними

на столе лежали пачки незнакомых денег, они то сгребали их в кучу, то снова разгребали. Чувствовалось — шел горячий спор.

Я толкнул форточку (стеклянный лист и цветок были изображены на ней) и протянул руку в комнату.

— Дайте мне денег! Дайте! — закричал я.

После этого я был отлучен от нее, и мне была предоставлена полная свобода, которая, как предполагалось, окажется постылой. Но вышло далеко не так.

Я дозвонился моему венгерскому переводчику, и мы радостно встретились. Оставшуюся там неделю я гулял, как Хома Брут перед смертью.

Когда наши финансы истощились, Ласло сказал, что мне положена валюта в одном издательстве за перевод моих рассказов. Еле стоя на ногах (от усталости), мы пришли туда. Неожиданно перед нами оказалось препятствие почти непреодолимое — открытый лифт!

Он шел откуда-то снизу: открывалась сначала лишь узкая щель, слепящая светом, потом она увеличивалась — торчало уже пол-лифта, три четверти лифта, и вот он был открыт весь, совпадал с рамой, нужно было бросаться — но просвет уже начинал уменьшаться!

Ф-фу! — утирая холодный пот, мы отступали. Понемногу начинал выходить следующий — но и тут мы пропускали момент для броска! Так и не сумев себя преодолеть и решиться попасть в лифт, мы долго шли по лестнице на четырнадцатый этаж, наконец в маленькой белой комнатке получили деньги и радостно кинулись в лифт, когда он торчал уже только наполовину, и благополучно спустились.

Потом в русском магазине я купил Ласло меховую шапку — и он сидел в ней во всех забегах, где мы были, даже не снимая с нее бумаги и бечевки. Потом мы явились в отель — пора уже было прощаться. Он приблизил ко мне свое круглое, очатое, бородатое лицо, и некоторое время мы смотрели друг на друга в упор.

— Большой писатель... огромная морда! — выговорил Ласло.

Наизусть он знал не очень много русских слов — только самые выразительные.

В Питере, едва отдышавшись, я узнал, что неугомонная Анна готовит следующую поездку творческой молодежи, на этот раз в Гватемалу, где мы должны как бы заниматься раскопками, а на самом деле — носить оружие коммунистическим повстанцам. Анна летала как на крыльях — остановить ее и что-то объяснить было невозможно.

— Все! Панночку уже не остановишь! — говорил Сашка Бурштейн.

Кстати, она знала, что все заочно называют ее панночкой, но относилась к этому благосклонно, думая, что ее сравнивают с какой-то прекрасной полячкой шляхетских кровей. К счастью, ей все недосуг было взяться за Гоголя, но то, что там есть прекрасные панночки, она знала точно.

— Прошу, не называйте меня панночкой! Ну какая ж я панночка? — кокетливо говорила она.

Из повести «Вий»! — хотелось сказать порою, но я не говорил.

Однажды, проснувшись дома в необычную для меня рань, из бодрой утренней передачи я узнал, что дома сто шестнадцатой серии строятся уже вовсю!

Надо было на что-то решаться. С такими темпами строительства — мне не уйти! И кто в здравом уме отказывается от Гватемалы? Последняя надежда была лишь на мой не совсем здравый ум.

Кстати, стоило заметить, что с этими поездками моя литературная деятельность как-то сомлела, бурные посиделки молодых гениев в Доме пи-

сателей на улице Воинова иссякли. Видимо, дело было в том, что все мрачней надвигались тяжелые восьмидесятые годы: мало интересуясь политикой, я чувствовал это нутром. И на бытовом уровне. В том же самом Доме писателей молодые перспективные официантки, разуверившись в нашем финансовом будущем, все тесней смыкались с весьма платежеспособными в ту пору офицерами из Большого дома, расположенного ну просто рядом. Те тоже очаровывались нашими официантками — и нашим домиком заодно — все сильнее. В конце концов нас просто перестали туда пускать. «Проводится мероприятие!» — и стройными рядами проходили военные. Чувствовалось, они слегка побаивались и, шныряя в нашу дверь, испуганно оглядывались на нависающую рядом громаду Учреждения — но легкий риск придает, как известно, дополнительную сладость.

Все! — стоя у двери Дома писателей, закрытой по случаю очередного такого «мероприятия», вдруг понял я. Сейчас — или никогда!

Я стал дергать изысканную дворцовую дверь, отгораживающую меня от положенного мне счастья, захваченного другими. Выглянула молодая и холеная администраторша, отмахнулась ладошкой. Я дернул сильнее. Глянув на меня гневно, она метнулась в свой «скворечник» и стала накручивать диск, вызывая, видать, милицию. Все бы и кончилось, наверное, мирным посещением пикета, но тут за стеклом показались сытые, пьяные военные — от сытости и пьянства у них чуть не капало с носа — в обнимку с нашими официантками.

— Ну все!

В ушах послышался какой-то отдаленный звон. Может быть, потому что я вошел боком в стеклянную дверь. Обсыпанный стеклами, как алмазами, я возник перед изумленными гуляками и, схватив за горло одного из них, стал трясти:

— Что ты здесь делаешь? Иди к себе!

Стекла ссыпались с меня с мелодичным звоном.

Полное счастье я ощутил только в милиции, радостно ходил по грязному помещению, предлагая мильтонам продолжить почему-то вставший тут ремонт: «Ну, давайте! Где у вас кисть?»

— Сиди, паря! — Мильтоны благодушно отмахивались.

Но тут явился человек в штатском, весьма почему-то взвинченный, и стал что-то нашептывать дежурному.

Дежурный подошел ко мне, почесывая в затылке.

— Вот так вот, паря, — забирают тебя от нас! Тут мы, как говорится, пас!

Меня везли в темном «газике», ликование мое уже слегка уменьшилось, но все равно временами накатывала радость: все-таки ушел! Гул улицы резко оборвался — мы въехали внутрь Большого дома.

— Ждите здесь! — Обращение было на редкость вежливым.

Я сидел, тупо рассматривая табличку: «Следователь Н. Ф. Богорад».

Сейчас я войду туда, и суровый седой мужчина объяснит мне, как надо жить. Я сосредоточился.

— Входите!

Я открыл тяжелую дверь — и зажмурился: кабинет был залит солнцем с Невы, комната была оплетена какими-то лианами, а за столом сидела тоненькая синеглазая девушка и смотрела на меня.

— Наконец-то! — радостно воскликнула она.

Что — «наконец-то», подумал я.

— Как я рада, что вас привезли!

— ?!?!?!

— Вы просто герой: давно надо было проучить этих нахалов. Наши мальчишки последнее время стали много себе позволять!

Глаза ее сияли. Я жмурился. Гибко согнувшись, она взяла мой протокол с нижней полки. Что-то власть ко мне поворачивается все какой-то не той стороной! — успел я подумать. А она уже рвала протокол...

Эту историю за неимением места я разворачивать здесь не буду, скажу только, что все мои предчувствия сбылись. Через месяц мы гуляли с ней по тому берегу Невы (как раз возле стен тюрьмы, но тогда я не придал этому значения), и она вдруг рывком затащила меня в глубокую нишу и стала расстегиваться.

— Как? Прямо тут? — Я покрылся потом.

Она расстегнула одну за другой пуговицы рубашки и вдруг — запустила туда руку и вытащила... какие-то листки — и, сияя, протянула их мне.

— Господи! — С изумленьем я рассмотрел мои рассказы, затерявшиеся где-то по редакциям... в укромном, оказывается, месте.

— Спрячь! — шепнула она.

— Но у меня... вроде... есть экземпляры, — пролепетал я.

— Зато их нет больше у нас! — воскликнула она.

Надо было бы восхититься подвигом разведчицы, но скажу честно: я устал. Все больше меня тянуло назад, в мою семью, оказавшуюся вдруг довольно уютной, особенно с рождением дочки.

Спасибо советской власти: укрепила мою семью!

Испуганно пометавшись среди двух сил, страстно сжимающих меня, я понял, что выдернуть меня из капкана может лишь третья могущественная сила, имеющаяся у нас... а четвертой и нет.

Третья сила, не уступающая двум главным, — военно-промышленный комплекс, подводный флот, к которому, слава богу, я имею (имел) отношение. Многие кореша-студенты занимают теперь посты.

— Ты что? Рехнулся? — обрадованно вскричал Сенька Барон, уже замзавлабораторией.

И через какой-нибудь месяц я проплывал на мостике атомной подводной лодки, замаскированном под сарай, как раз по тому разливу Невы, возле которого стою сейчас.

А тогда я выплыл на свет из тьмы под Литейным мостом и увидел над водой две громады, два колосса, желающих меня скушать, — Большой дом и Смольный собор. Я подождал, пока медленно движущаяся лодка окажется примерно посередине между ними, и послал тому и другому увесистый — от сгиба локтя — привет.

Потом я сделал шаг в рубку, взял микрофон:

— Шило, Шило! Я — «Аспид-два»!

Аспида им было не взять — во всяком случае, на данном этапе исторического развития... К несчастью, я совсем забыл тогда про тюрьму, проплывающую за спиной. Месть ее подкралась незаметно — и вот я стою под ее стенами, ожидая, когда мне выплюнут оттуда рецензию на мою последнюю рукопись... и панночка тянет ко мне с того берега свои дивные руки.

Я страстно надеялся тогда, что ложусь на дно ненадолго. Действительно: не прошло и десяти лет, как мы вынырнули — вместе со всеми моими ровесниками сразу. И нас было уже не потопить.

Примерно в один и тот же год мы целым скопом появились в издательстве, и тогдашнему директору, Пантелеичу, было нас уже не унять. И он рассудил здраво: других никаких и нету... а эти, собственно, чем плохи? Мы с ходу сдружились. На первой же пьянке Пантелеич рассказал нам, что сделал такую карьеру чисто случайно: зашил партбилет в трусы и, когда потопили их эсминец, был единственным, кто выплыл с партбилетом. Мы понимали, что это всего лишь байка, санкционированная наверняка высшим начальством... но нам она подходила: мы тоже выплыли!

— Вчера тебя, мудака, целый день в Смольном защищал — хотели твою книгу из плана выкинуть.

— Спасибо, Пантелеич! С меня приходится!

Главная заповедь Пантелеича была — водка бывает лишь двух сортов: хорошая — и очень хорошая!

От кого он там защищал-то меня? — тревожили мысли. ...Не от панночки ли?

Но хорошее, как известно, гибнет чаще всего от рук прекрасного. Прошли годы, и появилось новое поколение литераторов. Эти — уже прямо из аудитории. Естественно, что полуграмотный директор (или прикидывающийся таким) их не устраивал. И нам как-то было стыдно его защищать, с партбилетом в трусах, в наше-то демократичное время.

Сначала сюда прорвался критик Гиенский, прозванный так изменением всего одной буквы фамилии — за то, что питался исключительно трупами классиков — живого не признавал. Однако сделался знаменем перемен — и ворвался на должность главного редактора, при уже слабеющем сопротивлении обкома... Ура!

В зале издательства, где мы заседали теперь почти непрерывно (имели такую возможность — даже удивительно вспомнить теперь!), упорно курсировали слухи, что дни Пантелеича тут сочтены.

Известный балетный критик С. (известный особенно тем, что, входя в демократическую общественность, имел странные связи и «там») авторитетно шептал нам, что «там» вопрос этот уже решен и директором издательства назначают... Аристархова!

— Но Аристархов же... известный балерун! — изумился Бурштейн.

— И он к тому же... — проговорил я.

С. кивнул многозначительно: и такое можно теперь.

Просто голова шла кругом от столь дивных перемен!

— Есть решение: ставить не аппаратчиков, а просто — интеллигенцию! — вещал С.

— Поразительно! — восклицали мы.

Дверь заскрипела пронзительно — и вошла секретарша Пантелеича — заплаканная, но суровая.

— Новый директор... появилась! — проговорила она. — ...И требует вас! — Ее костлявый перст уперся в меня.

— Ладно... — проговорил я. — Поднимите мне веки — я посмотрю.

— ...Панночка! — воскликнул Бурштейн.

БОЛОТНАЯ УЛИЦА

Кстати, балетный критик С., абсолютно не растерявшийся от этой неожиданности, оказался полностью в курсе и рассказал нам о *появлении* Анжелы (панночки) в нашем городе в те годы, когда никто еще ее не знал.

Первым — как ему и положено — увидел ее сам С. из окна своей комаровской дачи и был сразу поражен: во-первых, ее красотой и, во-вторых, нелепостью и яркостью ее одежды — настоящие комаровцы так не одевались, предпочитая блеклое.

Красавица толкала перед собою коляску, и С., пристально вглядевшись, узнал коляску Порай-Лошицев: уже четвертое поколение академиков выросло в ней. Ясно — их новая нянька. Но — какая! Откуда она?

С. интеллигентно (это он может) вышел на тропинку и добродушно пригласил фею зайти «по деликатному делу». С. умеет выглядеть таким старым и простодушным, что никакие мысли об опасности — в связи с ним — даже не приходят в голову... и совершенно напрасно.

Замерзшая в непривычном для нее климате, Анжела простодушно — но абсолютно мрачно — вошла.

— Извините... но не возьмете ли стирку? Иначе моя холостяцкая берлога превратится в бедлам!

— Возьму! — мрачно глядя в угол, проговорила Анжела.

Критик стал сбрасывать в центре гостиной грудой белье (деликатные вещи решив пока не давать) и попутно непринужденно, по-стариковски расспрашивал: кто она, откуда такая?

Анжела отрывисто отвечала, и постепенно составилась полный портрет. Они сбежали сюда с женихом-грузином от его родителей, которые возражали против межнационального брака. Они устроились в санаторий «Волна» — сначала как бы отдыхающими, потом рабочими, — и вскоре жених ее бросил, сказав, что против родителей не пойдет. Анжела гордо осталась и теперь стойчески несла свою беду.

Вернув белье в точно указанный срок, Анжела взяла плату самую мизерную, мрачно настояв на своем, но следующую партию брать отказалась, не называя причин.

И она исчезла. Ее явления на дорожке — единственная яркая картинка хмурого дня — прекратились.

Появилась она через месяц, уже без коляски и, судя по отрывистости ответов, куда-то спешила. С., не знающий поражений, все-таки заманил ее в дом, снова попросил о стирке — и она, подумав, кивнула. С. стал обрательно кидать на пол белье, Анжела сосредоточенно связывала его в узел, и тут С., как он выразился, рухнул, увидев на ее пальцах два шикарных перстня с неплохими камушками. С., сокрушенно воскликнув: «Старый дурак!», стал отчаянно вырывать у нее свои кальсоны — но Анжела абсолютно холодно упаковала их и, сказав, что все принесет точно в срок, удалилась.

Вскоре она оказалась студенткой университета и одновременно — что было почти невероятно — инструктором Отдела культуры обкома ВЛКСМ.

Как она взлетела? Загадка! С. утверждает с пафосом, что, исчезнув с его улицы, Анжела продвигалась вовсе не «узким местом вперед»: после измены жениха-грузина все мужчины долго ей были отвратительны. В этом С. клялся... уж если ему!.. когда Анжела принесла белье в последний раз, С., увлеченно рассказывая о балете, пытался показать ей несколько дуэтов — и был отброшен с яростью.

— Нет, — эффектно заканчивал С. эту историю. — Я больше чем уверен, что она и «там» стирала... Но на каком уровне?!

Эту историю я вспомнил неожиданно, возвращаясь из города, стиснутый в электричке.

Да, съездил неудачно... Ну а чего ж ты хотел?

Главное, что панночка явилась в издательство вовсе не с мстостью, наоборот — полная светлых надежд! И что мы с нею сделали?

Тогда, вызвав меня первого, она размашисто, по-партийному расцеловала меня.

— Кто старое помянет... — и уже разливала коньяк.

— Представь своим бандитам! — через четверть часа добродушно попросила она.

Войдя на редсовет, она вольно, вовсе не по-партийному, уселась на подлокотник кресла, эффектно подчеркнув божественное бедро.

— Давайте по-простецки! — проговорила она.

То, что она предложила, ошеломило даже и нас, уже обреченно ждущих чего-то невероятного.

Совместную нашу работу она предложила начать... с публикации секретных документов Смольного, которые ей удалось как-то вытянуть, —

показывающих, как сказала она, самые неприглядные стороны партийной жизни!

— Делать так делать! — сказала она решительно. — Сор без остатка выметать!

— И сколько... его? — пробормотал Гиенский.

— Кого?

— Этого... мусора?

— На три года хватит печатать! Ну, что пригорюнились?

Она явно была разочарована нашей квелостью! Семьдесят лет они ныли, что им не дают дышать, и вот только пахнуло свободой — сразу в кусты?!

Все это читалось в ее взгляде.

— Но у нас... годовой план! — пролепетал Гиенский.

— Читала я ваши планы! — Движением кисти панночка как бы сбросила их со стола. — Все чушь, приспособленчество... Ну как?

Расходились мы хмуро.

— Опять хотят задолбать нас своими декретами, — проворчал Сашка.

— Пусть даже и тайными, — добавил я.

На следующих редсоветах она настаивала на своих огневых планах, презирала нас, называла «клячами режима» — мы понуро вздыхали. Кончилось это тем, что кто-то (видно, особенно переживавший за свою книжку в плане) написал на нее анонимку в Смольный — и анонимкой этой она презрительно размахивала перед нами уже на следующем редсовете, оказавшемся последним.

Ясное дело, что неудачно съездил... А ты бы как хотел?

Поняв, что тут больше мне не светит — ни аванса, ни пивной, — я сдал свою квартиру знакомой финке и уехал, лишившись квартиры, с семьей на дачу... хотя и на даче этой все вовсе не так, как вы думаете.

Просидев там в сырой комнате фактически без стен, я решил все же рвануть в город: а вдруг я что-то пропускаю и что-то там идет?

Гиенский сидел теперь в маленькой клетушке (в бывшем роскошном кабинете главного редактора был чей-то солярий, стояли — я заглянул — лучистые гробики, в которые ложились голые люди). Гиенский — как и все мы — успел ухватить власть как раз в тот момент, когда она абсолютно ничего уже не значила. Кабинет, увы, не тот... не говоря уж о машине.

— Ты слышал, что сделала эта дура?

Так начинался теперь каждый наш разговор.

— Забрала фактически издательство себе! Приватизировала! И коллектив единогласно выбрал ее директором! Всё!

Единогласно — значит, и ты проголосовал?

Естественно, что коллектив, изголодавшийся по соляриям, выбрал ее! Гиенский тайно надеялся, что выберут его... но за что должны его выбирать... за снобизм и высокомерие? Это ценят лишь близкие друзья.

— Все ваши папки, кстати, выбросила на помойку! — мстительно (за что мстит — непонятно) проговорил Гиеныч.

— Как — на помойку? На какую?

— Извини... ты за кого меня считаешь?!

— Ах да...

Оскорбленный вид Гиенского говорил: ты можешь считать меня кем угодно, но, надеюсь, не человеком с помойки?

Кстати, более чем уверен, что тут они сблизилась — он тоже выкидывал наши папки... Всех ненавидит, кроме классиков... и тех терпит лишь потому, что их не скovyрнуть.

— ...И когда я возражал против этого, знаешь, что она мне ответила?

— Что?

— «А что хорошего я видела от вас?»

Да-а... тут она права... Хорошего мало.

- И... что? — выдавил из себя я.
- И — все. — Гиенский поднялся.

Кстати, в дальнем углу электрички я увидел, придавленным, его... Но мы пугливо отвели взгляды... О чем еще говорить?! Немного отдохнуть можно?!

Отдохнешь тут, обязательно!.. Не то место!

— Лучший писатель современной России!

Мы с Гиеной еще больше скукожились: речь явно не о нас!

Перед электричкой я еще забежал в свою квартиру (бывшую), выпросил у финки двести долларов за аренду — на месяц вперед. Кайза приехала сюда изучать стрессы... но боюсь — не многовато ли будет?

— Благодарю вас! — небрежно расстегнул боковую молнию на сумке, кинул бумажки... кстати, надо переложить... но момент выбрать, когда бы никто не смотрел...

— Лучший писатель России!

Прямо в ухо орет этот офеня с буйными льняными кудрями, прижатые ми берестяной ленточкой, и пузатой сумкой на боку... Увесисто пишут!

— Афанасий Полынин!

Господи! Никогда не слышал.

Портрет Полынина... мужественные щеки... прямой, честный взгляд... но почему-то сквозь черные очки.

— Необыкновенно увлекательный, правдивый роман...

Встречный поезд, прогрохотав, заглотил часть рекламы — но осталось немало:

— ...Честный, принципиальный клопец, ненавидящий несправедливость, сызмальства связался с ворами... в восемнадцать лет несправедливо получил срок...

Снова встречный грохот — но, увы, краткий...

— ...Выйдя, долго страдал от всеобщего недоверия, снова был вынужден красть... но потом прозрел, ушел в монастырь. Там совершил групповое изнасилование — дьявольское наваждение, снова сел — и окончательно уже прозрел. Дешевле, чем на складе, — всего десять тысяч.

Я вдруг представил себе, что мог бы съесть на эти деньги, глотнул слюну.

Полынина, что интересно, активно брали. Такой коктейль — святости в сочетании с дьявольскими наваждениями — всех устраивал.

Я тоже потянулся к сумке, но — открывать молнию — пред всеми, мелькать долларами в кошельке? Нет. Афанасий Полынин не стоит такого риска... тем более тут поблизости вполне могут оказаться его ученики.

Гиенский вслед удаляющемуся Полынину скорбно вздохнул. Но вышел, однако, вместе с толпой зажиточной интеллигенции в Комарове — зацепился все-таки! — а я поехал дальше.

После ухода думающей части общества в вагоне началось полное безобразие: замелькали бутылки, народ задымил — въезжаем в зону полного хаоса, все верно!

Поезд стоял в Зеленогорске три минуты, надо успеть выскочить — но сделать это не так уж легко: какой-то шуплый тип, в затоптанных опорках, в грязных брюках с бахромой, вдруг остановился в проходе и неторопливо стал чиркать спичку за спичкой. Именно сейчас ему нужно закурить! Знает, что позади толпа, слышит, что двери уже закрываются, но стоит и неторопливо чиркает: ведь закурить же надо — неужели не ясно? А еще говорят, что мы угнетены! На самом деле — самая свободная страна в мире, делаем что хотим! Где еще возможно такое?

Наконец задымил, вразвалку, неторопливо двинулся, не ускоряя шаг... еле я успел выпасть вслед за ним — и двери захлопнулись. Во жизнь!

Вокзальная площадь Зеленогорска оправдывала худшие опасения: обломки ящиков в грязи, обрывки коробок, всюду закутанные сразу на все времена года бомжи, небритые кавказцы, визгливые бабы.

Протолкавшись, я стал пробираться через болото на свою родную Болотную улицу, хотя вовсе не хотелось туда спешить.

Да, навряд ли мы разбогатеет в ближайшем будущем при такой бережливости: прямо посреди болотца валяется плоско упакованный финский ларек — кто-то бросил и забыл, и теперь эта площадка используется, так сказать, для тусовок. Местная достопримечательность, дед Троха, держит навтыяжку руку со стаканом — и вдруг спохватывается:

— О, ет-ить! Вроде бумажник с пенсией в бане забыл!

— Ну? — Бульканье на мгновение прерывается. — Сходишь?

— А ну его на ...! Наливай!

Широкая душа!

Родная Болотная улица извивалась среди чахлых кустов, и вдали все величественнее вздымалась доминанта этой улицы: двухэтажный дом бывшего начальника местного ГАИ Маретина — о «крутости» его даже и после смерти ходят легенды. Зато два его сына, Паша и Боб, полностью отомстили бате за тяжелый характер, приведя некогда величественный его дом в полный упадок: дом был буквально растерзан ими напополам, водопровод уничтожен вообще (поскольку имелся лишь в одной половине), электричество еще теплилось — но зато почти полностью отсутствовали стены — лишь опорные столбы: каждый из братанов собирался со временем расширить располовиненные комнаты в хоромы, но покуда — лишь сломаны стены. Все это напоминает работы известного русского художника Кабакова, потрясшего своими растерзанными коммуналками цивилизованный мир... Но я пока что по хаосу не стосковался!

С тяжким вздохом открыв калитку, я начал спускаться в ад. С Бобом мы познакомились три года назад, когда он на чудовищном автобусе, свежеприватизированном в мехколонне, перевозил меня с семейством с писательской еще дачи в Репине. С тех пор дача перестала быть писательской, и я рассказал об этом в лирическом очерке. Могу сказать, что очерк этот имел сильный резонанс, особенно среди Боба: он явился ко мне глубокой ночью, бледный и растерзанный, с куском газеты в руках.

— Что делают, суки! Так живи тогда у меня!

Я не мог не оценить его порыв: прочитав это уже перед сном, он взволнованно кинулся в город — один, собственно, из всех моих знакомых и друзей.

Требовалось только дать четыреста долларов — для расширения нашей — он уже называл ее нашей — комнаты, и эти деньги, на беду мою, у меня тогда как раз были.

Трудясь словно каторжный, Боб к нашему приезду гостеприимно разрушил стены, сохранив лишь террасу и старый пол. Трудно передать наше впечатление, когда мы на трясущемся, дрыгающемся автобусе въехали в его усадьбу.

— Как же так, Боб? Мы же договаривались, — пробормотал я.

Боб ответил великолепно:

— А-а! При этом правительстве разве можно что-нибудь сделать?

Жена заплакала.

И теперь, по прошествии месяца, мало что изменилось здесь. Разве что автобус, бесивший Боба непослушанием, прекратил свое земное существование. Вырванные сиденья притулились у сарая — там Боб любил предаваться философским размышлениям, сидел там и сейчас, прямо под дождиком, как истинный философ, не замечая мелочей. На месте будущей стенки Боб приготовил к моему приезду композицию в духе раннего Рау-

шенберга: на топчане привольно раскинуты рваные кальсоны с торчащими из ширинки зазубренными пассатижами и все это щедро залито липкой сгущенной из опрокинутой банки... Неплохо.

По всему двору, как и месяц назад, были раскиданы бревна с ярко-желтыми спилами, мокнущими под мягким дождичком.

— Боб, но мы же договаривались, что ты распилишь и уберешь! Сколько можно?

Боб долго, словно не узнавая, глядел на меня.

— А ты что-нибудь понимаешь? Дрова дышать должны!

— Хватит, уже надышались! Пора и под навес!

— Может, скажешь еще — как?

— Электропилой твоей!

— Пилой?

— А что? Ты ж ее показывал! Где же она?

— А это ты спроси у Серого! — оскорбленно произнес Боб.

— Почему я должен спрашивать у Серого? Это еще кто?

Боб на минуту задумался.

— Нет, без сильной руки порядку у нас не будет, — горько констатировал он. — Ну ладно, давай бабки! Попробую...

— Я их тебе уже дал!

— ...попробую с ним все же договориться. — Оставив последнее замечание без внимания, Боб деловито встал. — Кстати, у тебя сумка расстегнута. Это что — так надо?

Похолодев, я дернул вверх сумку... и уселся на бревно: молния была открыта!

— Молодец. Умный мальчик! — проговорил Боб.

ВОР НА ЯРМАРКЕ

Проснувшись на следующее утро, я долго лежал не открывая глаз. Открывать не хотелось: что увижу я? Много лет уже мечтал поднять семью на недосыгаемую для себя высоту... а когда это внезапно случилось, впал в отчаяние.

Сперва дочь, насладившись этим комфортом, уехала в город якобы по делу — и с тех пор ни слуху. Потом отбыла к матери жена...

После смерти тестя (минувшей зимой) мы пытались внушить теще ощущение второй молодости — или хотя бы полной вмняемости: мол, какие проблемы? Все тип-топ! Но теща усваивала наши уроки вяло. Часами сидела уставясь в точку и ничего не видя: однажды мы минут сорок радостно стучали ей в окно, она не двигалась, не видела нас и не слышала звонка.

— Все! Надо переезжать к ней! — плакала жена.

— Но ты же сойдешь там с ума!

— А что делать?!

Мы приехали туда — но попасть в квартиру в этот раз оказалось абсолютно невозможно: пришлось разбивать форточку и влезать. Антонина Ивановна, всю жизнь панически боявшаяся воров, никак не прореагировала на наше вторжение — глядела куда-то вдаль и кокетливо улыбалась. Я прошел мимо нее в прихожую — и злоба захлестнула меня: что эта слабая старушка вытворяет? К входной двери был прижат холодильник, гигантский платяной шкаф, сервант с посудой, наполовину вывалившейся, разбитой. Милая старушка.

— А, это вы, Валерий! — как бы встретившись со мной случайно на улице, проговорила она.

— Антонина Ивановна! — не выдержал я. — Вы зачем всю мебель при-тащили к двери?!

— Какие-то вы странные! — надменно произнесла она. — Могут же залезть!

Мы с женой в полном отчаянии сидели на диване.

— Все! — У жены затрясся подбородок. — Уезжай! Зачем тут еще и тебе!.. Уезжай хоть ты!

И я уехал.

Оставил им денег на неделю. А прошло уже десять дней!

Я было открыл глаза — но снова зажмурился. Что же делать, что делать? Так надеялся на взнос финки, изучающей стрессы у меня на квартире, — и вот!

Как же я так пролопушил? Ведь знал же, что эти деньги — всё?! Как же я так? Помню, когда носили великого Полынина, молния была еще закрыта. Когда?

А.. ясно! Когда тот якобы забулдыга перегородил выход из вагона, как бы закуривая, а я, вместо того чтобы прижать сумку, пустился в высокопарные рассуждения! «Свобода и несвобода!» От денег свобода! Точно рассчитали они, что интеллигент взбесится, когда вшивый люмпен перекроет ему путь! Но как же это я, старый рыбак... всегда отличал виртуозно-живое подергиванье леща от мерного покачивания грузила, а тут — не почувствовал! Совсем, видно, ослабел! Но — надо подниматься! Я открыл глаза. Даже пес, последняя моя опора, бросил меня — вовсе уже не появляется. Но... кому здесь хорошо, если честно, — так уж ему! Первые дни я видел белый кончик его хвоста высоко в цветах, в самых разных местах, — деловито помахивая, плыл куда-то. Больше даже не появляется! Раз хозяин такой!

Я стал медленно одеваться. Тут мне пришлось убедиться в том, что случившееся со мною горе хоть кому-то пошло на пользу — но, к сожалению, не мне. Вдруг затряслась фанерная перегородка и открылась заветная и как бы несуществующая дверка: после ссоры братьев было принято решение — эту дверь не считать. И вдруг — она открылась, и явился Боб. Он был собран, деловит, ему явно было не до условностей вроде стука, предупреждающего о появлении. Я понял, что из моего горя он кое-что уже извлек — в частности, помирился с братом: дело, мол, слишком серьезное, чтобы вспоминать тут о вражде!

— Пойдем! — Он деловито кивнул.

Из него явно изливался «амброзический дух»: под мое несчастье братаны не только помирились после долгой вражды, но еще и выпили, по крайней мере Боб — точно!

— Куда это? — поинтересовался я.

— К Павлу, — сухо сказал он.

Все меняется. В прошлые годы Боб говорил:

— Все прячьте, запирайте, уносите с собой: соображайте, с кем живете!

Он драматически, впрочем не без гордости, кивал на ту половину. В действительности его брат Паша с детства избрал уголовный путь, неоднократно сидел. На его фоне Боб считал себя блистательным аристократом... но приоритеты меняются: теперь поселковым аристократом считался Паша, и подростки, провожая завистливым взглядом его «супергранд-череки», рассуждали со знанием дела, сколько кубиков в его моторе: таких кубиков не было больше ни у кого.

Теперь Боб гордился братом.

— Паше не нравится, что случилось с тобой! — проговорил Боб высокомерно.

— А кому ж это нравится?! — воскликнул я.

— Вот в этом и разберемся! — сурово проговорил Боб.

Правда, мне, как лицу не приближенному, волшебная дверца не была доступна: Боб повел меня в обход.

Паша, крепыш альбинос, не похожий на Боба-красавца, чистил ботинки.

— Давай, — распрямляясь, просипел он, — пообедем сейчас с тобой несколько точек... я этого так не оставлю!

— Спасибо! — проговорил я.

— Тут больше моя проблема, чем твоя! — проговорил Паша.

Ну, я бы этого не сказал!

— Сейчас... оставлю только кобелю пожрать! — сказал я.

— У тебя кобель? — почему-то заинтересовался Паша.

— Да, вроде... А что?

— Ну, смотри... — с легкой угрозой произнес он.

Тут я наконец разглядел, о чем речь. У ног Паши неподвижно стояло какое-то жалкое существо с огромной головой, с сонными глазками... Это ж разве кобель?! Никогда даже не слышал его лая! То ли дело мой Тавочка звонко лает и здесь, и в отдалении, и сейчас!

Я сбегал на свою территорию, положил псу в миску остатки каши. Где шляется этот красавец? Лай то приближался, то, наоборот, вроде бы удалялся. Что там с ним? Уж не задрали ли его, как не раз уже бывало: еле добирался на трех лапах, на двух, оставляя в пыли пунктирчики крови... Впрочем, местных кобелей можно понять: каждый новый год мы наблюдаем тут молодое рыжее поколение — эти против отца не идут, зато остальные носятся за ним злобными стаями... О! Догнав наконец собственный лай, вбежал с ветром на террасу — чувствуется, только оторвавшись от преследования: розовый язык весело свисает с белых острых зубов, черные глаза сияют, длинная шерсть сверкает, как медная проволока.

— Явился наконец! — Рука, не удержавшись, зарылась в свежую, прохладную шерсть. — Где ты шляешься, черт тебя побери, целыми сутками?! — Вспомнив о своей карающей роли, рука пихнула его в широкий шелковистый лоб.

Пес, сокрушенно вздохнув, рухнул, стуча костями, и виновато полез под кровать, но пробыл там всего секунду и тут же, как бы отбыв уже наказание, с нахальной мордой вылез обратно: ну? все?

— Ладно... ешь! — На это существо, абсолютно счастливое, невозможно сердиться. Впрочем, есть он тоже не хотел — зачем тратить драгоценное время на такую ерунду? Прыгал на меня лапами, лез целоваться. — Все! Отвали! Будешь сидеть дома! Хватит!

Он скорбно ссутулился, изображая невыносимые муки совести. Я закрыл-таки дверь не на ключ, а на крючок — и он кинул исподтишка блудливо-радостный взгляд. Не сомневаюсь: как только я уйду обходными путями, он тут же, ликуя, откинет своей узкой хитрой мордой крючок и унесется! Не сомневаюсь, что, вернувшись, застану дверь распахнутой. Но это уж ладно... Главное — воспитательную работу я провел. Тут снова открылась «волшебная дверь», и явился мрачный фельдъегерь:

— Паша обычно никого не ждет!

— Иду, иду!

Хотя сильно сомневаюсь, что Паша решит мою проблему! Насколько я понял, стиль работы этих хлопцев такой: из одной проблемы делать как минимум две, а то и три! На этом и держатся. Но мне и первой проблемы — образовавшегося безденежья, да еще в такой семейной ситуации, — хватит с головой, так что до второй и третьей неприятности вряд ли и доживу!

Паша, как у нас принято, возился с мотором. Что за мотор без мата? Когда Боб имел свой автобус, тот абсолютно всегда весь, от носа до хвоста, от руля впереди до мотора сзади, через ломаные-переломанные сиденья был, как гирляндами, увешан матюками. Этот талант и Паша унаследовал

полностью. Постояв, я понял, что еще и мои матюки не требуются, и уселся в салон.

— Ой, извините! — пробормотал я, нечаянно, не обратив внимания, столкнул эту тряпичную куклу — его пса, — тот, не издав ни звука, безжизненно повис между сиденьями. Ну и страшила! Ключиком он его, что ли, заводит? Не подает никаких признаков жизни — а еще эта порода считается самой бойцовской! Все у них как-то не так, все ненастоящее, включая пса! Где нормальные реакции? Ну ладно, не выступай. Другая задача.

Мотор наконец затрясся. Паша, кинув безжизненного пса назад, выехал ухабами на шоссе.

Какой новый русский не любит быстрой езды? Паша нагло пер по осевой, даже не глядя на встречные машины, отруливающие к обочине. Видимо, именно скорость накачивала его энергией.

— Сейчас заскочим в пару точек, проговорим твою проблему!

— Спасибо.

Паша спокойно кивнул — уже то, что такая личность проявила участие, было замечательно — я это понимал.

— Я знаю, чьи это когти! — Паша счел возможным приподнять завесу над моим делом. — Будь уверен — их здесь больше не будет!

Ну, это даже слишком! Меня устроило бы и меньшее!

— А о бабках твоих не беспокойся! Они их вернут! С процентами вернут!

Чувствую, что вложил деньги в выгодное дело.

— Тут один тоже, — Паша начинал выходить на обобщения, — не понял сразу. Потом головни на пепелище собирал.

— Зачем?

— Ну, видно, чтобы костер развести, погреться чуток! — И юмор был Паше не чужд.

Паша был не в красавца брата — какой-то обесцвеченный и как бы слегка недоделанный, поэтому, наверное, и стремился к великим делам, чтоб покрасоваться ими.

— Этого-то... подожгли, что ли?

...может, я влезаю в профессиональные тайны?

— Ага! — проговорил Паша с вызовом. — Пожарные, кстати, и подожгли!

Смех его походил больше на шипение. Удивительно они веселятся. Уже с тревогой я поглядывал вперед.

Дело в том, что тут за поворотом должен быть хутор моего друга: не о нем ли речь?

— Но сам-то... слава богу... жив? — спросил я, хотя не был убежден, что он поддержит мое «слава богу».

— Этот? — Паша усмехнулся. — Пришел с наглой рожей к нам же ссуду просить!

— Это... после пожара, что ли?

— Ну! — воскликнул Паша, отчасти даже, может, любуясь клиентом.

— И... дали?

— Куда ж от него денешься? — добродушно произнес Боб.

Сердце забилося еще сильнее. На Аркана, чей хутор должен сейчас появиться за поворотом (появится ли?), все это очень похоже. Нахальство, упрямство и при этом — игра под дурака... Неужто и он попался в сети этих структур?... Куда денешься! Да, наш Арканя опровергал банальное мнение о художниках — существах слабых, ранимых и чутких. Это скорее бульдозерист, мощный и лысый, скорее американский, чем наш, — глазки спокойные, сонные... но секут все! При этом его акварели поражают, наоборот, своей тонкостью, нежностью... Поражали — больше нет! Полностью, резко поставил свой талант на службу бизнесу: столько нарисовал этикеток, что даже не помнит их. Радостно приносит бутылочку, смотрит

на красивую картинку... «Это вроде не моя. Пить можно». Наливает, принохивается, глоток — и гримаса отчаяния: «Моя!!»

«Жертва собственной виртуозности». Кстати, обиделся почему-то на мою отточенную формулировку. «Да где виртуозность-то! Чушь кругом!» Прибедняются — первый его обычай. Неужели раскусили? В компьютерах у них, говорят, все есть! — я покосился на Пашу.

В прошлом году, когда я, изнемогая от семейного счастья, сбежал к Аркану на хутор, жизнь наша сразу не заладилась: ему породистая телка была нужна, а не человек, да еще с больной душой!.. Помню, когда я вошел, с вещами, он, словно не видя меня, оглядел свое хозяйство и пробормотал как бы про себя:

— Вроде художники слова тут не нужны...

Но я не обиделся — люблю, наоборот, таких лбов! И Арканя знает, что меня не запугаешь. Поморгал своими глазками, вздохнул:

— Ну что... Выпить, что ли, хочешь?

— Ну что ж... Рюмаху приму с размаху, — рассудительно ответил я.

Ф-фу! Вылетели из-за поворота! Слава тебе, господи, хутор цел — на каменном финском фундаменте «мореный» темно-коричневый дом. Нет, не такой человек Арканя, чтобы дать себя сжечь! Коровки пасутся — на каком-то удивительно ровном, ярко-зеленом лугу... на всякий случай отвернулся, и даже с зевотою, — чтобы, не дай бог, туда не навести...

Теперь можно вспоминать более спокойно, хотя жизнь там моя — да, не задалась. Сначала я поставил перед Арканом философский вопрос, стоя перед сетчатым вольером, где копошились куры:

— А почему, интересно, курицы не едят своих яиц?

— Да потому, что они не идиотки! — с тонким, хотя и злобным, намеком ответил он.

И вечером этого же дня внес в кухню, где я писал свои заметки, курицу, безжизненно обвисшую в его ручищах, — с лапок ее стекал желток вперемешку с кусочками скорлупы — и вдруг резко швырнул заверещавшую птицу прямо в меня:

— Твоя работа!

Да, развел я идеологию среди кур. Резко повернувшись, Арканя вышел.

Изгнан я был из-за другой своей фантазии — к счастью, не осуществившейся. Я бегу по прекрасному лугу с охажкой полевых цветов, радостно напевая, мимо добродушно жующих коров, и вдруг — мгновение — вжик! — налетаю на невидимую почти, тончайшую проволоку с током, охраняющую пастбище. Нижняя половина моя продолжает бежать, радостно подпрыгивая, а верхняя, что с цветами, начинает понемногу отставать, тревожно покрикивая: «Э! Э!.. Куда?»

Я нарисовал эту картину Аркадию — мне казалось, что как художник он должен ее оценить. Вместо этого он молчал, с ненавистью буравя меня злобными глазками, стоя при этом на пороге хлева, весь в рванине и свежем навозе... Да-а... похоже, не понял!

В эту же секунду, на мою беду, с шоссе в нашу сторону свернул шикарный лимузин, плавно вырулил — и из него, стройно распрямившись, вылезла, сияя нарядами, красавица манекенщица, воображуля-капризница его жена Неля.

Что-то пробормотав, Аркан молча повернулся во тьму сарая, потом, словно вспомнив какую-то дополнительную мелочь по хозяйству, буркнул: уходи!

Мол, две напасти сразу — многовато даже для него!

Однажды, проезжая мимо, увидел, как к его хутору сворачивал размазанный иностранный автобус... Да-а, широко пашет Арканя!

Слава богу, жив! Главное — не поглядеть в его сторону: Паша, вроде бы тоже ушедший в размышления, соображает медленно, но цепко.

А он-то, оказывается, все это время думал обо мне!

— Вообще, не понимаю таких, кто ворует в наши дни! — не сдержав своих переживаний, выпалил Павел. — Кто ворует-то?! — (вопрос явно был риторический, я и не пытался на него ответить) — Ублюдки одни!

...не слишком ли смело?

— ...в наши дни надо только тумкать немного! — стукнул по лбу. — Знать, где какие льготы, где какие проценты... на этом делать дело! Нет, не врубаются! — Праведный гнев хлестал из него.

Я вздохнул виновато: то и дело не проявляю нужных эмоций, отталкиваю людей! Даже немного стыдно за мою холодность перед горячим Пашей: моим же делом занимается — а я словно сплю!

Мы рульнули к бензозаправке, и пока хлопцы в желтых комбинезонах вставляли нам в бок «пистолет», Паша буркнул: «Подожди» — и, оставив меня под присмотром своего тряпичного пса, ушел в деревянный бар неподалеку, заранее уже обожженный — видимо, чтобы больше не хотелось его жечь.

Видать, это и есть одна из «точек», где будет решаться моя судьба, во всяком случае, судьба моих несуществующих денег.

Дверка стукнула, Паша скрылся. Я поглядел на неподвижного пса с абсолютно ничего не выражающими глазками... Хорошо бы выйти, размяться, подышать свежим бензином — но кто знает, что за существо эта собачка, какой в нее заложен код?

Паша вернулся не скоро — а куда ему торопиться? Зато, придя, поглядел на меня с каким-то новым интересом, видно, что-то новое узнал про меня, чего я не знаю.

— Говорят, сегодня у вас своя разборка?

Не понял! У кого у нас? У обворованных, что ли?

— У кого — у нас?

— Ладно, шлангом не прикидывайся... у кого, у кого... У писателей!

А-а-а... Гиенский же говорил при последней встрече!

Действительно, разборка. Раздел оставшегося — или не оставшегося уже? — имущества. Плюс книжная ярмарка. В нашем Доме творчества в Киселеве. Сомневаюсь, чтоб что-то перепало.

— Отвезти?

Да... Как говорится, «отдам себя в хорошие руки»!

Паша рулил молча, но нагло — видимо, и не подозревая о том, что я впалял уже его в янтарь вечности.

Сияющий его броневичок, ярко отражаясь в витринах, выруливал на ухоженные и пустые киселевские дорожки, оставшиеся такими — надолго ли? — с тех времен, когда здесь отдыхали партийцы — и работали, самозабвенно трудились писатели в своем Доме творчества. Из «простых» тут лишь пробегали порой кастелянши или повара, сопровождаемые недовольными взглядами прогуливающихся «маститых»: что ты здесь, братец, потерял — в рабочее-то время?

Было время, когда и мы, степенно прохаживаясь по этим тропкам, задумчиво закинув руки за спину, думали, сладко вздыхая: да уж, видно, до самой смерти вот так вот проходим тут... куда уж денемся? Жизнь, однако, развеяла эту светлую грусть, заменив ее более темной.

Понадеялись на тихую старость? Выкуси! На!.. Вечная молодость нам суждена!

Мы вкатились на бетонную площадку у длинной каменной столовой с бильярдной и конференц-залом, выстроенную в период наибольшего взлета писательского благосостояния, правда, мы тогда надменно думали, что это упадок.

У нас не угадаешь!.. Да — в сложное, сложное время мы живем. Сложное, но не очень.

Паша молча вылез и стал тыкать железкой в мотор.

— Ну что ж... спасибо. — Я вылез. Пойду позаседаю...

Паша вдруг закрыл капот, вытер руки тряпкой — и молча, без каких-либо объяснений, пошел со мной.

Появиться с телохранителем — это неслабо. Новый вал подозрений и оскорблений... но что за жизнь-то без них? Другого ничего и нет.

— Послухаю малость, — сказал мне Паша, и мы вошли в зал.

Он скромно уселся сзади. Я огляделся. Да, усохли братья писатели, немножко пожухли, как и я. И ряды поредели. Но гонор прежний, хотя книжная ярмарка, которая должна тут открыться завтра, уже сейчас должна б их кое-чему научить: на ярких глянцевых обложках, расставленных по стендам, — ни одной знакомой фамилии, все незнакомые. Интересное кино: книги — отдельно, а писатели — отдельно! Что же мы пишем? Неизвестно! Но гонор, что интересно, прежний, если не больший. Вошел как раз в самый гудеж — все были возмущены тем, как панночка ловко оттяпала наше издательство. Хотя в момент, когда я вошел, панночка, возбужденно похохатывая, предлагала нам забрать обратно наше добро.

— Берите! Берите его, ради бога! — Сидя на сцене, она как бы отодвигала от себя ладошками нечто мерзкое. — Мне от него одни неприятности. Но посмотрим, что *вы* там будете делать — при нынешней экономической ситуации, при нынешних ценах на коммунальные услуги. Берите — вместе с девятьюстами миллионами долга!

— Откуда такой долг-то? — пробормотал Сашка Бурштейн.

— А это — плата за выпуск ваших книг, которые лежат мертвым грузом на складе. Обзваниваю всех — никто не берет их, даже за полцены!

...Да. Врезала неплохо!

В наставшей вдруг тишине я разглядывал собравшихся. Редуют наши ряды, редуют! Конечно — у кого было другое дело, кроме этого, сейчас там и есть, занимаются этим самым делом... Здесь сейчас только самые непутевые. Впрочем, есть и счастливики, которые, наоборот, сейчас взлетели: часть бревна утонула, другая, наоборот, задралась.

Вот господин Аземов, бывший близкий приятель. Сколько проехали вместе! Всегда он мог писать только в дороге — раньше в поездах, в самые концы Союза, потом — только на самолетах, теперь — только на международных авиарейсах. Далекое улетел.

В углу веселой компашкой, бодро хихикая, команда «новых», хоть и не молодых. Сумели внушить Западу, что именно в их лице он помогает новой русской литературе... Книг, правда, они не пишут — пишут «проекты», получают гранты... «Дети капитана Гранта», как называю их я.

В другом углу — мрачный Юра Каюкин. Всегда выглядит — и одет — точно так, словно только что вылез из земли. Трепанный, грязный. Бывший аутсайдер, раньше неприлично было даже с ним здороваться — только милостиво, но сухо кивать. Сейчас вдруг его разжигенные, бесконечные писания из жизни древних князей стали бешено всюду издаваться. «Князь из-под земли». Счастья, правда, не испытывает, и богатства тоже на нем не видно, но издается повсюду — от Камчатки до Смоленска. Но хоть мучается, понимает, что пишет — никак. Обменялись с ним ненавидящими взглядами. Он страстно мечтает писать, как я. А я — как он!

Писатели явно грустили. Так ведь, глядишь, понуро разоидемся — и все. Что сказать?

И тут поднялся Гиенский.

— Я предлагаю выбрать сейчас инициативную группу, пойти в мэрию и требовать снятия Анжелы Вадимовны и признания проведенной ею приватизации издательства — недействительной!

Зал загудел на разные голоса. Наиболее активные — они же наименее сведущие — считали, что надо пойти и свергнуть, а там уж! Другие сумлевались: а не посадит ли их в долговую яму эта «фабрика счастья», называемая издательством? Но самые отчаянные, как всегда, брали верх:

— Гиенского в комиссию! То есть, извините, Гиевского...

— Называйте, называйте... Должно быть по меньшей мере пять человек. Называйте лишь самых авторитетных!

— Азимова надо! — проговорила поэтесса Шмакова. — Его все знают.

— ...Ну, давайте... не молчите... Ваша судьба решается! — горячился Гиенский, при этом странным образом не услышав самую как раз весомую фамилию Азимова... Уж слишком авторитетный? Как бы не захватил пост, намеченный Гиенским явно для себя. — Ну не молчите же!

Все, напротив, в некоторой растерянности молчали. Если он фамилию Азимова проигнорировал — то кого же кричать?

Вдруг я с изумлением увидел, что вперед медленно идет Паша. Ему-то что наши дела?

— Я тут посторонний, с другом зашел...

— ...бизнесмен, бизнесмен... — зашелестело в зале.

— ...а вы тут всю жизнь этим занимались... но, ей-богу, удивляюсь я вам.

Все с интересом молчали. Поняв давно уже полную бесперспективность дальнейшей жизни, только на чудо и надеялись: придет такой вот, простой и коренастый, — и все решит. Ну а кто же еще?

— Честно! — продолжил Павел. — Напали все на красивую женщину!

Панночка, перед этим слегка опавшая, гордо встрепенулась.

— ...а сами, мужики, не подумали, чем конкретно можете ей помочь?

— Мы пишем книги — этого достаточно! — гордо воскликнул Гиенский, которому, кстати, этого было явно недостаточно.

Все, конечно, знали, что Гиеныч подлец, но как-то некогда было заняться этой мелочью — Гиеныч, всех опережая, звал постоянно вперед, не давал сосредоточиться на мелочах, в частности некоторых особенностях его характера, — говорил-то он всегда правильно, причем самое-самое!.. а мелочи простим.

Правда, Сашка Бурштейн однажды бил ему морду — но это пустяк.

Но Паша — видно, не в курсе рейтингов — лишь махнул презрительно рукой: книги, мол, все пишут. Не в этом дело! И скоро блистательно это подтвердил... Гиенский гордо уселся. Кстати, всего какой-нибудь год назад Гиеныч выступал в этом зале, надменно говорил, что в ближайшие восемь лет намерен заниматься лишь Баратынским, надменно отвергая всех прочих, менее родовитых... а вот теперь тут какие-то непонятные пришельцы затыкают ему рот!

— ...вы лучше поинтересовались бы конкретными делами, — спокойно продолжил Паша. Анна теперь не сводила с него глаз. — Узнали бы для начала, к примеру, есть у вас какие-то положенные скидки по аренде, какие льготы, короче, толковым бы чем помогли.

Паша даже зевнул — в такой-то аудитории. Наступила тишина. Маститый критик Торопов, поглаживая осанистую бороду, оглядывал зал: кто тут еще шевелится, кого надо срочно добить? «Дедушка Мазай с дробовиком», как ласково называл его я.

— Потом... про это заведение, — неожиданно перешел Паша. — У меня друг работал, шофером, — спокойно, без комплексов сказал Паша (не те времена!). — Так что я бывал здесь...

Все снова насторожились: ну и что? Паша зевнул снова: устал объяснять детские вещи — сколько же можно?

— ...сдайте на пару лет в аренду — пусть заодно сделают прилично! Живете как свиньи — общий сортир! Пусть туалет в каждом номере сделают! Потом сами ж сюда вернетесь... — не совсем уверенно закончил Паша.

Впрочем, последнее вызывало сомнение не только у него. Писатели гудели вроде бы одобрительно, но уныло. Общий тон был: «Не! Тогда мы уже не вернемся! На уровне туалета в каждом номере мы не пишем. Мы пишем в аккурат на уровне общего туалета, одного на этаж!»

Устало махнув рукой, Паша пошел по проходу.

— Слушай, кто ты такой? Ты мне понравился! — неожиданно к нему с поцелуями, сильно покачиваясь, кинулся Каюкин. Видно, много уже принял нынче на грудь. — Бери тут, все бери!

Каюкин кинул выразительный взгляд на зал: лишь бы эти не взяли!

— Пойдем ко мне, выпьем! — Каюкин рухнул ему на руки.

— Ну, пойдем, коль не шутишь! — неожиданно добродушно согласился Паша.

С уходом этих двух героев собрание окончательно увяло, не слушая что-то восклицаящего на сцене Барыбина: знали, когда берет слово Барыбин — это все, полная уже разруха, маразм в очередной раз ликует, можно уходить!

Выходя, я кидал злобные взгляды на стенды: кто ж пишет все эти книги, когда писатели без работы?

«Записки Волкодава»... Неужели пишет сам Волкодав?

Ко мне подскочил пышущий злобой Гиенский:

— Ты, как всегда, отмалчиваешься?! Подожди у меня в номере — есть разговор! — Он сунул мне ключ и умчался.

Что за роль себе взял: командира под любыми знаменами? Не случайно Сашка Бурштейн бил ему морду! Не случайно — но, видимо, зря. Безрезультатно. Гиенский рвал и метал, давая указания и всем прочим.

Поняв, что счастья здесь не дождешься, радостного общения сегодня не будет, я вышел на улицу и прошел в корпус.

Марфа Кирилловна, в теплой шали, так же, как и всегда, дремала над телефоном. На мгновение мне показалось, что ничего не изменилось, что можно, немножко похимичив, неторопливо войти в прежнюю жизнь. Я поднялся по обшарпанной лестнице, открыл девятнадцатую комнату — длинный затхлый пенал с окном на закат. Мой любимый девятнадцатый! Сколько здесь было всего! Целая огромная жизнь, почему-то вдруг исчезнувшая.

Помню, просыпался обычно на заре от глухого, протяжного трубного звука. Такие чуткие тут были трубы! Косился в окно: солнце горело лишь на самых вершинах сосен — рано еще, можно сладко поспать. Гудение это, так сказать, случайное: кто-то просто открыл в номере кран умывальника — подошел в полусне, пошатываясь и зевая, к раковине и начал отливать, открыв, по здешним негласным правилам, одновременно водопровод. Все: отлил, завинтил крантик, вернулся, плюхнулся — и снова блаженная тишина. Самые сладкие грезы шли в эти часы, когда солнце медленно и торжественно спускалось по стволам деревьев. Потом вдруг гудела другая труба, в дальнем конце коридора, — тоже кто-то открыл кран, но, судя по солнцу на деревьях, — тоже еще не для того, чтобы умыться. И опять тишина. Эти блаженные часы тянулись, кажется, бесконечно!

Потом вдруг одинокое гудение, оборвавшись, подхватывалось другим, третьим — и вскоре весь уже наш домик пел, как орган. Паша еще только мечтал о туалете в каждом номере, а у нас — правда, неофициально — это было всегда! Гул становился непрерывным — все, это уже не случайность, пора вставать, вплетать звук своей трубы в общий оркестр!

После завтрака возвращались в номер, завинчивали лист в машинку. Вот на эту стройную сосну с бронзовыми чешуйками прилетел однажды большой черно-бело-красный дятел, стучал, но как-то вопросительно, носом по стволу, весело косил глазом в мою сторону... потом вспорхнул — и, словно нырнув вниз, показался на моей фортке, посидев, перепорхнул вдруг на мою машинку... и прилетал каждый раз, когда я тут появлялся, садился на машинку, долбил по клавишам и худо-бедно надолбил за эти годы восемнадцать книг! Традиционный уже вопрос: кому все это мешало?

Ладно, об этом забудь. Твои лирические излияния могут остаться не при деле: издатель другой пошел — крепкий, мускулистый, слезам не ве-

рит. На последней книжной ярмарке, в которой я участвовал, после заключительной пьянки произошла гигантская драка: издатели бились с охранниками. Драка длилась почти час, и в результате охранники, набранные в основном из силовых структур, были вдрызг разбиты издателями. Вот такой нынче издатель пошел! И надо не уступать ему по возможности... а повторять: «Культура... культура!!» Бесплезняк! Во рту от этого лаще не станет! На данном этапе культуры мне надобна часть ее шкуры!

Кстати, на ярмарке той те самые издатели пошли мне навстречу со страшной силой: предложили почему-то написать книжку о знаменитых пиратах, неожиданно — о моем деде-академике (откуда узнали?) и совсем неожиданно — об англо-бурской войне... глаза не разбегаются, а буквально — сбегаются. Главная была их идея: как раньше не пиши! Прими вторую молодость, с начала начни!

На данном этапе культуры мне надобна часть ее шкуры...

Неожиданно хлопнула форточка, из многих прожитых лет здесь я знал уже: открылась дверь. Я обернулся.

Появился Гиенский, скорбно-многозначительный:

— Сидим ни о чем не ведаем?

— Ты о чем?

— Ничего, значит, не знаем? Понятия, значит, не имеем, что все они, — скорбный кивок на дверь, — *тебя* директором хотят поставить?!

— Меня?!

— Не знал? — усмехнулся Гиеныч.

М-да. И мне, значит, предстоит как-то утолять все эти уязвленные самолюбия... Но как?

Мгновенье славы настает!.. а у меня вдруг — не встает.

— Нет, честно, не имел ни малейшего понятия. Скажу больше: отказываюсь.

— Та-ак, — проговорил Гиенский. — Ты лучше, чем я о тебе думал!

Принять это как комплимент — или как оскорбление? Скорей все-таки как второе.

— Все! Пошел! — Я стукнул дверью.

И пошел, и пошел. Вдруг возле кустов возле дороги что-то затрещало, тень метнулась ко мне... медведь-шатун? Фу! На самом деле — очаровательная женщина! Перестал уже отличать! За те годы, что мы не общались тесно, она почти не переменилась — лишь поднялась на голове взбитая, как торт, прическа ответственного работника.

— Привет, Анжела... Вадимовна!

— У меня к *вам* просьба...

Неужели тоже будет просить возглавить? Сердце, до этого неподвижное, слегка зашевелилось... Мгновенье славы настает?

— Познакомьте меня... с вашим другом... с которым вы сегодня вошли, мне он показался *единственным* порядочным здесь человеком!

Да-а... меняются ориентиры!

— Сами знакомьтесь! — рявкнул я. Потом все же вежливо добавил: — Он у Каюкина... Всего вам доброго!

Возвращался я пешком по шоссе. На машине дорого получается ездить! Вспоминал многие обиды... на той же ярмарке, где была драка... разговор двух шикарных теток — директрис книжных магазинов: «Пушкин? Ну, пошел... Но — не побежал!» Еще им надо, чтобы побежал, иначе — неинтересен!

Да — есть, слава богу, чем растравить душу!

Перед выходом в этот ночной бросок я зашел еще в общую телевизионную — проститься. Все там мужественно делал вид, что абсолютно ничего не происходит, просто собрались интеллигентно вечером у телевизора. Но все уже, увы, было по-другому! Взять хотя бы сам телевизор. Только мы уселись кружком смотреть новости на нашем любимом про-

грессивном телеканале, как изображение вдруг начало дрыгаться, съезжать целыми пластами в сторону.

— Надо вызвать техника! — капризничал Гиенский.

Между тем монтер Дома творчества, который раньше быстро все исправлял, сидел теперь, нагло развалясь, в *лучшем* кресле (разве раньше он мог позволить себе такое?) и усмехался.

— Простите — чему вы радуетесь? — не выдержал Гиенский.

— Да — видно, у ребят крупная разборка идет! — Даже не повернувшись к Гиенскому, тот любовался экраном. — Всю частоту своими радиотелефонами задолбали! Что делают! — воскликнул он ликующе.

Чья-то особо крепкая тирада, кинутая в радиотелефон, снесла полчерепа нашей любимой дикторше!

Я поднялся и ушел.

Солнце, оказывается, еще не полностью исчезло: блеснуло из-за моста над рекой.

И по красной воде,
По ошметкам заката
Проплывают заплатами
Тени цистерн.

На хуторе Аркана, видно, топился камин — дым слоем толщиной, наверное, в метр и к тому же наклонно висел где-то на середине стволов.

К Зеленогорску я подходил уже во тьме. О, слава богу, чуть посветлело, выскользнул совершенно юный месяц... Хотя радоваться гадко: тут вырублен лес!

Помню, как в прошлом году взбудоражила всех новость, что власти кому-то продали участок леса возле шоссе. Потом вдруг выяснилось: болгарам! Почему болгарам-то?! А почему бы и нет? Новость эта горячо обсуждалась в народе, во всех местах. Мужики, заранее волнуясь, представляли, как все это будет происходить, представляли бурные контакты с братьями болгарями, споры за жизнь — наверное, небольшие драки, потом бурные примирения... И вместо этого — болгары приехали на *два дня*, спилили лес и тут же увезли. Большого оскорбления с их стороны быть не могло! Буквально плюнули в душу, раскрывшуюся навстречу!

— А еще славяне! — наиболее точно высказал общую боль дед Троха.

Я вдруг почувствовал толчок воздуха в спину и бензиновый запах: это Паша — в шутку, разумеется, — изобразил наезд, но в полуметре затормозил!

— Падай!

Я упал. Паша явно был в растерзанных чувствах: вот уж точно — с кем поведешься...

— Противно на тебя смотреть! — (Для того, видно, меня и подобрал.) — Толковый вроде парень — а даже колес не имеешь!

— Ничего! — пытался я убавить его боль.

— По идее, за день можно на тачку сделать! Такие есть цепочки по нежизнелюбности! Одну, скажем, старушку или алкаша передвинуть — и пять тонн баксов в карман! Но опять же: введи тебя в такую коммуналку — ты там такое «Прощание с фатерой» накорябаешь! — проявляя недюжинные знания в литературе и в то же время явно переоценивая мои потенции, проговорил Паша.

— Да нет... не нанишу! Скорее уж — «Преступление и наказание»... И то навряд ли, — успокоил его я.

Но Паша уже не смог слезть с разбередившей его литературной темы.

— Я книжки там полистал — вообще уже! — захлебываясь возмущением, говорил он. — Разборки пишут, убийства... понятия не имея, как это делают! Считаю — надо иметь *моральное право* это писать!

Услышав про моральное право — в такой трактовке, — я чуть было не вывалился из салона!

Надо его уводить от литературных тем: опасное соседство!

Мы проезжали мимо новомодного кемпинга. Прямо у обочины стояла стройная девушка, одетая явно не по времени: крохотная мини-юбка, распахнутая белая блузка. Писатель-гуманист встрепенулся во мне:

— Хочет, наверное, чтобы подвезли ее?

— Ну, если пара сотен баксов есть — подвези! — усмехнулся Паша.

Да, про пару сотен баксов неловко вышло: наша нынешняя встреча с того и началась, что обещал по своей линии отыскать украденное... а вместо этого я получил фактически коллегу-литератора. Как бы увести его с этой дороги, пока не поздно? Вернуть его к более привычным вещам?

— Но ведь ей холодно, наверное!

— А как ты советуешь ей одеться? Не за грибами же собралась! Ну, выдай ей валенки, тулуп! — куражился Паша.

Проехали.

— А одну там книжку видел — вообще!

— Слушай. — Я вдруг почувствовал жуткую тоску. — Где твой радиотелефон — хочу жене позвонить!

— В багажник кинул — противно его брать. Каюкин, писатель ваш, попросил тоже женке позвонить — и вместо этого туда харч метнул.

Наверное, это и был мощный залп, который снес любимой дикторше голову.

— Да... неудачно получилось, — чувствуя вину за своего коллегу, пробормотал я. — Извини, плохой день.

— Нормально: дэй как дэй! — равнодушно проговорил Паша.

ШКОЛА СТРЕССА

Проснулся я резко, на ранней заре, сосновый косогор за крышами был розовый. Пойти, что ли, туда? Раз уж проснулся... не сон был — какой-то резкий провал. Вынырнул, слава богу! Я поднялся.

Запыхавшись, я вскарабкался на косогор, тяжело дыша, огляделся. Но где же, интересно, пропадает пес — по ночам даже не является! Высмотрел самые дальние окрестности — не мелькает ли где в травах белый кончик хвоста? Увы!

И только пошел по тропке между молодых пушистых елочек — тут же рядом послышалось горячее, частое дыхание... Преданный, любящий взгляд снизу вверх... Примчался!

Но в наказание — даже не прикоснувшись к нему — домой не вернулся, шел как шел. Пес стал прыгать в восторге передо мною, пытаюсь на лету заглянуть в глаза.

Мы подошли к даче друга моего Славы — самой богатой, пожалуй, на этой «полковничьей» улице. Бывший тесть Славы, заслуженный чекист, удачно использовал сложенные из валунов стены старого финского коровника — получился уютный, солнечный, безветренный каменный дворик, патио, — раньше там поднимались террасами цветы, после смерти тестя все заросло каким-то мезозойским борщевиком, похожим на гигантский укроп. Слава с его худеньким сыном сидели за столом для пинг-понга, рисовали парусник. Со всеми своими женами — и детьми — сохранял самые прекрасные отношения: что значит веселый, интеллигентный человек!

— Ну что... легкий завтрак? — предложил я.

Пес начал выгибаться, как бы кланяться, касаясь острой грудью земли.

— Этот, видно, тоже голодный? — усмехнулся Слава.

— Пса я сейчас накормлю! — взволнованно проговорил чудесный его сын.

— А уж что останется — мне!

— Ну, садись, раз уж пришел! — улыбался Слава. — В ногах правды нет.

— Но правды нет и выше!

Грустно усмехнулись. Старая, проверенная шутка.

Слава, по идее, самый успешный из нас — хотя успеху его трудно завидовать. Был доктором физических наук, как было принято в ту пору, управлял ураганами — потом оказалось, что это не нужно. Тут Слава заболел — самой жуткой болезнью, — лег на операцию... Мы уже мысленно прощались с ним, спускаясь по холодной мраморной лестнице Военно-медицинского, мимо изящных бюстов знаменитых хирургов. Предстояло много вырезать... если и удачно получится — что вряд ли, — то какая уж после этого жизнь?!. Оказалась — самая та!

Поначалу Слава лишь получал, как крупный ученый, с помощью своих коллег за рубежом запчасти для своего организма. Потом они, с удивлением поняв, что он кой-чего соображает — и не ворует (мог бы свои собственные запчасти воровать и продавать — многие так и делали, но не он: все-таки совесть и разум оказались), назначили его командиром местного отделения международного фонда. Потом, как один из популярных деятелей светлой поры (пора была такая — наши побеждают? в бородах, в джинсах!), избрался в городское собрание. И там уже, видя его авторитет, назначили его председателем Иностранной комиссии. Брифинги, приемы — красивая жизнь!

— Когда на прием какой-нибудь пригласишь?

— Ну... будет сегодня обед... в честь министра транспорта Новой Зеландии... но ты-то тут при чем?

— Годится! Когда приходиться?

В прошлый раз был министр экологии Гренландии — отличный, кстати, мужик. Немножко, правда, был удивлен вниманием столь широкой общественности к его работе — а также к закускам... новозеландец, надеюсь, будет не хуже? — уже слегка обнаглев от изысканного Славиного завтрака (пополам с моей собачкою), размечтался я.

Слава «расстегнул» гараж.

— Ну... тебе в город не надо?

— Надо вроде бы... — Я тжко вздохнул. Веселые там дела!

— Что вздыхаешь-то? Бабы замучили? Ты же у нас ходок!

— Какой я ходок? Я хот-дог!

Но такая трактовка моего образа, не скрою, порадовала меня.

— Ладно, поехали... За сумкой только заскочим.

В дороге Слава энергично рассказывал, как они готовятся к выборам мэра, готовят машины, чтобы в случае необходимости привезти больных...

— Самое трудное будет — здоровых привезти! — не выдержал я.

Слава глянул на меня строго, но сказать ничего не успел — мы вылетели на сложную дорожную развязку, называемую «коровий желудок». Конечно, при высоком его положении Слава был просто обязан время от времени восхищаться радостными переменами в окружающей жизни.

— Нет, ну ты скажи, раньше — мог бы ты сдавать квартиру финке, за валюту? Скажи!

Но раньше и не было такой необходимости — сдавать! Мысль эта, очевидно, одновременно пришла нам обоим в голову — мы долго молчали.

— Нет, ну вот смотри, — снова завелся Слава. — Мужик за рулем грузовика — а в галстук, шляпе! Раньше могло быть такое?

— Да... это сдвиг!

— Высади у дома... Надо позвонить! Спасибо. На банкет, может, зайду! — пообещал я.

— Только не напивайся, как в прошлый раз! — улыбнулся Слава.

Я зашел в свой холодный двор, обтянутый мхом, как бархатом театральная ложа... глянул с тоскою на окна... зачем-то цветы переставила... Ну, хватит маяться перед собственной дверью — надо идти!

Вряд ли Кайза расщедрится — за месяц вперед уже заплатила... вряд ли мне обрадуется. Хотя думаю, что стрессов, которые она приехала сюда изучать, ей вполне хватает... ну ничего! Добавим! Не жалко!

Поднявшись, робко нажал звонок, прислушался. Тихо. Ушла, что ли, с ранья? Или — моется? Еще раз позвонил, вставил ключ — и почему-то с замиранием сердца открыл собственную дверь. Воровато вошел... Как хочу, так и вхожу! В свою квартиру имею право входить и воровато!

Быстро прошел по коридору. Ясно — шум душа. На столе — отличнейший харч! Что-то мало она, по-моему, получает тут стрессов: завалит работу.

— О! Здравствуйте! — без особого восторга.

— Да проходил тут... в Законодательное собрание... решил зайти!

— О, конечно, конечно! Садитесь — сейчас будем пить чай!

Стройная — несмотря на возраст, строгая, как у них это принято, и, видно, решительная женщина... раз приехала сюда. Улыбается — уже привыкла: одним стрессом меньше, одним стрессом больше — ей это тьфу!

— Разрешите, я позвоню?

— О, конечно, конечно!

В этот раз уже улыбка с натугой вышла. Знает: телефон в руках русского — это страшный аппарат! Польются неприятности. Но — стойко разрешила. Кинув при этом, однако, жадный взгляд на компьютер, притулившийся тут же, на обеденном столе. С кислой улыбкой набирал я заветные цифры... Хоть бы никто не поднял трубку! Но что это будет означать? Уж хорошего точно ничего! Гудки, гудки... прервались. Дыхание.

— Привет... это я.

В ответ в трубке только дыхание. Хорошо общаемся!

— Я... скоро приеду.

— ...А зачем? — тихий, еле слышный голос жены... умирает, что ли, там?

— Но я же твой муж!

— Разве?

Поговорили!

Кайза улыбалась все более натянуто, косилась на компьютер. Вдруг — какая-то возня, вскрики — там, у телефона, — и голос дочурки:

— Папа! Не слушай ее! У нас все нормально!

Дочурка появилась, после десятидневного отсутствия? И что она появилась там и как бы сразу возглавила — это, пожалуй, даже и умно! Хоть кто-то умеет рулить в этом хаосе!

«Формально все нормально?» — как говорили мы когда-то...

Снова какая-то борьба у трубки и — рыдающий голос жены:

— Нормально?! Она говорит, «нормально» — да? Ты знаешь, что сегодня ночью сделала эта... больная?

Любимая теща?

— Что?..

— Что? Свернула газовую плиту — тоже тащила ее к двери! Мы чуть не умерли от газа!

Снова борьба за трубку. Басовитый голос дочери:

— Не слушай ее, папа! Газ уже перекрыли!

Газ... Да, не слабо!

Улыбка буквально застыла на лице Кайзы: ваши личные стрессы меня не касаются... читалось так.

— Ладно... скоро приеду! Что привезти?

— Подожди... — после долгой паузы произнесла дочь как-то глухо. — Звонил твой отец...

Так. Прекрасно. И что там еще?

- Лиза погибла.
- Погибла... как?!
- Попала под машину!

О, господи! Батина жена... после операции на глаз с той стороны ничего не видела... оттуда и налетела смерть!

— Просил тебя срочно приехать...

— Ну ясно... — (Да — это я удачно позвонил!) — Держитесь... скоро приеду!

Повесил трубку... А с чем я приеду — они ведь ждут хотя бы еды! Повернулся к Кайзе. Она встретила меня стоической улыбкой.

— Вы знаете... моему мужу... как это сказать?... десять дней назад делали операцию... как это сказать? Открывали?... отворяли голову... это очень дорого...

— ...Ясно... всего вам доброго... До встречи!

Я двинулся к выходу. На лестнице, пока я дома беседовал, кто-то нассал, несмотря на запор на парадной двери, который я так упорно тут устанавливал! Все почему-то были против! Полное отчаяние!

Но видно, что наведалься интеллигентнейший человек: культурно нассано, в форме Италии!

Победа разума над мертвой техникой.

Я вышел из-под темной арки на улицу — и буквально ослеп, зажмурился от яркого света, горячие слезы заструились по щекам.

Ну? Куда податься? С какого несчастья начать? Глядишь, тут гурманом сделаешься!.. Начнем, думаю, с самого горького...

Поглядел на свое отражение в витрине шикарного магазина «Мон Пари», сравнил себя с манекеном на витрине. Нет — он пошикарнее одет, хотя вряд ли у него больше заслуг перед отечественной словесностью. Одеваюсь нынче исключительно на Сенной, из одежной горы, называемой «Одежда на вес». Купил недавно двести граммов штанов. Донашиватель!

Ну, поехали — дела предстоят трудные. Денег, правда, нет — придется исключительно на самообладании!

— ...Лучший писатель современной России... Василий Слепынин!
Что приятно — на Сиверском направлении электричек уже другой!

...Медленно пятясь, к бетонной площадке перед Институтом селекции подъезжал крытый брезентом грузовичок «газель» — с самым страшным грузом, какой только бывает!

Сотрудники торопливо установили прямоугольником стулья — и «груз» выплыл из тьмы.

Когда отец ушел из семьи и переехал сюда, я, помню, сильно переживал. Теперь «причина» того события, ныне маленькая пожилая женщина, лежала в этом продолговатом ящике, который с подчеркнутой тщательностью сотрудники устанавливали на стулья...

Родственница в черной косынке, как видно имеющая опыт в этих делах, показала жестом: снимите крышку. И все увидели... нет — покойные мало похожи на тех, кто жил.

Директор института открыл панихиду. Из его речи выходило, что покойная (великий селекционер!) накормила своими сортами картофеля всю Россию, так же как муж покойной (мой отец) накормил всю Россию черным хлебом (поклон в его сторону).

Родственница поправила упавшую набок голову мачехи, и — все вздрогнули: голова подвинулась удивительно легко, словно не имела тяжести.

Вышел батя, абсолютно как бы спрятавшийся в черном костюме, глубокой шляпе, темных очках, и глухим, размеренным голосом произнес доклад о заслугах покойной — примерно как на ученом совете.

Дальше образовалась очередь желающих выступить — у них все выходило замечательно, непонятно было, откуда могли взяться страдания и переживания покойной, связанные с институтом.

Отец, неподвижно застывший у ее изголовья, вдруг поднял руку и согнул пальцы... Подзывает меня?

— Закругляй это дело. Через пять минут — отпевание в церкви!

Спасибо за доверие — дело нелегкое, но нам не привыкать!

Я вышел к изголовью, плечом отодвинул какого-то седенького академика, уже шевелившего губами, но не начавшего говорить, и зычно произнес:

— От имени родственников покойной благодарю всех за участие в этой скорбной церемонии и приглашаю на отпевание, которое состоится через пять минут в местной церкви!

И сделал правой рукою плавный жест.

Свет косо падал через церковное окно. Дым из кадила плыл, медленно изгибаясь. Пение оборвалось. Батюшка с громким шорохом свернул трубочкой бумажку с молитвой и вставил ее в сложенные руки покойной. «Путевка в смерть».

Разлили по рюмкам. Объявили минуту молчания. Тишина тянулась долго и вдруг прервалась коротким бульканьем: кто-то пересмотрел свои возможности и подлил еще.

...Все тебе надо замечать.

В следующей электричке, несущейся уже по петергофской линии, я чувствовал себя довольно уверенно: окреп на похоронах. И даже, расслабившись, отдохнул немного: только на транспорте и получается — отдыхать. Тем более никакого «лучшего писателя современной России» тут не продавали.

— Ну что у вас? Простейшую проблему не можете решить? — Я с ходу набросился на жену и дочь (нападение — лучшая защита). Но, кажется, переборщил — и так у них дрожат руки и губы.

— Каждую ночь раза по три неотложка приезжает. Делают ей укол, она оживает — и снова мебель двигает!

Жена крохотным кулачком утирала слезы.

— Бабушка! Прекрати! Ты не видишь — Валера приехал! — рывкнула дочь.

Но бабушка, не обращая на меня ни малейшего внимания, сидела за столом и, улыбаясь, рассказывала о каком-то Михаиле Ивановиче — неизвестно кому, — который «повел себя некультурно»... видимо, еще до войны?

— Сказали, что больше не приедут! Говорят — сами с ней разбирайтесь! — всхлипывая, проговорила жена.

— ...какие-то вы странные! — прорезался кокетливый голос тещи.

— Ладно! Я сейчас! — Я выскочил на улицу и сразу почувствовал облегчение, почти счастье — лишь бы отсюда уйти! А они уже там вторую неделю — и не могут выйти: тут же будет забаррикадирована дверь.

Через форточку до меня донеслось дребезжание тяжелой мебели и срывающийся крик дочери:

— Прекрати!

...Надо идти.

Жизнерадостно улыбаясь, я заглянул в кабинет:

— Разрешите?
 — Прием окончен! — прохрипела усталая красавица.
 — Я лишь на минутку! — Очаровательно перед нею уселся.
 Уж я умею делать такие дела!
 — Я по поводу Костровой...
 — Я уже говорила... вашим: госпитализация этой больной нецелесообразна. И еще: если бы ваши жена и дочь разговаривали нормально!
 — Вы что, не видели: они же там погибают!
 — Это их проблемы!
 — И после этого вы называете себя доктором! — Задрожав от ярости, выскочил.

Идиот! Называется — «все устроил»!

Спокойно! Перейдя заросший травой дворик, я уселся передохнуть на ступеньках морга — больше, к сожалению, нигде: чем плохое место? Зимой забирали тут тества. Второй морг за сегодня. Сравнительный анализ моргов: нет — этот красивше, стариннее! Поднялся со ступенек... Вперед!

— Все! — шепнул я жене. — Договорился. Сейчас ее увезут!
 — Как? Прямо сейчас? — Подбородок ее снова затрясся.
 — А когда?.. Никогда?!
 — Молодец папа!
 Хоть кто-то ценит!
 — Пойдем... скажем ей!
 — Нет! — Жена отчаянно замотала головой. — Пусть лучше так... неожиданно.

Мы вошли в комнату. Теща оживленно рассказывала кому-то о своей жизни в Париже (хотя никогда там не была).

Мы, в основном, слушали другое: шум машин за окном. Задребезжали стекла — мы кинулись к окну...

Нет! Другое... Хлебный фургон.

Мы снова сидели молча, слушая ее плавную речь.

Снова задрожали стекла...

То! Белый пикап с крестом.

— Доченька! — вдруг жалобно проговорила теща. — Ты не сделаешь мне чайку?

Жена с отчаянием глянула на меня. Я кивнул. Она ушла на кухню — и раздалось мирное, успокоительное сипение крана.

И тут же брякнул звонок.

— Почему так долго не открываете?

— Извините! Вы видите — трудно пробраться! — Я показал на загромодившую прихожую мебель.

— Вы что — переезжаете?

— Да нет... это все она.

Прости меня, господи! Но — единственная просьба: пусть судят меня те, кому так же тяжело!

Санитаров было двое: один хороший — вдумчивый интеллигент в очках, второй — нехороший, пьяный и небритый. Вдумчивый сразу же подошел к теще:

— Скажите: вы *хотите* ехать в больницу?

— В больницу? С какой стати? Вы что — ненормальный? — проговорила она надменно.

Вдумчивый резко повернулся и стал уходить.

— Извините... как же? — Я растерянно преградил ему путь.

— Без согласия больной мы не можем ее госпитализировать! — взволнованно произнес «хороший». — Теперь это делается лишь с их согласия!

Благородно...

К счастью, он стал накручивать диск — и, к счастью, там все время было занято.

Я кинулся к «нехорошему»:

— Помогите... А то мы все погибнем тут!

— Вы что ж... не понимаете? — Он добродушно улыбнулся черными зубами. — Надо ж немножко дать!

— Нету! Обокрали в электричке вчера!

— Обокрали? Идиот! — как всегда вовремя встряла жена.

— Молчи... дура! — Отчаяние, которому раньше некогда было выплеснуться, выплеснулось сейчас. И пригодилось — не зря берег!

«Нехороший» смотрел на нас. Мгновение это, кажется, длилось целый век.

«Нехороший» подошел к «хорошему», надавил на телефонный рычаг.

— Ладно, Алексейч! Берем!.. Одевайте больную!

Надо уметь что-то делать хотя бы из отчаяния, если не из чего больше делать! — подумал я.

— Так... А где белье ее? Где платье? Что — нельзя было приготовить заранее?

Мы подло заметались по комнате. Господи, прости нас!

В черном костюме, белом платке на голове теща вдруг показалась таковой же красавицей, какой была когда-то...

Мы смотрели в окно — как ее, статную, красивую, ведут к пикапу. Единственное спасение в такой жизни — вставить в глаз уменьшительное стекло... А об увеличительном пусть говорит тот, кто горя не видал!

Под хлещущим проливным дождем мы бежали в полной тьме от станции к даче, ввалились на террасу — и не успели закрыть дверь, как ворвалось какое-то существо, вобравшее в себя, кажется, все струи, — и оно еще радостно прыгало на нас! Пес весело бил лапами нам по плечам, оставляя глиняные отпечатки, страстно дышал, лез целоваться. Запахло псиной, повалил пар.

— Все, все! Успокойся! Мы здесь!

Придя наконец в горизонтальное положение, радостно затряс шкурой — и если бы мы не были насквозь мокрые, то полностью вымокли бы сейчас.

— Ну все! Прекрати! Спим!

Он послушно улегся на полу рядом...

Среди ночи он вдруг вскинул уши... Медленный скрип замка... и страшный грохот — задрезжали все стекла террасы, словно от близкого грома. Мы выскочили в прихожую. Пес пытался лаять, но от волнения звонкий его голос куда-то делся, и он лишь виновато чихал. В прихожей медленно поднимался с колен какой-то Голем — гигантский глиняный человек, в нем тускло отражались вспышки молний... Кого-то он дико напоминал.

— Боб?.. Откуда ты?

Голем наконец гордо распрямился.

— Голубую глину искал... Только на голубой глине камин буду класть! — проговорил Боб и снова рухнул.

СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ

Я проснулся на косо освещенной красным солнцем террасе, поглядел на сладко спящих жену и дочь. Они здесь, в тишине и покое! Может ли быть более отрадная картина?

Не хватает, опять же, одного только члена семьи: вчера страстно клялся в любви, визжал и катался вверх брюхом, требуя ласк, — но чуть рас-

свело — все же не удержался: встал вертикально, надавил лапами на дверь (зная его подлую натуру, я уже и не запираю ее на крючок), с тихим скрипом отворил — и, подняв трубой хвост с белой кисточкой, радостно умчался. Мол, если все так отлично, то почему бы и не погулять?

Я вышел на крыльцо. Капли, оставшиеся от вчерашнего ливня, свисали с веток, наливаясь желтым.

Ага! Явился, не запылится! Сияя очами, высокими длинными прыжками из цветов, поднимающихся над лугом, белая, серебряная грива сдувается бегом набок. Стоп! Выскочил из травы на тропинку и, увидев меня, изумленно застыл, как на картине, — анфас, но чуть боком... любит себя показать: тонкая гордо поднятая морда, серебристо-белая на конце, огромные, черные, насмешливые очи, стройные ноги в белых «носочках» — и главное, ярко-рыжая богатая шуба, так очистившаяся здесь на воздухе, сверкающая, как медная проволока... Красавец, красавец!

— Ладно уж! Заходи!

Радостно тьякнув, прыжком подлетел к воротам, прогнувшись, как молодой, шнурком проделав под воротами — и замедленными прыжками, сияя шубой, чуть снесенной вбок, бегом полетел к крыльцу.

— Заходи уж! — открыл дверь. — Господи, мокрый-то!

Я вспахал пятерней его шерсть — резко запахло псиной, и поднялся целый рой каких-то полупрозрачных точек... и на кисти у меня вдруг вздулся белый волдырь.

Комары! Ты еще и авианосец комаров! Будто они сами летать не умеют: вон обсели весь потолок... Уйди! Отпихнул его — но он и это принял как ласку, стал прыгать, класть лапы на плечи, приблизив свой черный блестящий нос к моему рту, страстно вдыхал.

— Ну — что тебе? А! Не ел, честно, ничего! Ей-богу — не ел!

Повернувшись, случайно задел тихо брякнувшую его «узdeckу» на гвозде — что вызвало новый всплеск эмоций: радостно визжа, подобострастно заглядывая снизу в глаза, забегал по половицам туда-сюда... Ну? Идем? Ну когда же? С отчаяньем гулко грохнулся на пол, словно мешок костей.

— Ну ладно уж! — снял с гвоздя поводок с ошейником.

Полное ликование, прыжки, вой!

— Ну все, успокойся!.. Сидеть! Дай хоть ошейник натянуть!

Уселся, как воспитанный пес, дал натянуть ошейник. Удивительное творение! Кроме круглосуточного шлянья по местным красавицам требует еще и обязательной чинной прогулки с хозяином, как преданный, благонаправленный пес. И в этом нельзя его винить — ведь есть же у него хозяин! И он об этом помнит! Хотя и не всегда!

— Красавец! Какой красавец! — несло из всех калиток, к сожалению не про меня.

Пес шел чинно, смиренно, стараясь ступать нога в ногу со мной, терпеливо за эти полчаса искупая все свои прошлые — и будущие — грехи.

Грехи, конечно, были — но то все были грехи любви.

Бывало, крался за тобой по дороге, в тени кустов, до самой станции, где машины, воры, бандиты и где породистому благородному псу делать нечего. Хитрость его, эти прятки почти на виду были так трогательны (может, специально так делал?), что не было никаких сил его разоблачить. Но вот уже пошла криминальная действительность: рынок, гортанные голоса, продавцы шапок, сделанных явно из собачек. Я резко поворачивался:

— Ты здесь? Я сказал тебе — немедленно домой!

Он застывал, словно пораженный громом... Так вроде прятался, а все равно — разоблачен.

Опустив голову книзу, поджав хвост, он горестно уходил по дороге к дому... и снова крался вдоль лопухов!

— Ну, ты получишь у меня!

Это уже на базарной площади... виновато спрятался за ларек.

И когда, весь уже поглощенный предстоящими тягостными делами, идешь по платформе — он вдруг радостно вылетает тебе навстречу, развываясь как знамя, и на всякий случай застывает неподалеку, поедая тебя счастливым взглядом, широко размахивая пушистым хвостом: мол, вот как я тебя люблю — не могу расстаться!

— Красавец! Какой красавец! — Хмурые люди начинали улыбаться, обтекая его.

— Ну, молодец, молодец! Доволен?.. Иди!

Иногда видел его еще и из электрички — он выскакивал из чистого соснового леса, пробегая напрямик по диаметру, снова к железнодорожной линии... не всегда, правда, успевая — но я, выехав из-за поворота, глядел в ту сторону всегда: выскочит ли? Замечал, городские дела лучше шли после этого!.. Грех ли это?

Но сейчас он чинно вышагивал рядом, стройными ногами в белых носках, собирая со всех сторон комплименты, сосредоточенно искупая примерным поведением бывшие (будущие) грехи. Знал бы он, что искупление будет гораздо тяжелей!

Еще проходя сквозь калитку, я жадно, почти как Тавочка, всосал запаха: ага! пахнет гнилью и слегка уже — грибами! так! Я снял с частокола целлофановый мешок, наполовину налитый дождем, с темнеющим в середине ржавым ножом... вдруг что попадет? «Грибники ходят с ножами!» Название моего следующего произведения... пока, правда, не знаю, о чем.

И только мы вошли в лес, я стал жадно внюхиваться, как пес: откуда веет?

Но перед Тавочкой, конечно, открылась картина побогаче. Он страстно куда-то меня тянул — и вдруг остановился, застыл, с ходу ударившись о какой-то запах. Потом жалобно заскулил: ну?..пустишь?

— Ладно! Беги! — Я отстегнул его, и он исчез, как молния, хруст веток недолго был слышен! И снова стал нарастать: кругами носится! Вот выскочил, встрепанный, сгоряча даже не признав, злобно облаял — меня, хозяйина! — и тут же, поняв свою ужасную ошибку, мгновенно начал лаять куда-то вдаль, показывая, что никакой ошибки и не было — он сразу облаивал того, дальнего, но коварного врага.

— Ну, молодец... молодец! Беги!

И он унесся. Надеюсь, не навсегда? Надеюсь, эту, официальную, прогулку он не захочет испортить?

Уж лучше бы он ее испортил! Но кто же знал?

Пес продемонстрировал свою преданность... и на этом погиб!

Гулял бы безоглядно — и был бы жив. Явился показать свою любовь — и погиб!

Но, может, оно и лучше — погибнуть именно так?

Принюхиваясь так же страстно, как Тави, я сполз в осклизлый, гнилой, душистый овраг. Где-то здесь что-то есть! — я жадно озирался в овражной мгле. Видимо — на самом дне, в гнилом буреломе.

Я поднял хрустнувший на весу гнилой ствол, ржавый изнутри. Ага! Открылась целая банда желтых опят, сросшихся пятками. Дрожащей рукой я вытащил из целлофанового мешка ржавый нож, срезал понизу это сокровище, опустил в мешок. Так! Я пошел дальше во мглу оврага, поскользываясь, сохраняя равновесие. Но дальше ничего больше не было, только комары, казавшиеся белесыми в этой мгле... притом почти бесшумные... лишь результаты — белые желваки — вздувались на руках. Поскольку «сокровище» было выбросить невозможно, я с ненавистью плевал на руки, чесал волдыри ножом... Ну все! Счастье кончилось — надо выбираться!

Плоские желтые свинухи, как летающие тарелки, шли на штурм муравьиной пирамиды, та отплевывалась какой-то белой пушистой гнилью: первые свинухи уже погибли.

Я выбрался на край леса, как раз к свалке... Какие богатства раньше выкидывали — почти целые холодильники, всего с одной отсутствующей ножкой столы.

Ну что — мой юный друг бросил меня?.. я огляделся. Уж лучше бы бросил! Но кто же знал! Я тихо свистнул — и Тави ярко-рыжим костром вылетел из зарослей, страстно дыша, заглядывая в глаза: я ничего! Я только на минутку!

— Ну, ты... притвора!.. Ладно, пошли!

Он пристроился рядом — и мы, являя образец благочиния, пошли по улице.

Мы шли мимо Пашиной калитки: из распахнутой дверки его броневика неслась песенка про «несчастливого Коляна».

С крыльца к нам спустился важный Боб, чистый флигель-адъютант, не хватает лишь аксельбантов!

— Зайди! Паша там кое-что надывал для тебя!

До чего ж не хочется — но вдруг действительно? Денег нет ни копейки, а скоро проснутся — ежели уже не проснулись — жена и дочь. Что я им предложу? Господи, когда мы только усвоим: не будет от *них* помощи, только беды!

— Пса не бери!

— Почему... боится? — идиотски торжествовал я.

Я чуть приоткрыл калитку, и нетерпеливый, жаждущий разнюхать что-нибудь новое Тави просунул рядом с моим коленом шелковистую башку и затем уже проструился весь.

Я поднялся на крыльцо и приоткрыл дверь. Пардон, момент интима: пышная блондинка прильнула к Паше, он лениво гладил ее по задку радиотелефоном.

В этот момент что-то пихнуло меня сзади под коленки, и я стал заваливаться с крыльца назад, потом на какое-то время все исчезло — видно, стукнулся головой о кирпичи, воткнутые острым кончиком вверх по краю клумбы.

Очнулся я от наползающего ужаса: по мне, от живота к горлу, передвигалось на хиленьких ножках мерзкое существо — Пашина «тряпичная игрушка», с непропорционально большой головой, тусклыми сонными глазками, но довольно страшной — особенно в упор! — зубастой пастью. Белесое существо с розоватым, почти голым тельцем, с черной пиратской косынкой возле уха. Глазки были настолько тусклые, скучные, что было ясно: вопьется мгновенно, на лай, прыжки, рычанья, как это бывает у простых псов, времени и сил тратить не станет! Загораживаясь, я поднял ладошку.

Вдруг ярко-рыжее пламя налетело сбоку — я увидел рядом с лицом черную, подергивающуюся Тавочкину губу, обнажившую клык... на горле у него что-то висело, похожее на мешочек с мукой.

Господи! Этот успел-таки впиться! Яростный ком покатился по клумбе, только и виден был один Тави, прыгающий, яростно рычащий. Ясно было, что он побеждает: кто еще-то? Того даже и не видать!

Но прыжки все замедлялись, становились тяжелей — и вдруг Тавочка остановился прямо передо мной, опустив башку, — «кулек» продолжал свисать с его горла. И тут я вдруг заметил, что «кулек» не спеша, деловито перехватил зубами поглубже. Тави засипел, задыхаясь. По бульжной морде «кулька» заструилась темная кровь... явно — не его. Он лишь перехватывал поглубже. Господи — кто же так дерется: где рыцарский разгон, роковой романс, исполняемый с легким рычанием, красота боя? Все! Ушли эти красоты, никому они больше не требуются — важен лишь результат, пусть абсолютно некрасивый, — кому это нынче нужно? Молча задушит — и все! Я выхватил из кулька ножик, полоснул по белесой шее: рядом с ошейником проступила кровь.

Тавочка, размахивая шеей, сумел наконец отбросить врага. Тот поднялся на свои рахитичные ножки и, жалобно поскуливая, стал карабкаться на крыльцо: каждая ступенька давалась ему с трудом.

Господи, ну и уродина! Неужто пришел их век?!

Тавочка лежал вытянувшись, горлом в пыли. Я подsunул ладони под косматое брюхо, с трудом поднял его, поставил на ноги... Слава богу — стоит! Глядишь — все еще и обойдется?

— Получил? — сказал ему я. — Ну, молодец, молодец! — Он стоял безучастно, опустив голову. — Молодец! Спас хозяина!

Он стал медленно падать набок.

Я схватил его под мышку, как волосатый портфель, и помчался к дому. Он свисал абсолютно безжизненно, лапы болтались.

Я открыл дверь на террасу, поставил пса на лапы... Стоит, слава богу! Вышла румяная, счастливая, наконец-то выспавшаяся жена.

— Ну, как погуляли? — улыбалась она.

Пес вдруг гулко закашлялся, и розовая пена пошла из пасти.

— О! — отшатываясь, закричала жена.

Вышла дочь — и сразу все оценила:

— Надо быстро делать укол — пошла в аптеку! Ни в коем случае не давайте ему пить!

Жена, семеня рядом с ней, что-то лопотала, совала деньги.

— Уйди, мама! — басом рявкнула дочь.

Стукнула калитка.

Мы вернулись на террасу — Тави лежал вытянувшись, с открытыми глазами, но абсолютно неподвижно... Куда он сейчас глядел?

«Волшебная дверка» в стене открылась, и вошел Боб. Что-то часто в последние дни открывается эта дверка! Только вот счастья нет.

— Слушай! Все с кабысдохом своим возишься? Паша ждатель не любит!

Я посмотрел на него. Ну что такое?! Наверное, несчастья не были бы такими ужасными, если бы к ним не примешивалась еще и чушь!

— Что ему от меня надо?

— То твои дела!

Господи! За мои же двести долларов, украденные Пашиными же колесами, он решил меня же замучить до смерти!

— Ты дала Насте... какие-нибудь деньги на лекарства?

— Откуда? — оскорбленно проговорила жена.

— А что ты ей там совала?

— У меня есть вот... четыреста рублей!

Я посмотрел на неумолимого Боба.

— Ладно! Иду!

И, кинув последний взгляд на неподвижного Тавочку, ушел за Бобом. Как легко и приятно уйти — в нелепой надежде, что ты вернешься, а уже что-то улучшилось почему-то!

— Ну что?

Паша чистил ботинки. Из соседней комнатки вышел поглядеть на обидчика Пашин пес, с забинтованной, как у ребенка, шеей.

— Есть тут некоторые наколки! Едем!

Да, молодец я: за какие-то двести долларов получил дивное право — то и дело кататься на его машине!

— Слушай — ты достал уже меня с твоими двумя сотнями баксов! — проговорил Паша, когда мы выехали на улицу.

Похоже, что в этой истории удовольствия не получает никто.

Мы ездили целый день по окрестностям — с некоторыми Паша предварительно договаривался по телефону, к некоторым подваливал резко. Многие удивляло — например, с беззубым и оборванным, что сидел, выставляя вперед рваные опорки, на поребрике вокзального сквера, разгова-

ривал почтительно и долго. И наоборот: с суперменом, одетым в шлафрок с райскими птицами, впусившим нас в свой кирпичный замок, построенный в стиле тюрьмы «Кресты», лишь после долгих переговоров с помощью техники, Паша говорил резко и грубо... Их не поймешь... но, оказывается, тут немалая их «прослойка»!

После очередного неудачного визита я внутренне сжимался: неужто — все? Возвращаемся на дачу? Что там произошло за эти часы? Навряд ли что-то хорошее! Однако ужас мой в очередной раз рассеивался — Паша, тыкая пальчиком, набирал следующий номер:

— Тема есть!

Оказывается, совсем рядом существует целое поселение кавказских беженцев — за болотом, в полусгнивших дачах какого-то бывшего промышленного гиганта.

Тема есть... но содержания — нету. Очередной «конфидент», к которому мы являлись, пристально меня разглядывал и отрицательно качал головой: «Нет. У этого не брал! Такой мелочевкой не занимаемся!»

— Слушай, кого ж ты там надыбал? — шутил Паша. — Все у тебя не как у людей!

В общем, он был доволен, авторитет его подтвердился, видимо, отблеск его славы упал и на меня... в следующий раз точно уже ни у кого не поднимется на меня рука!.. разве что у «гастролера». Но это уже не так обидно — главное, чтобы не пострадать от своих!

Тавочка вроде бы дремал — неподвижный, но веки вздрагивали: от мыслей... или от снов?

— Нет, не спит — просто закрыл глаза, — вздохнула жена.

На столике уже теснился целый арсенал: батареи ампул в бумажных патронташах, бутылочки, в кастрюльке — разобранные шприцы.

— Молодец Настя. А где вообще она?

— В город поехала... там обещали ей... какое-то американское лекарство. Наши абсолютно не действуют! — Жена всхлипнула.

— Прекрати! Одни несчастья от тебя!

— Да? Это я с ним гуляла, когда загрызли его? Я?

— Слушай! Прекрати, а то схлопочешь!

— Ну давай! Бей! — Она отважно выставилась вперед.

Пес, абсолютно не реагирующий на наши баталии — даже жилочка не пошевелилась, вдруг резко поднял уши, когда гулко хлопнула калитка. Настю ждет — на нее только надеется.... нас уже раскусил. Обидно, когда даже пес понимает твою несостоятельность и легковесность!

— Когда Настя уехала?

— А тебе-то какое дело?!

Да — если в обычной жизни мы еще как-то держимся, то горе мгновенно размывает нас!

«И среди людей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

— ...Может, пойдем встретим Настю? — пробормотал я. — Тавочка вроде успокоился...

Но тут Тавочка поднял уши, а потом даже и морду: на террасу входила Настя с медицинскими пакетами — и сразу пошла работа. Пес уронил голову с протяжным вздохом — то ли надежды, то ли отчаяния: мол, поздно все это!

— Ты, как всегда, бестолкова: я же сказала — шприцы в воде не оставляй! Ты сможешь сделать укол?

Это она уже ко мне!

— Я?

— А кто же еще? Вот смотри. Берешь... соединяешь иглу и помпу... держишь так... попробуй!

Я попробовал.

— Нет, не так! Ну, ничего — у тебя получится! Мне, к сожалению, надо срочно уезжать!

— Куда это?

— Не важно! — твердо ответила дочь. Считает, похоже, что стала главнее всех? Ну ладно, пока что не будем нагнетать!

— Дальше, — кротко проговорил я.

— Пускаем из шприца фонтанчик... Вот так — чтобы не оказалось в нем пузырьков. Окажется хоть один пузырек воздуха в уколе — быстрая смерть.

— О господи!

— Так! Теперь хватаешь кусок его мяса!

Настя ухватила часть его бока — и даже слегка перекрутила.

— Втыкаешь... резко, ударом! И плавно выжимаешь? Ну, понял? Теперь надо еще уколоть глюкозу — это вещь неопасная. Сможешь?

— Нет. Сделай уж ты! Хорошо?

— Я думала, ты сильнее.

— Я и есть сильнее... но — в другом!

— Ладно! — Дочь снова поднесла шприц к псу — тот лишь протяжно вздохнул — страдая, но подчиняясь ей, надеясь теперь лишь на нее!

— Молодец, Настенька! — сладко проговорила мать, я тоже умильно улыбался: любые гримасы, любые речи — лишь бы не делать чего конкретного самому! Нет чтобы спросить строгим родительским голосом: а откуда ты, дочка, вроде бы увлекающаяся переводами, умеешь так удачно делать уколы? Потом, как-нибудь потом... а сейчас — пусть делает!

— Молодец, Настенька! — снова веселая (опять не надо делать ничего трудного), проговорила жена.

— Вот так вот! — Настя выдавила из шприца глюкозу, снова ухватила кусок мяса, потрепала его, помассировала. Пес закричал — то ли от боли, то ли от счастья.

— Ну... сейчас я приготовлю ужин! Молодцы! — Жена радостно упорхнула на кухню.

Постояв над успокоившимся вроде Тавочкой, мы тоже пошли туда. Отнюдь не самая комфортабельная кухня — Боб оставил лишь две скрепленные половицы над бездною гаража, — но и в такой кухне, оказывается, можно расслабиться, быть счастливыми. Жена подала нам сардельки — как бы из кипятка, но сохранившие внутри себя слой льда. Потом дочь абсолютно свободно закурила — мы не сказали ни слова: ее сила!

Она же, докурив, размазала окурочек по блюдецке и пошла к нашему Тавочке. Я — чего никогда раньше не делал! — как бы помогал собирать посуду.

— Ой! — послышался Настин крик. Мы кинулись туда.

— Ой! А где же пес? — удивилась жена.

— Ушел, — хмуро пробормотала Настя.

— Но это, наверное, хорошо! — весело проговорила жена.

Веселье, оказывается, не всегда бывает самой подходящей субстанцией!

— Снова, наверное, носится со своими красавицами! — взбадривала нас жена, но взбадриваться почему-то не хотелось.

Мы сидели на высоком крыльце, отмахиваясь от туч комаров. Тучи! Тучи! Налетели буквально за день! В августе вроде бы их быть не должно? Много чего быть не должно!

По тропке вдоль ограды маленький лысый человек тащил упирающуюся козу на веревке... говорят, бывший знаменитый профессор... не коза, разумеется, а человек.

— Это не ваш пес там лежит?

— ...Где?

— Там, на болоте.

— Живой? — хрипло проговорила Настя.

— Да не очень, — деликатно проговорил профессор.

Тут и дочь всхлипнула.

— Ладно! — Я поднялся. Хватит прикидываться дебилом — пришел твой час. — Сидите! Я пойду один! Все!

Тропка в болото уходила прямо от калитки Боба. Я шел — все выше вставали камыши, под ногами смачно чавкало... нигде никакого пса! Специально, что ли, прячется? Не лобит уже нас? Или ему — уже не до нас?

Был один способ увидеть его через мгновение — где бы он ни находился и чем бы ни занимался. Способ этот, как и многое гениальное, был рожден бедой, предчувствием смерти. В прошлом году, когда еще у нас бывали бурные застолья, я вдруг подавился костью леща. Хрипя и кашляя, а потом уже — громко сипя, я пытался сделать горлом невозможное — протолкнуть кость... глухо, не поступает воздух. Мысль: через сколько секунд — затмение, смерть? Через минуту? Уже какие-то прозрачные колеса катились перед глазами — видения из другого мира? В последнем отчаянном броске я выкинул себя на край луга — и страшный, нечеловеческий сип (гибнущего динозавра?) вырвался из глотки. Вроде не такой уж он был и громкий — вопли встревоженных друзей вроде бы забивали его начисто, — но Тави услышал. Стоя на краю луга — почему-то на коленях, — я вдруг увидел, как из леса выскакивает и мчится через луг с высоченной травой мой огненный ангел — стараясь как можно выше выпрыгнуть, чтобы заранее понять — что же там случилось?

Развеваясь как знамя, он подлетел ко мне — я обнял его пахучую гриву — и одновременно проскочила кость!

— Молодец! Молодец! Спас меня! — Левой рукой я гладил шелковистую морду, торопливо вынюхивающую, что же здесь произошло, другою рукою вытирал с лица слезы и пот.

После этого, если он был нужен позарез, я научился повторять этот сип — к счастью, без кости в горле. Так было в прошлом году, когда машина была уже загружена, а он не являлся. Я вышел на луг и издал свой предсмертный вопль — и тут же он вылетел из леса!

Несколько раз после этого мы выигрывали у гостей, споря, что пес, не появляющийся сутки, будет тут через полторы минуты!.. жена тоже научилась имитировать этот крик.

Но сейчас — даже этот крик сможет ли вырвать Тави оттуда, где он находится?!

Ох!.. вот он! Совсем в болоте, в булькающей жиже, в высоких камышах. Он лежал вытянув шелковые лапы и положив на них голову.

Услышав чавканье моих шагов, посмотрел снизу.

О боже! Раньше, бывало, он на бегу с досадой останавливался и сбивал лапой комаров с чудной своей морды. Сейчас он и лапу поднять не мог? Глаза его стали крохотными, были залеплены гноем и комарами. Взял его длинную голову в руку, комаров всех передал, вычистил глаза пальцем.

— Ну что, любимый?

Он жалобно заморгал.

— Ну? Чего ты тут разлежся? Пойдем домой?

Он смотрел, моргая все чаще, и взгляд его умсляет: «А можно, я здесь останусь? Умру, исчезну бесследно?»

— Встать! — заорал я.

Он, качаясь, встал на ноги, превратившиеся в спички. Грудь, ставшая вдруг листом фанеры, вздымалась тяжело. Господи! Мгновенно исхудал!

— Ну, молодец! Пошли. — Я вернулся, почесал опущенную его башку за ухом и не оборачиваясь пошел.

Через минуту, не выдержав, обернулся. Пес, голова у земли, бока вздымаются, покачиваясь, шел за мной.

— Давай! Молодец! Иди, иди... Сейчас — мы поспим все вместе — и утром все будет хорошо!

Через минуту, снова оборотясь, я не увидел его на тропке. Где же? Ах вот! Он почему-то вошел в воронку с темно-ржавой водой, лакал вонючую воду, одновременно увязая все глубже — пузыри, лопоча, уже смыкались у него над загривком, — но это, видимо, не волновало уже его.

Так, вспомнил я. Кто же мне рассказывал это? — если пес уже лакает грязную воду — значит, все: точно помрет.

— Фу! — Я выдернул его из жижи и, взяв под мышку — запросто уже помещался — и какой легкий стал! — вынес из болота на улицу, опустил его на лапы. — Иди!

Он постоял, потом зигзагами, головою почти по пыли, пошел.

Вся улица, обмерев, смотрела из-за калиток.

У калитки Паши он вдруг остановился, постоял и, приподняв чуть-чуть голову, тихо зарычал. Помнит своего врага! Молодец!

— Пошли!

Он, шатаясь из стороны в сторону, обогнул дом. Я торопливо размотал проволоку, распахнул ворота. Да — под воротами он уже не пролезет... а как пролезал! Я поднял лицо вверх: самый лучший способ удержать слезы.

Тави подошел к крыльцу и остановился перед ступеньками. Головой — зашевелились жилы — он дал лапе приказ: подняться! — и вместо этого упал набок.

Я взял его под мышку и вошел с ним на крыльцо. Жена и дочь сидели молча: они видели через стекла наш путь. Пес лежал на полу — и вдруг вскочил, в каком-то последнем ужасе. Он сильно дернулся несколько раз, от хвоста до морды, и его стало сильно рвать.

Мы сидели на стульях вокруг него, время от времени отворачиваясь, утирая слезы.

Он снова гулко свалился. Жена зарыдала.

— Чем вопить, взяла бы лучше швабру, вытерла бы блевотину! — заорал я.

— Сам вытирай! — рыдала жена.

Дочь молча принесла швабру, вытерла перед его носом. Чудесный пес, он даже изобразил — правда, только мышцами головы, — что сейчас поднимется, чтобы можно было убрать как следует!

— Лежи, лежи!

Он со вздохом облегчения уронил голову... Последнее счастье!

— Олимпийка! — глядя на него, проговорила Настя.

— Какая олимпийка! Пес его искушал! — закричала жена.

— Олимпийка... в детстве у него была. Кстати, я тоже тогда колола... в восемь лет! С тех пор антибиотики на него не действуют.

Пес задергался и, словно плывя на боку, загреб зачем-то под стол, там он задергался мелко-мелко, потом переплелся лапами с ножками стола, словно обнимая их — в какой-то последней надежде? — и затих.

— Ну, все! — Настя поднялась. — Надо быстро достать его, пока теплый, закоченеет — будет не вытащить!

Мы стыдливо молчали. Она подняла его.

— Простыню дай! — скомандовала она матери, и та послушно принесла.

Мы завернули Тавочку, ставшего таким легким, в простыню, Настя перекинула его за спину, и мы спустились во двор. Настя оглядела эту «вечную стройку капитализма», показала подбородком:

— Вон... лопату у ограды возьми. И вон ту палку с перекладиной!

— Палку-то зачем?

— Воткнем рядом с могилой. Букву «Т»!

— Зачем букву-то?

— «Т»! Тавочка.

— Ах да... Ну — ты голова!

Настя кивнула.

Похоже, я потерял пса, но зато нашел дочь.

— В сухое место несем.

Мы пронесли наш груз в белой простыне мимо Пашиной калитки, он курил на крыльце, но никак не прореагировал. Настя повернула в лес. Правильная идея: похоронить рядом с полем боя!

Уже в сумерках мы вышли из леса на улицу. Паши не было. А почему он, собственно, должен быть?

Жена сидела на стуле посреди опустевшей террасы и, увидев нас, снова зарыдала.

— Хватит тебе вопить! — сорвался и я. — Возьми хотя бы тряпку, вытри эту жуткую грязь!

Жена убежала, вернувшись с огромной разлохмаченной тряпкой, и, размахивая ею в тоненьких ручонках, завопила (наконец-то и она могла превратить хоть во что-то свою скорбь):

— Убирать, да? Убирать, да? Хорошо, я вытру все!

Я пригляделся к полу. Весь он был заляпан отпечатками его лап — пять круглых подушечек на каждой!

— Это — тоже стирать? — она указала на узкий черный след на двери, где он просовывал свою тонкую хитрую морду, расширяя щель.

Я махнул рукой.

— А-а... Тебе лишь бы не работать! — пробормотал я.

Всю ночь мы не могли уснуть — мы не уснули бы и в тишине, но всю ночь *оттуда* несся вой собак, лай, рычанье — и рев яростного многопесного боя! Видно, весь местный бомонд сбежался на его поминки, и кончилось, как и полагается, дракой!

К утру жена наконец созрела:

— Это... отведите меня... к Тавочке... на могилку! Положу ему туда... его мисочку! — мужественно проговорила она.

Уже на подходе к могилке что-то меня заставило вырваться вперед. Может, непонятные ключья белой материи, попадающейся все чаще?

Я сделал резкий рывок вперед — и остановился.

— Стойте! Не подходите сюда! Уходите! — заорал я. Они как раз показались на краю полянки. — Уходите! — Я махал рукой.

Настя, сообразив что-то, увела мать.

Да-а, псы ночью не просто тут лаяли и дрались: они вырыли Тавочку из могилы и терзали его! Кругом ключья простыни, из остатков ее торчит темно-рыжий разодранный бок, оскаленная — в последний раз — Тавочкина пасть.

И тут они не забыли его: сбежались мертвому мстить — за его острый победный запах, за его красоту.

Дай, боже, и мне такого запаха — и таких врагов.

...Еще когда мы шли сюда — мимо Пашиного крыльца, — Паша и какие-то его дружки стояли и глазели — видно, Паша им все рассказал. В глазах их было веселое любопытство: мол, ну а вы-то сами как? Не собираетесь тоже на тот свет?

Мне показалось неудобным начать углубляться в лес, где была могила, прямо у них на глазах — Паша наверняка решит, что это мы демонстрируем, подчеркиваем его роль в гибели нашей собаки... Так прямо перед ним — неудобно. Могли бы понять это — отвернуться или просто уйти в дом. Но они продолжали смотреть — их это не так волновало, чтобы им пошевелиться. Неудобно почему-то было нам — мы не свернули прямо на их глазах, а пошли в обход, через болото. Каждому свое!

Потом я снова отправился на могилу Тавочки, треща кустами.

По дороге я прихватил с нашей «вечной стройки капитализма» полу-сгнивший столб — таранил его, прижав под мышкой, в другой руке между пальцев два листа ржавого кровельного железа... И если Боб скажет, что это нужно ему для великой стройки, — загрызу!

Я бережно уложил Тавочку обратно в яму, засыпал разбросанной вокруг земель, положил кровельное железо и сверху навалил столб... Вот. Примерно вот так!

Боб повел себя неординарно. Он встретил меня у выхода из леса и, хотя по грязной моей одежде наверняка понял, чем я там занимался, хищением его стройматериалов не попрекал.

— Ну что... жалко тебе твоего кабысдоха?

— Слушай, Боб! А можно посоветовать тебе жить — беспомощно, светло и немо?

Боб неожиданно согласился.

...Зато вдруг пошли грибы — и можно было целыми днями пропадать, ни с кем не разговаривая. В лесу пахло, как в предбаннике, — пыльным засохшим листом.

В самой мусорной глухомани, вдоль старых, еще финских канавок, стояли на серых волокнистых ножках дряблые подберезовики.

Надо брать выше — я полез по сыпучему песку. Кто-то хватался уже тут, выбираясь: ярко-рыжий на сломе ствол осины... Здравствуй, груздь!

Яркость сыроежек обманчива: от них остается лишь пластинчатый мусор — и никакой яркости.

О! Маленький, но горделивый красный светился прямо посреди тропы — видимо, встал тут с целью преградить дорогу силам реакций.

В сухой канавке, уходящей в сторону, — огромный белый, как бы с потной шляпкой, с прилипшей к ней парой иголок, — к сожалению, уже немолодой, снизу зеленоватый.

Изолгавшиеся опять... Обходим их.

Не может быть! Неужели это он, драгоценнейший рыжик, с голубоватыми концентрическими кольцами на шляпке? Точно — сочтется на сломе ярким соком!

Вдруг послышался нарастающий хруст — ко мне бежал худенький старикашка с корзиной.

— О, здравствуйте! Ну — как грибы? — произнес я.

— Да вот лисичек немного наковырял! Ну, слава богу, что нашел вас, думал, все — заблудился. Вы от Маретиных идете?

— Да.

— Ну, слава богу! Там пес всегда лает. *По краю собачьего лая* к станции и выйду!

— ...Больше он не лает, — пробормотал я.

Я вдруг резко повернулся и бросился в кусты, изумив бедного старичка... Все понял! Зато я про тебя, бедный мой Тавочка, напишу!

Сразу столько вспомнилось! Не растерять бы! Ломился сквозь кусты! Идиот! Сколько раз можно повторять тебе: без ручки и записнухи в лес не ходи! Ворвался на террасу, сел... ничего не потерял вроде. Кроме грибов.

За неделю я написал «Собачью смерть». К счастью, ничего почти не отвлекло. За это время произошло всего одно событие — повязали Пашу.

Произошло это неожиданно — во всяком случае, для меня. Я лихорадочно дописывал рукопись, сидя на террасе, и вдруг услышал в своей голове тихий, но четкий голос: «Сидит. Что-то пишет...» Я встрепенулся. Что это? Белая горячка? Шизофрения?

— ...перестал писать, — произнес тихий голос где-то рядом.

— Макай его, — произнес далекий, дребезжащий голос.

Я резко приподнялся — и увидел на крыльце какого-то марсианина в мохнатой маске, обвешанного множеством всякой техники, включая автомат. Мы встретились глазами — и он, ударом ноги откинув дверь, навалился на меня, приплющив харей к рукописи.

Так вот что значит — «макать»! — мелькнула мысль. Записать бы, чтоб не забыть. Рука поползла к карандашу, но он приплющил и руку.

Паша уходил с большим достоинством. Подойдя к зеленому «газику», в который его усаживали, он провел пальцем по борту и произнес:

— Мыть, Ваня, технику надо!

— Танки не моют! — красиво ответил Иван.

Жена, обосновавшись тут вполне уютно, утром радостно уходила на базар — завязала трогательно-дружеские отношения со всеми: хриплыми продавщицами, оборванными алкашами, небритыми кавказцами — и каждый раз возвращалась оттуда то с радостными, то с горестными вестями и требовала от меня адекватной реакции.

— У Юсуфа брат заболел!

— Отстань! Не видишь — я занимаюсь!

— О чем же ты пишешь, если никого не знаешь? — удивлялась она.

— Отстань. Зато ты всех знаешь.

А тут она пришла вконец расстроенная:

— Троху избили!

— Это деда этого? За что? — проговорил я, продолжая писать.

— Тебе это интересно?

— Очень!

— Его грибная мафия избила — за то, что свои грибы продавал!

— Так не продавал бы, а ел! — Поняв, что от нее не избавишься, я поднялся.

Троха сидел прислонясь к железнодорожной насыпи, по лицу его текли красные сопли, грибы были раскиданы по тротуару, разломаны, корзинка, а заодно и его соломенный брыль были разорваны и валялись в стороне.

— Продаешь?

— А тебе что — нравятся мои грибочки? — с вызовом произнес Троха.

— Для затирухи в самый раз!

Вечером Троха, с подкреплением дружков, появился у меня на террасе, утверждая, что продешевил, нагло требуя добавки. Каждому человеку для собственного самоутверждения надо кого-то презирать, так что со мной ему повезло. Не глядя я открыл ящик, вытащил деньги, протянул Трохе.

— Пишу — видишь? Не отвлекай меня!

Боб, оставшись без руководства, вернулся отчасти на прежние позиции: теперь у него наверху вечно шел гудеж — и Троха со товарищи к ним присоединился.

Боб, после увода Паши оставшийся визирем, как всякий порядочный визирь, погряз в коррупции. Брал с торгующих всем, чем угодно, даже гнилыми фруктами. Однажды я смотрел, как он протягивает пожилому азербайджанцу сельского вида, с изумлением уставившемуся на него, какую-то свисающую бумагу. Я подошел ближе и тоже изумился: факел!

Они гудели наверху у Боба ночь напролет, что было, наверное, кстати: я не смог сомкнуть глаз — зато дописал «Смерть».

Утром, чуть вздремнув прямо за столом, поднялся, надел на рукопись скрепку из чистого золота, вышел на крыльцо.

Утро было прелестным. Кстати — гости, уходя, сперли мой свитер, который я с диким скандалом уговорил жену наконец выстирать! Вот тебе

ответ на твои наглые просьбы! Свитер был куплен в Италии, в счастливые времена, и на груди его было выпукло вышито «Букмен»!.. Ну, ничего! Пусть мой свитер будет им пухом!

Я кинул рукопись в сумку и понесся.

Ладно! Что бы там ни творилось в издательстве — против «Собачьей смерти» ничто не устоит!

Я выскочил из троллейбуса перед издательством — и обомлел. Все двери и даже окна были заделаны толстыми решетками. Что же это теперь тут? Может, филиал тюрьмы, организованной Пашей на его деньги, где он сам лично и отдыхает? Как же туда войти — мне, с «Собачьей смертью»? Я долго общался через переговорник с какими-то глухими, словно подземными, голосами, мало кто из них что знал: «...какое еще издательство?» Нет уж — так не уйду! Наконец вышел на Гиеныча, и решетка сама собой отомкнулась.

Гиена, как гиене и положено, сидел весь зарешеченный.

— Ты понял, что учинила эта сука? — прошипел он. — Продала издательство этому бандиту!

— Как?

— Тебе лучше, наверное, знать, — змеей прошипел он. — Ты же его друг: пополам купили или как?

Да — плохо мое дело: и честь не сберег, и богатства не нажил!

Зато у Гиеныча все хорошо: и честь, и богатство!

То-то он, когда я вошел, прикрыл у какой-то толстенной рукописи название!

— Все! Теперь к панночке иди! Уж она тебя приласкает!

— Нет-нет! — Панночка замахала ладошками. — Рукописями я теперь не занимаюсь!

А чем же ты теперь занимаешься? — подумал я.

— С рукописями решает теперь только Павел Дмитриевич! Изыщите возможность — и передайте ему!

— Но он же... в тюрьме?

Может — она не знает?

— Вот я вам и говорю: изыщите возможность!

...Изыскал.

Потом несколько раз просыпался среди ночи, волновался: как там Паша? Не спит небось, читает?

Да-а-а... С моей эйфорией — не пропадешь!

И вот я стоял у стен тюрьмы, за широкой гладью стройно вздымались Большой дом и Смольный, а за моей спиной — тюрьма, и оттуда должны мне выплунуть рецензию на мою последнюю рукопись... Мсть панночки удалась. Я жадно ловил пули... не мне!

Но беда подошла с неожиданной стороны. С резного боярского крыльца спустился Боб и проговорил, протягивая рукопись:

— Паша не въезжает! Говорит — какая собака, когда людей пластами кладут? Мелкая тема... сумка-то есть?

Всем им подавай крупные темы — я оглядел окружившие меня учреждения, два за Невою, третье здесь!

— Ничего! — успокаивал я себя на обратной дороге. — Поем картосицу, хлебусек!.. Нормально!

Увозил наше барахло с дачи друг Слава — кто же еще? Я запихнул в его подгнивший снизу «Москвич» узлы и жену... как и у всех моих друзей — транспорт у него эпохи зрелого социализма.

...Потом мы выпили, в знак прощания с летом, одну бутылочку, я уже в авто не влезал — а они поехали.

— Слава, а ты не боишься... поддамши? — перед этим спросила жена.

— А я изнутри весь искусственный, как робот... алкоголь на меня не действует! — лихо ответил Слава, и они умчались.

Я остался в грусти и одиночестве. Надо попрощаться с этим куском жизни — видимо, навсегда! Осень не может не покрасоваться: один этаж ее бурый, выше — золотой, голубой — еще выше.

Прозрачный целлофановый пакет, забытый женой, выпячивал на веревке блестящую молодецкую грудь, хорохорился. Я спустился с крыльца, глянул в стоящую возле ступенек ржавую бочку с водой. О — весь темный объем занят мелкими светлыми головастиками, неподвижными запятыми.

Я стукнул по ободу — и головастики примерно на сантиметр от края вздрогнули, потанцевали и снова успокоились.

Я дал посильнее — заплясало более толстое кольцо. Схватил обломок кирпича — жакнул по бочке. Затанцевали почти что все, кроме самой середины. Вот оно, настоящее искусство! Вот она, моя команда.

Пакет на веревке начал крутить лихие сальто, все ближе подкатываясь к голой бабе на мотоцикле на пластмассовой кошелке. Сальто, сальто — и к ней под бок! Вот это по-нашему! Я еще немного постоял.

Пролетела пара соек.
Я мудаковат, но стоек.

...Пора!

У самого уже вокзала привязался Троха с компанией:

— Эй ты, носатый! Деньги давай!

— Отвалите! Ей-богу, спешу!

На Трохе, кстати, красовался мой свитер «Букмен». Он, значит, теперь «Букмен»?

Пришлось все же быстро подраться.

Перед самым уходом от Боба вдруг послышался скрип лестницы сверху... Дома он, что ли? Решил попрощаться?

Но с лестницы неожиданно спустился абсолютно незнакомый интеллигентный человек — голубоглазый, с русой бородкой.

— Здравствуйте! — приятно улыбаясь, заговорил он. — Последние пять лет я по контракту в Принстоне работаю, там же и отдыхал. Но в этом году не выдержал, приехал сюда. Вот — договорился. Думаю, удастся здесь спокойно отдохнуть.

— Несомненно!

Он стал рассказывать о своей жизни в Принстоне — но я уже торопился. Все! В голову ничего больше не влазит.

— Извините, но я спешу! Доброго вам отдыха!

А тут эти еще алкаши прицепились! Дай денег им — сразу мнение о твоей носатости переменят! Но — некогда заниматься их просвещением.

— Отстаньте, — сказал. — Мне уже не до вас — у меня даже Принстон не влазит.

— Нет, стой!..

Пришлось-таки сцепиться. Обидно, когда твой собственный свитер бьет тебя по лицу. Шмыгая окровавленным носом, ввалился в электричку, и тут же она тронулась! Умен!

В вагоне, кстати, как всегда, оказалось полно очаровательных девушек. Поглядывали с интересом: что ж это едет за отважный боец? То с одной переглядывался, то вдруг другую избирал... Казанова вагона.

На станции Левашово с грохотом ввалилась толпа омовцев — видно, после ночной работы: «макаки» кого-то. Пятнистые робы, пушистые усы,

волнующие запахи смазки и гуталина. Девушки все моментально на них переключились. Ну, знамо дело: где уж нам с ОМОНОм тягаться! А на меня, кстати, орлята предпочитали не смотреть, хотя факт преступления налицо — разбитая морда. Но чувствовалось, что и им тоже — лишняя работа ни к чему... Тем более, что она уже сделана!

Ну — прощайте тогда. Углубился в свой внутренний мир. Да-а. Вот и отпал еще один кусок жизни. Лучший или худший, пока говорить рано. Но точно, что не худший! Вдруг очнулся: а чего так тихо?

Огляделся — все омоновцы спали, уронив буйные головы на нашивки и бляхи. Девушки, повздыхав, снова ко мне повозвращались. Целый взвод ОМОНа победил!

БЕГУЩИЙ ПО МОСТАМ

В городе сразу же навалились новые проблемы... А я еще хулил сельскую жизнь! Идиллия!

Во-первых — батя сразу же позвонил, что в одиночестве он жить не намерен и переезжает ко мне. И, как я сразу выяснил, — со своим багажом.

Мы стояли в его — теперь уже холостяцкой — квартире, и он, потрясая ладонями, восклицал:

— Ну и куда все это теперь? На помойку? Скажи — на помойку?!

За окном уходили во мглу ровные кубы новостроек.

Я, как мне кажется, красноречиво молчал. Куда все это теперь? Вопрос его, если я не ослышался, содержал и ответ.

Эти запыленные кубометры научных книг и журналов, загромождающие коридор и кабинет, далее — грустные плоды зажиточной, как казалось тогда, профессорской жизни: пластмассовые вазы, статуэтки, тяжелые ковры, какие-то почетные грамоты на стенах, блеклые вымпелы, дипломы.

— Это вот снимай...

«Лучшему», «Уважаемому», «За выдающиеся...».

— Ну — а остальное... а остальное?

Я вздыхал. Превращать свою квартирку в музей ушедшей, хотя бы и замечательной, эпохи?

Перевезли, что вместились.

К тому же — вот уж чего не ожидал: они сразу горячо сомкнулись с моей женой — даже в вопросе перестановки мебели. Жена сказала, что давно уже мечтала все переставить по-умному, но боялась меня. Теперь, значит, не боится! Так что теперь я полюбил вынашивать новые дерзкие замыслы на улицах и мостах.

Я стоял на широком мосту, который скорее часть уютной Исаакиевской площади.

Из-под ног моих медленно выползал плоский экскурсионный катер. Пассажиры шурились, вынырнув на свет после темноты. На самой корме стоял маленький японец, задрав видеокамеру. Увидев меня, повернул ко мне слегка отливающий бензиновой радугой зрачок. И все — засосал меня в свою жизнь, увез с собой.

Все! Уехал в Японию!

Правда, вскоре выяснилось, что уехал я не в Японию, а в Венгрию.

— Но учти: и в Венгрии на конференциях теперь только по-английски, — сказал друг Слава. — Кончилась наша малина!

Мы стояли с ним на приеме, посвященном, кажется, министру из Антарктиды — пораженному, как и все наши гости, таким бурным интересом общественности к нему.

— На английском так на английском! — ответил я. — Эка дела!

— Мне кажется, тебе лишь бы расслабиться! — проговорил Слава. Но расслабиться не удалось.

Наконец-то я сумел найти место, где абсолютно никому не нужен! Я остановился посреди бесконечного будапештского моста Свободы, свесил голову над огромным Дунаем. Прыгнуть, что ли? Боюсь — Слава не одобрит!

В первый же день я подошел к устроительнице семинара, энергичной седой женщине, заспрошал (разумеется, по-английски):

— Скажите — а где переводчик с русского Ласло Братко?

— Не имею понятия! Может быть, придет. Список участников мы ему посылали.

— Благодарю вас!

Помню, как он обнимал меня на прощанье тогда:

— Большой писатель... огромная морда!

Конечно, можно вспомнить тот хмельной наш путь, заявиться к нему... Но — кем? Исключительно уже в виде «огромной морды»?

Ладно! Где тут она, моя «Путевка в жизнь»? Вытащил из кармана яркий листок, врученный мне у моей гостиницы смазливym хлопцем. Под огромной горой Геллерт, вздымающейся бурными склонами как раз за мостом, намалеван на листочке полуоткрытый женский рот, и в нем надпись: «Стриптиз «Парадайз» Фри эдмишн». Это, видимо, означает — «вход свободный». Бесплатно. А за бесплатно русский человек и не такие километры может пройти!

Ветер скомкал мою «путевку» — но я ее расправил, спрятал в карман. Путевку в новую жизнь. Вчера уже, кажется, везде побывал, где делать нечего: в бане, в кегельбане.

Далеко, за бескрайним простором — гигантский мост Эржбеты, плавно летящие вниз конструкции. Машины там идут крохотные, не различить — только, поймав стеклом низкий луч солнца, пуляют светом. Слава богу, второй день уже блистаю на конференции своим отсутствием.

Конечно, теперешние наши лидеры, известные в основном за рубежом, наверняка уже общались с Ласло! Самый первый из них, Юра Петух, уж точно общается. Петушиный крик его, исполняемый вместо доклада, знает вся прогрессивная славистика — Ласло, конечно, тоже. Перевел наверняка... Ясное дело, мой доклад на двух страницах «Советская литература — мать протеска» длинноватым после Юры казался!

Пересек наконец эту могучую реку. Огромный, витиеватый, в стиле модерн, отель «Геллерт». Вон по тому карнизу — голова теперь кружится! — прошел я к окну комнаты комсомольских работников, где они деньги делили, всунул руку в форточку: «Дайте, дайте!»

Милые времена! Даже названия отеля не помнил тогда, спрашивал... Теперь — название знаю, но там не живу.

Пошел вправо по темной набережной, согласно путевке. Ну где здесь «Парадайз»? Тьма и пустота, лишь трамваи пронесются.

Да. «Парадайз»! Может — это стройка будущего?

Или — только после смерти бывает? Ну что ж. Я готов.

Конечно, на конференции есть одна, болгарка, — неказистая, в моем вкусе. Но с ней постоянно — красивый серб. Да... красив серб. И молод! Резко остановился. Надо записать. Ветер скомкал листочек, но я записал все-таки... Пиши, пиши!

Устроительница подарила мне сборник русской прозы на венгерском. «Ма» называется. По-нашему — «Сегодня». Но издано в семьдесят восьмом! Эх, «Ма»!

Какой тут «Парадайз», на фиг? Одна природа кругом! Бежит, правда, одинокий бегун. Тормознул вежливо.

— Гуд автenuун!

— Гуд.

— Бизнес? Плэжэ?

— Плэжэ!

...не видишь, что ли?

— Гёлз? Бойз?

— Гёлз!

— Деа! — показал рукой на дальний берег.

— О! Из ит э плейс фо гейз? (Это место для геев?)

— Иес! — ответил бегун твердо. — Ду ю вонт?

— Сорри! — Я ускорил шаг. Он, впрочем, все равно быстрее бежал. Так что вскоре бежал мне навстречу — но в этот раз только улыбнулся: сколько вежливости можно тратить на одного? Но не раз еще, наверное, мимо пробежит, улыбаясь: мол, хватит притворяться... в такую даль пришел!

О! Увидел в горе лестницу вверх. То, что надо! Хоть и крутовато. Хоть и падаю почти с ног, но на гору взойду — лишь бы с этой тропы извращенцев сойти! Взобрался, запыхавшись, на перевал. О! Вот оно! Мосты, как горизонтальные елки, сверкают внизу. За рекой, в темноте уже, — соборы — Марии, Святого Матиуша! Все помню! Вон там, с готическими башенками, Парламент. Да, здорово нас дурила советская власть, всюду возила нас на автобусе, пьяных, — казалось — довсюду рукой подать. Теперь — понял? Гудят ножонки-то?

На краю смотровой площадки сидел еще один, молодой парень, и что-то писал... Столбиком! Причем слова, а не цифры! Не прошла, оказывается, мода и слова столбиком писать!

Но странно — в прошлый раз здесь день был, жара. Разделся, помню, махал Дунаю носком. Нынче — холод и тьма. Непонятное явление!

Стал спускаться. Ну — какой берем мост? Разбрасываюсь мостами, как хочю! Выбрал новый.

Помню, когда-то — в другой век! — выбегал из общежития университета на Неве, где жила тогда панночка, мчался навстречу солнцу — через один мост, другой. Вечером, снова навстречу солнцу, обратно: Дворцовый мост, мост Строителей...

«Бегущий по мостам» — ласково называла меня она.

Так и не угомонился?

Посередине огромного моста — название пока не выяснил — остановился, обернулся... Ну что? Завтра — снова по горным кручам, как козел?!

Шатаюсь от усталости, подходил к своему скромному отельчику. Да — денек прошел так себе! Единственное, за что могу себя похвалить, — что не завалился к Ласло!

Из последних сил я тянул на себя дверь отеля, и тут, лучезарно улыбаясь, кинулся ко мне хлопец с рекламкой «Парадайза».

Ага! Только передохну сейчас немного — и снова пойду!

КУКУШОНОК

Грохот стоял такой, словно шли танки. На самом деле — это батя с женой на кухне рубили капусту — на скорость, кто нарубит больше. Время от времени доносился хохот победителя.

При этом я еще должен писать!

Тяпку, кстати, дочка мне подарила на день рождения: «Чтобы ты рубил капусту по-легкому» — разумеется, в переносном смысле, но пока, к сожалению, рубим только в буквальном, и то не я!

Та-ак! Затошнило, все поплыло. Это значит — очередной «душегуб» под окнами разогревает свою «душегубку», гонит угарный газ!

Точно — серебристая «мазда»! С этими крестинами даже марки стал разбирать — хотя угар их мало отличается: бензин-то наш!

Шикарная жизнь. Со двора — те, кто побогаче, душат газом, на лестнице — те, кто победней, сломав все препоны, пьют: шампунь и кондиционер в одном стакане. Но те хоть не заставляют наслаждаться их ароматами, а эти — заставляют!

В прошлый раз уже выбежал с палкой — расхерачу на фиг! — подскочил к машине, мирно пускающей белый дым, размахнулся... спасло его лишь то, что я поглядел на номер: после цифр 55-58 стояло УХ! Я засмеялся — это его и спасло! Погрозил только палкой — и он довольно быстро слинял!

Начал печатать, увлекся — снова затошнило! Новая «душегубка» стоит! Ну, эту уже ничего не спасет! Поднялся, оделся. Выглянул в окошко. Ага! Из-под арки во двор выходил молодой парень в форме, с наклейкой «МСС» — Муниципальная служба стоянок. На улице плату взимает — решил и тут, видно, порядок навести. Шаги прогресса! Метнулся вниз. Страж почему-то сворачивал в бетонную нишу под нашей кухней. Дым во дворе был уже по пояс! Я глянул на «душегуба» — и метнулся за стражем. К мусорным бакам-то он — зачем?

— Извините! — тронул его за плечо.

Он резко обернулся. Руки его почему-то были где-то внизу. По мутному блаженству в его глазах я понял, что он готовился как раз начать один из сладчайших физиологических процессов и я, прервав его, вызову люютую ненависть.

— Извините!

Я попятился.

«Душегуб» в клубах собственного яда выплывал со двора.

Я вернулся домой и сразу пошел в кухню — сказать, чтобы они хоть не стучали. Но стук как раз оборвался: победитель, первым изрубив кочан, откинул тяпку и радостно хохотал. В восемьдесят пять такие зубы — дай бог каждому молодому!

— Видал-миндал? — Прищелкнув языком, отец показал на целые сугробы шинкованной белоснежной капусты на столе.

— Объясни — как ты это делаешь? — глядя на него с восторгом, проговорила жена.

Я ушел — видимо, не вправе разрушать этот дуэт.

Уселся злобно за стол.

...Помню — приехала Валентина из Харькова, сестра его покойной жены, долго разглядывала нас с отцом, переводя умильный взгляд с меня на него.

Ну вот — я уже заранее ежился — начнется сейчас: «...Ну прям два дуба... ну как вылитые прям оба!» Неудобно даже!

— А корень-то — покрепче будет! — вдруг проговорила она.

Вот так!

Хорошо, что хоть он забыл вроде бы, что сегодня первое — день платы за аренду его квартиры, а то бы так же дергался, как я. А день-то уже вечереет. Да, подтвержаются, видать, мои самые худшие опасения! Потянул руку к трубке... отдернул... Погодим! Будем хотя бы гордыми!

До того четыре раза ездили с батей на его окраину, отпирали затхлую уже квартиру, с пыльными книгами и журналами на полках, толстыми коврами, которыми когда-то гордились, хрусталем... хрусталем гордились очень давно. И — снова ехать!

Приехали. Ждали.

— Кого он хоть приведет, сказал тебе? — нервно спрашивал батя.

— Нет! Но придирааться можно до бесконечности! Видимо, это человек, которому твоя квартира почему-то подходит!

— А почему — она ему подходит? — цеплялся отец.

— Вот сейчас у него и спросишь! — Я уже изнемогал.

— А может — это чеченский боевик?

...Да — толковый у меня батя. Такой вариант, честно, тоже маячил в моем мозгу. Поэтому ответ был готов заранее: «Чеченские боевики все там!» Но выдал я другой вариант:

— Ну почему обязательно боевик?

— Ты, наверное, хочешь сказать — почему обязательно чеченский? — Батя засмеялся.

Брякнул звонок.

Вошел агент-дылда, и за ним — маленький смуглый человек в длинном желтом пальто. Двигался он удивительно медленно, с достоинством. Сдержанно кивнул. По сторонам, по мебели, не смотрел — это его вроде не интересовало. Мы посидели молча.

— Простите... вы какой национальности? — не выдержал отец.

— Я чечен, — с достоинством ответил тот.

...Обращался он только к отцу, ко мне даже не поворачивался:

— Я вижу, вы старый, ученый человек — поэтому я вам верю!

...Он верит!

Потом мы с отцом, прикрыв дверь, совещались на кухне.

— Но у него даже прописки нет! — горячился батяня. — Кто он?.. И неудобно почему-то расспрашивать! — Батя шлепнул себя по колену.

— Ты заметил, какой он гордый? — сказал я.

— Ну еще бы!

— А давай и мы тоже будем гордые?

— А давай!

И вот — день платежа. Кончается, кстати! Привстал, потянулся к телефону... Сидеть!.. А давай и мы будем гордые, а?

Займись своими делами!

...А какие дела? Относил тут Гиенычу своих «Головастик»...

— Гениально, старик! — И протягивает рукопись мне. — Но кому сейчас нужны гении?! — И себя присовокупил! Но он, однако, нужен кому-то: высотой в метр рукопись на столе, стыдливо прикрыл заглавие листочком.

Да — жизнь нас не балует! Ближнюю баню закрыли — не говоря уже о дальних... любил я попарить косточки. Окна там пленкой закрыли... мрамор везут. Ну, думаю, суперлюкс делают: тыщ по пять будут брать... ну ничего: такое дело осилим! И вот — ремонт закончили. И народу никого! Сладострастно кряхтя, мелко почесываясь, собрал бельишко. Вхожу: медные перила сделали, как до революции. И голую нимфу, давно уже разбитую, тоже отреставрировали. Молодцы! Похоже — действительно новая жизнь начинается? Еще более страстно чешусь, поднимаюсь по лестнице. Шлагбаум какой-то... Пятнистый охранник. В бане уже охранники — вот это да!

— Пройти, — спрашиваю, — можно? — указываю на шлагбаум.

— А зачем? — неожиданный вопрос.

— Да помыться бы!

— Где?

— В бане, где же еще?

— Какая тут тебе баня! Разуй глаза! — указывает на окно.

Прижался к стеклу, читаю буквы, повисшие над тротуаром: б...а...н!
К!!!

— Банк?! А где же баня?!

— Только не здесь!

— А где ж теперь мыться?

— Дома! — Так по-доброму со мной разговорился, видно, клиентов было мало в этот час.

— Так у меня ж ванной нету!

— Ну... тогда в банке мойся... в трехлитровой, я имею в виду! — удачно сострил.

Вышел, посмотрел еще раз на буквы — действительно: БАНК! Тапери-ча заново учу буквы и грязный хожу!

О — снова стекла задребезжали, и я вместе с ними задребезжал: сколько ж можно душить? Вчера выбежал: газует совсем юнец! «Выключи, ради бога!» — «Так мотор же грею!» — «У себя дома его грей!»

Вздрогнул — дверка хлопнула! Все уже изучил, нервами: такое *звонкое* захлопывание означает: ушел! Снаружи хлопнул! О — дым уже в окна поднимается! Посмотрел: спокойно дымит!

Господи! Сколько же можно! Побежал по коридору — схватил молоток! Выскочил, глянул с площадки: еще такси во двор въехало и тоже дымит. Клиент — какой-то знакомый, ко мне, что ли? — вылез и рукой жест сделал: я схожу, а ты тут подыми!

Кинулся! Парадная дверь передо мной распахнулась... в раме — знакомый силуэт... Паша! Но он же в тюрьге? Да — замечательный гость пошел.

— С молотком встречаешь? Вот это правильно! Но, может, сперва поговорим?

Исповедоваться приехал? Ну... давай колись.

— Да — ну и дверь у тебя... плевком открыть можно!

Ясно: это в нем профессиональная добросовестность говорит.

Вошли. Уселись с ним возле моей машинки. Отец и жена, к счастью, не слышали. Бодрый стук тяпок, веселый хохот.

— Капусту рубят? — Паша усмехнулся, кивнул.

— Да. Но, к сожалению, — в буквальном смысле.

Помолчали. Я ж уже впаял его в янтарь вечности — что ж ему нужно еще? Помолчали.

— Пишем? — на машинку кивнул.

С воспитательной работой приехал? И прежде несколько раз уже говорил: я без тебя знаю, что я говно, ты покажи мне, где я святой! ...Где?

Но оказалось — не наглость в нем сейчас преобладает, наоборот — стеснительность.

— Я тут... подарочек тебе принес!

Похотывая, полез в сумку, вынул толстенный глянцевый том с бабою на обложке... таких теперь на прилавках полно.

Книга — худший подарок. Свои некуда девать!

«П. Маретин. „Кукушонок”». Фамилия что-то знакомая. Стремительно перевернул книгу... Пашин портрет!

— Твоя?

Закашлялся.

— Да вроде да.

— Слушай, — я вдруг вспылел, — только выключи вонючку свою, — я кивнул на окно. — Не продохнуть!

— Понял, — миролюбиво Паша проговорил. Спустился — такси его вырубило. Вернулся. Снова сели.

— Вот... накорябал *там*.

Где «там» — можно не спрашивать. Там, где много свободного времени, но нет свободы.

— Ну... поздравляю.

Он скромно кивнул:

— Может, ты... обругаешь где?

Ага! Заколдобило! Когда свой труд выставляешь — совсем другое дело!.. А ты мне помог, с «Собачьей смертью»?.. Ну ладно.

— ...А почему — «Кукушонок»?

— Так приемный я!

— А-а. Понятно.

— Ты все-то не читай...

Постараюсь.

— Там много похабщины есть... Так то Гиеныч вставил... Надо, говорит!

— Ясно.

— Главное, там... один смешной эпизод... важный вроде... До него я так... «шестеркой» мотался...

«Портрет художника в молодости». Это понятно.

— Ну, так я говорю. Эпизод. Простой «шестеркой» был, по ларькам мотался, собирал навар. А за рулем Ленька сидел, кореш наилепший... в окопе вместе сидели...

— Ясно! — предчувствуя уже, что добром их дружба не кончится, про-
бормотал я.

— Керосинить стал! — жажнув себя по колену, горестно произнес он. — Да и я не отставал... Вот — тут все описано! — Он разломил книгу, потом нервно ее отложил. — Объезжаем точки, а Ленька все поет: «Давай врежем... не могу — горит все!» — «Сейчас, — говорю, — еще два места сделаем, навар сдадим — и врежем, не промахнемся». Пошел я... а там долгая «терка» получилась — не хотели сперва платить... — Паша вздохнул. — Возвращаюсь... Леньки нет... И машины с наваром!

Паша выдержал паузу... Я, как положено, потрясенно молчал.

— А через две минуты — в кассу. Сдавать. У нас это четко: кровь из носу!

Ясно. И не только из носу.

— Прихожу пустой. Серьги вешать на уши не принято у нас... Старший говорит: «Твоя ошибка, ты привел его к нам — ты и исправляй. Человека этого не должно быть на земле. Для тебя это — вопрос чести». Молча пошел. Знал уже — прихожу в домик на карьере: раньше там песок брали, теперь глухо. Всю дорогу там с Ленькой керосинили: я в ту пору женат был. Прихожу — он на полу, в полном отрубе. С ним — две пустых водочных бутылки. Молча постоял. Посмотрел на него. Надо будить. Усадил его на табурет. «Ну, просыпайся, Леня. Смерть твоя пришла!» Открыл он глаза, но молчит! — Голос Паши прервался. — Он мужик умный был, таких я больше не видел!

А я?

— ...молчал долго, потом говорит: «Принес?» — «Что ж, я — не понимаю, что ли?!» — вынимаю бутылку. Леня тут расплакался: друг!!! «Ну... не чокаясь!» Выпили, сидим... «Давай, чего тянуть», — Леня говорит. Я не выдержал — заплакал...

Паша не только сам заплакал — похоже, хотел, чтобы заплакали миллионы читателей!.. Толстый «Кукушонок» получился — восемьсот страниц! Слез может не хватить. Впрочем — у наших людей хватит.

— Ну, я вынул «волын»... Нет, думаю, — палить здесь негоже: пост ГАИ рядом — менты набегут. И Ленька мне тоже говорит: «Убери пушку!» Любил меня!

Паша уже не стесняясь всхлипнул... эх, нервы, нервы!

— Короче — резал я его почти час... руки дрожали. Слова упрека он не сказал! Хрипел только: «Налей!»

Паша резко оборвал повествование и глянул вдруг мне в глаза — видно, моя реакция казалась ему неадекватной... Я глянул на книгу. Толстый «Кукушонок» получился — всех нас вытолкнул из гнезда.

— А ты вообще про что пишешь? Задевает тебя что-нибудь?! — вспылал вдруг Паша.

Он же и критик: берете ли волнующие проблемы, чем собираетесь воспитывать читателя?

Да на его фоне практически ничем...

Брякнул спасительный звонок. Я бросился в прихожую. Таксист?

В дверях стояла пышная красавица в шикарной шубе — причем явно знающая себе цену... Эксцентричная миллионерша, интересующаяся литературой?

— Добрый вечер... Я к Павлу!

Уже свой дом свиданий здесь устроил?

— Проходите... Извините, — по дороге не выдержал я. — Вы... э-э... муза Паши?

— Прапорщик Федулова! — отрапортовала она. Потрясенный, я смотрел на нее... Да-а, в наши годы прапорщики так не одевались!

Паша кинул на нее ненавидящий взгляд: только собрался поговорить по душам с коллегой!

— Ну что... кукушонок... Пора, — мягко проговорила Федулова.

Паша мрачно поднялся. Но волнение, как видно, все еще бушевало в нем.

— Там... про церковь у меня... не совсем вроде точно, — уже в прихожей торопливо договаривал он. — Термины там не все знаю... не успел! Так что посмотри там...

Да, видно, хоть церковь влияет на них... или — они на церковь?

— Я ж и говорю: тебе еще учиться и учиться! — проговорила Федулова, кокетливо глянув через плечо на меня, одновременно изгибаясь, чтобы подшнуровать высокий ботинок... Во все времена... как-то власть ко мне поворачивается... неожиданной стороной! И эту, что ли, надо?.. А почему нет?!

— Эпизод, кстати, что я тебе рассказывал, — уже на лестнице лопотал Паша, — ну, с Лехой... До него я керосинил по-черному, а после — завязал! Ни грамма! — Паша строго глянул на меня.

Так эпизод этот имеет, оказывается, и воспитательное значение? Ну как же без этого — без положительных-то сторон? Завсегда надо!

Ну ладно, отрицательные стороны отдали им, но если еще и положительные захватят они — вообще будет туго!

— А как там... директриса наша? — прикрыв дверь квартиры, поинтересовался я.

— Панночка? — Паша равнодушно зевнул. — А! Умом поехала, на религиозной почве. Какие-то четьи-минеи хотела издать. Пришлось ее задвинуть.

— Куда? — холодея, пролепетал я.

— Это ее проблемы.

Ну, слава богу.

Мы вышли наконец во двор. Таксист маялся, ходил взад-вперед. Паша стоял на крыльце, медленно закуривая. Да — пришло, видно, время тех, кто может заставлять ждать таксиста сколько захочет. Я, например, ни на минуту не задержу. Потому и сажу... а впрочем, всегда так было!

Паша зло чиркал зажигалкой. Неважные зажигалки выдают в тюрьме. Неудовлетворенно поглядывал на меня — обижался, видимо, что я не полнотью в нем растворился.

— Ну — а ты-то про что пишешь? — уже с агрессией произнес он.

Да на его фоне — практически ни про что. Я огляделся с отчаянием. «Мерседес» в углу зажег красные огни сзади, но и не думал уезжать — обласко яда было огромное, наши тени колыхались на розовых барашках высотою до крыши.

— Вот о чем пишу! — проговорил я злобно.

— Ну и что? — произнес Паша насмешливо. Я в отчаянии безмолвствовал. — Дай-ка монтировочку! — Он нагнулся к таксеру. Тот испуганно вытащил из-под сиденья зазубренный дрын.

Хлопая дрыном по ладони, Паша подошел к «мерседесу». Тот спокойно гнал красные клубы ему в лицо. Паша спокойно замахнулся — я зажмурился, но звона не послышалось, скорее это был громкий шорох. Стекло разделилось на мелкие соты и просело внутрь. Паша спокойно стоял, поигрывая ломиком. Из машины так никто и не вылез.

— Вот так примерно! — Паша передал мне ломик, как скипетр. Я трусливо сунул его водителю. Федулова грациозно уселась, чарующе улыбнувшись. Такси уехало, и сразу за ним съехал «мерседес».

Вот так вот.

Звук удара ломиком прозвучал для меня как звон камертона. Я уселся за машинку и долго печатал — свои, правда, песни. А что нам еще остается? Печатать — и носить. Печатать — и носить. Есть впечатление, что панночка плохо ко мне относится... Ну и что? Другая знакомая из тех лет, что выносила мои рассказы под рубашкой, — тоже плохо ко мне относится и живет нынче в Норильске... Что же мне — и туда теперь ни ногой?

Потом я перелистал «Кукушонка». Поражало многое. Вот, например, — после насилия: «В глазах ее не было ничего, кроме ненависти, отчаяния, боли, презрения и жажды мести»... Не так уж, если вникнуть, мало! А он пишет — «ничего!» Так что в смысле стилистики мы еще можем с ним потягаться! Даже — должны... Правильно говорит Федулова — учиться и учиться!

Да и в смысле морального совершенства — не полностью он его достиг. Помню, позапрошлым летом Боба потянуло к корням, уехал в вологодскую деревню, где родился отец («Вологодский конвой не шутит», — поговорку привез). Кроме того — приехал на зеленом «Москвиче», такого цвета ни до, ни после не встречал. В машине имелся водитель, в шляпе, галстук и костюме (приметы нового?). Но водитель этот вел себя странно — почти не шевелился, и я не видел, чтобы он выходил из машины. Только пил. На третий день умер, прямо за рулем. Приехали родственники, водителя увезли, а зеленый «Москвич» почему-то оставили (может, тоже родня Боба, а может, в благодарность?). Боб потом пол-года, вздымая тучи, гонял на этом авто, порой даже гордо отказывался: «Я за рулем!» Потом Паша попросил тачку «буквально на полчаса» — и с концами. Остаток лета прошел в скандалах и драках, из-за «Москвича» братья разошлись и разделили дом. Сошлись только на моей почве.

Но где же наш квартиросъемщик? Почему не звонит? Полдесятого ночи!.. Ведь, уходя, мы с отцом оставили там заряд огромной созидательной силы: вот, мол, отец до сих пор — в восемьдесят пять! — еще работает, выводит сорта... весь черный хлеб, что едят в Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Костромской, Архангельской... Вологодской областях, — его сорт! Он кормит! Неужели и это не подействовало?.. Что же тогда? Я сидел, в отчаянии уронив руки. Надо печатать! Плевали все на наши «заряды!» Молчит телефон!

...На другой год жизнь Боба снова переменялась. Он снова поехал на «малую родину» — и вернулся... верхом на коне. На мощном пегом тяжеловозе — Орлике. И все лето гордо на нем гарцевал, на радость нам — и назло брату. При этом никому не отказывал в помощи — окупить картошку, привезти сена. Денег обычно не брал — лишь скромно говорил: «Но надо же учиться и гомогенный фактор!» И, уезжая в тот год с дачи — на машине со Славой, — мы обогнали на шоссе Боба — на высоком возу сена, с каким-то мальчонкой... помахал нам рукой!

Но где же наш квартирант?! Одиннадцать уже! Значит, все — никаких надежд?!

Зимой, конечно, Боб Орлика пропил — теперь тот пашет на ферме моего друга Аркана... За что Аркан меня выгнал? Что я про охранную проволоку, которая меня перережет, сочинил? Ну — еще назвал однажды его хозяйство — «Арканзас»... Ну и что здесь плохого-то? Фактически — за свободу слова пострадал!

Телефон вдруг тихо брякнул, и я, даже не дав ему раззвониться, сорвал трубку.

— Але!.. Ничего не слышно... Але!

Тишина... только какие-то шорохи... Хотел уже вешать трубку, но шорохи вдруг сложились в тихий голос:

— ...Хасан.

— Что?

— Хасан. Жилец.

— А-а... Здравствуйте! Как ваши дела?

Долгое молчание... шорохи...

— ...Куда я должен привезти деньги?

— ...Но вы, наверное, устали?

Снова долгое молчание: что с ним там? Потом еле слышное:

— Да... Могу я завтра вам заплатить?

— Ну разумеется, разумеется!

Да — нелегко, видимо, даются доллары!

— ...когда?

— Да когда вам удобнее.

«А давай и мы будем гордые?.. А?»

Опять долгая тишина, шорохи. Потом еле слышно:

— ...спасибо.

Вот и хорошо! Оба — наверное, с облегчением — повесили трубки.

Машинка прям разбежалась — не удержать!

...Наш покойный Тавочка, особенно если его в наказание держали ночь взаперти, утром выскакивал как пружина, как шнурок, продевался под воротами — высота там была не больше ладони, — выскакивал на тропку и начинал быстро бегать туда-сюда, жадно вынюхивал, иногда повизгивая от восхищения. Потом, словно ударившись о какой-то запах, застывал изваянием: «...не может быть!» И снова мелькал по дорожке. Для него это было — все равно как для нас прочесть утреннюю газету... и даже интересней, потому что там у него было все — настоящее.

Ч-черт! Лента ключьями. Надо менять. Вышел в коридор — скатать с катушки старую ленту, бросил катушку вдаль — поскакала, разматываясь.

Раньше Тавочка такого не пропускал. Даже если спал глубоко, сразу просыпался, выскакивал в коридор и, звонко лая, несся прыжками за катушкой, хватал ее лапами... Теперь не проснется.

Ладно, дорогой. Больше не нервничай: новая лента уже не про тебя.

Утром я, наслаждаясь бездельем, завтракал — и вдруг вспомнил: писательское собрание в одиннадцать!

— Извините!.. привет! — пробирался на свободное место.

— Снова он чем-то доволен! — прошипел Гиеныч.



ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

*

ИЕРОГЛИФ

* *
*

Боже мой, как хочется прочесть
Улицу, бульжник, шелест ветки
И узнать, о чем же наконец
Мне они стараются сказать
Столько лет в дождливые часы.

Вот я, после дождичка, в четверг,
Говорите же, шепчите...

— Ладно, —

Ветка бьет по рукаву. — Замри! —
(Град воды окатывает шляпу).

Видишь эти точки и тире
У березы на сырой коре?
Ты же сам для нас

как иероглиф.

* *
*

Сколько желтых листов! Это осень?
И на улице, и в кабинете
У меня, эта желтая осыпь
Листьев — в воздухе и на паркете.
На полу. И на улице тоже,
Только там их никто не сгребает.
Я же, здесь, ничего не итожа,
Вижу, сколько страниц погибает.
И погибло уже, без ухода.
Пылью легкие мне заложило.
Эта пыль — сорок пятого года.
Эта пудра, она отслужила.
А вот эта — из сорок шестого,
Как внедренная ревтрибуналом
Против чистого русского слова,

Русским же Беломорским каналом
 Перекинутая из бывшего...
 В настоящее... В новые были...
 Сколько желтых листов. Сколько пыли.
 Сколько праха,
 Победы и Краха...

1990.

* *
 *

...Милая, дождь идет,
 Окна минует, косо.
 Я ведь совсем не тот,
 Чтоб задавать вопросы.

Я ведь совсем другой.
 Я из того ответа,
 Где под ночной пургой
 Мечется тень поэта...

* *
 *

Тбилиси! Туманная рань!
 И вдруг ослепительный день.

Балконов твоих филигрань,
 Извилисто-тонкую тень
 Бросающая по стене...
 Тбилиси, ты снишься и мне.

Тбилиси, о, как я плутал.
 Я слышу походку свою.
 И вдруг тишина! Я стою
 В слезах обнимая платан.

Мне помнить уже суждено,
 Пока я не глух и не слеп,
 Твой теплый лаваш и вино,
 Упавшее розой на хлеб.

* *
 *

Мне нравится, что жизнь проходит,
 Что мокрый желтый лист летит
 И что с меня очей не сводит
 Ночь под мелькание копыт;

С подков, взблеснув, летят ошметки
 Дорожной грязи и времен...
 И вдруг — опушка, лес и кроткий
 Вдох льном повеявших сторон.

И, множась в мороси тумана,
 Конь, взбрыкивающий без нужды, —
 Так просто... спутанный... ночной...

И — независимо и чуждо —
 Всем небосводом, без обмана,
 Глядящий в душу край родной.

* *
 *

Надо забыть звуки
 И не ходить в гости.
 Надо умыть руки
 И рукоять трости.

Надо забыть горе
 Этих кончин вечных.
 Надо открыть море
 В свете пучин Млечных.

«ВОТ И НЕТ МЕНЯ НА СВЕТЕ...»

Соколов не любил ставить под стихами даты. «Вот и нет меня на свете. / В мире тишина. / Все в свои поймала сети / Белая луна. / Сад поймала, лес поймала, / Поле и жнивье. / Озарила, осияла / Кладбище мое».

Он умер в больнице 24 января сего года, в пятницу, в 16 часов. 28-го его хоронили. Ровно год назад в Нью-Йорке прощались с Бродским, а в Москве — с Левитанским. Соколов собирался на вечер памяти Юрия Левитанского. Пригласительный билет остался сиротливо лежать на журнальном столике опустевшей квартиры в Лаврушинском.

Храм Большого Вознесения у Никитских ворот — в лесах. Он то строится, то разрушается — еще с тех времен, когда здесь венчался Пушкин (и даже раньше).

Одна из последних поездок Соколова была на Псковщину, трудная для стесненного астмой дыхания, но он радовался дороге. В пушкинские места его звали псковичи — первого лауреата возобновленной Пушкинской премии России. Ее не успел получить Блок.

В Большом Вознесении Соколова отпевал отец Олег. Вокруг стояли поэты со свечами. За их спинами высились строительные подмости в несколько ярусов, временно покинутые рабочими, почти загоразживая скупое убранство церкви. Чуть виднелся за ними иконостас. Немногочисленные певчие поместились на антресолях над входом. Проводить друга прилетел из Нью-Йорка, прервав на полуслове лекцию о Бродском, которую он читал тамошним тинейджерам, безутешный Евтушенко. Два подростка, стоящие в обнимку на снимке, помещенном в недавней соколовской книжке (издательство «Слово»), — это Соколов и Евтушенко. Соколов хранил старые дружбы.

Из Большого Вознесения последний путь Соколова пролег по заснеженной Москве в сторону Кунцевского кладбища. Шел снег. Соколов впервые не следил за его полетом. Никто из поэтов так не любил снегопад. Москва вела себя буднично. Вдоль ровного места, именуемого Поклонной горой, выстроились поредевшие после многочисленных вырубок деревья. Улица Рябиновая, ведущая к кладбищенским воротам, — без единой рябины. Соколовские строки возникали и возникали в воздухе. «На узкие листья рябины, / Шумя, налетает закат. / И тучи на нас, как руины / Воздушного замка, летят».

Он упокоился под рослой белоствольной березой с раскинутыми ветками, распротертными над двумя озябшими кустами жасмина. Дерево-распятие уже было в стихах Соколова.

«Я тоже поэт повседневно. / Как снег, я летаю зимой. / Тебе обещал я деревья. / И эти деревья — за мной».

Последняя книга поэта названа «Стихи Марианне». Книга любовной лирики. Лицо Марианны, возникшее по прихоти художника Анатолия Зверева из немногих линий, похожих на озябшие зимние ветки, одушевляет обложку. Осиротевшая книга тоскует двойной тоской: ее покинул автор и не обрел читатель. Весь небольшой тираж сложен в углу опустевшего соколовского кабинета. За исключением тех экземпляров, которые достались прошлым летом гостям Болгарского культурного центра. Был невыносимо душно-жаркий московский день. Соколов сидел в фойе, окруженный плотным кольцом жаждущих автографа. Он все писал, писал, неизвестно чем дыша. Наверное, на этом последнем в его жизни творческом вечере у поэта открылось второе дыхание. Последнее дыхание.

Марианна... Горше всех сегодня ей. «Она ведь не абстрактная фигура». Муза Соколова не плачет на людях («Ты плачешь в зимней темени...»), терпеливо отвечает на телефонные звонки, открывает дверь почтальону.

Мне было доверено разобрать почту. Письмо Юнны Мориц — на верже, бумаге «Мира искусства», — написано неожиданно детским почерком. Такому безуспешно учили по прописям в послевоенной советской школе. Несколько строчек горестно съехали с невидимых линеек. Мориц в Италии помогает Соколову выбрать платье в подарок жене. Ему нужно непременно розовое: «Это же для Марианны!» (« — Все восхваляли! Розового платья / Никто не подарил!» — жаловалась Цветаева).

В стихотворении «Мне нравятся поэтессы...» уже предугадано, сколько прольется слез, — короткое, на половинке листа, письмо Татьяны Бек сплошь ими залито.

Руки Марианны извлекли из груды еще не ставших архивом бумаг шесть неопубликованных стихотворений поэта. Шесть стихотворений Соколов совсем недавно переписал из рабочей тетради на шести чистых листах бумаги крупным, не претендующим на каллиграфию почерком.

Наталья АРИШИНА.



ДАНИИЛ ЖУКОВСКИЙ



ПОД ВЕЧЕР НА ДАЛЬНОЙ ГОРЕ...

Мысли о детстве и младенчестве

Даниил Дмитриевич Жуковский родился в семье поэтессы Аделаиды Герцык и ученого-биолога, издателя философской литературы и журнала «Вопросы жизни» Дмитрия Евгеньевича Жуковского 5(18) августа 1909 года во Фрайбурге. Годы его раннего детства прошли в замечательном творческом окружении: друзьями семьи, частыми гостями в их доме на Арбате были многие известные философы, писатели и поэты. Волошин и Брюсов, Шестов и Бердяев, Ильин и С. Булгаков, Цветаева, Ремизов, Вячеслав Иванов — вот только наиболее громкие имена. Здесь царил культ творчества, кипели споры, издавался даже свой журнал «Бульвары и переулки».

На вопрос анкеты ГПУ «Что вы делали во время революции?» Даниил отвечает: «Был ребенком».

Анализу особенного, детского восприятия окружающего, начальному постижению мира и его влиянию на становление мышления — рационального и художественного — Даниил Жуковский посвятил свои «Мысли о детстве...» — три школьные тетрадки рукописного текста, чудом уцелевшие при его аресте в 1936 году (название «Под вечер на дальней горе...» дано публикатором). Примечательно, что он следует здесь своего рода семейной традиции: детской психологии, ранним переживаниям посвящены очерки Аделаиды Герцык «Из мира детских игр», «О том, чего не было», «Ненаказуемость Котика»; эта тема проходит и в «Воспоминаниях» ее сестры Евгении Герцык, которые писались в 30-е годы.

После смерти Аделаиды Герцык в 1925 году семью разметало по стране. Д. Е. Жуковский был арестован в Симферополе, где имел небольшой заработок в Таврическом университете. Младшего сына взяли знакомые, старший, Даниил, поступив в Крымский пединститут на физико-математическое отделение, живет самостоятельно; уже сложился круг его интересов: математика, поэзия, теория стиха. Он размышляет о психологии стихосложения и восприятия поэзии, что позже воплотится в три амбарные книги рукописей с названиями «О ритме» и «Слово — звук — образ» (одна глава из этой работы была опубликована в журнале «Новое литературное обозрение» в 1992 году).

На короткий срок (1931 — 1934 годы) отцу и двум сыновьям удалось объединиться в Иванове. Д. Е. Жуковский, получивший запрет на жительство в больших городах и находившийся под наблюдением НКВД, работал в лаборатории, младший брат учился в медицинском институте, а Даниил преподавал рабочим математику и физику. Затем он переезжает в Москву: влекут московские друзья, возможность общения, обсуждения интересующих его тем. Здесь он посещает литературные кружки, участвует в дискуссиях, его математические занятия выходят на более высокий уровень (он поступает заочно в МГУ). Написаны несколько десятков стихотворений, венков сонетов. Но единственное, что удалось

напечатать, — переводы стихов в сказках Андерсена, да и то без указания имени переводчика, и увидеть их Даниилу не пришлось: книга вышла в 1937 году, когда он уже находился в Орловской тюрьме.

Из писем, сохранившихся в архиве семьи Герцык-Жуковских, складывается трогательный образ Даниила Жуковского — незащищенного юноши, вступившего в неравную борьбу со временем. Эта внутренняя борьба, часто отзывавшаяся тяжельми, угнетенными состояниями при чрезвычайно жизнерадостном и деятельном природном характере Даниила, продолжалась всю его недолгую жизнь.

23 ноября 1935 года он пишет Евгению Герцык: «Теперь для меня уже нет сомнения в том, что больше всего эпоха виновата в том, что я не пишу. Сейчас действительно просто стыдно петь соловьем, а я, по-видимому, именно так и пел бы... Весной было особенно страшно, когда каждый день приходилось вычеркивать из записной книжки адреса своих товарищей гибнущих...»

Беда не миновала и его: 1 июня 1936 года пришли с ордером на обыск и арест. Ему предъявлено обвинение в «хранении контрреволюционных стихов Волошина» и «измышлении о жизни советских людей» (где-то в разговоре упомянул о голоде на Украине). В архиве КГБ сохранилась папка с его делом. Даниил Дмитриевич, проведя двадцать месяцев в застенках, держался чрезвычайно мужественно, с достоинством, не изменяя себе. На вопрос следователя о волошинских стихах он отвечает: «Я хранил эти стихи из любви к ним...» И далее начинает приводить свое определение поэзии... С кем он пытается говорить человеческим языком?

Первый приговор — пять лет. Но там же, в тюрьме, по доносу — новое обвинение и новый приговор, подписанный особой тройкой 15 февраля 1938 года. Вероятно, на следующий день, в день рождения матери, двадцативосьмилетний Даниил Жуковский был расстрелян.

15 февраля, быть может, уже зная, что обречен, он пишет последнее письмо отцу: «Несмотря на болезнь, обо мне не беспокойся. Думаю, что сейчас на свободе моя болезнь развивалась бы более прогрессивно. Даже в худшем случае, если я никогда уже не буду чувствовать себя здоровым — и то ничего. Я пожил хорошо, все, что нужно, испытал в жизни, хотя и в маленьких дозах, но ведь я сам «маленький». Ну, еще раз прощай, крепко, крепко целую тебя. Твой Далик».

Я не вспоминаю.

Процесс абстрагирования моего детского «я» из моего теперешнего несуразнее всего назвать воспоминаниями.

Трудность, которую я ощущаю во время писания этих отрывков, есть не трудность воспоминаний, а трудность абстракции и несовершенство языка. Они же являются и причиной тех неточностей и неверностей, которые мне придется допускать. Иначе не может быть, ибо те вещи, о которых я хочу говорить, — рождение понятий и детские эмоции, — лежат вне нашего языка, и сама попытка выделить их в наиболее чистой форме с помощью слов взрослого человека несет в себе противоречье.

Ребенок же имеет слов еще меньше. Поэтому он — осужден на молчанье, невольно является самым замкнутым из всех существ.

Память участвует в моих мыслях лишь косвенно. Оказывается, что сделать абстракции детских веяний из психики взрослого человека можно только тогда, когда сохранилась память о внешних фактах, с которыми связано то или иное созерцательное состояние, та или иная эмоция.

* * *

Я жил так, как жило большинство детей в тогдашних интеллигентных семьях. Я строил домики из кубиков, из карт, я забавлялся всеми играми, которым меня учили и которые мне покупали, я любил сказки Пушкина, Андерсена, «Приключения Мурзилки»; я боялся синего портного, которым иллюстрировался старый «Степка-растрепка», вырезал узоры из разноцвет-

ной бумаги, любил елку и день своего рождения. В десять лет я увлекался Жюль Верном. Но были среди всего этого такие игры, такие сказки и такие восприятия, которые явились чем-то очень большим и чреватых последствиями.

Когда я вспоминаю то, что было в прошлом году или пять лет назад, — я вижу, как все события катастрофически быстро сжимаются, тускнеют и как года превращаются в белые страницы. То, что казалось главным и важным, когда оно совершалось или недолгое время потом, — через год, через два оказывается вовсе не важным и совсем не главным. И только несколько младенческих переживаний каждый раз снова сияют нетускнеющим блеском. Они — моя единственная соломинка...

И, когда я спрашиваю себя, что же значительное было в моей жизни, мне хочется ответить словами Блока: «Это было в детстве; а теперь со мной вообще ничего не бывает».

Правда, в иные минуты начинаешь ощущать, что такой крайний пессимизм — лишь половина истины, но он нужен нам, должно быть, для того, чтобы дать понять, что с какой-то точки зрения вся наша жизнь действительно потеряет цену, если из нее вырвать детство.

О, мальчик мой, и ты, как все, забудешь
И, возмужавши, назовешь мечтой
Те дни, когда еще ты верил в чудищ?
О, помни их, без них любовь ничто.
О, если б мне на память их оставить!
Без них мы прах, без них равны нулю.

Мне хотелось бы назвать то, что я пишу, так же, как Борис Пастернак назвал свои мемуары, — «Охранная грамота», ибо мне кажется, что если что-нибудь и оправдывает звание человека, которое я ношу, то именно эти страницы.

Все отчетливей и странней предстает перед моими глазами то, как младенчество проникает собою все бытие человека. Мои увлечения, серьезные и маленькие, эстетические и научные переживания есть лишь как бы нити, протянутые от нескольких простых и ярких состояний самых юных лет. Если и есть ценное в том, что я думаю и делаю теперь, то лишь тогда, когда это является продолжением дел, начатых в возрасте трех-четырёх лет.

И тем больше я думаю над этим, тем больше убеждаюсь, что так бывает, так должно быть у всех людей. Если даже я не совсем похож на других, если я и был в некоторых отношениях странным ребенком, то все же почти всегда со сверстниками ощущалась большая близость и был общий язык. Дети сожительствуют между собой эмоционально и интеллектуально, как они не могут сожительствовать со взрослыми, — и это можно объяснить только общностью их пристрастия вещей. Я не понимал бы ребенком других детей, если бы их видение мира не было так же остро, свежо и лирично, если бы все окружающие нас цвета, формы и звуки не смотрели и на них такими же странными лицами, то сурово-зловещими, то ласково улыбающимися; а из этих восприятий и сложилась ценность моего детства.

И непременно на фоне этого общего потока неведомых взрослому переживаний должно лечь несколько линий особенно ярких, обособляющих поведение каждого ребенка, в которых уже можно угадать веки будущего пути человека; ибо где же лучше всего может проявиться индивидуальность, как не в эту эпоху непосредственности действий и пристрастий, ничем не заслоненных, где предстает наиболее свободный выбор того, куда направить первую познающую силу?

Если только человек не совсем пуст, если в нем есть какая-нибудь устремленность, творчески проявившаяся, если он видит свою жизнь идущей

щей под властью нескольких больших страстей (будь это искусство, наука, философия, религия или просто какое-нибудь ему одному ведомое отношение к нашему бытию) — они должны иметь своих родоначальников, свое первое, но уже вполне отчетливое выражение, свои интереснейшие и важнейшие аналоги в детских увлечениях. Каждый человек должен был бы оставлять мемуары о своем младенчестве, пусть иногда всего несколько страниц — один-два решающих момента, наметивших его личность, может быть, забытых и потерянных в период отрочества, юности, но потом неизбежно проснувшихся в каком-нибудь новом облике. Их трудно иногда найти в том скудном запасе фактов, который оставляет нам детство, трудно еще и потому, что наша мысль рассеяна совсем в другом, а не направлена постоянно в этот первоначальный туман, не приучена на каждом шагу сравнивать наши теперешние дела с тогдашними, отбирать и выслеживать в них то, что нужно... Но если нам все же удастся, спустившись в свое детство по главным магистралям своей жизни, разглядеть в нем эти начала, — вся жизнь тогда вытянется в таинственный, извилисто-стройный путь, в котором каждое событие есть продолжение одного и того же, есть лишь новое воплощение одной какой-то неисчерпаемой потайной струи, которую сами мы постигаем лишь чуть-чуть...

Из самой глубины детства подымается во мне почти потухшая память о какой-то бесконечно тянущейся болезни. Долгое-долгое время провожу я в белых, спутанных простынях. Когда мне немного лучше, няня подставляет к кровати ряд стульев, покрывает их чем-то, и я переползаю на них и копошусь среди бельевого хаоса. Но это вовсе не так уж плохо. Мне уютно, тепло; я занимаюсь какими-то приятными для себя делами.

* * *

Дальше идет яркое и немного странное воспоминание.

Море.

Вода.

Нам нужно ехать на пароходе откуда-то куда-то.

Турок — он турок, потому что на голове у него что-то турецкое, потому что он большой, и чужой, и страшный, а няня пугала меня турками, — турок берет меня на руки. Это ужасно, и я кричу. Он переносит меня на что-то лежащее в воде. Это что-то почему-то помнится мне четырехугольным, плоским. Няня, мама и папа присутствуют тут же и успокаивают меня. По четырем углам того, на чем мы едем, я обнаруживаю какие-то пеньки для сидения, на которые папа и мама садятся. Папа похлопывает себя по коленям, смотрит на меня и смеется, а я стою посередине, маленький, бедный, и плачу...

* * *

Затем воспоминания приобретают более последовательный характер.

Лето в Судаке.

Мы живем на «даче Морозовых». Я уже тогда знаю ее под этим именем. Застекленный, залитый солнцем балкон и маленький палисадничек с анютиными глазками. Помню, как мне сообщили их название и как я сосредоточенно разглядывал их. Было что-то соблазняющее и приятное в их пестроте.

Мне исполнилось три года в то лето. Должно быть, уже и тогда я по многу часов проводил на берегу моря. Широкий судакский пляж был довольно пустынен; и под аккомпанемент волны на фоне динамической и яркой картины воды и неба далеко слева вырастало что-то большое, жел-

тое, зубчатое, немного страшное, длинно вытянувшееся в море. Это была гора Алчак, ограничивающая Судацкую бухту с востока.

Глядя на детей, я впоследствии не раз спрашивал себя: видит ли ребенок дали? Как воспринимает он горизонт, бахрому дальних лесов, профили и фасы гор, складки на их поверхности?

Конечно, он видит их, но видит совсем по-иному. В душе его, не заполненной предметностями, не устроенной еще для упорядочения и классификации вещей, отдаленные предметы отражаются не красками, не линиями, на которые их разлагает взрослый, вооруженный нужным для этого материалом, — а какую-то иной сущностью, действующей непосредственно на чувство. Я ощущаю сейчас Алчак как что-то жуткое и большое, тяготеющее над всем моим ранним детством.

Уже впоследствии, в пять-семь лет, смотря на него, я различил его цвет, его скалистые ребра, его каменную корону на самом конце и выделил все это из единого непередаваемого чувства-ощущения. *Чувства-ощущения* — вот точное психологическое наименование тех переживаний, которые уже непостижимы для взрослого в таком количестве и с такой яркостью. Они-то и есть неотъемлемое богатство ребенка, которым живет и создается его мир.

Предметы, находящиеся в детской, рядом со мной, и другие, тоже близкие — деревья, дорога, — в три года уже, по-видимому, редко вызывают их. Эти предметы вошли в общие категории. Они уже имеют название. Я с ними орудую, я их вижу с разных сторон. У них определился объем, заняв некоторую часть известного мне пространства. И они уже не те: они уже незаметны, стали за своими собственными понятиями. Даже дома, заборы, дорожки палисада способны очень скоро перейти в область слишком знакомых, не вызывающих любопытства восприятий. Очень быстро глаз привыкает к прямым линиям, прямым углам, однотипным краскам...

Отдаленные же ландшафты, в частности горы, несут в себе всегда нечто непривычное, неразложимое на столь простые элементы. Недостигаемость далей и их отъединенность от всего интимного, домашнего практически сохраняют за ними их свежесть. Они — предмет величайшего любопытства ребенка, но безмолвного, с которым он большей частью не обращается к взрослым.

Известно, что ребенок задает очень много вопросов, но известно ли, что это лишь ничтожная доля того, что ему хочется знать и о чем он не может спросить?

Как только ребенок стал осознавать свои взаимоотношения с окружающими, как только он начал понимать, что нянина и мамина роль заключается в том, чтобы называть вещи, чтобы утешать его в его горестях, потакать ему в его капризах, — он полусознательно все свои действия приспособливает к создавшейся ситуации. Он плачет, когда знает, что будет утешен, радуется, когда знает, что будет поощрен. Во всем ему важно сожительство со взрослыми. Я заплакал, когда турок взял меня на руки, ибо очень хорошо знал, что и няня, и мама понимают, как это для меня ужасно. Если же я испугался Алчака или обрадовался ему — как я мог заставить понять эти мои, теперь уже оставшиеся вне возможности выражения, эмоции.

Я знаю уже, что взять его рукой нельзя, что это «далеко», — но я не знаю, как это называется, даже смысл указательного жеста не полностью еще постигнут мной. Но если мне и назовут его, что мне делать с этим его именем? Разве оно ответ на вопрос? И я углубляюсь один в невыразимое. Только другой ребенок может теперь понять меня.

Взрослые видят, что их сын стал вдруг серьезен, что его лобик наморщился, что в глазах у него что-то новое, что он не плачет и не улыбается, а находится в странном для него состоянии неподвижности и напряженно, даже мучительно что-то обдумывает. Иногда, впрочем, эти моменты со-

провожаются еще и иными рефлексами: мой брат имел в детстве привычку дрожать. Он полураскрывал рот и зубы, полусгибал руки, ноги, пальцы, приводил все мускулы в предельно напряженное состояние и начинал дрожать, причем делал он это именно в те минуты, которые и для меня были самыми волнующими. Помню, как он дрожал, глядя на огонь, стоя перед печкой, дрожал, попав в купе поезда, от нестерпимого чувства уюта и незнания, что с ним делать, с этим чувством, требующим проявления. Мне было тогда лет семь-восемь; ему — года три-четыре. Взрослые беспокоились, обращались к врачам, строили теории, кричали: «Ника, не дрожи!» А плохо знавшие его принимали это даже за Виттову пляску. Но так понятен был мне психологизм этих дрожаний, эта безвыходность одиночества, эта нестерпимость молчать. Ведь я и сам дрожал в свое время, если не внешне, то как-то внутренне. Я смотрел на взрослых, думал, какие они глупые, слушал их обсуждение Никиной «болезни», но даже и тогда мне не приходило в голову вмешаться в их разговор и попытаться сообщить им то, что они как-то не понимали.

Вот эти-то переживания — скрытые от взрослых, безвыходно-замкнутые в детской душе — и есть самое ценное. Если бы взрослый помнил факты, связанные с минутой такого созерцания, и сказал бы все, что можно сказать «взрослыми» словами об этой минуте, — это было бы чудесным откровением для нас не только в области педагогики и развития детей, но и в области вообще самых захватывающих психологических тайн, к которым относится возникновение первых понятий.

Пафос шумящего Алчака — мне казалось, должно быть, что это он шумит, а не море, — в какой-то степени тяготееет не только над моим детством, но и над всей жизнью и сейчас принимает в ней какое-то участие.

Почему-то правая, западная, сторона бухты не запечатлелась так, хотя горы там не менее бросаются в глаза, не менее, а даже более изрезанны и разнообразны. Думаю, что это не случайно, что в психике ребенка совершается отбор восприятий по каким-то особым законам.

Кроме непонятных чувств, не могущих найти себе выхода и удовлетворения, есть другие чувства, столь же непонятные, но имеющие то преимущество для ребенка, что они ведут к удовлетворимым желаниям. Ребенок может потянуть няню в какую-то одну определенную сторону, потребовать какую-нибудь вещь, которую можно достать и которую ему дадут, если ничего вредного и опасного не усмотрят в этой, пусть непонятной и нелепой, прихоти.

Непосредственно возле нашей дачи на поляне была рощица густо посаженных молодых миндалей. Когда мы с няней проходили мимо, я приглядывался к их маленьким стволикам, прячущимся один за другого, к их тонким полупрозрачным кронам, и меня стало тянуть к ним поближе, в их середину. Вероятно, в один из самых первых дней я потребовал, чтобы няня ввела меня в их нежное, светло-зеленое царство.

Деревца были маленькие, наверно, чуть выше моего роста. Впоследствии они росли вместе со мной, и, навещая эти места в семь, восемь, десять лет, я наблюдал за нашими взаимными изменениями.

Величайшей радостью жизни стало для меня, оставив няню, сидеть на краю рощицы, обходить вокруг стволиков, переходить от одного к другому, методически изучать каждое дерево — углубляться в самый глухой угол этого небольшого квадратного участка, где деревца уже начинали бросать маленькую тень. Меня больше всего радовало, что, отойдя на некоторое расстояние от няни и от дороги, я уже не видел их (хотя и боялся отходить от них слишком далеко), не видел вообще ничего, кроме моря светлых макушек и веточек; и мне хотелось, чтобы такая рощица тянулась во все стороны далеко-далеко, чтобы я мог извилисто идти по ней все дальше и дальше, ничего другого не видя.

Это желание теперешними словами можно назвать только стремлением к дезориентации в мире: все забыть, все потерять, чтобы все стороны

смешались, утратив свой абсолютный характер, сделались *относительными*, чтобы направление моего движения было единственной координатой мира, и то все время колеблющейся, мира однообразного, хотя и наполненного смутно осязаемым многообразием форм веточек и макушек.

И было чувство досады, усугублявшееся по мере того, как я обнаруживал геометрию их расположения, нарушавшую все обаяние запутанности: деревца стояли правильными рядами и между ними открывались прямые просветы. Их перспектива всегда заканчивалась знакомыми предметами, в них виднелись наша дача, дорога, няня. Я старался всегда стать так, чтобы они мне не были видны; я радовался, когда находил деревцо, отступившее от общего правила и росшее немного сбоку от остальных...

Не помню, откуда возникло это слово впервые, кто первый сказал мне его, кто первый частично смог угадать мои тогдашние радости и назвал эту рощицу «путынккой». «Путынка» стало любимое мое слово, при одном произнесении которого во мне что-то трепетало. В путынке проведено много счастливых часов.

* * *

Целым миром новых странных и интересных чувств-ощущений были наполнены поездки к бабушке на дачу. К калитке подъезжала присланная бабушкой линейка. Мы сядились. Пыльная, мягкая дорога уходила из-под нас, шлея билась на крупе лошади. Запах пыли смешивался с запахом лошадиного пота. Обрывки полыни пробегали по краю дороги. Голые холмики, кое-где каменные дома с решетчатыми металлическими заборами, а иногда и без них. В некоторых местах, где были известные всем ухабы, няня особенно крепко держала меня. Потом мы въезжали в ворота, мягкий шум езды по пыли сменялся навсегда запомнившимся звонким скрипением колес по садовой гальке, резонанс которого первый сообщал о близости больших деревьев и стен дома; и действительно — становилось темно от большого куста сирени и айлантусов, а справа подплывал крытый деревянный резной балкон, увитый зеленью, на котором стояла радостная и улыбающаяся бабушка.

Спуская некоторое время я вдвоем с няней — или один — оказывался на усыпанной галькой широкой площадке перед балконом. Передо мной лежал большой бабушкин сад, неисследованный, таинственный, полный неожиданностей.

Вправо уходит дорожка, посаженная миндалями, заросли сирени, ряды кипарисов; а прямо передо мной, вниз террасами к виноградникам спускается каменная лестница. Туда меня не пускают, да я и сам стараюсь скорее пройти мимо нее. Там, совсем близко, двумя террасами ниже, — стоит Ужас. Он имеет вид высокой, выкрашенной белым, ссужающейся кверху деревянной фермы, на самой верхушке которой вращается большое с мелкими лопастями ажурное колесо. Оно приходится несколько выше той площадки, с которой я его наблюдаю, и вертится оно со зловещими ритмичными постукиваниями. Называется все это — ветряная водокачка. Слово «водокачка» в своей фонетике само несет что-то напоминающее ее постукивания. Оно само жутковатое.

Страх к этому сооружению столь велик, что я без няни не решаюсь пройти мимо лестниц, спускающихся к нему.

* * *

У бабушкиной дачи есть мезонин с балконом. Оттуда особенно хорошо видна водокачка. В мезонине этом годами тремя позже жила поэтесса София Парнок.

Мне, маленькому, непонятна ее сложная жизнь, полная большими событиями; она отделена от меня той же тайной «взрослости», которой оку-

таны и все остальные люди и которую я внутренне всегда уважаю. Ее деяния мне чужды. Она пишет хорошие стихи. За предметами, которые она видит вокруг себя, в минуты творческих провидений она открывает лирические облики. Она тоже подслушивает ритм водокачки и старается воплотить его в словах:

Тень от ветряка
Над виноградником кружит.
Смутная тоска
Над сердцем ворожит.

Она призывает на помощь всю силу своего интеллекта, весь накопленный богатой жизнью материал, чтобы произвести труднейший эксперимент над человеческим сознанием — изгнать из него всю систему абстрактного мышления и раскрыть и закрепить в строках подлинную вещь, а не ее абстракцию.

Медленными взмахами своих тяжелых крыльев подвигается она к своей цели, но в конце этого ее пути стоит ребенок. Он без всяких усилий, невольно и естественно видит мир таким, каким она хочет его увидеть.

О, если бы этот стоящий под балконом, осужденный на безмолвие мальчик смог подарить ей те слова, которые так ей нужны, чтобы сказать про водокачку.

* * *

По вечерам я долго не мог заснуть, капризничал, нервничал и любил, чтобы не няня, а мама сидела около меня и пела. Ее голос был любимее и ласковее, ее присутствие — успокоительней.

В стандартном речитативе всем известных колыбельных песенок есть какой-то психологический секрет. Только он один способен действовать так успокаивающе. Самые простые картины, которые чертит текст песенки:

Пойдем в поле мы гулять,
Там цветочки будем рвать... —

окутываются этим речитативом, как какой-то сонной, очаровывающей и завораживающей дымкой, приятной и мечтательной.

Были песни, в которых я понимал не все слова, но которые любил тем больше. Фонетика непонятных слов, которая свободна от навязанных извне понятий, ведет к образованию самых неожиданных зрительных представлений. Когда я слышал строки:

Ночью в колыбель младенца
Месяц луч свой заронил...
— Отчего так светит месяц? —
Робко он его спросил, —

два непонятных слова — «заронил» и «робко» — жили особой лирической темной жизнью. При их произнесении перед моими глазами начинал вырисовываться скорее всего фотографический аппарат или волшебный фонарь.

Слово «знойный», как-то мной услышанное, всегда влекло за собой зрительное представление церковных куполов или шлемов богатырей — может быть, в силу какой-нибудь ассоциации по смежности; и в этих замысловатых изгибах шлема и в их остриях, которые сливались в одно с фонетическими узорами слова, опять было что-то зловещее и притягивающее.

И — уж совсем неожиданно — такое же представление возникало при произнесении мной или кем-нибудь из окружающих слов:

Дождик, дождик, перестань!
Мы поедем во Ердань.

Это двустипшие было знойное.

* * *

Иногда, однако, я не плакал по вечерам и не звал няню, хотя и не спал, а снова жил замкнуто. Это было тогда, когда являлось мне одно видение, особенно яркое и особенно лирическое и, по-видимому, самое раннее.

Лежа в постели, я начинал улавливать, что при некоторых положениях тела, при равномерном темпе дыхания где-то в горле или в носу раздается особый легкий свист... И под этот чуть слышный свист все яснее начинало вырисовываться, как я лежу уже не в своей постельке, а в какой-то люльке, подвешенной высоко-высоко, возле того, что было самым чужим и страшным, под самым колесом бабушкиной водочаки, которое крутится со зловещими ритмическими постукиваниями. Чувство предельного неуютя и затерянности охватывает меня, но в то же время и чего-то неизъяснимо-сладкого. И под эти ритмические постукивания ветер моего дыхания слагается в какую-то отдаленную, едва слышную мелодию, в какой-то колыбельный речитатив, такой жалобно-одиноким и такой страшный, что я не знаю, прекратить мне это мое состояние или продолжать его. И кто-то близкий, наверно мама, склоняется надо мной, не нарушая, однако, чувства затерянности и одиночества, и не то она меня качает, не то это мне только кажется, а на самом деле это колесо вертится и машина стучит.

Это не было ни кошмаром, ни — тем менее — грезой, ни галлюцинацией — это было только воображением, не перешедшим своих узаконенных граней. Прекратить это состояние — всегда в моей власти. Для этого надо только переменить положение тела, изменить ритм дыхания. Но вернуть его труднее. Иногда мне удастся возобновить этот свист в горле, иногда же — нет. И это самое мучительное.

Поэт или писатель, когда они, «оглядываясь», вспоминают миги своих величайших творческих напряжений и хотят вернуть их и не могут, — все же не испытывают такого страдания, ибо лирика их образов не может быть так сильна и ясна, ибо они могут *говорить* о своих страданиях, делиться ими с бумагой, которую они так любят, и с людьми... Они даже могут заплакать... А я и этого не мог. Не было и не могло быть человека, который сказал бы мне, дал бы мне понять как-нибудь, что от этого можно плакать.

Иногда я часами лежал, сгорая от нестерпимого вожделения к этим переживаниям, стараясь вернуть их и довести до апогея (ибо всегда было чувство, что они не дошли до самого сильного), думая, где и когда это было со мной, ища вообще — где эта реальность. Не стоило жить на свете, если не верить в то, что это где-то есть, было или будет.

По мере того как я рос, видение становилось все бледнее и неуловимее. И теперь оно живет во мне, как бы тень от тени... В последний раз, совсем недавно, оно вдруг вспыхнуло, когда я прочел у Верлена:

Je suis un berceau
Qu'une main balance
Au creux d'un caveau...
Silence, silence! —

но сразу поблекло и рассыпалось в грубой неуклюжести образов взрослых поэтов. Чувство было подобно тому, как если бы вдруг я ощутил во рту вкус, напомнивший чем-то сладость давно утраченного плода, но тотчас вслед за тем понял, что это только грубая имитация.

¹ Колыбелью плыву
Я под сводами сна,
И одно наяву —
Тишина, тишина...

* * *

Бледный, белый день северного лета.

Влажность неба и земли.

Дюнный берег Балтийского моря.

В углу двора — небольшое строение, которое называется «телефонной беседкой», ибо там — телефон, под ним — густой мох. Я часто сижу там и отделяю друг от друга жирно-зеленые, извилистые, грязноватые волокна и узнаю в этих лабиринтах новое лицо судакской путынки.

За нашим забором — пеньки, кочки, серо-зеленые, влажные, с множеством тропинок между ними. Дальше — лес, влево — густой и тонкоствольный, очень темный и интересный, а прямо — большой и скучный. Он велик для меня.

Через лес идет дорога, которая выходит к реке Ас. Туда я ездил несколько раз с мамой и папой «на лошади». Там — стук топоров, запах свежего дерева, лесная темная глубь, загрязненная стружками и белыми обнаженными досками; и мама говорит: «Дачу строят».

Однажды папа повез меня кататься по этой реке на пароходе. Было страшно от близости огромной трубы, а когда папа куда-то отошел и я потерял его из вида — стало страшно от одиночества, и я заплакал, но господин в плаще, сидящий рядом, сказал: «Не плачь, не плачь», — и я замолчал от третьего страха — от страха к этому господину.

В другую сторону от нашей дачи — железная дорога, которую я переходил с опаской, боясь поезда. Однообразная перспектива ее помнится мне оживленной фигурой одиноко шагающего почтальона.

Вскоре за железной дорогой — море.

Море — мелко. Меня пускают ножками в воду, и я, сопровождаемый няней, ухожу далеко-далеко от берега, так что люди на берегу становятся совсем маленькие. Там я нахожу крошечные песчаные отмели, через которые при самом маленьком волнении перекачивается рябь, образуя тонкий узор ручейков и лужиц. Это снова — путынка. Я стараюсь ставить ступни своих ног в русла этих ручейков, следуя их изгибам; я слежу, как рисунок их непрерывно меняется, как на месте моих следов образуются новые лужицы.

Во всей местности фигурируют два особенно важных названия, которыми мне окрестили дорожку к морю между березками и эти клочки песка с ручейками: «аллейка» и «островки». Впоследствии общее понятие острова, как и понятие аллеи, возникало во мне очень долго и трудно. Было почти невозможно понять, что называется островом и аллеей вообще, включив сюда все возможное многообразие конкретности, забыв, что это имя собственное именно той аллейки и тех островков. Помню, что даже читая Жюль Верна «Таинственный остров», я все еще чувствовал неувязку и не мог без особых неловких каких-то усилий мысли понимать слово «остров», когда оно применяется к чему-то большому, где не только песок и ручейки, а горы, леса и озера.

Это превращение имени собственного в понятие было процессом побледнения и оскудения слова. Оно теряло конкретные зрительные образы и чувственное богатство.

* * *

Всегда, когда я попадал в новое место, мое любопытство прежде всего влекло меня к изучению относительного расположения всех частей незнакомого ландшафта. Самым важным являлось установить, где что начинается и кончается, как соприкасается квадрат вырубki с лесом или квадрат поляны с морем, как их пересекает тропа или дорога. Я смотрел на отдаленные предметы, внимательно следя за их изменениями при перемене

моих местоположений; я последовательно измерял открывающую мне свои первые тайны перспективу глазами и ногами, своими или няниными, когда она меня носила. И успокаивался я тогда, когда мною была составлена в общих чертах карта местности. Абстракция плоского схематического ображаемого плана возникает, по-видимому, довольно рано.

Схему Ассерна я и сейчас могу начертить так, как она мне виделась тогда.

Она лирична.

Все ее части: темная область леса, синяя полоса реки Ас, серо-зеленое пятно вырубки, желтый берег моря, линия аллейки и железной дороги с почтальоном и, наконец, грязноватые, насыщенные переживаниями пятна нашей дачи и станции, — все это образ, где краски суть чувства, формы суть эмоции.

* * *

Хотя большую часть детства я жил на берегу моря, купаться в море мне было разрешено относительно поздно — лет десяти. Только тогда я научился плавать. (Дети, живущие на море, часто с семи-восьми лет превращаются в амфибий.)

До этого времени вода не утрачивала для меня чего-то загадочного — загадочного в смысле отношения между нею и нашим телом: как оно живет в воде? Что с ним делается? Как все это бывает?

Произвести теперь абстракцию моего тогдашнего восприятия воды всего труднее.

Одно — это вода в стакане, в водопроводе, в графине на столе, в самоваре. Она понятна и малоинтересна.

Совсем другое — вода в больших количествах, и прежде всего в ванночке, в которой меня купают. Удовольствие физиологических ощущений смешивается со смутной радостью от сознания того, что я объят этим теплом, в котором так странно, так особенно двигать руками, в котором все тело становится другим... И как благая память от водяных касаний — когда меня вынимают из ванны — кожа на кончиках моих пальцев оказывается сморщенной, появляются «рисуночки», которые я с наслаждением разглядываю, забывая, что при выходе из воды мне холодно и неприятно.

Вода в реке, в море, вообще вне дома, — это опять нечто качественно иное и гораздо более любопытное, ибо гораздо менее понятное. Я вижу, как плавают люди там, куда мне нельзя, где мне «выше головы», я вижу, как идет пароход по реке Ас. Смутное представление о громадной несущей силе воды, о ее могучести, непонятной для такого пластического и текучего, во что можно легко погрузить руку и ногу, неясные мысли о потере веса вещей в воде, в том числе и моего тела, — все это таящееся, полуразгаданное, невыявленное, неназванное превращает мое любопытство в нечто большее — в скрытую страсть к воде.

Но самое ее важное свойство — всепроницаемость.

Однажды мы были в гостях у моих тетушек в Майоренгофе, куда отправились из Ассерна на поезде. Это было большим событием и хорошо запомнилось. Гуляя там один в садике, я провалился одной ногой в бочку, врытую в землю. Тотчас же я ощутил под своим чулком что-то холодное и неприятное, слегка пощипывающее. Никого кругом не было, а я один не мог выбраться, поднял рев. Меня вынул какой-то садовый работник, но ощущение скользкости и пощипывания в ботинке не прекратилось. Прибежала мама, няня, меня мыли, переодевали, сушили... Этот факт должен был сыграть большую роль в процессе созидания водной концепции, хотя в чем эта роль — не осталось в памяти. Должно быть, именно здесь я до-

осознал наиболее отчетливо волшебное свойство проникновения воды сквозь самые маленькие щелки. Чулочки, башмачки — ничто не предохраняло от нее. Неприятные ощущения не замутили, по-видимому, всеобщего ее очарования. Эта ассоциация выпала из общего ряда, или я сам вытравил ее, ибо вода должна была быть только приятной.

И вот по мере того, как мне полураскрывались все эти свойства, — возникали все более захватывающие гипотезы о том, каковы ощущения купающегося в море. Приятнее всего, должно быть, купаться в одежде. Почему — не знаю. Но ощущаю воду, проникшую сквозь одежду, и мокрые одежды на себе в воде, где и прикосновения к ним стали другими, — это сделалось каким-то сладострастьем мысли, другим именем не могу это назвать. Кажется, рай представлялся мне тогда как берег моря, где все люди купаются в одежде, то входя в воду, то выходя, стоя по пояс в ней или совсем погружаясь.

Возможно, что все это родилось впервые при взгляде на картинку, которая фигурировала в моем детстве очень долго. На ней были изображены маленькие дети, копошащиеся в одежде в грязи. Глядя на них, я смутно думал, как грязь и вода проникают сквозь их платье, заполняют там все промежутки, особенно когда они ерзают и шевелятся в ней, не боясь погружать в нее руки, — как окутывает, обнимает их... И мне казалось, что они счастливые герои, что-то посмевающие, что-то преодолевшие и получившие за это блаженство.

Мне говорили о том, какие они непослушные и плохие, как они будут наказаны, когда мама увидит их, употребляли слово «стыдно»... Я смотрел, слушал и никогда ни одним словом не возразил, только едва заметно слово «стыдно» связалось для меня с какой-то запретной сладостью. Помню эту картинку уже через год опять в Судаке, затрепанную и грязную настолько, что на ней ничего нельзя было различить... Я вдруг покидал свои игры, кубики, книжки с другими картинками и, вспомнив, что есть нечто гораздо более приятное, шел из садика или с балкона в комнаты, чтобы смотреть непослушных детей. Помню всю яркость, с какой возвращался особый «вкус» их созерцания после длительных промежутков «забвения» и как в конце концов он все же стал бледнеть и притупляться с годами, — помню потому, что я тогда уже ощущал этот процесс усыхания эмоций и тогда уже думал о нем с безмолвной горечью.

Из ярких событий в Ассерне мне хорошо запомнилось, как осенью, когда уже было холодно и дождливо, на меня надели новые башмачки с приятно щелкнувшей застежкой и отправили гулять с няней, сказав, что теперь у меня «ножки не промокнут». Последнее я понял только в том смысле, что мне можно будет делать то, что обычно запрещалось, — становиться в самые большие лужи. Это я и стал исполнять: выискивал ямки, наполненные водой, и топтался в них, стараясь стать поглубже. Ощущения не было никакого, оно было заглушено нахлынувшим обаянием мига, того, что я в одежде, хотя бы только ступнями, погружаюсь в воду. Когда я вернулся домой, был крик и была суетня, меня бранили, бранили няню, что-то делали с моими ногами, давали мне что-то пить... «Да как же недоглядели?!», «Какой ты скверный мальчишка!» — доносятся до меня еще сейчас смятенные возгласы.

Один раз не то в Судаке, не то еще в Ассерне я увидел рыбаков, вытаскивающих лодку на берег; они все еще стояли и ходили в воде в очень высоких сапогах. Само собой разумеется, что я так и прилип к ним глазами. Тут начинала воплощаться моя греза о рае. Мне объяснили, что сапоги их не пропускают воду. Я долго обдумывал это, не зная, принять или не принять, что есть одежда, которая защищает от воды; разрушит ли это очарование, или это еще более интересно и загадочно, что можно стоять в воде и быть сухим...

* * *

Миса была воспитательница мамы, друг нашего семейства, милая, хромающая, уютная, чьего приезда или прихода я всегда ожидал с большой радостью и волнением. Она меня баловала.

Кажется, она первая сообщила о том, что у меня скоро будет сестрица Ирочка, с которой я буду играть. Должно быть, было сообщено мне это имя или игра с перечислением имен, из которых мне представлялось выбрать то, которым я хочу назвать сестрицу, — и меня потянуло именно к этому... Больше мне, конечно, ничего не было, да и не могло быть сказано. Остальное приложилось изнутри, может быть, под действием каких-нибудь кажущихся ничтожными, забытых мною восприятий или, скорее всего, вовсе без них. Не знаю, случайно ли это или неизбежно так должно быть, что памятью наложен запрет на самое интересное. Только я помню себя уже охваченным большой и упорной мечтой. Она была столь сильна, что, несмотря на всю невозможность сожителства в ней со взрослыми, вырвалась наружу и внешне стала видной для них.

Я мечтал и я играл, что я вместе с Ириной погружаюсь в одежде в воду, купаюсь с ней, плаваю, ныряю, «летаю» с нею внутри воды, поднимаясь и опускаясь. Бегая по двору, я пытался имитировать пловца, собирал щепки и мхи и приносил их Мисе. Это были рыбы, которых я ловил руками.

Ирочка неизменно была рядом со мной.

В этом имени было сосредоточено все богатство мечтаний. Оно так прочно вошло в меня, что через три года, когда все эти игры были забыты, когда уже давно над моей жизнью тяготело иное имя — Елена — и когда я встретил на судакском берегу девочку, которую звали Кира, я был вдруг странно взволнован и подружился с нею сразу тепло и открыто, забыв ту враждебность и стыдливость, в которую всегда прятался при приближении нового незнакомого человека.

Ирина, И-ри-на, — сливая струи,
Поют прерываясь два медленных «и».
И входит, рапирой пронзив забытье,
Мне в душу высокое имя твое.

Так пишет поэт, не страшась самое сокровенное называть громкими красивыми словами, произнося эти слова со всей наглостью взрослых в людских сборищах и даже надеясь, что его поймут.

Хорошо или плохо это бесстыдство поэта?

Если оно хорошо и нужно — и ему, и всем, — то зачем оно приходит так поздно? Зачем все в нашем мире устроено так, что безмолвное, бесслезное и безулыбное целомудрие ребенка не может быть нарушено? Мне не только нельзя было говорить, мне нельзя даже было понять, что можно говорить вслух о такого рода очарованиях, и только молча, блуждая, я повторял про себя: «И-роч-ка... И-роч-ка...»

Или правда в фонетике этого имени было что-то новое, открытое мною тогда, или иными какими непрослеженными лазейками — по Фрейдю или без Фрейда, — но выполз из глубины сознания первый неясный инстинкт, устремился к нежному звучанию женского имени, встал, почти неузнаваемый для взрослого, окутанный таинственностью и наполненный тем богатством, которое в течение всей последующей жизни я осужден был только тратить, но не накапливать.

Что здесь был пол, для меня теперь нет никакого сомнения; и если меня кто-нибудь попросит рассказать мой самый лучший роман, я не колеблясь поведу спрашивающего в свое детство к Ирочке или несколько позже к Елене.

И была еще одна важная деталь, еще один предмет, к которому уж совсем непонятно устремлялось мое вожделение: я вожделем к женским платьям. Это было тем непонятнее, что я сам ходил в юбочках и, казалось, не мог выделить платье как женский атрибут. При этом мне нравились мои собственные платья. И было одно, с лиловенькими цветочками, которое меня особенно волновало. Я ждал с нетерпением того часа, когда, пройдя через известный цикл переодеваний, длящийся несколько дней, я опять вернусь к нему, снова чистенькому и выглаженному. Я требовал, чтобы всегда на меня надевали «платьице с цветочками», кажется, даже плакал. Ждал я его специально для того, чтобы в нем поиграть с Ирочкой. И, бегая по двору и собирая мхи, я постоянно смотрел, как оно шевелится при моих движениях.

Вожделение к платьям сохранялось столь же долго, как и к избранным мною женским именам. Оно заменилось другим только в десять лет, когда я поступил в школу. Пяти, шести, семи лет я постоянно изучал праздничные платья прислуги, которые мне бросались в глаза, вероятно, своей вычурностью и яркостью красок. Я особенно любил те, на которых было больше всего узоров. Я требовал от нашей Аннушки, чтобы она всегда их носила. И даже изобрел хитрость: разными злыми детскими шалостями я изводил ее, кажется, даже доводил до слез, и объявлял, что это будет продолжаться до тех пор, пока она не наденет «то» платье. А когда она надевала его — бегал за нею и «созерцал». Увидя у бабушки лиловый платок, на котором были особенно запутанные узоры, я требовал, чтобы из такой материи сделали кому-нибудь платье. Ясно ощущалось, что когда из материи шьют платье — с нею происходит что-то таинственное, что придает ей особую прелесть.

Время появления Ирочки приближалось. Мама и папа уехали в Ригу, и связь этого отъезда с моей мечтой не была от меня скрыта.

Я жил с Мисой.

Миса пошла в телефонную будку, а я бегал по двору. Потом, целуя меня, она мне сообщила, что у меня родился братец, а не сестрица, но что это ничего, что я с ним тоже буду играть.

Не знаю, был ли слышен крик отчаяния в моем голосе, когда я спросил, хватаясь за последнюю какую-то гибнущую надежду, можно ли его назвать Ириной. Не помню, осмелился ли я плакать, когда мне было сказано, или я сам почувствовал, что — нельзя.

Последние обломки рухнувшего моего рая были накрыты пластом ярких и совсем иных впечатлений — поездки в Ригу, какой-то узкой улицы, узкой комнаты, женщины в белом, мамы, лежащей в постели. Ею я тогда не видал. Я сразу понял, что это совсем не то; может быть, даже понял, что если бы это была и она, то и тогда это было бы совсем, совсем не то. Я не интересовался ни им, ни его именем и спустя некоторое время равнодушно услышал, что его будут звать Ника.

Смутная, смутная память о большом узорном железном чане и о паре, поднимающемся над ним... кругом — люди, священник...

* * *

Темно-желтый зной ползет по миру, заслоняя от взоров горизонты, окутывая горы, и сгущается особенно густым пятном в длинном четырехугольнике Судакской долины. Все предметы: деревья и дома, холмы и дороги — становятся тем более отчетливы, чем ближе к бабушкиному дому. Яснее всего очерчен двор между бабушкиным сараем и двухэтажным флигелем-кухней.

Потому что мы снова в Судаке и живем «над кухней».

На солнце тени предметов черны и резко обведены.

Я стою среди двора, мучим тремя важными, связанными друг с другом вопросами: о родстве, об именах людей и о рождении детей.

1. С понятием мамы и папы была связана тайна возникновения нового живого в нашем мире. Почему? Почему каждое дитя имеет и то и другое, а не только маму или не только папу. Миса объяснила, что ребенок бывает, когда женятся. Почему? Бог посылает.

В существовании Бога я не сомневался, но почему он посылает именно тогда, когда женятся, и главное — какова техническая сторона этого посылания? Исследовательское направление психики ребенка трезво-реалистично. Нужно знать отношения между практически осязаемыми и видимыми предметами, и абстрактный ответ вроде «Бог посылает» равен нулю. Повторив вопрос несколько раз, я замолчал, почувствовав невозможность спрашивать, может быть, решил, что Миса не знает.

2. Надо было, очевидно, идти более окольным путем, создав общие категории, вполне точно определенные для понятий мамы, папы, дяди и т. д. Методически я составляю для Мисы анкету и приступаю к ней с пунктом первым:

— Миса, кому ты мама?

— Никому, — был ответ, и была легкая улыбка, залившая какое-то смущение на Мисином лице, вызванное, вероятно, неожиданностью вопроса. Миса была старая дева.

Я начал возражать, но опять ничего не добился и прекратил анкету.

3. Понятия мамы и папы еще потому было важно уточнить и снабдить конкретными примерами, чтобы окончательно отделить их как общие термины от собственных имен. Ибо с именами мне было труднее всего. Помимо того что мама — мама, я слышал, как ее называют Адя или Адель Казимировна. Как примириться с тем, что у людей по нескольку имен? Меня зовут Даля, иногда называют Даниил, и Жуковский, оказывается, относится тоже ко мне. Ценность имени — нарушена и раздроблена. Что отвечать, когда спрашивают, как зовут? Имя должно быть единое, и звук его должен составлять как бы одно целое с данным субъектом.

Необходимо было воссоздать его единость хотя бы для себя. Я стал связывать вместе все свои имена и остановился на одной наиболее легкой для произношения и наиболее ритмической комбинации: Даниил Жуковский — Даля. Кажется, я не только отвечал так на вопрос о моем имени, но даже и требовал, чтобы меня всегда звали только так.

* * *

В это лето было, наверно, много новых откровений, ибо знойное пятно его очень широко во мне. Самыми яркими моментами были — первые шаги Ники и знаменитое наводнение четырнадцатого года. Самым маленьким событием были чьи-то слова о том, что началась война.

Однажды мы играли в кубики на балконе, и вдруг Ника, который уже мог к тому времени стоять не держась, сорвался с места и бросился в комнату, а няня с воплем бросилась за ним и поймала его упавшим на кровать. Потом несколько дней обсуждали, как это он не ушибся «до смерти» о железную перекладину кровати. После этого он еще долго и медленно учился ходить. Это был какой-то предварительный порыв молодой силы и мускульного творчества, измеривший будущие трудности.

Помню знаменитое наводнение четырнадцатого года, оно вошло в меня осязательно. После многочасового ливня меня вынесли на балкон, и я, жмурясь от нестерпимой какой-то свежести и липкости воздуха, увидел виноградники, залитые солнцем и затянутые чем-то желтым. Я заплакал от неприятного ощущения. Воздух что-то делал с моим лицом, мял его, морщил, закрывал глаза...

Вот как бывает, понял я.

* * *

Медленно бродил я по бабушкиному саду, расширяя постепенно зону исследования, медленно преодолевал боязнь к водокачке; иногда бывал в бабушкином доме.

Комнаты там были узкие, темные, в них бродили какие-то затхлые запахи, запахи уюта и тесноты, их расположение также оставалось неясным. Там была витая железная лестница, на которую меня сначала не пускали, выходявшая в библиотеку.

Мезонин принадлежал Жене — моей тете. Иногда я приходил к ней и просил: «Женя, помчишь на меня». И если она соглашалась, я садился на диван, а Женя, делая страшные глаза и соблюдая особый ритм бега, неслась на меня сквозь двери из другой комнаты. Я замирал, кричал, закрывал глаза, вновь открывал их, сменяемый борьбой между ужасом и наслаждением.

Женя не была близка мне, и весь ее облик, ее резкий профиль, профиль Савонаролы, ее волнистые распущенные волосы, странные красные халаты, в которых она иногда ходила, — все было чуждо и любопытно.

(Конечно, прежде всего незнакомость и странность человека могут внушить ребенку уважение и благоговейную боязнь, заставить его быть молчаливым, спокойным и послушным, на что не было средств ни у мамы, ни у няни.)

Однажды, когда я пришел к ней, она мне сказала, что сегодня не будет «мчаться на меня» и чтобы я сидел неподвижно и молчал, если хочу быть у нее. Я беспрекословно сел и около часа, наверно, слушал не проронив ни одного слова, как она вслух читает какую-то нерусскую книгу, странно скандируя слова. А потом тихонько встал и, пока уходил, слышал сквозь закрытую дверь все более смутно доносящиеся странные возгласы.

Когда я обращался к ней с каким-нибудь из бесконечных вопросов, с которыми ребенок всегда обращается ко взрослым, ее ответы были всегда не похожи на ответы других, они задавали новые загадки, они всегда чем-то напоминали, что все в мире волшебное. Проблемы, которые мы с ней разбирали, были самые неожиданные.

— А ты знаешь, почему пыль серая? — вдруг спрашивала она таинственным голосом; и почему-то опять получалось из ее объяснения, что с разноцветными пылинками и кусочками разных вещей, из которых слагается пыль, происходит какое-то мистическое и даже жуткое превращение, когда они, скопясь под диванами и шкафами, становятся однообразно волоконисто-серыми.

Женя мне объяснила жуткое слово «замуровать» и рассказала, как кто-то сидел в комнате и услышал тиканье часов, когда никаких часов кругом не было, а потом оказалось, что это бьется сердце замурованного в стене человека.

Она запомнилась сидящей с ногами на диване и изредка отламывающей от плитки шоколада маленькие темные кусочки. Ибо я к ней бегал за шоколадом.

Весь бабушкин дом был полон постоянно разными незнакомыми людьми. Почти всех я боялся. Мужчин — потому, что они всегда непонятно говорили. Я почти никогда не мог разобрать ни одного слова в их речи, не исключая и папы; шероховатости их низких тембров, стирающие членораздельность, отталкивали меня. Женщины же каждый раз пугали меня какой-нибудь странностью.

Помню одну, которую звали Майя. Она всегда ходила в маленькой шапочке — не помню, какого цвета, — и я несколько раз спрашивал, почему это она... Однажды она сказала: вот почему! — и сняла... И короткие волосы встали дыбом у нее на голове. Впечатление было, вероятно, еще силь-

нее, чем она ожидала. С тех пор, видя ее еще издали, я уже поднимал рев, ибо что ей мешало повторить это снятие?

(Когда впоследствии я узнал выражение «от страха волосы встали дыбом», то я прежде всего вспомнил Майю, и первая мысль, которая при этом возникла, — что, значит, человек испугавшийся становится так же страшен, как то, что его испугало. «Ужас» распространяется и на него.)

Возможно, что уже в это время впервые врзалась в психику потрясающая фигура Волошина, пришедшего пешком из Коктебеля и откуда-то издали, из глубины бабушкиного сада, высоко подымающего правую руку в знак приветствия...

* * *

Вокруг стояли горы.

Я знал их имена.

Они обрели уже плоскостную форму, и начал намечаться их объем.

Я изучал их линии.

Я видел их лица и выражения этих лиц.

Наступил новый этап их созерцания.

В каждом холме, в каждом новом большом дереве прежде всего другому виделись глаза, нос, рот.

Детский полусознательный анимизм примитивен. Это просто эпоха человечьих личин на всех вещах.

Искривленные рты изуродованных тополей, примятые сломанные лица клочков полыни по краю дороги, ужасное, дикое выражение лица Майиных волос, но главное — горы, прочнее всего вошедшие в меня ввиду их вездесущности и неизменности в течение всего лета. Ширина Судакской долины, а потому относительная отдаленность гор, позволяющая целиком поместить их в поле зрения, сравнительно небольшая величина и исключительная их изрезанность — все создавало особо благоприятные условия для большой созерцательной жизни в этом направлении.

Прямо через долину всегда против меня стоял Ай-Георгий. Его трехугольное — углом кверху — лицо было сморщено, но властно. Страшен он не был, кажется, никогда. От самого рта вниз шли два-три больших хребта — а чуть левее зеленая плавная плоскость спускалась широким распадом, сначала круто, но мягким изгибом становясь все положе, приближаясь ко мне, но в конце концов уходила куда-то влево. А вправо стояли — одно острее, другое тупее — два согнутых его колена, но не обнаженные, а покрытые рыжеватыми запутанными складками большого одеяла. Правее это одеяло переходило в скатерть, измято спадающую со склонов длинных и плоских Столовых гор.

И так он, вросший в землю, держал вокруг себя все другие прилегающие к нему более мелкие горы. Весь рисунок его был очень сложен и неисчерпаем для исследования.

Однажды, глядя на него из другой части Судака, я был поражен изменением его лица, тем, как оно перекашивалось, как на нем появлялось что-то жалкое. Оно еще более «треугольнилось»... Слева вырастали какие-то белые колышки — новые скалы...

Изменение его лица было одно время мерой того, насколько мы отдалены от нашего дома.

Лет двенадцати я вдруг вспомнил это свое чувство; когда мы отправились на прогулку с моей маленькой двоюродной сестрой, она вдруг издала возглас изумления по тому же самому поводу и, указывая на Ай-Георгий, спросила:

— А откуда же он настоящий?

Иногда мы ездили к морю «на лошади» по жаркой, пыльной дороге и потом через очень тенистую каштановую аллею — и я опять попадал на

желтый пляж, и снова воздвигался слева Алчак. И теперь стало ясно, что он лежит на животе, что лицо его повернуто в профиль и нижняя челюсть в воде, а острый ребристый зад торчит в небо. Плоскость большой желтой скалы на самом конце, слегка нависшей над морем, — это было что-то вроде неба его разинутого рта. Когда мы отправились как-то в поездку к Алчаку, мне опять-таки было трудно приспособить его образ к тому, что я увидел. Он весь скрылся. Его не было. Было только несколько разросшихся скал, у которых были свои, совсем иные лица.

А с другой стороны Судакской долины был длинный, с несколькими неравными вершинами, но равномерно зеленый хребет — Перчем. Он не имел лица, ибо был повернут спиной ко мне, и выражение этой спины было более мрачно и тяжело. Тучи и дожди приходили из-за него. С ним связано несколько страшных снов и у меня, и у Ники.

* * *

В английской сказке Л. Кэрролла «Приключения Алисы в волшебной стране» есть кошка. Она обладает двумя волшебными свойствами: она может улыбаться и она может исчезать и появляться, и не просто, а по частям, начиная от хвоста, или от головы, или даже от улыбки. Иногда сначала появляется только улыбка, а потом уже ее кошачье лицо.

Улыбка без лица.

Таково первое восприятие вещей ребенком.

Нет понятий, нет того, что мы называем элементами знания, каждый предмет действует прямо на чувство, ничем не защищенное. Я начинаю жить в таком обнаженном мире чувств, прущих на меня из всех углов, что если бы не скудость вещей, находящихся в комнате и возле дома, и не игнорирование на первых порах большинства отдаленных предметов, — я бы заблудился среди этих мне одному ведомых звуков и запахов, захлебнулся бы, погиб бы...

А может быть, именно потому и погибают так часто дети?

До какой степени полна переживаниями одна только дорога от дачи Морозовых до бабушки и как теперь она резко отличается для меня от всех остальных судакских дорог, которых я не знал в детстве! Мне становится почти страшно, когда я думаю, что было бы, если бы все количество дорог и все местности, которые я посещал, и все многообразие моих теперешних ощущений были так же насыщены эмоциями. По мере того как умножаются понятия и представления, стирая мир индивидуальностей, — жизнь ребенка облегчается.

На лицах мамы, папы и няни я вижу то улыбку, то суровость, то укоризну, то ужас. Все эти выражения знакомы мне с внутренней стороны, потому не так страшны. И вот — надо облечь выражения вещей незнакомых и непонятных мне такими же масками. От этого они станут менее чужды, более привычны.

Это наполнение мира человеческими лицами — именно человеческими, ибо даже у животных они человечески, — совершается невольно и естественно. Это не есть точно установленные части лица на каждом предмете. Это — лишь необязательная, колеблющаяся конкретность, вокруг которой сгущается эмоция вещи. Ибо главное в этом лице — его выражение. Часто я не смог бы указать, если бы меня спросили, — да это и не важно было, — какая именно морщина является ртом и где глаза. Но спокоен или взволнован взор этих глаз, суровые они или добрые, печальные или веселящиеся — в этом я отдавал себе гораздо более точный отчет.

Конечно, очеловечение мира — это лишь первый шаг нашей природы в направлении целесообразности и самосохранения, еще не вполне защищающий психику, вслед за этим — поля дальнейшего развития понятий.

Знакомство с вещами продолжается иными путями, линии их лиц приобретают первенствующее значение, тогда как выражение этих лиц бледнеет и в конце концов самые лица, становясь ненужными, распадаются.

Волшебная кошка появилась до конца и притом перестала улыбаться, сделалась самой обыкновенной кошкой.

Я ощущаю в себе этот процесс всегда, когда с целью художественного восприятия пытаюсь обратить его: составить все элементы разрозненной вещи так, чтобы они образовали лицо, которое называется часто образом вещи и у которого есть выражение. И конечная моя цель — именно это выражение, а не лицо.

И таков путь всякого лирика.

И читатель или зритель должен углубляться в произведение до тех пор, пока не почувствует за скульптурой образов и за ритмическими повторами какого-то совсем неопределимого веяния чего-то пластически-текучего, как вода, или летучего, как воздух. Именно такова была улыбка кошки, когда она появлялась предтечей более материальной субстанции.

И когда мне хочется дать художественное начертание Судакских гор, а может быть, и вообще какой бы то ни было природы, мне всегда приходится проделывать одно и то же: выбирать из сохранных мною мигнов детства какой-нибудь один миг созерцания и, вспоминая его, пытаться взглянуть так, как я глядел тогда, и восстановить те горы, которые были тогда передо мной, а не те, которые передо мной сейчас, хотя бы это были те же самые. И я знаю, что чем лучше мне это удастся, тем лучше я скажу о них.

И я думаю, что так же поступают и поэты.

* * *

Иногда возвращалась ко мне эмоция запутанности.

Раза два мы ездили к одной знакомой, которая жила возле дачи Морозовых, и я мельком видел зеленый островок своей путынки. Но трудно сказать, что было главное в этом созерцании — вновь ли стремление заблудиться или уже только лирика прошлого, сладость воспоминаний?..

Несколько раз меня водили на небольшой пустырь рядом с бабушкиной дачей, где «папа строил новый дом». Там были уютные земляные канавки, в которые можно было войти с нижней части поляны, но их рисунок был уж очень прост, в них нельзя было заблудиться.

Главным в этой области теперь стало другое.

Невысокий, очень длинный и совсем плоский холм — его называли Полынь-гора — стоял сразу за бабушкиной дачей. Он уходил далеко влево, к самому морю, а по ту сторону его был очень своеобразный, но типичный для Судака ландшафт.

Огромное количество безводных, белесоватых, размытых дождями ложбин, разделенных маленькими извилистыми хребтами, то крутыми, то пологими, похожими на червяков, спадало по склону и тянулось далее, по низменности. Не было древесной растительности. Почва, состоящая из лилового крошащегося шифера — наполовину камень, наполовину земля, — была повсюду голая.

Даже полынь росла здесь лишь отдельными клочками, да несколько сортов колючек, да зеленые плети каперсов совсем редко. Кое-где можно было усмотреть как бы висящие в воздухе (ибо не видно было желтых сожженных стеблей) колоски каких-то травинок. Это было волнистое земляное море, сразу оказывающее какое-то особое влияние на глаз: это была пустыня, но пустыня всхолмленная, покоробленная, где не сыщешь ровного места, похожая больше всего на извилины мозга или на рыжее измятое одеяло. Такая же пустынная дорога шла из городка к морю, пересекая наименее изрезанные части местности. Я знал ее под именем ущелий.

Они сейчас особенно важны для меня как пример того, какими путями может возникнуть любовь к природе и художественное переживание у ребенка, а следовательно, и вообще у человека; как я полюбил природу.

К ущельям вела недалеко тропка, огибающая Полынь-гору, и мы с Мисой ходили туда.

Мы выбирали одну из уютных маленьких ложбинок и начинали путешествие. Я становился на самое дно узенькой, мягкой, проложенной влажной дорожкой и шел по ней, следуя ее малейшим изгибам. Все остальные холмы скрывались из вида за склонами нашего ущелья и благодаря моему маленькому росту; и после нескольких поворотов я с наслаждением замечал, что уже не знаю, в какую сторону мы идем. Дно высохшего русла вилось то многоколенчатой змейкой, то более широкими зигзагами, но далеко никогда не было видно. В самых замкнутых и трогательных уголках мы останавливались, я изучал почву, отламывал от нее камешки, копался со своим совочком, и затем мы снова шли дальше. Иногда присоединялись с боков новые коридорчики, и мне предоставлялось сладостное право выбирать, куда идти дальше. Меня разочаровывало, что, когда мы выходили на более открытые места, из-за холмов виднелись зеленые макушки какого-то сада. Мне было понятно то, что часто не могут понять туристы и отдыхающие, глядя на подобные ландшафты.

Какое однообразие! Какая бедность! — говорят даже те, кто ценит и любит природу вообще.

Но ведь и море однообразно! Все только — вода. А здесь только — земля. Мир застывших, запутавшихся узлистым лабиринтом струй земли. И многообразие, допустимое в этом мире, должно быть прежде всего графическое, а не цветное. Бурая, лиловато-рыжая, розоватая вечером долина эта сразу теряет весь свой пафос и цельность, как только ложится на нее ярко-зеленое пятно дерева. Тогда для меня всякое дерево было обидно, как метка, определявшая какую-то часть местности, мешавшая заблудиться, но именно эта моя *практическая* надобность отсутствия лишних предметов вела меня самым верным путем к распознаванию лирического смысла крымских пустынь.

Однажды меня взяли на большую поездку в Капсель. Так называлось пространство, лежащее за Алчаком. И вот я увидел те же ущелья как бы сквозь увеличительное стекло. Они простирались на много километров — такие же строго-однообразные, хотя и гораздо более крупные, и такая же пыльная дорога исчезала, вясь среди них. Огромная, наполненная мягкой извивностью линий сланцевая равнина, кое-где белесая от проступающей соли, лежала передо мной, и там, с другого конца ее, высилась одинокая, такая же голая, того же цвета большая гора — Меганом.

Все мое тогдашнее созерцание этой картины было целиком практическим, требующим немедленного действия. Мой взор и ум тянуло туда с непреодолимой силой только потому, что это новое лицо земли сулило новые богатейшие возможности заблудиться. Я внимательно прослеживал морщины ущелий, ища, в какое из них лучше всего стать, чтобы остальное скрылось из вида, какое окажется наиболее длинным и запутанным. И это напряженное, вождеющее созерцание немедленно сопровождалось воображением. И так я, мучимый своими личными вопросами и исканиями, приглядывался к своеобразию картины, сживался с ней и проникал в нее.

И в силу ассоциативных законов эмоция запутанности, странно деформируясь, но не утрачивая своей силы, переходила с одного элемента на другой; она пробуждалась уже не только тогда, когда я видел извилистость линий, — она сообщалась специфическим цветам и оттенкам Капсели. Никогда не забуду того странного состояния духа, которое охватывало

всегда, когда мы снова отправлялись в Капсель и вдруг за перевалом весь воздух становился другим от этих бурых и лиловатых отсветов, таких нежных, таких особенных...

Я не видел прелестей Судакской долины, ее зеленых садов, ее тополиных далей, широких очертаний заливов и мысов, я не восхищался грандиозностью скал и обширностью видов, но один из элементов местности был принят мною с предельной интенсивностью.

И так это и осталось до сих пор.

* * *

Сейчас передо мною акварель Волошина, человека, который половину своей жизни посвятил тому, чтобы понять и воплотить эту пустыню. Я снова вижу ее извивы и берег моря, и камешки в маленьком морском заливчике, и это трогательно тоненькое деревцо с двумя веточками на верхушке возле самого моря, и эти темные группы можжевельника, которые, сгущаясь, уходят вдаль, — они на этот раз не пачкают картины, и не они мешают мне глазами заблудиться в ней. Но я ощущаю такую боль, что сознательно отстраняюсь от созерцания.

Я знаю ее. Она — моя старая знакомая. Она рождается всегда, когда доходишь до дна какого-нибудь лирического слова и чувствуешь невозможность познать целиком то, что приоткрылось чуть-чуть. Эта боль — это не тоска по Капсели, она не утихнет, когда я вновь попаду туда, ее мягкие холмы так тверды во мне, что не земным расстояниям и не времени умалить их силу — может быть, даже кое-что я лучше пойму, находясь в отдалении от них. И не о детских годах эта боль, не по прошлому — но по тому, что я все-таки — который раз — не могу окончательно заблудиться, затеряться здесь, что теперь это даже стало еще труднее, чем раньше, что я не слит с тем поворотом дороги, что откроется со следующего холма. Это было началом мира, простиравшегося дальше и дальше, которого я не знал.

Откуда идет этот одинокий пешеход, забелевший вдали из-за перевала, — единственная живая душа во всем мире?

А теперь мне Крым известен, я про все знаю, где что оканчивается, я знаю границы Капсели. И тайна ее уже не есть пространственная тайна. Она стала неуловимей и смутнее.

Может быть, это тайна геологических периодов и работы воды, а может быть, это тайна истории этих долин, этих камней, насыщенных прошлыми жизнями и теперь узорно разбросанных по голому склону. И та печаль, которая разлита здесь, — не по прошлым ли культурам? Или это тоска по воде и зелени, и именно потому так волнует легенда о том, что когда-то Меганом был покрыт лесом, и именно потому сводит с ума и сжигает сердце это как бы сломанное деревцо у воды? И эта местность кажется столь насыщенной мыслью не оттого ли, что она похожа на извилины мозга?

И этот пастух, который сидит на склоне, — и в нем тоже сосредоточена эта тайна, ибо никто никогда так и не знает, чем питаются его овцы, издали похожие на камни...

И вот у меня чувство, что надо было с самого начала идти как-то иначе, что только тогда я мог все понять, когда *впервые* преодолевал эти пространства, вмещая их в себе; что тогда надо было стать чутче и настороженней, тогда нужно было что-то сделать — когда заинтересованность была острее и интенсивнее, когда все было свежее и легче, когда я еще *ничего не знал*.

А теперь эта тайна бесконечно и безнадежно отдалилась от меня...

* * *

Изъеденный зноем суглинок.
Безжизненный сланцевый скат.
Лишь кое-где тощих былиннок
Недвижные стайки стоят.

Лениво спадают извивы
Пологих усталых холмов.
По склонам белеют размывы
Давно замолчавших ручьев.

Как в мире осталось немного!
Как путь мой теперь недалек! —
Легла меж лиловых отрогов
Песчаная лента дорог.

Сойдутся глухие долинки
К дрожащей волне в серебре...
И вновь прозмеится морщинка
Под вечер на дальней горе.

И душу я тихим порывом
С полуночным ветром сухим
Развею по серым извивам,
Похожим на скованный дым.

Под звоны бессонного моря,
Под шелест ветров и песков
Проступит сладчайшее горе
Из жизнью навеянных снов...

* * *

Природа отчетливее и многообразнее ложится в душу ребенка, чем город. Дни, проведенные в природе, — насыщенные. Память о Москве, где мы жили каждую зиму, начинается со значительно более позднего времени. Роясь в себе, я до пяти лет не нахожу почти никаких следов городских улиц, многоэтажных домов, широких и тяжелых парадных. Только очень смутно: округлые скучные формы церкви — Успение на Могильцах — и красное здание, которое няня называет «участком» и которым меня пугают, когда я капризничаю.

С пяти лет воспоминания о городе ложатся более яркими пятнами. Мы поселились в новой квартире, в которой затем провели три зимы. Я до сих пор могу нарисовать план этой квартиры, но с болью думаю о том, что расстановку в ней мебели уже не могу восстановить полностью.

* * *

В смысле возможностей сберечь воспоминания мое детство протекало, вообще говоря, очень благоприятно. Частая перемена местожительства создала базу для прочного запечатления хронологичности событий. Все местности — Судак, Ассерн, опять Судак, потом местечко среди северных деревень, а зимой Москва — все это отложилось резкими цветовыми пятнами, желтыми от солнца или белыми от снега. Между этими пятнами, каждый раз, железная дорога.

* * *

Уже за несколько дней до переезда в новое место в доме становилось как-то особенно. Жизнь в чем-то неуловимом изменяется. В разговорах взрослых все чаще встречаются непонятные слова, от которых пахнет дорогой. К таковым прежде всего относятся «плацкарта» и «багаж». В них слышится стук колес поезда и все звуки оживленного перрона, в них — уют купе, желтизна деревянных перегородок... От них становится как-то волнующе и тепло под ложечкой.

Затем в передней появляются груды рогожи с ее специфическим рогожным запахом, и если дело происходит в Москве, то появляется еще Николай, который зашивает в эту рогожу разные вещи. Я его совсем не боюсь, хотя он и мужчина, и большой, а напротив — очень ему радуюсь.

Волнение, рождаясь всегда как легкая теплота в середине груди, распространяется постепенно к периферии тела, к органам дыхания — мне становится «жарко дышать», к глазам — они начинают блестеть, к ногам — они начинают прыгать.

Если мы едем из Судака, то поезд предваряет однодневный переезд в коляске через горы. Я люблю его за разнообразие красок, но поезд сильнее действует своим более сильным ритмом.

Снаружи поезд — страшен.

Однажды, еще в Ассерне, мой страх чуть не погубил меня.

Мы вышли с няней из дому, чтобы идти к морю. Я, по обыкновению, боялся и капризничал, когда мы подходили к железной дороге, а няня уверяла, что сейчас поезда нет и не может быть. И, однако, когда мы подошли к полотну, — справа из-за близкого поворота показался и он. Я не то что увидел его — я сразу как-то почувствовал его приближение, может быть, по лицу няни узнал это, а затем ужас лишил меня возможности что-либо видеть и слышать.

Первой моей мыслью было, что надо успеть перейти полотно до поезда, и я, отделившись от няни, с невероятной злобой на нее за то, что она меня обманула, ринулся вперед. Я несся все стремительнее, продолжая всем своим существом ощущать, что он все ближе, что он подходит одновременно со мной!.. Кажется, я уже достиг низенькой насыпи и только тогда сообразил, что я не успею перебежать ее и что можно повернуться обратно и бежать домой. Это я и сделал и с еще большей стремительностью понесся к калитке нашей дачи, рассчитав траекторию своего бега мимо няни, в расстоянии примерно аршина от ее бока. Мой расчет был верен, но проклятая няня зачем-то нарушила его, вторично обманув меня, и, когда я пронеслся мимо, ловко подалась в сторону и поймала меня. Я плакал, кричал, бил ее, а она крестилась, шептала что-то о «страстях Господних» и все-таки крепко держала меня, совсем обезумевшего, и даже увещевала продолжать идти к морю, как будто не понимая, что ни о каком море теперь не может быть и речи.

Другой раз, помню, мы, гуляя с Мисой около Новодевичьего монастыря в Москве, зашли на железнодорожный мост. Мы были где-то очень далеко от его концов, когда Миса обнаружила близость поезда и благоразумно не стала скрывать этого от меня. Я был в ужасе, но Миса приготовила какое-то очень сложное логово для моей головы — из своих рук, из моего и своего пальто, где я и прожил самые страшные минуты. Когда прошел паровоз, я даже выглянул и согласился с Мисой, что вагончики бегут очень весело, а совсем не страшно.

Таков поезд снаружи.

Но именно этот ужас к нему наполняет особым очарованием те миги, когда попадаешь внутрь, в его чрево. Чтобы пробраться туда, нужно пере-сесть какую-то роковую черту, и тогда оказываешься вне всяких опаснос-

тей. Пересечение этой черты совершается почти безболезненно, когда выходишь через станционное здание и видишь только линию желтых и синих вагонов, неподвижных и тем более не страшных. Поезда как такового там, в сущности, нет. Шипение паровоза не слышно за общей суетней. Папа препровождает меня няне снизу вверх в узкий проходик, и с этого мига погружаешься в особый микрокосм, очаровывающий своей компактностью, миниатюрностью и отделенностью от всего остального мира. Начинается «чувство уюта». Я испытывал его не только в поезде, но и дома, зарываясь в подушки в углу дивана, и в ущельях, в какой-нибудь особенно замкнутой части ложбины, но именно в поезде оно достигало максимума и начинало плескаться через край. Все здесь приспособлено для его поощрения и развития. Прежде всего — дерево: желтые и коричневые деревянные стенки, перегородки, потолки, двери... Дерево приятно и для глаза, и для осязания, прикосновение к нему и его вид уютнее, чем холодное прикосновение металла или чем скучный пустынный вид штукатурки, только обои поспорят с ним, но и то вещи, сделанные из дерева, способны внушить как-то больше доверья и симпатии.

Важно и то, что все мы, здесь собравшиеся, свои, родные — няня, мама, Миса, — все сгустились плотно и близко в этом крошечном миреке, и то, что окошечко маленькое и потолок низкий и что под верхней полкой открываются еще более маленькие ячейки для спанья.

Я ощущаю себя личинкой бабочки в ее панцире, или зародышем еще не вылупившегося цыпленка, или улиткой, спрятавшейся в свой домик. Или, может быть, я играю в свою собственную душу и стараюсь вообразить, что испытывает она, живя внутри моего тела, должно быть, такого же уютного и родного для нее, и глядя сквозь окна глаз, как снаружи проносятся чужие и далекие образы бытия. Действительно, не ощущал ли я стенки купе как свою собственную кожу? Не потому ли мне было так хорошо в нем? Кто знает, откуда брались эти золотые минуты счастья, для всех нюансов которых взрослый с его оскудевшим мироощущением придумал только нехорошее и бедное слово — «уют», «чувство уюта»? Мне хотелось сказать нечто гораздо большее, когда я, не зная, что начать, бесильно, с блаженной улыбкой топтался в проходике между сиденьями, проводя рукой то по стенке, то по притолоке двери, всем мешая и только требуя, чтобы закрыли дверь в коридорчик, чтобы никто не входил и не выходил, чтобы все мы окончательно и накрепко замуровались тут. Впрочем, вскоре я еще прибавлял требование, чтобы мне очистили место у окна и чтобы поезд трогался. Ибо уют становился предельным только при наличии контраста замкнутого купе с распахнутой ширью и динамикой внешнего мира.

И вот одновременно до моего сознания доходят три рода ощущений: осязательные и слуховые сообщают мне о начавшихся равномерных толчках и постукиваниях, заглушенных и смягченных деревянными переборками, — совсем непохожих на те, которыми страшен поезд снаружи, — и одновременно зренье приносит сведения о поплывшей мимо платформе, дереве, станционных зданиях, а потом о полях, лесах, реках. Однообразие и многообразие, наложенные друг на друга и воплощенные качественно различными факторами, — непрестанное возвращение к старому, расцветенное каждый раз чем-то новым, — таковы необходимые условия для возникновения эмоции-ритма (все равно будь то ритм движения поезда, музыки, слуха, танца и т. д.). Мое ухо и мое тело напряженно ловят отдельные удары, соединяя их нитью памяти, и когда их скопится в сознании больше трех-четырех — они начинают приобретать особый, чувственный оттенок, все резче выступающий, ни с чем не сравнимый, который приковывает к себе, к которому устремляются все мои душевные силы.

И вот я сижу за крошечным откидным столиком и смотрю, как медленно поворачиваются полосы пашен — дальний их конец как будто до-

гоняет поезд, а близкий отбегает назад. Вдали проплывают деревни. Когда слишком долго ландшафт полей ничем не нарушается — я тоскую. Стучания поезда уже не вызывают эмоции. Так же как и при любом ритме, так же как и в стихе: если механическое следование ударений метра не сопровождается достаточным многообразием и богатством образов и звуков — метр может стать скучен, и ритмический пафос ослабеет.

Когда я сижу в поезде, мне важнее всего сознавать, что он разрезает собою природу самую разнообразную, что кругом все меняется, только он сам все так же движется и так же стучит. Поэтому я радуюсь, когда появляются лески, холмы, желтые осыпи вдоль дороги, речки, пруды...

Один раз меня вывели на площадку вагона и позволили поглядеть в открытую дверь. При этом удары утратили мягкость и стали тяжело-звонкими, я увидел колеблющиеся металлические площадки, соединяющие вагоны... Чувство уюта исчезло, но чувство ритма предельно усилилось, ибо гораздо более реально я ощутил быстроту поезда. И яркость красок, не отделенных от меня стеклами, — ударила в глаза...

Когда поезд замедляет ход и останавливается, всегда досадно, но зато когда он трогается, наступают самые приятные минуты, ибо ускоренный ритм дает максимальную эмоцию.

Няня и мама заняты какими-то своими домашними делами, главным образом, кажется, Никой. Он лежит в своей колясочке — здесь же; но не совсем в своей, — вид у нее стал несколько странный, ибо с нее сняли колеса. Все вещи, расставленные кругом, — все это знакомые мне вещи, но все они немного изменились. Вот мамины настольные часы, которые облеклись в мягкий красноватый кожаный футляр с прорезью для циферблата. Они стоят на столике. Няня за этим столиком пьет чай вприкуску, как она это делает и дома. На станциях она хлопочет и бегаёт за кипятком.

Под вечер меня укладывают спать, и я вдруг обращаю внимание на то, что характерные осязательные и слуховые ощущения не прекратились. Я было забыл о них, но теперь снова вспомнил. И память сейчас же доводит до моего сведения, что они продолжались все время. И неизъяснимая радость охватывает меня, когда я вспоминаю, что и завтра они будут продолжаться весь день. И когда я прикладываю ухо к подушке, характер их как-то изменяется немного, и это изменение еще раз обновляет их. «А время идет, — как будто говорят они, — оно все идет, все идет, поезд все мчится, мчится, а кругом все меняется... ты смотрел в окно, ты ел, ты пил, ты перелистывал книжку — мы все стучим, стучим с утра до вечера, от сегодня до завтра...»

И я засыпаю, убаюканный ими чрезвычайно быстро, с сознанием непрерывных изменений снаружи.

Эмоция ритма! Самая загадочная из всех человеческих эмоций. Почему простые повторы — звуковые или еще какие-либо — и волнуют, и нравятся, и заставляют нас напрягаться?

Не есть ли это просто эмоциональное переживание времени и не следует ли отождествлять загадку ритма с загадкой времени вообще?

Вчера был Крым. Завтра будет Москва. Время становится похожим на смутно ощущающуюся пространственную линию, соединяющую Крым и Судак. Эта линия оказывается естественно разделенной на три части: две крайних — дневные, желтые, и средняя ночная — черная. Александровск, Харьков, Тула — это одновременно этапы как пространства, так и времени.

Я думаю сейчас, что эти дни и ночи, проведенные в поезде, были самыми насыщенными днями в отношении количества и значительности познаваемого материала. Должно быть, именно здесь соприкасался я с тем самым великим и плодотворным образом — с той пра-метафорой, которая когда-то заставила человека время отождествить с пространственной линией и позволила ему слова «вперед» и «позади» и слово «даль» применить ко времени, а слова «перед» и «после» — к пространству, когда впер-

вые показалось, что время понято, ибо оно облеклось в доступную, представленную форму, ибо временные повторы, отложившись в пространственный ряд, создали число, и стало возможным измерять пространство — днями и ночами, а время — расстояниями.

На другой день я уже так занят приближеньем Москвы и предвкушением новых, совсем неведомых или позабытых мною миров, что ритм оказывает уже меньшее воздействие, хотя ландшафты стали пестрее и веселее. Кругом мчатся леса.

Вот наступает вечер, и мама сообщает, что Москва уже будет через час. Потом я вижу море огней за окном. Мне объясняют, что мы уже в городе. Я недоумеваю. Разве могут поезда ездить по городу? В этом есть какой-то парадокс, щекочущий воображение. В городе могут быть только трамваи.

Мы выходим из вагона, и я поражен ужасом, ибо совсем близко стоит паровоз, пыхтящий, черный, огромный; но не успеваю я опомниться, как мы уже вне опасности, спускаемся по лестнице в подземный кафельный лабиринт и идем прямо под то место, где стоит паровоз (как же он не провалится?). Стены представляются мне непрерывной печкой, ибо в доме только печки выложены этими белыми штуками. В стороны отходят коридоры, по которым бегают люди. Впереди страшно быстро идет носильщик с вещами, и еще через две минуты мы сидим на извозчике и едем по городу.



ПУБЛИЦИСТИКА

В. С. НОВИКОВ



НА ТЕАТРЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

О говорюсь сразу: моя работа не для тех, кто считает, что чем ближе к нам НАТО, тем гарантированнее наша демократия. Да и странно было бы от меня — военного моряка, генштабиста — требовать такого подхода. Я и мои коллеги убеждены, что демократическая Россия — сильная Россия, имеющая свои геополитические интересы. И это отнюдь не признак «милитаристского» мышления, а здравый смысл профессионала. У нас, россиян, давно повелось желать поражения своему правительству, помнится, эсеры даже поздравили японцев с Цусимой. И если тогда это еще можно было как-то объяснить отношением к Российской империи как «деспотии», то теперь сильное демократическое государство только на руку всем: обществу, правительству, миру.

Исторически стремление выйти к морю не есть прихоть русских царей, английских королей или американских президентов — это естественная потребность крепнувшего государства.

Отсюда логика походов генерала Леонтьева, фельдмаршалов Миниха и Ласси в 1735 — 1738 годах. Тогда многие в Европе еще поддерживали в этом Россию: вспомним, что в 1683 году войска Кара-Мустафы осаждали Вену...

Но одновременно крепло и желание крупных европейских государств утвердиться на черноморском театре — в пику России, не желавших ее чрезмерного усиления и захвата ею проливов (Россия присоединила Крым в 1783 году, основанный тогда Севастополь сделался главным военным портом). Не желавших настолько, что они поддержали в Крымскую кампанию мусульман — против христиан, Турцию — против России.

У нас укоренилось и стало расхожим мнение о бездарности царского правительства и военного руководства, проигравших Крымскую войну. При этом знатоки и эксперты совершенно упускают общеизвестные факты: Россия вела борьбу с коалицией мировых держав, имевших более одного миллиона человек под ружьем, и сразу на нескольких театрах: на Балканах, Кавказе, в Крыму, на Балтике, на Азовском море, на Дальнем Востоке и в Заполярье. Угроза вмешательства в войну на стороне антирусской коалиции Австрии, Пруссии и Швеции заставляла Россию сохранять на западных границах значительные силы (при общей численности армии в семьсот тысяч человек). Двухсоттысячную армию надо было держать на Кавказе, это, в частности, спасло его христианское население от турецкой резни.

О том, что русский черноморский флот был тогда важной силой, а следовательно, «бельмом на глазу» у наших противников, говорят положения Парижского договора 18(30) марта 1856 года: запрет России иметь военно-морской флот на Черном море и военно-морские базы, возвращение Турции Карса и уступка южной части Бессарабии. И что самое интересное, с точки зрения христианской морали, — закрепление суверенитета Турции над Сербией, Валахией и Молдавией при невнятно объявленном коллективном протекторате великих держав. В результате поражения России были подавлены освободительные движения христианских народов Северной Греции и Болгарии.

Новиков Валерий Сергеевич начал службу на Черноморском флоте в 1967 году. Участник дальних походов (Африка, Индия, Средиземное море, Атлантика, Индийский и Тихий океаны). Капитан 1-го ранга; с 1989 года — в Главном штабе ВМФ.

Не менее интересные сюжеты открываются и в ближней истории, то есть уже в XX веке. В начале века точно так же, как и в конце, среди определенной части российского общества широкое хождение имел тезис о «ненужности» крепкого военного флота на Черном море. Хотя даже оппозиционно настроенные к самодержавию кадеты приветствовали устремление России к проливам. Позднее известный эмигрантский военный историк С. К. Терещенко писал, что именно «Черноморский флот, особенно в командование им адмирала Колчака, привел к началу 1917 г. Турцию в такое состояние, что продолжение ею войны стало невозможно».

О том, что Крым является центром притяжения геополитических интересов, свидетельствует упорство германского вермахта и во Второй мировой войне. Потеряв триста тысяч человек при взятии Севастополя, немцы буквально стерли город с лица земли. Потребовалось специальное решение Правительства СССР от 24 октября 1948 года, долговременные и сверхтяжкие усилия всего народа для восстановления города и всей инфраструктуры главной базы Черноморского флота.

Послевоенная история неоднократно подтверждала оправданность существования военно-морских сил на Черном море. Вспомним хотя бы «многосерийные» военные конфликты на Ближнем Востоке в 1956 году, в 60-е и 70-е годы. Присутствие кораблей советского флота в районах, примыкающих к южным театрам военных действий, во многом способствовало окончанию конфликтов. Кстати, стоит посмотреть на карту и представить разницу в расстоянии от Крыма до Суэца и от... Норфолка до того же Суэца.

Сегодня стало немодным, а то и «стыдным» вспоминать участие наших моряков в силовых акциях «холодной войны». А между тем с июня 1974 по февраль 1975 года отряд противоминных кораблей Черноморского и Тихоокеанского флотов обеспечил разминирование Суэцкого залива. Пройдя по минным полям в общей сложности семнадцать тысяч миль, они ликвидировали минную опасность на площади 1250 квадратных миль. Именно наши военные моряки открыли Суэцкий залив и Суэцкий канал для свободного судоходства. Именно они, рискуя жизнями, в 1972 — 1973 годах разминировали порт Читтагонг в Бангладеш (подняли двадцать шесть затонувших судов водоизмещением сто тысяч тонн), а в конце 80-х неоднократно подвергались обстрелам и минной опасности при защите международного судоходства в Красном море и Персидском заливе. В те годы советские торговые и промысловые суда крайне редко подвергались каким-либо «санкциям» в иностранных портах или пиратским нападениям в море.

Не вдаваясь в юридические тонкости правомочности передачи Крыма Украине в 1954 году, следовало бы осмыслить эту проблему для России и Украины *СЕГОДНЯ*. Говоря о внешнеполитических аспектах, невольно задаешься вопросом: а все ли так благополучно в окрестностях Черного моря? Убежден: у России и Украины там есть общие интересы.

Например, в Турции в большом ходу географические карты, где Крым, Кавказ с Арменией и Грузией, российское Причерноморье закрашены одним цветом с Турцией. Вряд ли, конечно, это делалось по прямому решению турецкого правительства, но ведь существуют люди, и достаточно влиятельные, кому такие устремления близки и дороги.

Чем еще можно объяснить публикации в турецких СМИ прогнозов перехода Крыма после возвращения туда всех мусульман под юрисдикцию Турции? Руководители Меджлиса крымско-татарского народа принимаются в Анкаре на правительственном уровне, получают финансовую поддержку и общественное признание. Экологическим словесным флером Турция пытается прикрыть одностороннее решение с 1 июля 1994 года о регламенте прохода судов через пролив Босфор, Дарданеллы и Мраморное море, что, по сути, является решением о единоличном контроле над судоходством в Черноморском регионе.

В контексте развития последних событий на Кавказе позиция Турции — наряду с утратой веса России — приобретает вполне выраженную силовую окраску. Кроме инвестиций в экономику мусульманских государств СНГ в Турции на поток поставлена подготовка военных кадров для того же Азербайджана. Посол Турции на Украине большую часть времени проводит в Крыму, курируя решение проблемы «крымских татар».

Турецкие исламистские организации направили в Татарстан, Башкортостан, на Северный Кавказ сотни преподавателей для новых медресе, специалистов по Корану и других «педагогов». Для обучения в Турции граждан из тюркоязычных республик сегодня выделена квота двух тысяч мест для каждой республики. На территории Турции действует несколько культурно-этнических объединений эмигрантов из кавказских республик: Фонд имени Шамиля, Ассоциация Северного Кавказа, Чеченская ассоциация и т. д. Все они официально не занимаются политической деятельностью, однако известны факты не только политической агитации, но и многочисленные случаи набора, подготовки и переброски наемников в «горячие» точки Кавказа.

Энергичная попытка Анкары освоить «советское наследство» в Черноморской зоне позволяет сделать вывод, что Турция старается в полной мере использовать исторический и геополитический шанс в данном регионе, в последнее время все решительней отстаивает свои национальные интересы за рубежом, в том числе танковыми и авиационными рейдами на территорию Ирака (для борьбы с курдскими повстанцами). При дальнейшем развитии такой решительности можно предположить аналогичные рейды уже на территорию СНГ...

В общем и целом, в течение последних ста с лишним лет Россия, а потом СССР занимали на Черном море ведущие позиции, что, совокупно с сухопутной группировкой войск Юго-Западного направления и развитой военной инфраструктурой, обеспечивало надежное и устойчивое прикрытие южного фланга общего стратегического построения обороны страны. Возможно, коммунистическая партия думала, что в первую очередь защищает себя и свои идеи. Армия же защищала державу.

Помимо своей геостратегической роли в обеспечении национальной безопасности Черное море с его береговой инфраструктурой являлось для нас важным плацдармом, обеспечивавшим транспортную связь по морю с большинством стран мира.

Возникновение ряда новых геополитических факторов (ропуск Организации Варшавского Договора, появление в зоне Черного моря новых субъектов международного права — независимых государств из числа бывших советских республик, активизация этнических и религиозных движений сепаратистского толка, значительные изменения векторов внешнеполитических приоритетов причерноморских стран Восточной Европы — Болгарии и Румынии и т. п.) привело к тому, что наша система военной и политического контроля в Черноморской зоне рухнула.

Еще несколько лет назад заход в Черное море боевых кораблей США и европейских стран НАТО рассматривался бы как чрезвычайное происшествие. Сейчас же черноморская акватория стала для ОБМС (Объединенных Военно-Морских Сил) НАТО просто одной из их оперативных зон. Начиная с середины августа 1991 года ОБМС НАТО на плановой основе интенсивно осваивают Черное море. Командование блока ведет целенаправленную подготовку к возможному использованию здесь своих корабельных ударных и амфибийно-десантных соединений.

За последние годы возросла интенсивность ВМС нечерноморских государств по освоению Черноморского региона. Так, если в 1991 году в Черное море заходили 9 кораблей, в 1992 году — 16 кораблей от 9 государств, в 1993 году — 19 кораблей от 10 стран, то в 1994 году — 27 от 11 стран, а в 1995 году время нахождения кораблей нечерноморских государств в Черном море составило 476 суток.

С 1992 года к освоению Черного моря на регулярной основе приступили корабли ОБМС НАТО на Атлантике, и впервые после Второй мировой войны отмечен заход отряда боевых кораблей (ОБК) ВМС Германии. Начиная с 1993 года проводятся совместные учения кораблей ВМС НАТО и стран Черноморского бассейна (Украины, Болгарии, Румынии) в рамках программы «Партнерство во имя мира».

Нынешние взгляды турецкого руководства на применение вооруженной силы обусловлены главным образом противостоянием Турции и Греции в решении ряда территориальных споров. Вместе с тем развитие ВС/ВМС Турции свидетельствует о наращивании наступательного потенциала, который в случае необходимости может быть использован как в рамках НАТО, так и против возможного противника

при защите национальных интересов. Участие в НАТО помогает турецким вооруженным силам (численностью около шестисот тысяч человек), которые сегодня являются одними из самых мощных в регионе, повышать свою боеготовность и боеспособность. Турецкие ВС/ВМС проявляют всевозрастающую активность в отработке действий в акватории Черного моря, в том числе в проведении совместной боевой подготовки с ВС ряда стран Черноморского бассейна, в частности Грузии и Украины.

Динамично развиваются и ВМС Турции. В настоящее время они насчитывают 16 подводных лодок, 36 надводных кораблей классов эскадренный миноносец-фрегат, 46 десантных и 26 минно-тральных кораблей, 76 боевых катеров. *По совокупной боевой мощи они превосходят нынешний Черноморский флот России более чем в два раза.*

При любом варианте возникновения и развития кризиса не исключено вмешательство НАТО на стороне противников России. Скорее всего, осложнение обстановки на Черном море будет тесно связано с развитием ситуации на других европейских театрах — прежде всего на Балтике и на Каспии.

Зная о том, что в Средиземном море у Турции соседи — это партнеры по НАТО, можно лишь позавидовать предусмотрительности турецкого руководства, как, впрочем, и итальянского: Италия вполне исправно содержит собственный авианосец.

Исключительно своеобразный характер имеют *противоречия между Грецией и Турцией*. Являясь членом блока НАТО, они вроде как бы и боевые союзники, но многовековые войны и конфликты (к тому же носившие этнический и межконфессиональный характер), а также обостряющееся экономическое противоборство сегодня сильно осложняют межгосударственные отношения. 1 июня 1995 года парламент Греции ратифицировал международную Морскую конвенцию ООН по морскому праву. Согласно ей греки могут увеличить ширину своих территориальных вод в Эгейском море с шести до двенадцати миль. По мнению Турции, этот шаг приведет к ограничению возможностей выхода турецких ВМС в Средиземное море и обеспечит греческим компаниям односторонний доступ к природным ресурсам континентального шельфа. Анкара уведомила союзников по НАТО, что такое решение Греции она рассматривает как вескую причину для принятия ответных мер — вплоть до объявления войны. Решимость защищать свои национальные интересы продемонстрировал парламент Турции, который 8 июня 1995 года предоставил правительству право самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Греции. Не менее агрессивно турки встретили сообщение о закупке греческим правительством Кипра у России ракетного комплекса ПВО «С-300»: уже через две недели (в январе 1996 года) в турецкие порты Кипра вошел отряд боевых кораблей ВМС Турции.

Продолжают оставаться спорными воздушное пространство и водные акватории, прилегающие к территориальным водам вокруг греческих островов Хиос, Самос, Родос, Лесбос, Южные Спорады и ряда других.

При оценке военно-стратегической ситуации в Черноморской зоне обязательно учитывать фактор почти уже свершившегося раздела Черноморского флота между Россией и Украиной, который значительно понизил оборонный потенциал России на юге и практически ничего не дал Украине. Уменьшение количества боевых кораблей и авиации Черноморского флота России и общее снижение их боеготовности при существенном ухудшении условий их базирования, а также фланговые ограничения, налагаемые на Российскую Федерацию по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, привели к нарушению баланса сил между Россией и странами НАТО на южном фланге и снижению влияния России не только в данном районе, но и в Средиземноморье.

Используя военно-географические особенности Средиземноморской зоны, США и их союзники уже в мирное время создали и сохраняют здесь сильные группировки всех видов вооруженных сил, отводя главную роль ВМС и ВВС. В целях обеспечения эффективных действий этих группировок проводятся активные мероприятия по оперативному оборудованию зоны как по ежегодным программам совершенствования инфраструктуры НАТО, так и по национальным планам средиземноморских стран. На побережье и островах Средиземноморской зоны насчи-

тывается около шестидесяти военно-морских баз (ВМБ) и пунктов базирования ВМС (из них более сорока принадлежат НАТО) и свыше пятнадцати авиабаз и аэродромов базирования военной авиации. Эти опорные пункты играют важную роль в осуществлении контроля за обстановкой в регионе, в блокаде проливных зон, в обеспечении развертывания сил быстрого реагирования и крупных группировок всех видов ВС для ведения военных действий в любом из районов Средиземноморской зоны, в рассредоточении и материально-техническом обеспечении войск и сил.

Группировка ВС США на Средиземном море, основным компонентом которой является 6-й флот, постоянно включающий авианосную и амфибийно-десантную группы, атомные многоцелевые подводные лодки и надводные корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) «Томагавк», держит под непрерывным контролем индоевропейскую коммуникацию, а также южные и центральные районы России.

Особо важное значение имеет Северо-Восточный район Средиземноморской зоны, включающий Черное море, Черноморские проливы, Эгейскую островную зону и восточную часть Средиземного моря. Не случайно все многочисленные военные конфликты, происшедшие в Средиземноморской зоне после Второй мировой войны, имели место именно в ее Северо-Восточном районе. Важность этого района обусловлена прежде всего его близостью к границам черноморских государств, в том числе России, возможностью контроля Черноморских проливов и коммуникаций в восточном Средиземноморье. Этой цели служат базы США и их союзников на островах Кипр и Крит, на территории Греции, Турции и Израиля.

Активная политика США и НАТО после распада Советского Союза и постсоциалистических стран Восточной Европы (в том числе Румынии и Болгарии) направлена на их интеграцию в НАТО в рамках программ «Партнерство во имя мира». К этому же стремятся определенные круги на Украине и в Молдавии.

Меньше всего нам хотелось бы рисовать США как некоего агрессивного демонического врага: их политика — политика укрепления и защиты собственных интересов, которые они идентифицируют как интересы цивилизации и демократии в целом. Мы же лишь описываем реальное положение дел, и чужое военное усиление нас, разумеется, не может не настораживать, ибо при таком состоянии дел всегда есть рычаги и возможности давления, незаметно лишаящие полной независимости более слабого.

Положение в Крыму крайне сложное, для русских — трагичное.

Это ни для кого не секрет, многие российские политики, Ю. М. Лужков например, имеют мужество говорить об этом в открытую.

Спад промышленного производства в Крыму за 1996 год составил 16 процентов, что в несколько раз выше, чем в целом по Украине.

В последние годы идет усиленная украинизация Севастополя — за счет приезжих из Западной Украины (как известно, наиболее антагонистичной России). Лозунг, провозглашенный УНА-УНСО: «Крым — или украинский, или безлюдный», превращает этносоциальную обстановку в городе во все более «бейрутско-боснийскую».

Пенсии ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам Вооруженных Сил бывшего СССР в Севастополе выдаются с задержкой в два-три месяца, порциями по 20 — 40 процентов, их размер в три-четыре раза меньше, чем установлен Правительством России.

22 декабря 1996 года спецназ СБУ (Службы безопасности Украины) с применением спецсредств (газ, дубинки) разогнал пикет ветеранов у дома мэра Севастополя господина В. Семенова.

По состоянию на 1994 год в Крыму проживало 1670 тысяч русских, 560 тысяч украинцев, 220 тысяч татар. Перевод в 1996 году преподавания в школах исключительно на украинский язык и лишение лицензий тех средств массовой информации, которые не перейдут на украиноязычный режим работы к концу 1997 года, очевидно, достигнут обратных целей: дадут мощный импульс к национальной самоидентификации русскоязычного населения.

Экстремисты Руха, не имеющие социально-политической базы на полуострове, постоянно подогревают страсти, настаивая на необходимости отдать Крым крымско-татарским националистам. Уже обсуждался вопрос о «равном» представительстве всех этнических групп Крыма в украинском парламенте. Это привело бы к чудовищной дискриминации русского населения Крыма, многократно превышающего по численности татарское. Крымские же татары на своем курултае заявили, что только они имеют право на самоопределение в Крыму, который уже неоднократно посещали потомки крымского хана Султан-Гирея.

Все это — в совокупности с трудностями раздела Черноморского флота — создает чрезвычайно опасные предпосылки для превращения Крыма в самый сложный узел межнациональных конфликтов и вечно нарывающую рану в российско-украинских отношениях.

Проблема Крыма и Черноморского флота имеет далеко не только психологическое, этническое и административное значение. В связи с образованием независимых Украины и Грузии протяженность черноморского побережья России составляет теперь всего лишь около 350 километров (!). Здесь нет удобных закрытых бухт, а из-за гористого рельефа и сложного климата (прежде всего режима ветров) эта часть побережья малопригодна для использования силами флота. (Именно поэтому вся система базирования Черноморского флота издавна развивалась на побережье Крыма и в северной части Черного моря — Херсон, Николаев, Одесса, Измаил, — удобных для размещения кораблей и частей обеспечения.) России нужен на Черном море хороший флот, нужны пункты базирования, она не может откатиться на несколько столетий назад — это было бы исторически противоестественно!

Трудноразрешимый спор о разделе Черноморского флота не выгоден, повторяю, ни Украине, ни России. На Черном море есть два геостратегических узла, взаимоуравновешивающих друг друга: Крым и Черноморские проливы. Уход России из Крыма в военно-политическом отношении окончательно дестабилизирует военно-стратегическое равновесие, сложившееся после Второй мировой войны. А это угрожает национальной безопасности и Украины, и России, угрожает балансу сил в мире.

Потеря Черноморского флота как единого оперативно-стратегического объединения с пунктами базирования в Крыму вынудит Россию расходовать огромные средства для восстановления флота и создания системы его дислоцирования на черноморском побережье Кавказа.

Что же касается Украины, то ей — и это вовсе не отрицают ее политики — не по силам самостоятельно содержать мало-мальски сильный флот (из-за огромного расхода энергоресурсов на обеспечение повседневных нужд и боевой подготовки, отсутствия технологической базы для создания современных систем морских вооружений, судоремонта и многого другого), а тем более гарантировать эффективное его использование в удаленных районах моря и океана. Инфраструктура военного производства в бывшем СССР сложилась так, что более 80 процентов оборудования, необходимого для постройки боевого корабля, производилось на территории России и других республик Союза, а в создании и постройке современного эскадренного миноносца участвовало более пятисот крупнейших предприятий и научно-исследовательских учреждений.

Оценка современного состояния экономики Украины и расчеты показывают, что потенциально она сможет содержать военный флот в составе одного-двух оперативных соединений прибрежного действия. Возможность защитить такими силами хотя бы интересы своего торгового и промыслового судоходства (четыре крупные судовладельческие компании, суда которых действуют далеко за пределами Черного моря) весьма сомнительна.

Деятельность ВМС Украины потребует самостоятельной подготовки кадров более чем по тремстам специальностям, что ей тоже не под силу. Большинство же личного состава Черноморского флота не примет сегодняшней позиции Украины и служить под ее флагом не будет. Тем более, что затянувшийся спор о судьбе флота поставил военнослужащих и их семьи на грань физического выживания.

Сами по себе эти факты, а также уже достаточно определенно наметившиеся негативные для России тенденции дальнейшего развития военно-политической и

военно-стратегической обстановки на Юго-Западном и Западном направлениях (планируемое расширение блока НАТО на восток, углубляющееся военное и экономическое сотрудничество соответствующих стран СНГ с НАТО и отдельными западными странами, наличие здесь потенциально кризисных зон и другие факторы) ставят Россию перед необходимостью всесторонней оценки новой геополитической ситуации на черноморском направлении и поиска быстрых, точных и адекватных ответов на новые вызовы ее долгосрочным национальным интересам в зоне Черного моря и Причерноморья.

...Коммунистический агитпроп столько десятилетий пугал «враждебным окружением», которое спит и видит, как бы нас уничтожить, что не успели мы сделаться демократами — как решили, что теперь можем рассчитывать на дружеские объятия всего цивилизованного мира. И то и другое — неправда. Тогда Запад, уступая грубой силе, сдавал советским вождям еще со времен Ленина — Сталина одну позицию за другой, тоталитаризм — в лице Кубы — подошел уже к США вплотную. А теперь крупнейшие западные идеологи и стратеги (Бжезинский, Киссинджер) открыто утверждают, что Россия новая — не полноправный партнер, но... вассал (?). Да что говорить: испокон веку каждому дипломату, а тем более чиновнику военного ведомства платили жалованье именно за то, чтобы он, не доводя по возможности дело до открытого столкновения, работал на усиление своей страны, на ослабление «конкурента». И мы видим, что лидеры Запада, несмотря на, возможно, искреннюю дружбу с нами, — энергичные поощрители «самостийности», процессы единения в СНГ им не на руку. Опять же, не по «демонизму» и враждебности, а попросту такова политика. Сильная независимая Россия, что называется, по определению, не может входить в их дипломатические и политические планы отнюдь не потому, что они боятся коммунистической реставрации...

Соответственно, рассматривая проблемы Черноморского региона, надо четко представлять себе российские интересы, задачи, приоритеты. Пора наконец осмыслить и сформулировать, чем в этом регионе Россия может безболезненно или вынужденно пожертвовать, за что должна стоять до последнего — это во-первых.

Во-вторых, для России возникла необходимость блокировать или хотя бы существенно затормозить дальнейшее развитие неблагоприятных для нее тенденций в Черноморской зоне, не допустив того, чтобы их последствия стали необратимыми. Для этого, видимо, потребуется разработка и реализация некоего комплексного плана мероприятий, главным образом политического и экономического характера. Параллельно должна быть проведена ревизия концепции военно-стратегического обеспечения национальных интересов России.

В-третьих, существует необходимость в защите так называемых оспариваемых территорий (территории, на контроль которых по историческим, религиозным, политико-правовым или этническим основаниям претендуют другие этносы или государства). К таким территориям относятся практически весь Северный Кавказ и акватория Каспийского моря.

В-четвертых, в связи с изменившимися для России условиями, — потребность в сохранении статус-кво в правах пользования акваторией Черного моря, портами, черноморскими проливами (Босфор и Дарданеллы) для выхода в Средиземноморье. Борьба за такой контроль — обычная международная практика разделения сфер влияния.

В-пятых, Россия сейчас испытывает острую потребность в отыскании каких-то новых аргументов и способов подтверждения своей роли в Черном море и готовности жестко реагировать на попытки других стран посягнуть на ее исторические интересы здесь, где в единый геополитический узел завязаны Турция, европейские, центральноазиатские, закавказские страны СНГ, да и — шире — все Средиземноморье.

Сегодня уровень обеспечения геополитических интересов России в Черноморской зоне существенно ниже, чем был прежде. Сейчас речь идет уже о сохранении оставшейся части территории Черноморского бассейна под российским контролем, а не о восстановлении контроля над веками входившими в состав Российского государства землями, хотя в этом страна по-прежнему объективно заинтересована.

На глобальном уровне Черноморский бассейн важен для России в качестве «буфера» на южном фланге НАТО. Его значение усиливается в свете обретающего все более реальные черты расширения НАТО на восток за счет вступления в него государств Центральной и Восточной Европы.

Черноморье всегда будет играть для России важную роль в обеспечении ее безопасности и национальных интересов на Юге — даже с учетом выхода из-под российского контроля большинства объектов военной инфраструктуры, оказавшихся сейчас под юрисдикцией Грузии, Украины и Молдавии. Сохранение российского Черноморского флота в его новом формате, поддержание его в требуемой боеготовности и обеспечение нормальных условий для его базирования и боевой подготовки являются серьезными аргументами России в отстаивании своих интересов в Черном море и Причерноморье.

В свое время большевики нанесли «живой» силе Черноморского флота страшный урон. В ночь на 16 февраля 1922 года по распоряжению начальника Особого отдела Черноморского флота В. Ульриха было схвачено несколько десятков офицеров, к 23 февраля их число возросло до 233 человек. Большинство было расстреляно. И это — уже после того, как в 1921 году в Петрограде ЧК через Центральную фильтрационную комиссию пропустила 977 бывших офицеров и адмиралов, более 350 человек было репрессировано.

Сейчас Черноморский флот имеет высококлассный офицерский состав, несмотря на все тяготы положения, преданный и России, и флоту. Новый разгром его будет необратим.

Ныне в Крыму если что и стабильно — так это государственная политика Украины.

Под Севастополем (поселок Тыловое) развернут батальон морской пехоты с подготовкой личного состава по программе... спецназа. В районе поселка Перевальное дислоцирована механизированная бригада (два танковых, два мотобатальона, артиллерийский, противотанковый и зенитный дивизионы и более двух тысяч человек).

В Старом Крыму стоит бригада спецназа (около девятисот человек), входящая в состав 32-го армейского корпуса. В самом Севастополе дислоцированы полк патрульно-постовой службы (со спецподразделением «Беркут»), комендантский батальон (350 человек), Военно-морской институт, школа милиции. В Симферополе стоит погранотряд, военно-строительное училище и штаб 32-го корпуса с подразделениями обеспечения. На знаменитом аэродромном узле Бельбек развернут полк ПВО (самолеты «СУ-27»), в районе поселка Советский создана крупная база хранения военной техники. Таким образом, под стенами об «имперских амбициях» Москвы Киев создал на полуострове мощную войсковую группировку численностью до пятидесяти тысяч человек. Надо ли гадать, для каких целей?¹

И все же нельзя терять надежды, что в конце концов прискорбная враждебность между двумя братскими славянскими народами с единым корнем будет преодолена, что восторжествует историческое родство, а не маргинальная националистическая враждебность. Но не политическая дряблость, не бесконечные задабривающие уступки станут тому причиной — ничего, кроме презрения и поощрения агрессивности, они в политике не вызывали и вызвать не могут.

В ней — как и вообще в жизни — побеждают здравый смысл и собственное достоинство. На театре Черного моря Россия не может и не должна соглашаться на жалкое эпизодическое присутствие...

Предательства polegших здесь наших предков, которые сражались за Россию на Черноморье, нам не простят потомки.

¹ В интервью «Независимой газете» (1997, 5 февраля) секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин заявил: «Мы не боимся расширения НАТО на восток... Я могу согласиться с мнением Президента Казахстана Н. Назарбаева... Президента Леонида Кучмы, да и последними заявлениями Президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые фактически утверждают, что Содружество Независимых Государств перспектив не имеет».

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

М. ДЕЛАГРАММАТИК



ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ ЗА РАБОТОЙ

Капитан юстиции по званию, в войну я работал судебным секретарем в военных трибуналах корпуса, армии, крупных гарнизонов. Эта небольшая должность позволила мне, однако, увидеть советскую репрессивную машину лицом к лицу. К сожалению, свой достаточно подробный дневник (1942 — 1946) я уничтожил в начале 50-х годов, опасаясь повторения большого террора, что — если бы не смерть Сталина — было вполне возможно. Но воспоминания не отпускают, и я хочу поделиться ими с читателями.

30 июня 1941 года я закончил литературный факультет Московского института истории, философии и литературы им. Чернышевского (ИФЛИ), сдал государственные экзамены и получил диплом с отличием. Но радости не было. Ощущение всенародной беды охватило всю страну; нацистская Германия развязала войну; на Москву производились налеты немецкой авиации, и аэростаты воздушного ограждения плавали над Кремлем.

7 июля я был мобилизован в армию и направлен вместе с несколькими выпускниками ИФЛИ на десятимесячные курсы военных юристов при Военно-юридической академии. На этих курсах учились, как правило, выпускники гуманитарных факультетов институтов и университетов. Профессорско-преподавательский состав академии отличался весьма высоким уровнем, и мы получили хорошую подготовку по юриспруденции, которая нередко была несравненно выше, чем у наших будущих начальников — прокуроров, председателей и членов военных трибуналов, которые часто не имели не то что какого-либо юридического образования, но даже общего среднего. Но зато у них было «пролетарское нутро», большой партийный стаж и опыт работы в карательных органах.

В мае 1942 года мне было присвоено звание «военюриста» (равно старшему лейтенанту), и я был направлен в распоряжение Военного трибунала Южного фронта, который обосновался тогда в Старобельске, на Донбассе. Там получил я назначение в Военный трибунал 3-го гвардейского стрелкового корпуса на должность судебного секретаря. Я, признаться, обрадовался, ибо еще с 1937 года страстно хотел проникнуть в тайны советской юстиции, понять причины политических процессов и массового террора.

В конце мая 1942 года я прибыл в станицу Большекрепинскую, Ростовской области, где находилось мое такое необычное для недавнего студента-гуманитария место работы — военный трибунал. Наш корпус входил в состав Южного фронта, командовал фронтом генерал Малиновский. Корпус составляли в основном морские бригады — 68-я, 76-я, 81-я и другие, укомплектованные из бывших военных моряков. Бригады сражались, в частности, в районе Матвеева кургана (недалеко от Таганрога), но взять высоты не могли, хотя наша авиация своими бомбардировками перепахивала позиции противника.

В каждой дивизии, корпусе, армии и фронте существовала трехэлементная система карательных органов (термин той эпохи): Особый отдел НКВД, военная прокуратура и военный трибунал.

В функции Особого отдела НКВД (начальник, заместитель, следователи, комендант, бойцы, камера предварительного заключения) входило следить за политическим и моральным состоянием корпуса, выявлять государственных преступников (изменников, шпионов, диверсантов, террористов, контрреволюционные организации и группы лиц, ведущих антисоветскую агитацию, и других), вести следствие по государственным преступлениям под надзором прокуратуры и передавать дела в военные трибуналы. В корпусе начальником Особого отдела был подполковник Руденко, украинец лет тридцати пяти — сорока, высокий плотный мужчина, носивший черное кожаное пальто. С работниками Особого отдела я знакомился в офицерской столовой. Секретарь Особого отдела Аня Рыбакова была довольно общительной, рассказывала в кругу трибунальцев и прокуроров о некоторых деталях «творческой лаборатории» особистов.

В их распоряжении находился большой штат уполномоченных в полках и батальонах, а также разветвленная сеть сексотов. Нередко особисты к делам, поступавшим в наш трибунал, приобщали запечатанный конверт с надписью: «Только для председателя ВТ», — там содержались агентурные данные о подсудимом. Так, например, источник «Рейкин» сообщал, что подсудимый — человек «хитрый и коварный», служил офицером белой армии. Несложно было вычислить, что подсудимому-то в ту пору было всего шестнадцать. Впрочем, этот полуюношеский-полуотроческий возраст для трибунальцев не служил оправданием. Иногда сексоты выступали на судах свидетелями (или лжесвидетелями — если требовала того ситуация).

Военная прокуратура корпуса состояла из прокурора, нескольких следователей прокуратуры, секретаря. Прокурором корпуса был у нас Брайнин, пожилой специалист в звании бригадюр-юриста. Помню его седой ежик, колючие глаза и надменность. Когда я прибыл в корпус, прокурор ехидно заметил: «Академик приехал». Он, очевидно, был «практик», опыт заменял ему — и таким, как он, — образование. Магическое «практик» открывало путь наверх; им доверяли, их опыт высоко ценился. Правда, в нашем корпусе Брайнин работал недолго, а затем исчез. Мой коллега по военному трибуналу З. Я. Иоффе объяснил мне, что прокурор был снят с работы, так как у него в США были близкие родственники.

Военная прокуратура вела следствие по преступлениям, совершаемым военнослужащими; это были не контрреволюционные (государственные) преступления, а общеуголовные и воинские (дезертирство, неисполнение приказа, потеря военного имущества, распространение ложных слухов, должностные преступления, членовредительство, мародерство, грабежи и разбой в районе военных действий и др.). Военная прокуратура осуществляла также надзор за ведением следствия по этим делам, за соблюдением и точным применением советских законов в корпусе; формально осуществляла она и надзор за ведением следствия особыми отделами НКВД.

Теперь о военном трибунале корпуса, в котором мне довелось работать месяца четыре. Основная функция военного трибунала — рассмотрение уголовных дел военнослужащих, а также тяжелых преступлений гражданских лиц. Законченные следствием уголовные дела поступали в наш военный трибунал, как правило, из двух источников: из Особого отдела НКВД корпуса (главным образом дела о контрреволюционных, или государственных, преступлениях) и военной прокуратуры (дела об общеуголовных преступлениях и воинских). Наш военный трибунал рассматривал дела, поступавшие из этих источников, осуждал или оправдывал подсудимых (последнее, впрочем, случалось довольно редко). Во время войны всеми трибуналами применялось довольно широко примечание 2 к ст. 28 УК РСФСР: приговор к лишению свободы в отношении

осужденного может быть отсрочен исполнением, а он направлен на фронт в штрафные подразделения. Если, как говорилось в примечании, осужденный в боях с врагами Советского Союза проявит себя стойким защитником Родины, то после войны он может быть освобожден от отбывания наказания и с него будет снята судимость. Эта норма не применялась к осужденным за государственные преступления. Военные трибуналы, в том числе и наш, применяли примечание 2 к ст. 28 УК РСФСР, освобождали от отбывания наказания осужденных солдат и офицеров, энергично проявивших себя в боевых действиях, — как правило, это делалось публично и потому давало большой эффект: советские люди, слишком привыкшие к тому, что сажают, вдруг становились свидетелями освобождения. Запомнился мне офицер армянин Хачатуров, которого наш военный трибунал освободил от отбытия дальнейшего наказания и признал несудимым. У него было техническое образование и творческая жилка, он поделился со мной планами создания нового миномета.

Расстрельные приговоры в боевой обстановке порой приводились в исполнение в воинской части перед строем. Приговоры военных трибуналов на фронте были окончательными и обжалованию не подлежали. Не помню случая, чтобы командующий соединением не утвердил приговора. Потому осужденный был лишен возможности обращаться в Президиум Верховного Совета СССР, которому принадлежало право помилования.

А судьи кто? Председателем Военного трибунала корпуса был военюрист 1-го ранга Андрей Николаевич Иванов, известный своей беспощадностью.

Члены военного трибунала: Капелюх, Прокошин, Миляев, Трегубов.

Первый до войны работал на Украине, в Белой Церкви, народным судьей. У него было бурное революционное прошлое — служил комендантом ЧК. Однажды во время нашего возлияния по случаю советского праздника он признался, что ему нередко снятся его жертвы. Не удивительно: ведь комендант лично расстреливал осужденных. Прокошин и Миляев были выпускниками Военно-юридической академии, Трегубов... трактористом. Тридцатипятилетний старший секретарь нашего военного трибунала В. А. Шарков имел двух подчиненных — Зиновия Яковлевича Иоффе и меня. Иоффе был всего года на два-три старше, ему было двадцать шесть, но имел уже трагичный жизненный опыт: в Павлограде фашисты убили его любимую. Зяма был честный и ортодоксальный марксист, глубоко верящий в Сталина и всемирно-историческую миссию мирового пролетариата, мы подружились, несмотря на некоторую разницу убеждений.

Пригладившись, я убедился, что реальным пиком советского «правосудия» были Особые отделы НКВД. Наркомат внутренних дел во главе с Берией, грозный и всемогущий, представлял государство в государстве: его боялись все — и командование, и военная прокуратура, и военные трибуналы.

В июне 1942 года я прибыл на место службы и получил первое в своей жизни оружие — новенький «ТТ».

Хотя на фронте было затишье, Особый отдел, прокуратура и военный трибунал без дела не сидели. Последний рассматривал преимущественно дела по обвинению в дезертирстве, членовредительстве (самострелы), должностных преступлениях и др. Больше всего, пожалуй, было дел о дезертирстве (193-7, п. 2 УК РСФСР).

Рассмотрение уголовных дел требует неукоснительного соблюдения советских законов, установленных Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР и других республик, — так нас учили в академии. Однако на практике допускались грубые нарушения и упрощения, санкционированные сверху. Например, копия обвинительного заключения подсудимому не вручалась за сутки до судебного заседания, как того требовало законодательство, а ему всего лишь объявлялось обвинительное заключение, подчас даже прямо в день судебного заседания. На типографских бланках было уже напечатано: «Обвинительное заключение мне объявлено» (дата); вручать этот документ в руки подсудимому

запрещалось — грубейшее нарушение закона. Чаще всего свидетели по делу в суд не вызывались, что мотивировалось их участием в боевых действиях; суд ограничивался оглашением показаний на предварительном следствии.

По советскому процессуальному праву подсудимый может отказаться от показаний в суде, но судьи обычно уговаривали, чтобы он давал показания и своим чистосердечным признанием облегчил бы свою участь. А на самом деле это нужно было для обвинительного приговора.

Подсудимому не разъяснялось, что его последнее слово временем не ограничено. Предоставляя ему последнее слово, судья только спрашивал: «Что вы просите от суда?» Этим грубо попиралось право подсудимого.

Низкий теоретический уровень военных судей, их плохое образование, не говоря даже об отсутствии юридического, как у многих партийных выдвиженцев, невежественных и полуграмотных, судей и прокуроров, отражались на качестве предварительного следствия и судебного следствия, отчего страдала справедливость.

И все же объективности ради надо сказать, что в 1942 — 1946 годах военные трибуналы лютовали менее, чем в конце 30-х: жизни осужденных были нужны фронту, это во-первых. А во-вторых, как уже неоднократно было замечено, война несколько потеснила сталинщину. Из 994 300 осужденных военными трибуналами во время войны в отношении почти 400 тысяч осужденных исполнение приговора было отсрочено до окончания военных действий, и они были направлены на фронт в составе штрафных подразделений.

Должен сказать, что военные трибуналы нередко реагировали на грубые нарушения закона и наказывали виновных. Так, осенью 1942 года я и сам получил выговор за то, что по оплошности вовремя не отправил копию оправдательного приговора в тюрьму, вследствие чего оправданный трибуналом по делу о дезертирстве неделю пересидел. Иногда, правда, реакция на нарушение справедливости наступала слишком поздно — после расстрела тех, кто был помилован: давала себя знать фронтовая неразбериха...

«Труды и дни» трибунальцев были напрямую связаны с обстановкой на фронте: жесткость карательной политики определялась поражениями и успехами: при нашем отступлении военные трибуналы выносили жесткие приговоры и патронов не жалели. Так, нашим трибуналом была приговорена к расстрелу за измену Родине группа казахов из шестнадцати человек. Они поступили на службу в немецкую армию и участвовали в боевых действиях. Только самому молодому — девятнадцатилетнему — была сохранена жизнь. При наступлении же на фронте чаще применяли ст. 51 УК РСФСР, то есть назначали наказание ниже низшего предела, нередко вместо расстрела направляя, повторяю, в штрафбаты. Во время наступления трибунал приговаривал за измену Родине бывших советских солдат, поступивших в немецкую армию, к десяти годам исправительно-трудовых лагерей, в противном случае их бы ждала вышка. В числе таких осужденных, представших суду в немецкой форме, был, помню, Когон, уроженец Западной Украины, кстати сказать, еврей. Он был мобилизован в немецкую армию и служил переводчиком в какой-то части. Редкий случай, когда немцы еврея не репрессировали, а использовали.

Запомнилось мне первое уголовное дело, при рассмотрении которого я вел протокол судебного заседания. Два бойца из морской бригады были осуждены за членовредительство «путем стрельбы друг в друга из-за дерева с целью уклонения от военной службы». На фронте было затишье. Военный трибунал применил ст. 51 УК РСФСР и вместо расстрела определил наказание в десять лет ИТЛ каждому с отсрочкой исполнения и направлением в штрафную роту. Только за «шпионаж» давали неумолимо расстрел.

Так, расстреляли киевлянку Ольгу Сердюк, обвиненную в шпионаже. Перед судом предстала молодая, крупная женщина, военная медсестра. Она обвинялась в самом тяжелом преступлении — 58-1⁶, то есть в измене Родине, совершенной военнотрудовой. Этот состав преступления включал не только пе

реход на сторону врага, активное ему содействие, но и шпионаж. Составляя протокол, я не встретил в ее показаниях фактов шпионской деятельности. Она признала, что была завербована в лагере военнопленных, дала подписку сотрудничать с немецкой разведкой, — этим дело и ограничилось. Но для военного трибунала основополагающее значение имел сам факт вербовки, даже не сопровождаемый разведывательной деятельностью. Мало того, и о вербовке-то было известно лишь со слов подследственной, без всяких вещественных доказательств. И вот — обвинительный приговор и скорый расстрел.

Старший секретарь военного трибунала Шарков однажды поделился со мной методикой выявления немецких шпионов. Начальник Особого отдела НКВД корпуса, высокий и плотный человек, заходил в камеру, где находились военнослужащие, подлежащие проверке (освобожденные или бежавшие из плена, бывшие в окружении, партизаны), выбирал и уводил какого-либо слабого или боязливого бойца, применял к нему свои огромные кулачищи и получал таким образом признание в шпионаже. Дальше несчастного ожидало мучительное следствие, трибунал и казнь. Такова, видимо, и природа «шпионажа» Ольги Сердюк. Бедная песчинка в трибунальской машине!

Вскоре после суда над Сердюк меня встретил комендант Особого отдела, извлек из планшета акт о приведении в исполнение смертного приговора и передал его мне для приобщения к делу. В этом акте главную роль в завершении жизненной драмы играл сам комендант, обязательно присутствовал при этом прокурор. Фамилия, имя и отчество коменданта указывались в документе.

...Другие шпионские дела, рассматриваемые нашим военным трибуналом, были столь же сомнительны. Мои коллеги из военного трибунала иногда не без едкости спрашивали особистов, почему разоблаченные ими немецкие агенты так малодетельны. У особистов всегда был стандартный ответ: наиболее способных и активных шпионов направляют в Москву и там иногда перепровербывают.

Однажды Иоффе рассказал мне об одном курьезе, закончившемся, однако, хорошим сроком: судили полковника, обвиняемого в контрреволюционной агитации (58-10, ч. 2 УК РСФСР), и дали десять лет лагерей. Вся «агитация» состояла в том, что тот рассказал, как учился с С. М. Буденным в академии и тот не осилил десятичные дроби.

...Скоро закончилось затишье на фронте. Примерно в последних числах июня 1942 года под вечер председателя военного трибунала вызвали в штаб, после чего весь штат нашего трибунала погрузился на легковую и грузовую машины и срочно выехал; наши странствования продолжались месяца четыре: началось отступление. Мы проехали на машинах от Дона до Каспия и остановились в Дагестане; там формировалась 58-я армия, куда мы получили назначение.

В ночь с 19 на 20 июля 1942 года мы переправлялись через Дон в районе станицы Богаевской по установленному понтонному мосту. Возле переправы сгрудилось множество грузовых машин и танков, к ней в панике рвались массы людей. К счастью, паника не охватила подразделения, охранявшие переправу. Сохранялся еще порядок, действовал комендант переправы с бойцами. К нему и обратилось начальство трибунала, мотивировав, что военному трибуналу нужно срочно переправиться через Дон, так как с трибуналом находятся арестованные. Довод подействовал. Часть из нас, сняв пояса, изображала арестованных, а Трегубов с карабином играл роль стражи.

Меня удивило, что понтонный мост через реку столь прочен. По нему шли грузовые машины, а в очереди стояли танки, в том числе тяжелые «КВ».

Забрезжило утро, было хорошо видно, как наши машины переезжали через мост. Я заметил слева на берегу Дона несколько девушек, направляющих ствол зенитного орудия, они были без шлемов. Мы переправлялись через Дон под защитой девичьего орудийного расчета.

Возможно, что через полчаса их ждала смерть.

...Из Калмыкии мы взяли курс на юг, проехали через часть Краснодарского края, миновали Черкесск, Нальчик, затем приблизились к Кисловодску. Здесь произошел такой случай. Еще в период затишья на фронте наш военный трибунал приговорил к десяти годам лишения свободы в ИТЛ одного солдата за антисоветскую агитацию (58-10, ч. 2 УК РСФСР). Однако в условиях отступления и быстрой эвакуации городов и тюрем Особый отдел вынужден был возить осужденного с собой на грузовой машине. Начальник Особого отдела корпуса куда-то исчез, а его заместитель то и дело жаловался при всех, что они должны даром кормить нахлебника, от которого не могут избавиться: никто его не принимает. Наконец в одном из селений Северного Кавказа комендант Особого отдела вручил мне для приобщения к уголовному делу акт, в котором говорилось, что осужденный по ст. 58-10, ч. 2 такой-то убит при попытке к бегству. Это была, так сказать, корректировка приговора нашего трибунала особистами.

По прибытии в Грозный в августе 1942 года наш трибунал получил приказ срочно рассмотреть скопившиеся уголовные дела заключенных. Трибуналы, не только наш, но и других соединений, заседали в тюрьме. Составу суда, в котором я секретарствовал, досталось примерно десять — двенадцать дел о дезертирстве (193-7, п. 2 УК РСФСР). Все подсудимые были молодые чеченцы и ингуши, военнослужащие 113-й национальной кавалерийской дивизии им. Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. Эта дивизия предназначалась не для фронта, а для несения гарнизонной службы и насчитывала четыре тысячи сабель. Правительство Чечено-Ингушской Республики, зная любовь горцев к оружию и добротному обмундированию, вооружило их автоматами и выдало каждому комсоставскую форму. Несмотря на это, дивизия разбежалась. Все подсудимые, не отрицая факта дезертирства из части, единодушно отрицали факт получения оружия. При задержании его действительно обнаружить не удалось. Я засомневался тогда, действительно ли они получили оружие, хотя для квалификации содеянного это значения не имело. На вопрос суда о причинах дезертирства ответы были неопределенные, порой наивные и даже, казалось, притворно наивные. Один горец пояснил, что он вышел за пределы своей части, пошел, заблудился и попал домой. Другой сказал, что соскучился по дому и семье. Третий (он был старше других, ему было лет под сорок) на вопрос о партийности заявил, что он... комсомолец. К счастью, приговоров к расстрелу не было, каждый из осужденных получил по десять, иногда восемь лет лагеря.

Примерно к этому же времени относится рассмотрение нашим трибуналом другого, явно дутого, дела. Группа бойцов разных национальностей — их было человек семь-восемь, — русские, украинцы, кавказцы, обвинялась в подготовке к переходу на сторону врага (58-1^б УК РСФСР). Все подсудимые виновными себя не признали, а свои показания, данные на предварительном следствии, категорически отрицали, утверждая, что следователь их обманывал, записывая одно, а читая другое, поэтому они и подписывали фальсифицированные протоколы допроса. Военный трибунал направил это дело на исследование, и к нам оно уже не вернулось. Исследование — максимум, который могли мы себе позволить, оправдание было бы для энквэdistов оскорблением, которого бы нам не простили.

Другое дело, поразившее меня цинизмом и беспредельной подлостью со стороны органов следствия, — дело кавказца Курбатова. Рядовой Курбатов обвинялся в террористическом акте против своего командира: он якобы угрожал командиру расправой, а эти действия тогда квалифицировались как теракт. На заседании военного трибунала обнаружилось, что подсудимый не знает русского языка, тогда нашли переводчика. Предъявленное обвинение Курбатов категорически отрицал. Свидетели не были вызваны в суд. Суд огласил показания свидетелей на предварительном следствии, но подсудимый заявил, что он этих людей в глаза не видел. Члены суда растерялись, обратились к повтор-

ному изучению дела, стали читать каждый его лист. И вот обнаружили в деле акт, согласно которому некий боец по фамилии Курбатов, находившийся под следствием, бежал из-под стражи. Очевидно, что представшего перед судом однофамильца арестовали незаконно, он был невиновен. Но это не смутило следователя и надзиравшего за соблюдением законности прокурора. Несчастному предъявлялись обвинения, неоднократно допрашивали свидетелей по «делу», устраивали очные ставки, довели, наконец, дело до трибунала. На документах были его подписи — НКВД, как известно, умело заставить кого угодно подписать что угодно, — но в действительности он никакого отношения к преступлению не имел. А прокурор тем не менее дал санкцию на арест и утвердил обвинительное заключение. Почему же в деле сохранился акт о побеге другого Курбатова из-под стражи, подозреваемого в государственном преступлении, почему он не был уничтожен следствием? Трудно сказать, возможно, это было просто головоутиение тупиц. Наш военный трибунал направил дело на доследование.

...Запомнилось еще дело подполковника Ельшина, офицера штаба нашего корпуса: он попал в плен, а затем вскоре из плена бежал и возвратился в часть. Наш трибунал приговорил его к расстрелу за добровольную сдачу в плен и за выдачу военной тайны (назвал свою воинскую часть на допросе). Подсудимый по существу отрицал предъявленное обвинение, в частности выдачу военной тайны. Свидетелей не было; сомнения в его вине были, но что для трибунальцев принцип — всякое сомнение в пользу подсудимого? Многие из них о нем даже понятия не имели, как и о презумпции невиновности. Командующий утвердил приговор военного трибунала. Не стало офицера.

Из многих дел меня особенно потрясло дело Ольги Печерской, девушки двадцати — двадцати двух лет. Она была военнослужащей Советской Армии, должность ее уже не помню. У нее было приятное смугловатое лицо, темные выразительные глаза, живая и правильная речь. Она обвинялась в том, что, находясь в плену, была завербована немецкой разведкой для ведения шпионажа в тылу Советской Армии. Рассказывала романтическую историю, как в плену влюбилась в немецкого офицера Эрнста и он учил ее шифру. Признавала, что дала подписку сотрудничать с немецкой разведкой; о своей деятельности в качестве агента ничего конкретного сказать не могла. Она производила странное впечатление. Говорила эмоционально, особенно когда речь шла о любви. Когда трибунал ей предоставил последнее слово, она сказала со слезами: «Я больная, несчастная. Прошу меня оправдать». В то время как председательствующий и члены удалились в отдельную комнату на совещание и составляли приговор, Ольга со мной как ни в чем не бывало мирно разговаривала (конвоир нам не мешал), и даже довольно кокетливо: «Сколько вам лет? А какие у вас глаза?» Может ли нормальная женщина интересоваться возрастом и цветом глаз мужчины перед вынесением смертного приговора? Беседовали мы с ней о литературе; сказала, что любит Тургенева, громко, с энтузиазмом называла его романы. У меня стало возникать сомнение в ее душевном здоровье (в академии я изучал судебную психиатрию). Нас учили, что встречаются разные психозы, в том числе некоторые больные представляют себя агентами вражеских разведок. (Таков был климат в обществе, что появился такой вид недуга.) Я до сих пор считаю, что несчастная Ольга была душевнобольной, а ее романтическая любовь к немецкому офицеру, который якобы учил ее шпионскому искусству, — бред. Командующий утвердил окончательный и не подлежащий обжалованию приговор, и несчастную девушку казнили. Что я мог тогда сделать? Кто станет слушать неопытного секретаря?

Были и другие трагедии. Рядовой Васильев, житель города Егорьевска Московской области, простой русский человек, обвинялся в шпионаже и антисоветской агитации. На предварительном следствии и на суде признался, что его завербовали в агенты немецкой разведки и он дал подписку сотрудничать. Конкретная его шпионская деятельность не была установлена, свидетеле-

лей по этому пункту обвинения, естественно, не было. В части обвинения в антисоветской агитации его уличал боец Дюрич, но подсудимый отрицал свою вину. Суд приговорил Васильева к расстрелу. Еще бы — две статьи по контрреволюционным преступлениям. Он написал заявление в Президиум Верховного Совета СССР: в нем говорилось, что его признания на предварительном следствии были вынужденны, ибо следователь Скляров бил его поленом и угрожал, что живым его не оставит, если обвиняемый не сознается, что был завербован в агенты абвера. Дюрич же его оклеветал, приписав ему антисоветские высказывания. Таково было ходатайство Васильева, его последняя надежда. Однако эти ходатайства не доходили до Москвы, а командующий соединением быстро утвердил приговор. Погиб Васильев как шпион и антисоветчик. Меня до глубины души возмутил поступок следователя Склярова. Мало было ему десяти лет для Васильева по ст. 58-10, ч. 2 на основании лживых показаний подставного свидетеля, агента особистов, ему нужно было во что бы то ни стало «оформить» несчастного по ст. 58-1⁶ на верный расстрел.

Вскоре после процесса Васильева мне довелось познакомиться и с самим лжесвидетелем Дюричем, который стал работать у нас в трибунале шофером. Рядовой Дюрич играл роковую роль в судьбах людей. В некоторых политических делах я неоднократно встречал его фамилию в качестве свидетеля обвинения по делам «антисоветчиков». Несомненно, он был штатным лжесвидетелем обвинения и на его показаниях основывалось обвинение особистов. Почему же тогда его направили в наш трибунал шофером? Возможно, в связи с его разоблачением на прежней работе или угрозой разоблачения. Кроме того, Дюрич до войны работал в органах НКВД милиционером, и таких людей особисты ценили и использовали в своих целях.

Список памятных мне расстрелянных «агентов абвера» можно дополнить горцем из Дагестана, дело которого рассматривалось трибуналом 58-й армии. Он обвинялся в том, что был завербован немецкой разведкой и использовал выданную ему портативную рацию для передачи добытой им секретной информации в немецкий разведцентр. Имени его не помню. Следствие вели чекисты Махачкалы. Русский язык он знал очень плохо, в суд был вызван переводчик. На суде подсудимый признал, что использовал рацию для передачи секретных данных в разведку противника. Это было необычайной особенностью рассматриваемого дела, тут фигурировала не только подписка о сотрудничестве с немецкой разведкой, но и портативная немецкая радиостанция — орудие преступления, а также радиogramмы, составленные подсудимым. Радиogramма (вернее, ее копия) была в деле. Я сам ее видел и читал — десять пунктов, отпечатанных на папиросной бумаге. Было все-таки неясно, как неграмотный горец, собрав информацию, потом посылал радиogramму в разведцентр. Открытым текстом или шифром? А как он последним смог овладеть? Почему не были показаны шифрованные сообщения? Да были ли они? Это шпионское дело вызвало сомнение даже у бывшего чекиста, члена трибунала Капелюха. Еще в процессе досудебного изучения дела он потребовал, чтобы немецкая переносная радиостанция была приобщена к делу для осмотра составом суда. Следователи из Махачкалы заявили, что радиоаппаратура не может быть доставлена в военный трибунал по причине секретности. Экспансивный Капелюх возмущался и говорил: «Как же человека можно пустить на мясо, если орудие преступления не представлено суду!» Это был бунт на коленях. Горец все же был признан виновным в шпионаже, осужден и приговорен к расстрелу судом, в состав которого входил и сам Капелюх. Как говорится, против лома (НКВД) нет приема.

Меня также возмутили дела Луцюка и Шифмана — топорная работа Особого отдела 58-й армии. Луцюк, командир стрелкового батальона, украинец, боевой офицер, обвинялся в рукоприкладстве: ударил одного нерадивого бойца, который вел себя вызывающе и не выполнял приказаний. Еще он обви-

нялся в том, что якобы отдал своим подчиненным приказ расстреливать узбеков в надежде, что в результате таких потерь батальон направят в тыл на переформирование. Что касается рукоприкладства, то Луцюк мотивировал это тем, что по уставу командиру разрешается в крайних случаях применять силу и даже оружие против злостных нарушителей воинской дисциплины. Второе обвинение он категорически отрицал, хотя свидетель (военфельдшер!) невнятно подтвердил отданный ему (?) приказ по телефону. Луцюк утверждал, что в батальоне почти не было узбеков и уже по этой причине он не мог отдавать такой людоедский приказ. Военный трибунал, как я тогда полагал, должен был потребовать данные о национальном составе батальона. В итоге военный трибунал признал Луцюка виновным только в рукоприкладстве и осудил его за злоупотребление служебным положением (193-17, п. а УК РСФСР) к лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора. Судьи решили, что обвинение в разжигании национальной розни шито белыми нитками, но полностью оправдать Луцюка побоялись, осудив его по другой статье.

Старший лейтенант Шифман был политруком полевой почты № 1577 нашей армии. Там работали в основном девушки, призванные в армию. Парадоксально, что политрук, представитель партии, обвинялся в антисоветской агитации (58-10, ч. 2 УК РСФСР). Политрук отрицал обвинение, но признал, что в частном разговоре сообщил некоторые факты об извращении политики партии в области коллективизации в 30-х годах, об отдельных восстаниях крестьян против коллективизации, в подавлении которых участвовал якобы С. М. Буденный. Приговор трибунала был суров: восемь лет ИТЛ с поражением в политических правах. Хотя все говоримое Шифманом можно было прочитать в «Кратком курсе истории ВКП(б)».

Спустя много лет я встретил Семенова, следователя по делу Шифмана. «Понимаете ли, — объяснил он, — Шифман был очень плохой человек, он принуждал девушек из полевой почты к сожительству. Поэтому мы и приписали ему антисоветскую агитацию, чтоб крепче было». Меня поначалу поразила такая откровенность Семенова: он ведь открыто признал, что приписал обвиняемому преступления, им не совершенные. Но даже и этой откровенности верить нельзя. Причина произвола, очевидно, коренилась в другом. Однажды один подвыпивший особист пожаловался: «Арестов мало. Работы не видно», — в этом признании, пожалуй, заключался главный двигатель их деятельности. Для того чтобы «работа была видна», нужно было рапортовать требовательному начальству, ставящему контрольные задания, о блестящих успехах, нужно было постоянно находить и арестовывать врагов, разоблачать шпионов, террористов, антисоветчиков, передавать их дела в трибуналы. А находить настоящих преступников не просто, особенно при наличии куриных мозгов у бериевских шерлок холмсов. Вот почему дела о государственных преступлениях приходилось фабриковать, формовать и фальсифицировать.

...Помню еще дело Бабаева, обвинявшегося по ст. 58-1^а (измена Родине, совершенная гражданским лицом). Это дело в известной мере определило и мою дальнейшую судьбу. Велось оно, кажется, местными органами НКВД Кабардино-Балкарии. Бабаеву вменялось в вину, что, будучи учителем школы в станице Прохладной, он активно сотрудничал во время оккупации с немецкими властями, воспитывал учеников в фашистском духе, а также... изучал немецкий язык в целях расширения дальнейшего сотрудничества с оккупантами. Тетрадки с записанными немецкими словами были изъяты у него при обыске. Последнее, поистине идиотское, обвинение, наверное, спасло Бабаеву жизнь, обратив внимание прокуратуры. Были допрошены свидетели, коллеги Бабаева. Выяснилось, что не немецкий, а русский язык расширенно изучал со школьниками Бабаев. Уже приговоренный к расстрелу учитель был оправдан.

Мало того, в частном определении было даже записано: «Возбудить дисциплинарное преследование в отношении состава суда, приговорившего к расстрелу невиновного человека и патриота». Помню, как помощник военного

прокурора Военного трибунала Северной группы войск Турецкий упрекал судей, И. А. Глущенко и других, в том, что они осудили на смерть патриота, отстаивавшего преподавание русского языка, в то время когда нацисты стремились стереть с лица земли русскую нацию и все русское.

...Я был счастлив, что мой объективный протокол спас жизнь Бабаеву. Разумеется, объективность составления протоколов судебного заседания — это служебный долг каждого секретаря. Но не все так поступали: многие секретари сознательно подгоняли протокол под приговор и потому ходили у начальства в любимцах.

Дело Бабаева мне, однако, с рук просто так не сошло. В результате я был переведен на другой фронт.

В войну наш солдат оказался между двумя огнями: врагом внешним и — большевистской репрессивной машиной, свирепствовавшей не только в тылу, но и прямо на фронте и в прифронтовых районах кроважно выскивавшей себе все новые и новые жертвы.

Н. ПЕТРОВ, О. ЭДЕЛЬМАН

*

НОВОЕ О СОВЕТСКИХ ГЕРОЯХ

1

...**С**оветский человек жил одновременно в двух реальностях: эмпирической и сконструированной коммунистической пропагандой. И эта вторая, виртуальная, реальность была настолько всеобъемлюща, что, вторгаясь в первую, зачастую подчиняла ее себе: люди больше верили советскому мифу, чем тому, что видели собственными глазами.

Мифами окружена и опутана и история Отечественной войны. Останки тысяч павших до сей поры лежат непогребенными в лесах и болотах, зато газеты, кино, учебники и книги повторяли и повторяли заклинание: «Никто не забыт, ничто не забыто» и рассказывали один и тот же небогатый набор драматических историй, смутно напоминающих предания времен древнего героического эпоса: про Зою Космодемьянскую, про Александра Матросова, молодого гвардейцев, панфиловцев...

Всплеск слухов и домыслов, касающихся тех или иных героических подвигов военной эпохи, приходится на вторую половину 50-х годов, когда страх, сковывавший советское общество, стал постепенно отступать, а из лагерей после амнистий и реабилитаций стали возвращаться выжившие очевидцы реальных событий. Позже, в 60-х, появилось несколько статей в либеральных журналах: о том, что Александр Матросов был бойцом штрафного батальона, что убитая в селе Петришево девушка, может быть, и не являлась Зоей Космодемьянской. Но никто не мог подкрепить это архивными документами, ибо они-то по-прежнему были надежно скрыты.

Сейчас, когда архивы открывают свои тайны, можно узнать, что же стояло за этими знаменитыми подвигами на самом деле.

Известна история переписывания А. А. Фадеевым первого варианта «Молодой гвардии», в котором действовала неорганизованная комсомольская братва. В новом варианте в повествование было введено несуществовавшее партийное подполье, якобы руководившее группой Кошевого, добавились детали совершенных подвигов. Что предшествовало переработке романа, который, казалось бы, строился на реальных фактах героики молодежного подполья?

О серьезном расхождении реального с книжным поведал в официальном документе «наверх» министр государственной безопасности В. С. Абакумов. Очевидно, его беспокоило, как бы реальная версия краснодонских событий не стала достоянием общественности. Абакумов направил 18 ноября 1947 года И. Сталину, В. Молотову и секретарю ЦК ВКП(б) А. Кузнецову докладную за № 3428/А «Об организации судебного процесса по делу участников зверской расправы над членами Краснодонской подпольной организации „Молодая гвардия“». В ней говорилось о том, что «МГБ на протяжении ряда месяцев проводило активный розыск участников расправы над членами существовавшей в г. Краснодоне подпольной комсомольской организации „Молодая гвардия“». «Принятыми мерами, — сообщал министр государственной безопасности, — поймано 13 активных участников этого злодеяния». И хотя следствие по делу

было закончено, его результат озадачил Абакумова. Настаивая на проведении открытого процесса над арестованными по делу, он тем не менее писал:

«Необходимо указать, что в процессе расследования по делу о зверской расправе над молодогвардейцами часть жителей города Краснодона утверждает, что здание, в котором при немцах размещался так называемый «дирекцион» (управление шахтами), было сожжено не участниками подпольной организации «Молодая гвардия», как это известно из книги писателя Фадеева, а уничтожено отступавшими Советскими войсками.

Также не подтверждается, что молодогвардейцы сожгли здание немецкой биржи труда.

Мать руководителя молодежной организации Кошевого, Кошечкина Е. Н., в работе подпольной организации «Молодая гвардия» не участвовала, а, наоборот, поддерживала близкую связь с немецкими офицерами, проживавшими в ее квартире.

Все эти расхождения в процессе следствия были обойдены, и во время судебного заседания о них не будет идти речь»¹.

Нет, беспокоился Абакумов, такая правда народу не нужна, реальность следует подогнать под миф А. Фадеева. И нет ничего лучше, чем подтвердить это судебным процессом, где вполне реальные враги обнаружат нужную версию событий. Углы сгладят, разночтения опустят. «Докладывая об изложенном, — писал Абакумов, — прошу разрешить: первое, организовать в Краснодоне открытый судебный процесс по делу участников зверской расправы. ...По этому вопросу мы советовались с тов. Кагановичем Л. М., Кузнецовым А. А. и секретарем ЦК ВЛКСМ Михайловым Н. А., которые считают необходимым проведение такого процесса; второе, рассмотрение процесса поручить Военному Трибуналу Киевского Военного Округа»². Двенадцать обвиняемых, и в их числе немецких военнопленных Ринатуса и Рейста, Абакумов предлагал осудить в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев...» к каторжным работам сроком на двадцать пять лет каждого. Обвиняемую Лядскую — к каторжным работам сроком на пятнадцать лет. И в конце письма:

«Судебный процесс можно начать в период с 1 по 10 декабря 1947 года.

Прошу Вашего разрешения. Абакумов»³.

Мы не знаем, какова была реакция Сталина. Наложил ли он какую-либо резолюцию на послании Абакумова либо ограничился устными указаниями. Суд впоследствии состоялся. Но не гласный, открытый, а тайный. Мы не нашли каких-либо публикаций об этом в печати того времени. Можно предположить, что Сталин не одобрил идею открытого суда, слишком это было опасно. Пленные немцы могли повести себя не по «сценарию».

Однако открывшаяся узкому кругу лиц правда стала источником нового мифотворчества. Никто не потрудился сообщить о найденных реальных фактах Фадееву: писателя, прославляющего героические подвиги советской молодежи, следовало первого оберегать от правды.

И если в жизни все было не так, как в романе Фадеева, то пусть уж тогда роман, не лишенный, по мнению вождя, определенных идеологических недостатков, будет переписан; вымысел в глазах читателя обретет большую реальность и вытеснит сомнительную историческую правду, время от времени прорывающуюся в виде слухов и сплетен. Первые выступления партийной печати с критикой романа «Молодая гвардия» относятся именно к концу ноября 1947 года, и нам кажется, что это совпадение не случайно.

Сначала Фадеев гордился тем, что в его романе все «построено на фактах». Переделывая же книгу, вводя в повествование вымышленных героев, он принял навязанные ему правила игры, представив дело так, что роман построен

¹ Центральный архив ФСБ, ф. 4-ос., оп. 5, д. 22, лл. 388 — 392.

² Там же.

³ Там же.

на фактическом материале, но в то же время историей не является. «Хотя герои моего романа носят действительные имена и фамилии, — говорит Фадеев, — я писал не действительную историю «Молодой гвардии», а художественное произведение, в котором много вымышленного, и даже есть вымышленные лица. Роман имеет на это право. Если бы в моем романе был искажен самый смысл и дух борьбы молодогвардейцев, я заслуживал бы всяческого обвинения. Но вымысел в моем романе способствует возвышению подвига молодогвардейцев в глазах читателя»⁴.

Жизнь, однако, брала свое. После амнистии 1955 года, коснувшейся советских граждан, сотрудничавших с немцами, и возвращения уцелевших из лагерей по стране поползли «нехорошие» слухи о лидере организации Олеге Кошевом. Дескать, не казнили его, а ушел он с немцами. По воспоминаниям современников, эти слухи были необычайно сильны и особенно распространились в комсомольско-пионерской среде. Со временем они не утихали, а в близкие нам годы «гласности» просочились и на страницы газет. Не так давно Маргарита Волина опубликовала большую статью «Кого оплакивала мать Кошевого»⁵, в которой ставился под сомнение факт гибели Кошевого. Свои выводы Волина основывает на беседах с матерью другого молодогвардейца, Сергея Тюленина, — Тюлениной Александрой Васильевной. Статья Волиной получила резкий отпор со стороны Владимира Иванова, артиста, сыгравшего роль Кошевого в фильме 1948 года⁶. Иванов, решительно отвергая выводы Волиной, сообщил тем не менее много интересного. Оказывается, секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов обратился 6 марта 1948 года к Фадееву с запросом относительно достоверности романа. Вряд ли он сделал это по своей инициативе. Это значит, что Сталин ознакомил его с письмом Абакумова и поручил разобраться. Фадеев ответил, что роман построен на фактах. Казалось, вопрос был исчерпан. Однако сам Иванов описывает произошедший с ним позднее неприятного свойства случай: «В 1950 году меня вызвали в КГБ (надо полагать, в МГБ. — *Авт.*) на площадь Дзержинского. Сотрудник комитета показал мне фотографию, прикрыв ее ладонью до половины, и спросил, действительно это я или нет. Я ответил утвердительно. Он отдернул руку, и меня пронзил страх — на фотографии я был одет в военную форму бундесверовского офицера. Вероятно, я так изменился в лице, что чекист, испугавшись, поднес к моим губам стакан с водой. А впоследствии я видел не один такой искусно выполненный фотографический камуфляж, где меня изображали или рядом с Еленой Николаевной (матерью Кошевого. — *Авт.*), или в окружении незнакомых людей, и всякий раз на этих «фотографиях» я был одет в фашистскую форму»⁷. Сам Иванов пишет о своем поразительном сходстве с Олегом Кошевым. Не здесь ли ответ? Маловероятно, чтобы чекистам ни с того ни с сего захотелось опорочить канонизированного героя — или самого артиста — с помощью сфабрикованных фотографий. Можно предположить, что снимки были подлинными, и изображен на них, конечно, не артист Иванов, а сам Кошевой либо очень похожий на него человек, кого чекисты либо сами принимали за Кошевого, либо проверяли эту версию. Теперь в этом трудно разобраться до конца. Сам Иванов в цитированной нами статье утверждает, что был хорошо знаком с материалами следствия по делу «Молодой гвардии» и показаниями «гестаповских офицеров» Гейдемана, Фромме, Гейста, Якоба Шульца, Древитца, хотя и не сообщает, когда же и как их осудили. Однако далее он говорит, что на суде они опознали по предъявленной им фотографии Кошевого и показали о его расстреле, а Древитц признался, что собственноручно его, вначале раненного, пристрелил. Цену таким признаниям мы знаем. Достаточно вспомнить фразу из приведенного нами письма Абакумова о том, что ни на следствии, ни на предстоящем суде не фиксировались и не будут обнаружива-

⁴ Фадеев А. А. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 2. М. 1961, стр. 565.

⁵ «Куранты», 1991, 23 ноября.

⁶ «Правда», 1991, 23 декабря.

⁷ Там же.

ны какие-либо «расхождения» с романом Фадеева. Правды мы наверно уже никогда не узнаем. Материалы следствия и суда по делу «Молодой гвардии» сфальсифицированы, а право на жизнь дано только мифу.

2

Зато с другим сюжетом нам повезло больше, и мы можем не только досконально узнать всю подноготную легенды о двадцати восьми панфиловцах, но и проследить, как и из чего этот миф слагался.

Литература, воспевающая подвиг двадцати восьми панфиловцев, столь обширна, что не будем и пытаться перечислить названия произведений и имена авторов. Изначальная легенда была проста и изящна. Двадцать восемь бойцов во главе с политруком Клочковым погибли, отражая танковую атаку немцев у разъезда Дубосеково на Волоколамском направлении. Все они в 1942 году были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Этот подвиг был воспет в газетных очерках, рассказах, повестях, стихах и песнях. Всю страну облетели предсмертные слова Клочкова: «Велика Россия, а отступить некуда, позади Москва!» И все бы ничего, если бы не было этого награждения (посмертного) реальных людей. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении двадцати восьми панфиловцев и стал миной замедленного действия под этим мифом.

Версию о подвиге гвардейцев дивизии им. Панфилова вызвал к жизни литературный секретарь газеты «Красная звезда» А. Ю. Кривицкий, напечатав 28 ноября 1941 года передовую статью «Завещание 28 павших героев», где писал: «Сложили свои головы — все двадцать восемь. Погибли, но не пропустили врага». В этой статье еще не было никаких имен. Но уже 22 января 1942 года в «Красной звезде» появился очерк того же Кривицкого «О 28 павших героях», где назывались их фамилии. Эти имена и попали в Указ Президиума Верховного совета СССР от 21 июля 1942 года. Вот тут-то и была ошибка. Если бы Кривицкий просто выдумал эти имена, то их подвиг всегда существовал бы «доподлинно и неопровержимо». Но такое было не в правилах советской системы. За чистый вымысел корреспондента могли бы и наказать, миф обязательно должен был быть «как бы правдой». И случилось так, что реальность вступила в противоречие с мифом. Оказалось, не все упомянутые Кривицким панфиловцы погибли. И оказались некоторые из них просто живыми, это было бы, так сказать, «еще полбеды». Но произошло нечто уж совсем непредвиденное.

В конце 1947 года был арестован за службу у немцев некто Добробабин Иван Евстафьевич. Начав его допрашивать, следователи (надо полагать, не без изумления) выяснили, что он — один из павших двадцати восьми героев. В связи с этим Главная военная прокуратура СССР провела обстоятельное расследование истории боя у разъезда Дубосеково. Результаты были доложены Главным военным прокурором Вооруженных Сил страны генерал-лейтенантом юстиции Н. Афанасьевым Генеральному Прокурору СССР Г. Сафонову 10 мая 1948 года. На основании этого доклада 11 июня была составлена справка за подписью Сафонова, адресованная все тому же А. А. Жданову. Документ, составленный в Главной военной прокуратуре, настолько интересен и красноречив, что приведем его полностью.

Сов. секретно.
Экз. № 1

Справка-доклад
«О 28 панфиловцах»

В ноябре 1947 года Военной Прокуратурой Харьковского гарнизона был арестован и привлечен к уголовной ответственности за измену Родине гражданин Добробабин Иван Евстафьевич.

Материалами следствия установлено, что, будучи на фронте, Добробабин добровольно сдался в плен немцам и весной 1942 года поступил к ним на службу. Служил начальником полиции временно оккупированного немцами с. Перекоп, Валковского района, Харьковской области. В марте 1943 года, при освобождении этого района от немцев, Добробабин, как изменник, был арестован советскими органами, но из-под стражи бежал, вновь перешел к немцам и опять устроился на работу в немецкой полиции, продолжая активную предательскую деятельность, аресты советских граждан и непосредственное осуществление принудительной отправки молодежи на каторжные работы в Германию.

Виновность Добробабина полностью установлена, и сам он признался в совершении преступлений.

При аресте у Добробабина была найдена книга о «28 героях-панфиловцах», и оказалось, что он числится одним из главных участников этого героического боя, за что ему и присвоено звание Героя Советского Союза.

Допросом Добробабина установлено, что в районе Дубосеково он действительно был легко ранен и пленен немцами, но никаких подвигов не совершал, и все, что написано о нем в книге о героях-панфиловцах, не соответствует действительности.

Далее было установлено, что кроме Добробабина остались в живых Васильев Илларион Романович, Шемякин Григорий Мелентьевич, Шадрин Иван Демидович и Кужебергенов Даниил Александрович, которые также числятся в списке 28 панфиловцев, погибших в бою с немецкими танками.

Поэтому возникла необходимость расследования и самих обстоятельств боя 28 гвардейцев из дивизии им. Панфилова, происходившего 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково.

Расследование установило:

Впервые сообщение о бое гвардейцев дивизии Панфилова появилось в газете «Красная звезда» 27 ноября 1941 года.

В очерке фронтового корреспондента Коротеева описывались героические бои гвардейцев дивизии им. Панфилова с танками противника. В частности, сообщалось о бое 5-й роты Н-ского полка под командой политрука Диева с 54 немецкими танками, в котором было уничтожено 18 танков противника. Об участниках боя говорилось, что «погибли все до одного, но врага не пропустили».

28 ноября в «Красной звезде» была напечатана передовая статья под заголовком «Завещание 28 павших героев». В этой статье указывалось, что с танками противника сражались 29 панфиловцев.

«Свыше пятидесяти вражеских танков двинулись на рубежи, занимаемые двадцатью девятью советскими гвардейцами из дивизии им. Панфилова... Смалодушничал только один из двадцати девяти... только один поднял руки вверх... несколько гвардейцев одновременно, не сговариваясь, без команды, выстрелили в труса и предателя...»

Далее в передовой говорится, что оставшиеся 28 гвардейцев уничтожили 18 танков противника и... «сложили свои головы — все двадцать восемь. Погибли, но не пропустили врага»...

Передовая была написана литературным секретарем «Красной звезды» Кривицким. Фамилий сражавшихся и погибших гвардейцев как в первой, так и во второй статье указано не было.

В 1942 году в газете «Красная звезда» от 22 января Кривицкий поместил очерк под заголовком «О 28 павших героях», в котором подробно написал о подвиге 28 панфиловцев. В этом очерке Кривицкий уверенно, как очевидец или человек, слышавший рассказ участников боя, пишет о личных переживаниях и поведении 28 гвардейцев, впервые называя их фамилии:

«Пусть армия и страна узнают наконец их гордые имена. В окопе были: Клочков Василий Георгиевич, Добробабин Иван Евстафьевич, Шепетков Иван Алексеевич, Крючков Абрам Иванович, Митин Гавриил Степанович, Касаев

Аликбай, Петренко Григорий Алексеевич, Есибулатов Нарсутбай, Калейников Дмитрий Митрофанович, Натаров Иван Моисеевич, Шемякин Григорий Михайлович, Дутов Петр Данилович, Митченко Николай, Шапоков Душанкул, Конкин Григорий Ефимович, Шадрин Иван Демидович, Москаленко Николай, Емцов Петр Кузьмич, Кужебергенов Даниил Александрович, Тимофеев Дмитрий Фомич, Трофимов Николай Игнатьевич, Бондаренко Яков Александрович, Васильев Ларион Романович, Болотов Николай, Безродный Григорий, Сенгирбаев Мустафа, Максимов Николай, Ананьев Николай...»

Далее Кривицкий останавливается на обстоятельствах смерти 28 панфиловцев:

«...Бой длился более четырех часов. Уже четырнадцать танков недвижно застыли на поле боя. Уже убит сержант Добробабин, убит боец Шемякин... мертвы Конкин, Шадрин, Тимофеев и Трофимов... Воспаленными глазами Клочков посмотрел на товарищей — «Тридцать танков, друзья, — сказал он бойцам, — придется всем нам умереть, наверно. Велика Россия, а отступить некуда. Позади Москва»... Прямо под дуло вражеского пулемета идет, скрестив на груди руки, Кужебергенов и падает замертво...»

Все очерки и рассказы, стихи и поэмы о 28 панфиловцах, появившиеся в печати позднее, написаны или Кривицким, или при его участии и в различных вариантах повторяют его очерк «О 28 павших героях».

Поэтом Н. Тихоновым в марте 1942 года написана поэма «Слово о 28 гвардейцах», в которой он, воспевая подвиг 28 панфиловцев, особо говорит о Кужебергенове Данииле:

Стоит на страже под Москвою
Кужебергенов Даниил,
Клянусь своею головою
Сражаться до последних сил!..

Допрошенный по поводу материалов, послуживших ему для написания поэмы, Н. Тихонов показал:

«По существу, материалами для написания поэмы послужили статьи Кривицкого, из которых я и взял фамилии, упоминаемые в поэме. Других материалов у меня не было... Вообще-то все, что написано о 28 героях-панфиловцах, исходит от Кривицкого или написано по его материалам».

В апреле 1942 года, после того, как во всех воинских частях стало известно из газет о подвиге 28 гвардейцев из дивизии Панфилова, по инициативе командования Западного фронта было возбуждено ходатайство перед Наркомом Обороны о присвоении им звания Героев Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г. всем 28 гвардейцам, перечисленным в очерке Кривицкого, было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

В мае 1942 г. Особым отделом Западного фронта был арестован за добровольную сдачу в плен немцам красноармеец 4-й роты 2 батальона 1075 стрелкового полка 8-й гвардейской им. Панфилова дивизии Кужебергенов Даниил Александрович, который при первых вопросах показал, что он является тем самым Кужебергеновым Даниилом Александровичем, который считается погибшим в числе 28 героев-панфиловцев.

В дальнейших показаниях Кужебергенов признался, что он не участвовал в бою под Дубосековым, а показания свои дал на основании газетных сообщений, в которых о нем писали как о герое, участвовавшем в бою с немецкими танками, в числе 28 героев-панфиловцев.

На основании показаний Кужебергенова и материалов следствия, командир 1075 стрелкового полка полковник Капров рапортом донес в наградной отдел ГУК НКО⁸ об ошибочном включении в число 28 гвардейцев, погибших

⁸ Главное управление кадрами Наркомата обороны.

в бою с немецкими танками, Кужебергенова Даниила и просил взамен его награждать Кужебергенова Аскара, якобы погибшего в этом бою.

Поэтому в Указ о награждении и был включен Кужебергенов Аскар.

Однако в списках 4 и 5 рот Кужебергенова Аскара не значится.

В августе 1942 года Военная Прокуратура Калининского фронта вела проверку в отношении Васильева Иллариона Романовича, Шемякина Григория Мелентьевича и Шадрина Ивана Демидовича, которые претендовали на получение награды и звания Героя Советского Союза, как участники героического боя 28 гвардейцев-панфиловцев с немецкими танками. Одновременно проверку в отношении этого боя производил старший инструктор 4-го отдела ГлавПУРККА⁹ старший батальонный комиссар Минин, который в августе 1942 года донес Начальнику Оргинспекторского отдела ГлавПУРККА дивизионному комиссару т. Пронину:

«4 рота 1075 стрелкового полка, в которой родились 28 героев-панфиловцев, занимала оборону Нелидово — Дубосеково — Петелино.

16 ноября 1941 года противник, упредив наступление наших частей, около 8 часов утра большими силами танков и пехоты перешел в наступление.

В результате боев под воздействием превосходящих сил противника 1075 стрелковый полк понес большие потери и отошел на новый оборонительный рубеж.

За этот отход полка командир полка Капров и военком Мухомедьяров были отстранены от занимаемых должностей и восстановлены после того, когда дивизия вышла из боев и находилась на отдыхе и доукомплектовании.

О подвиге 28 ни в ходе боев, ни непосредственно после боя никто не знал, и среди масс они не популяризировались.

Легенда о героически сражавшихся и погибших 28 героях началась статьей О. Огнева («Казахстанская правда» от 2.4.42 г.), а затем статьями Кривицкого и других».

Опросом местных жителей выяснено, что бои дивизии им. Панфилова с немецкими танками происходили в ноябре 1941 года на территории Нелидовского с/совета, Московской области.

В своем объяснении председатель Нелидовского с/совета Смирнова рассказала:

«Бой панфиловской дивизии у нашего села Нелидово и разъезда Дубосеково был 16 ноября 1941 г. Во время этого боя все наши жители, и я тоже в том числе, прятались в убежищах... В район нашего села и разъезда Дубосеково немцы зашли 16 ноября 1941 года и отбиты были частями Советской Армии 20 декабря 1941 г. В это время были большие снежные заносы, которые продолжались до февраля 1942 г., в силу чего трупы убитых на поле боя мы не собирали и похорон не производили.

...В первых числах февраля 1942 г. на поле боя мы нашли только три трупа, которые и похоронили в братской могиле на окраине нашего села. А затем уже в марте 1942 г., когда стало таять, воинские части к братской могиле снесли еще три трупа, в том числе и труп политрука Клочкова, которого опознали бойцы. Так что в братской могиле героев-панфиловцев, которая находится на окраине нашего села Нелидово, похоронено 6 бойцов Советской Армии. Больше трупов на территории Нелидовского с/совета не обнаруживали».

Примерно то же рассказали и другие жители села Нелидово, добавив, что на второй день после боя они видели оставшихся в живых гвардейцев Васильева и Добробабина.

Таким образом, следует считать установленным, что впервые сообщения о подвиге 28 героев-панфиловцев появились в газете «Красная звезда» в ноябре 1941 г., и авторами этих сообщений были фронтовой корреспондент Коротеев и литературный секретарь газеты Кривицкий.

⁹ Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

По поводу своей корреспонденции, помещенной в газете «Красная звезда» от 27 ноября 1941 года, Коротеев показал:

«Примерно 23 — 24 ноября 1941 г. я вместе с военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» Чернышевым был в штабе 16 армии... При выходе из штаба армии мы встретили комиссара 8-й панфиловской дивизии Егорова, который рассказал о чрезвычайно тяжелой обстановке на фронте и сообщил, что наши люди героически дерутся на всех участках. В частности, Егоров привел пример героического боя одной роты с немецкими танками, на рубеж роты наступало 54 танка, и рота их задержала, часть уничтожив. Егоров сам не был участником боя, а рассказывал со слов комиссара полка, который также не участвовал в бою с немецкими танками... Егоров порекомендовал написать в газете о героическом бое роты с танками противника, предварительно познакомившись с политдонесением, поступившим из полка... В политдонесении говорилось о бое пятой роты с танками противника и о том, что рота стояла «на смерть» — погибла, но не отошла, и только два человека оказались предателями, подняли руки, чтобы сдать немцам, но они были уничтожены нашими бойцами. В донесении не говорилось о количестве бойцов роты, погибших в этом бою, и не упоминалось их фамилий. Этого мы не установили и из разговоров с командиром полка. Пробраться в полк было невозможно, и Егоров не советовал нам пытаться проникнуть в полк. По приезде в Москву я доложил редактору газеты «Красная звезда» Ортенбергу обстановку, рассказал о бое роты с танками противника.

Ортенберг меня спросил, сколько же людей было в роте. Я ему ответил, что состав роты, видимо, был неполный, примерно человек 30 — 40; я сказал также, что из этих людей двое оказались предателями... Я не знал, что готовилась передовая на эту тему, но Ортенберг меня еще раз вызывал и спрашивал, сколько людей было в роте. Я ему ответил, что примерно 30 человек. Таким образом и появилось количество сражавшихся 28 человек, так как из 30 двое оказались предателями. Ортенберг говорил, что о двух предателях писать нельзя, и, видимо, посоветовавшись с кем-то, решил в передовой написать только об одном предателе.

27 ноября 1941 г. в газете была напечатана моя короткая корреспонденция, а 28 ноября в «Красной звезде» была напечатана передовая «Завещание 28 павших героев», написанная Кривицким».

Допрошенный по настоящему делу Кривицкий показал, что когда редактор «Красной звезды» Ортенберг предложил ему написать передовую, помещенную в газете от 28 ноября 1941 г., то сам Ортенберг назвал число сражавшихся с танками противника гвардейцев-панфиловцев — 28. Откуда Ортенберг взял эти цифры, Кривицкий не знает, и только на основании разговоров с Ортенбергом он написал передовую, озаглавив ее «Завещание 28 павших героев». Когда стало известно, что место, где происходил бой, освобождено от немцев, Кривицкий по поручению Ортенберга выезжал к разъезду Дубосеково. Вместе с командиром полка Капровым, комиссаром Мухамедьяровым и командиром 4 роты Гундиловичем Кривицкий выезжал на место боя, где они обнаружили под снегом три трупа наших бойцов. Однако на вопрос Кривицкого о фамилиях павших героев Капров не смог ответить:

«Капров мне не назвал фамилий, а поручил это сделать Мухамедьярову и Гундиловичу, которые составили список, взяв сведения с какой-то ведомости или списка.

Таким образом, у меня появился список фамилий 28 панфиловцев, павших в бою с немецкими танками у разъезда Дубосеково. Приехав в Москву, я написал в газету подвал под заголовком «О 28 павших героях»; подвал был послан на визу в ПУР. При разговоре в ПУРе с т. Крапивиным он интересовался, откуда я взял слова политрука Ключкова, написанные в моем подвале: «Россия велика, а отступить некуда — позади Москва», — я ему ответил, что это выдумал я сам. Подвал был помещен в «Красной звезде» от 22 января 1942 г. Здесь я использовал рассказы Гундиловича, Капрова, Мухамедьярова,

Егорова. В части же ощущений и действий 28 героев — это мой литературный домysel. Я ни с кем из раненых или оставшихся в живых гвардейцев не разговаривал. Из местного населения я говорил только с мальчиком лет 14 — 15, который показал могилу, где похоронен Клочков.

...В 1943 году мне из дивизии, где были и сражались 28 героев-панфиловцев, прислали грамоту о присвоении мне звания гвардейца. В дивизии я был всего три или четыре раза».

Генерал-майор Ортенберг, подтверждая по существу показания Коротеева и Кривицкого, объяснил:

«Вопрос о стойкости советских воинов в тот период приобрел особое значение. Лозунг «Смерть или победа», особенно в борьбе с вражескими танками, был решающим лозунгом. Подвиги панфиловцев и являлись образцом такой стойкости. Исходя из этого, я предложил Кривицкому написать передовую статью о героизме панфиловцев, которая и была напечатана в газете 28 ноября 1941 года. Как сообщил корреспондент, в роте было 30 панфиловцев, причем двое из них пытались сдать немцам в плен. Считая политически нецелесообразным показать сразу двух предателей, я оставил в передовой статье одного; как известно, с ним сами бойцы расправились. Передовая и была поэтому названа «Завещание 28 павших героев».

Фамилии героев для помещения в список по требованию Кривицкого дал ему командир роты Гундилович.

Последний убит в бою в апреле 1942 г., и проверить, на каком основании он дал список, не представилось возможным.

Бывший командир 1075 стрелкового полка Капров Илья Васильевич, допрошенный об обстоятельствах боя 28 гвардейцев из дивизии Панфилова у разъезда Дубосеково и обстоятельствах представления их к награде, показал:

«...Никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 г. не было — это сплошной вымысел. В этот день у разъезда Дубосеково в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота, и действительно дралась героически. Из роты погибли свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах. Никто из корреспондентов ко мне не обращался в этот период; я никому никогда не говорил о бое 28 панфиловцев, да и не мог говорить, т. к. такого боя не было. Никакого политдонесения по этому поводу я не писал. Я не знаю, на основании каких материалов писали в газетах, в частности в «Красной звезде», о бое 28 гвардейцев из дивизии им. Панфилова. В конце декабря 1941 г., когда дивизия была отведена на формирование, ко мне в полк приехал корреспондент «Красной звезды» Кривицкий вместе с представителями политотдела дивизии Глушко и Егоровым. Тут я впервые услышал о 28 гвардейцах-панфиловцах. В разговоре со мной Кривицкий заявил, что нужно, чтобы было 28 гвардейцев-панфиловцев, которые вели бой с немецкими танками. Я ему заявил, что с немецкими танками дрался весь полк и в особенности 4-я рота 2-го батальона, но о бое 28 гвардейцев мне ничего не известно... Фамилии Кривицкому по памяти давал капитан Гундилович, который вел с ним разговоры на эту тему, никаких документов о бое 28 панфиловцев в полку не было и не могло быть. Меня о фамилиях никто не спрашивал. Впоследствии, после длительных уточнений фамилий, только в апреле 1942 года из штаба дивизии прислали уже готовые наградные листы и общий список 28 гвардейцев ко мне в полк для подписи. Я подписал эти листы на присвоение 28 гвардейцам звания Героя Советского Союза. Кто был инициатором составления списка и наградных листов на 28 гвардейцев — я не знаю».

Таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора «Красной звезды» Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого. Этот вымысел был повторен в произведениях писателей Н. Тихонова, В. Ставского, А. Бека, Н. Кузнецова, В. Липко, М. Светлова и других и широко популяризировался среди населения Советского Союза.

Память 28 панфиловцев увековечена установкой памятника в дер. Нелидово, Московской области. В Алма-Атинском парке культуры и отдыха установлен мраморный обелиск с мемориальной доской; их именем назван парк Федерации и несколько улиц столицы республики. Имена 28 панфиловцев присвоены многим школам, предприятиям и колхозам Советского Союза.

Главный военный прокурор ВС СССР
генерал-лейтенант юстиции

Н. Афанасьев.

10 мая 1948 года¹⁰.

Итак, прокуратура миф приговорила. 11 июня 1948 года Генеральный Прокурор СССР Г. Сафонов направил все тому же секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову письмо, где содержался вывод о том, что «подвиг 28» — вымысел корреспондента¹¹. Жданов, получив документ, не решился предпринимать что-либо сам и разослал его остальным членам Политбюро и, конечно, Сталину. Реакции последнего мы не знаем. Вероятнее всего, он устно распорядился оставить все как есть, не разочаровывать народ, а Добробабина посадить. Последнее было выполнено неукоснительно.

Страна продолжала, на бумаге и в песнях, в бетоне и камне, увековечивать память о подвиге двадцати восьми героев. Немалую лепту внес в этот процесс все тот же А. Ю. Кривицкий, выпустивший с 40-х до 70-х годов целую серию книжек о панфиловцах под разными названиями. И странное дело: читаешь их — и начинает казаться, что «документальные свидетельства» писателя и не вымысел вовсе, что он сам уже вполне в этот собственный вымысел верит. В годы кубинской революции роняет слезу, услышав от одного из кубинцев обещание, что «кубинцы не дрогнут так же, как не дрогнули двадцать восемь героев-панфиловцев». «Я даже не пытался скрыть своего волнения. Мог ли я думать вьюжной зимой 1941 года, что подвиг бойцов Клочкова, описанный мною в газете «Красная звезда», вернется к нам в Москву спустя двадцать с лишним лет этой вот фразой молодого кубинца?»¹²

В книгах Кривицкий продолжал утверждать, что узнал о подробностях боя у Дубосекова из некоего полкового донесения, а также от разысканного им в госпитале умиравшего очевидца — Натарова. Сомнения в достоверности написанного Кривицким, конечно, возникали не раз и при различных обстоятельствах. По его собственным словам, накануне публикации второго из его очерков его вызвал к себе секретарь ЦК партии А. С. Щербаков, расспросил об истории написания очерка и поинтересовался особо, кто передал корреспонденту последние слова Клочкова. Кривицкий сослался на Натарова¹³. В 1966 году в «Новом мире» появилась статья В. Кардина «Легенды и факты»¹⁴. Фактически — отзыв на несколько тогда же вышедших книг, главным образом о войне. Основным объектом критики Кардина были ложный пафос и литературная красивость, подменявшие жизненную правдивость описания. Среди прочего разбирались и вышедшая в 1964 году очередная книжка Кривицкого, на этот раз под названием «Не забуду forever». Кардин задавался вопросом, откуда взялось такое обилие живописных подробностей, если автор ссылается только на «четыре строки донесения» и слова тяжелораненого и умиравшего человека, которые явно не были подробным повествованием. К тому времени стало уже известно, что несколько панфиловцев остались в живых, и Кардин упрекает Кривицкого в замалчивании этого обстоятельства, видя в этом пренебрежение правдой ради сохранения литературного эффекта (заметим, что в

¹⁰ Государственный архив Российской Федерации, ф. Р-8131 сч., оп. 37, д. 4041, лл. 310 — 320.

¹¹ Там же, лл. 306 — 309.

¹² Кривицкий А. Ю. Неподвластно времени. М. 1973, стр. 5.

¹³ Там же, стр. 68.

¹⁴ «Новый мир», 1966, № 2.

позднейших изданиях Кривицкий таки справился с упрямством реальности и вмонтировал в текст упоминание об этих уцелевших). В той же статье Кардин привел воспоминания современников Октябрьской революции, свидетельствовавшие о том, что история о легендарном залпе «Авроры» по Зимнему дворцу является чистым вымыслом.

Волна исторических разоблачений хрущевского времени не могла не взволновать руководство КПСС. Народ терял веру в социалистические идеалы, и с этим нельзя было мириться. На заседании Политбюро ЦК КПСС 10 ноября 1966 года Л. И. Брежнев поднял важнейший вопрос — об идеологии, и с тревогой говорил: «Подвергается критике в некоторых произведениях, в журналах и других наших изданиях то, что в сердцах нашего народа является самым святым, самым дорогим. Ведь договариваются же некоторые наши писатели (а их публикуют) до того, что якобы не было залпа «Авроры», что это, мол, был холостой выстрел и т. д., что не было 28 панфиловцев, что их было меньше, чуть ли не выдуман этот факт, что не было Клочкова и не было его призыва, что «за нами Москва и отступить нам некуда». Договариваются прямо до клеветнических высказываний против Октябрьской революции и других исторических этапов в героической истории нашей партии и нашего советского народа»¹⁵.

Речь шла несомненно о статье Кардина. После этого обмена мнениями об идеологии между членами Политбюро путь в печать каким-либо сомнениям по поводу «героических» эпизодов истории был отрезан на долгие годы.

Между тем в середине 50-х Добробабин вышел на свободу. И в полном соответствии с очерками и книгами Кривицкого, которые он, надо полагать, не пропускал, стал бороться за реабилитацию и Звезду Героя. Разумеется, это могло только подпитывать слухи о вымышленности подвига двадцати восьми панфиловцев.

В годы перестройки о Добробабине заговорили: на фоне массовых публикаций о кошмаре сталинских репрессий фигура героя-панфиловца, осужденного за пособничество оккупантам, выглядела, конечно же, эффектно. Журналист И. Мясников опубликовал 25 октября 1988 года в «Московской правде» статью «Один из двадцати восьми», где говорил о героизме Добробабина и требовал его реабилитации. О том же писал и Г. Куманев в «Правде» от 18 ноября 1988 года. Кампания за реабилитацию набирала обороты. При этом никто из журналистов не ставил под сомнение реальность подвига двадцати восьми панфиловцев и среди них Добробабина, иначе ведь все выступления в его защиту теряли смысл. Военная прокуратура, бывшая в курсе всех обстоятельств, оказалась перед сложным вопросом. Как отказать Добробабину в реабилитации и признании героем-панфиловцем (все-таки служил у немцев) и в то же время не поставить под сомнение сам миф, который уже начинал трещать по швам. В 1990 году Добробабину было отказано в реабилитации. Эту точку в истории поставил генерал-лейтенант юстиции А. Ф. Катусев. Он же опубликовал в «Военно-историческом журнале» обширный, насыщенный фактами и выдержками из всевозможных показаний очерк «Чужая слава» в рубрике «Осуждены по закону»¹⁶. Если очень внимательно вчитаться в опубликованное Катусевым, становится очевидным, что никакого подвига двадцати восьми не было, ибо автор в основном приводит материалы расследования 1948 года. Но признать это впрямую Катусев не решается. Свой материал он построил так, что читателю приходится буквально продираться сквозь дебри цитированных автором всевозможных показаний и свидетельств, но при этом нигде не содержится тех четких выводов, которые были приведены в материалах расследования 1948 года. Катусев сознательно не акцентирует внимание на фактах, ставящих под сомнение подвиг двадцати восьми. Для него Добробабин — лишь посягающий на чужую славу, и Катусев ловко переводит стрелки на разговор

¹⁵ «Источник», 1996, № 2, стр. 112.

¹⁶ «Военно-исторический журнал», 1990, № 8 — 9.

о тех, кто готов возвести в ранг героев «бывших полицаев, эсэсовцев, власовцев и многих других антикоммунистов и антисоветчиков»¹⁷.

Миф снова остался в живых. Позиция советских властей понятна: «Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, но прошедшее» (А. И. Герцен).

А ведь были настоящие, реальные, герои и действительные подвиги, жизненная правдивость которых была не нужна пропаганде и из прагматичных соображений. Как говорится, «за героизмом одного кроется преступление других». Кстати, почему, если уж на то пошло, такой стратегически важный разъезд Дубосеково остался вдруг почти без прикрытия, под защитой всего 28 бойцов, от которых, выходит, зависела судьба столицы? Миф имеет свои законы жанра. И мы, ослепленные и усыпленные мифом, так и не погребли всех погибших, так и не узнали имен хотя бы той сотни человек, что положили жизнь в одном только панфиловском полку под Волоколамском.

¹⁷ «Военно-исторический журнал», 1990, № 9, стр. 77.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЛЬЯ САФОНОВ

*

ОДЯ

История одной недолгой судьбы

Драматичная жизнь Анны Васильевны Сафоновой-Тимиревой, гражданской жены легендарного адмирала А. В. Колчака, все более привлекает к себе литераторов, исследователей, читателей. Недавний объемный том переписки адмирала и Тимиревой, ее творческого наследия и воспоминаний о ней, сопровождаемый обширным комментарием, — несмотря на немалый для наших дней тираж — разошелся быстро¹.

Среди фотографий книги есть снимки и сына Анны Васильевны от первого брака, Владимира Сергеевича Тимирева (1914 — 1938), моего двоюродного брата, который был старше меня на двадцать три года... В книге упомянута и его оборванная энкавэдистской пулей молодая жизнь. Владимир Сергеевич — *Одя*, как называли его в семье, — одна из бесчисленных, несметных жертв коммунизма; каждая такая судьба по праву нуждается пусть в запоздалом, но скрупулезном по мере возможности «некрологе» — как еще можем мы почтить память невинных?

Мой же семейный долг — написать об Оде все, что мне удалось узнать (мать его, Анна Васильевна, ничего точно о гибели сына узнать не успела)...

Начну — по хорошему старинному правилу — с родословной; не грех лишний раз помянуть замечательных русских людей. Предки Володи как по материнской, так и по отцовской линии известны нам не Бог весть как далеко в глубь времен, но зато достаточно выразительно. Так, преимущественно офицерская линия Тимиревых восходит к подполковнику Ивану Степановичу, сын которого Иван Иванович, будучи в чине капитан-лейтенанта, в 1845 году получил дворянское звание и стал, таким образом, родоначальником дворянского рода Тимиревых (в 1857 — 1859 годах был избран предводителем дворянства Тихвинского уезда). Один из двух его сыновей, также ставший капитан-лейтенантом, Николай Иванович Тимирев, женился на Лобойковой Екатерине Порфирьевне, а уж одним из сыновей этого семейства и был Сергей Николаевич Тимирев — отец героя нашего рассказа, впоследствии морской офицер, ставший контр-адмиралом и скончавшийся в эмиграции. Мать Сергея Николаевича, Е. П. Лобойкова, состояла в родстве с семьей Вышнеградских — вышневолоцких священников: она была родной племянницей И. А. Вышнеградского и, следовательно, двоюродной теткой Володиной матери Анны Васильевны. Таким образом, Володины родители состояли в неблизком, но и не в таком уж дальнем родстве, восходящем по материнским линиям каждого: они были троюродные брат и сестра.

Теперь линия материнская. В 1831 году в семье вышневолоцкого священника Алексея Вышнеградского родился сын Иван. В 1843 году он, следуя семейной традиции, поступает в Тверскую духовную семинарию. Однако вскоре

¹ Рецензия на книгу опубликована в этом номере «Нового мира». (Примеч. ред.)

дала себя знать тяга к точным наукам, и в 1846 году Иван Алексеевич поступает на физико-математический факультет петербургского Главного педагогического института. Там в это время преподавали такие крупные ученые, как М. В. Остроградский и Э. Х. Ленц. В частности, лекции и беседы Остроградского нашли благодарного слушателя в лице Ивана Вышнеградского и сыграли роль катализатора в развитии его научных интересов. Выйдя на дорогу самостоятельных научных исследований, И. А. Вышнеградский наравне с Д. К. Максвеллом и А. Стодолой стал одним из основоположников теории автоматического регулирования, заложив в своих трудах ее фундаментальные основы. Позже он проявил также и незаурядный административный талант, возглавив Министерство финансов в правительстве Александра Третьего, где и осуществил весьма важные для России реформы ее финансовой системы.

У одной из дочерей И. А. Вышнеградского — ее звали Варвара (она впоследствии стала бабушкой Володи Тимирева по материнской линии) — обнаружили отличные вокальные данные, и по окончании Петербургской консерватории она стала концертирующей и подающей большие надежды певицей. Однако посвятила себя Варвара Ивановна семье, выйдя замуж за Василия Ильича Сафонова. Здесь мы затрагиваем еще одну из славных русских фамилий, на пересечении которых и родился Володя Тимирев.

В. И. Сафонов был родом из семьи терских казаков. Его отец, Илья Иванович, поступил в казачью службу в 1845 году и прошел путь боевого казачьего офицера. Он принимал участие во всех военных кампаниях, которые имели место на Кавказе с 1845 по 1861 год, некоторое время являлся комендантом Пятигорска, состоял в различных высоких командных должностях, последней из которых было командование бригадой Терского казачьего войска в чине генерал-лейтенанта.

Володин дед по линии матери — В. И. Сафонов, — так же как и его жена, закончил Петербургскую консерваторию. Его успехи в обучении были отмечены золотой медалью. Впоследствии — в 1889 году — он возглавил Московскую консерваторию и, по существу, стал одним из ее основателей. При нем и в значительной степени его трудами и заботами было построено здание консерватории в ее нынешнем виде, он заложил русскую музыкально-педагогическую и пианистическую школу, им были выращены замечательные музыканты: Скрябин, Гедике, Гольденвейзер, Иосиф и Розина Левины и многие другие. В. И. Сафонов возглавлял также Императорское Русское музыкальное общество и был инициатором проведения так называемых общедоступных концертов, а в 1906 — 1909 годах руководил Нью-Йоркской консерваторией и филармоническим оркестром. В своей концертной деятельности за рубежом он всегда с большим успехом популяризировал русскую музыку. Роль В. И. Сафонова в развитии русской музыкальной культуры общепризнанна.

В семье Василия Ильича и Варвары Ивановны Сафоновых было десять детей — семеро дочерей и три сына. Одна из дочерей — Анна — родилась в 1893 году. На праздновании дня рождения своей бабки, Варвары Федоровны Вышнеградской, Аня познакомилась с Сергеем Николаевичем Тимиревым, за которого и вышла замуж в 1911 году, а в 1914-м родила единственного сына Владимира. Тимирев — морской офицер, ставший впоследствии контр-адмиралом, участник морских сражений во время русско-японской войны 1904 — 1905 годов и морской кампании на Балтике во время Первой мировой войны; мать — Анна Васильевна, дочь Василия Ильича Сафонова, музыканта с мировой известностью. В 1918 году родители развелись. Отец эмигрировал и скончался в Китае в 1932 году; им была написана книга «Воспоминания морского офицера. Балтийский флот во время войны и революции (1914 — 1918 гг.)», изданная за границей и недавно перепечатанная в России.

С 1918 по 1922 год Володя живет в Кисловодске с бабушкой Варварой Ивановной Сафоновой, а после ее смерти — с сестрой деда Марией Ильиничной Плеске. В это время судьба его матери претерпевает драматический поворот: Анна Тимирева становится спутницей жизни адмирала А. В. Колчака

вплоть до самой его гибели в 1920 году. Ее удел после смерти адмирала — два года скитаний по иркутским, омским и новосибирским тюрьмам и больницам. Только в 1922 году Тимирева получает короткую передышку и перевозит сына в Москву.

Здесь через некоторое время ей повстречался добрый и умный человек, Всеволод Константинович Книпер, осмелившийся — в те годы даже просто знакомство с Анной Тимиревой было смелым поступком — стать ей мужем, а Володе старшим другом. И действительно — аресты, их ожидание, тюрьмы и ссылки определили судьбу Володиной матери на десятилетия... Тем не менее и сама Анна Васильевна, и Всеволод Константинович — оба они сумели сделать все необходимое, чтобы Володя не превратился в набычившегося и перепуганного мизантропа. Напротив, весь жизненный уклад этой семьи, хотя и существовала она под грохот строительства быстро привыкавшего ко вкусу крови «самого гармоничного и справедливого общества», как бы напитывал кислородом и подталкивал к развитию зачатки талантов, заложенных в Володю чередой предков.

Привезенный в Москву восьми лет, Володя кончает здесь школу, поступает в Московский архитектурный институт и ощущает в себе способность к художеству. Володя начинает заниматься в студии замечательного мастера А. И. Кравченко (1889 — 1940), в 1934 году состоится первая его персональная выставка акварелей.

Володя активен, много работает, получает заказы на книжные иллюстрации (к Джеку Лондону).

Ссылная судьба матери познакомила Одю со множеством мест ее *минусового* проживания: Верея, Таруса, Поленово, Вышний Волочек, Малоярославец, Николина Гора и т. д., — и отовсюду он увозил карандашные, угольные наброски, эскизы разной степени готовности — преимущественно акварельные, их было сделано великое множество. (Из тех работ, которые сохранились дома, маслом писаны только ранние этюды в окрестностях Кисловодска, куда Одя ездил навестить Марию Ильиничну Плеске — бабу Машу, родную сестру В. И. Сафонова.)

В 1937 году родился я (мои родители, Ольга Васильевна Сафонова (род. в 1899) и Кирилл Александрович Смородский (род. в 1898), — оба художники, погибли в ленинградскую блокаду в 1942 году), крестным отцом моим стал двоюродный брат Одя.

Жизнь раскручивалась — хотя и на острие ножа. Сохранилась Одина сберкнижка, заведенная в начале 1938 года, в ней оприходован, например, заработок аж в 1700 рублей, правда уже к 19 марта истощившийся до семи... Больше Оде деньги никогда не потребовались: 21 марта он был арестован.

Через день — 23 марта — в Малоярославце вновь арестовали Анну Васильевну.

Синхронность действий московских и малоярославских чекистов, очевидно, не случайна. У нас есть уверенность, что причиной стал донос, но далее распространяться не будем: живы еще невинные родственники доносчика, проявим к ним милосердие. (О доносе известно со слов Е. П. Пешковой, видевшей его в деле Анны Васильевны, в судьбе которой она принимала посильное участие и, возможно, уберегла ее от казни.)

Впрочем, и без доноса вряд ли бы Одя уцелел в дальнейшем: яркий, талантливый, независимый, да еще сын *такой* матери — репрессии против него были лишь делом времени.

Молодой человек был осужден по статье 58-6, «за шпионаж» — «десять лет без права переписки». Теперь мы знаем, что это означало. Тогда же — это давало надежду. И в казахстанских лагерях Анна Васильевна, получившая тоже 58-ю, но — 10-й, «за антисоветскую агитацию и пропаганду», писала:

Если только правда, что ты жив
И что по земле ты ходишь, милый,
Чтобы эту муку пережить,
Я найду терпение и силы...

Именно надежда на встречу с сыном (давно, как теперь мы знаем, расстрелянным) помогла Анне Васильевне выжить.

За годами идут года,
Предназначенные судьбой...
Я не знаю, где и когда,
Но я все-таки встречу с тобой!

Лишь боюсь, в этот сладкий час —
Жду его наяву и во сне —
Я боюсь твоих синих глаз:
Что прочту я в их глубине?

Ох, как страшно будет прочесть
Про скитанье в чужом краю,
Про твою оскорбленную честь
И про юную гордость твою!

Где твой звонкий ребячий смех?
Все мне снится — в глухом лесу
Люди топчут глубокий снег
И тяжелые бревна несут.

И в свинцовой дымке утра
Сквозь покров уходящей мглы
От багрового блеска костра
Розовеют сосен стволы.

Ты идешь, и упорный взгляд
Устремлен на снег и огни,
На плечах арестантский бушлат,
За плечами черные дни.

И за днями идут года,
Нам отмеренные судьбой...
Я не знаю, где и когда,
Но я все-таки встречу с тобой!

В 1946 году для Анны Васильевны кончился очередной срок, на этот раз отбытый в Карлаге; в 1949-м начался новый — енисейская высылка, а новостей об Оде все не было. Наступила обманчивая «оттепель», чуть-чуть приподнялась давящая лапа режима, и Анна Васильевна (жившая теперь в условиях «минуса» в городе, который менял свое имя с Рыбинска на Щербаков и обратно) обратилась в сентябре 1955 года за справкой о судьбе сына. Ответ пришел не сразу — в ноябре 1956-го, и звучал так, будто процежен сквозь зубы. Вот как выглядели тогда «справки», которые давали гэбисты истрадавшим матерям:

«Дело по обвинению Тимирева В. С. пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР 27 октября 1956 года.

Постановление НКВД СССР от 17 мая 1938 года в отношении Тимирева В. С. отменено и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Тимирев В. С. реабилитирован посмертно.

Этот не просто стандартный, а, можно сказать, канонический текст в свое время получили очень многие семьи, и он представляется сегодня в высшей степени репрезентативным в отношении свойств произведшей его на свет тоталитарной машины. Чего стоит хотя бы концовка — «реабилитирован посмертно»; почему посмертно — несчастный случай? Объяснитесь, ведь вы же угробили человека! И вот заключительный аккорд, венчающий палаческую отписку:

*ВРИО Председательствующего судебного состава
Военной Коллегии Верховного Суда СССР
Полковник юстиции (Семик).*

...Надежда встретиться с сыном растаяла. Новых попыток узнать что-либо сверх уже известного Анна Васильевна не предпринимала. Да и что добавили бы они: в ту пору ничего большего от КГБ добиться было нельзя.

Только уже в перестройку на вопросы осиротевших родственников стали отвечать несколько более внятным мычанием.

В 1960 году Анна Васильевна перебралась в Москву — к своим близким на Плющиху (где я с семьей живу и поныне).

А вместе с ней вернулся и Одя — ее памятью, рассказами о нем, своими работами на стенах, наконец, друзьями, ставшими здесь завсегдастями. Но никогда не говорилось о произошедшей трагедии, Анна Васильевна несла ее глубоко в душе, не позволяя выплескиваться наружу. Можно только представить себе, чего ей стоила мысль, что и ее судьба была отчасти причиной гибели сына. Хотя, повторяю, в сталинской казарме ни ей, ни ему все равно не было бы места.

Иногда на Анну Васильевну, как правило жизнерадостную, накатывали мрачность и замкнутость, такое чаще всего бывало в памятные Одины даты и когда обстоятельства слишком явственно напоминали о сыне.

В 1975 году Анна Васильевна умерла. Через пять лет скончалась усыновившая меня сестра ее Елена Васильевна, а в 1989-м — последняя из сестер Сафоновых, Мария Васильевна. Ей в свое время удалось бежать от большевиков из Кисловодска, сначала в Италию, а потом — в США, где она долгие годы занималась успешной концертной деятельностью. Даже до нее в Штаты доходили легенды о трагической гибели Оди (якобы забитого в камере уголовниками); страшно подумать, ежели нечто похожее слышала и Анна Васильевна.

1989 год: «ускорение», «перестройка». В запросе, направленном мной в Военную коллегию Верховного Суда СССР, в частности, говорилось:

«Лаконизм и мимоходность сообщения о гибели молодого и талантливого человека, члена нашей семьи, всегда вызывали у нас чувство глубокого и горького недоумения. Теперь в условиях демократического обновления общества мы рассчитываем на получение от вашего ведомства более обстоятельной информации по этому поводу.»

Хотелось бы знать, кем и каким образом было инициировано дело Тимирева, каковы предъявленные ему обвинения, как и где он погиб и где место его захоронения.»

Ответ был таков:

«На Ваше заявление сообщаю, что В. С. Тимирев, 1914 года рождения, Постановлением НКВД и Прокурора СССР от 17 мая 1938 осужден к расстрелу по обвинению в шпионской деятельности в пользу немецкой разведки, которую он якобы проводил по заданию Линка.»

...Военная Коллегия точными данными о месте и времени приведения приговора в отношении Тимирева В. С. и о месте его захоронения не располагает. В тот период подобные приговоры исполнялись немедленно в населенном пункте, где выносились, а места захоронения не фиксировались.»

Эти и другие сведения находятся в прекращенном деле на Тимирева В. С., которое в ноябре 1956 года было направлено в архив КГБ СССР и куда Вы можете обратиться. Позвольте выразить Вам...» и т. д.

Новый запрос по адресу, указанному в приведенном выше тексте, привел первоначально к результату несколько даже комическому, если такое возможно в подобном деле. Мы с женой были приняты в приемной КГБ чиновником, дела нам не показавшим, но зато вольно и со всеми признаками вранья его пересказывавшим. Ему, по-моему, специально поручили «паблик рилейшенз», чтобы убедить эту самую «паблик» в полной бесполезности попыток пробиться к архивам, хотя прежние страсти заменились вроде бы облегченным комизмом.

Участие в этом спектакле (чистый Станиславский и Немирович-Данченко в декорациях госбезопасности, только так можно обозначить дурацкую беседу), где я — о, позор! — подыгрывал гэбэшному шуту, задавая вопросы, было вознаграждено: мне вернули Одно фото из уголовного дела. Чтобы за-

вершить локальную процедуру «восстановления справедливости и ленинских норм» мажорным аккордом, меня надоумили получить двухмесячную зарплату Оди в Загорском институте игрушки, где он работал непосредственно перед арестом, и даже дали справку, что я действительно его брат и что госбезопасность знает о работе В. Тимирева в этом институте. Дескать, «нечего-нечего, раскошеливайтесь, деваться-то некуда!». Деньги я получил — чтобы быть точным, 352 рубля, не так уж и мало для начала 1990 года, но не деньги интересовали меня — дело, дело мне было нужно!

В конце концов после новой серии запросов, затяжек и телефонных переговоров я получил-таки желанную папку, и что же — тоненькая кипа бумажек, вот и все, что там было! Не передать досады и разочарования, охвативших меня при виде столь жалкого следа страшной деятельности. Слова слишком истерты для рассказов об этом совсем недалеком прошлом, поэтому ограничусь фактами — по возможности без оценок.

Никакой анонимки среди документов не было, как, впрочем, не было хотя бы чего-нибудь, что можно было бы расценить как толчок к возбуждению дела — не шутка! — о шпионаже. Резидентом германской разведки, завербованным Одю, в деле назван Павел Фердинандович Линк. В деле самого же Линка, однако, В. С. Тимирев не упоминается ни разу (справка об этом появилась в Одином деле в 1956 году в процессе отработки заявления Анны Васильевны), что не вяжется с обычным здравым смыслом: такие операции, как создание и развертывание шпионской сети, вербовка агентов и проч., никак не были бы упущены следователем, ведшим дело Линка. Спрашивается: откуда же органам стало известно об Одином участии в «шпионской» деятельности Линка — участии, о котором и сам вербовщик Линк понятия не имел — даже в соответствии с той липой, которой было и его дело? Откуда вообще возник Линк, почему и как Одя был односторонне пристегнут к его делу?!

Линк вместе с семьей жил в нашем доме на Плющихе в коммунальной квартире на четвертом этаже. Среди его детей был Кирилл — живой мальчишка, которому Одя покровительствовал, — тот бывал у нас в гостях, а Одя, соответственно, у него дома. Кирилл некоторое время был в детской группе, которую организовала и вела Анна Васильевна, — память об этих временах и вообще о детстве привела Кирилла к нам в 60-е годы. Он рассказал о своей непростой судьбе, о том, как он — сын «немецкого шпиона» — добровольцем ушел на фронт, прибавив себе годы в метриках, как прошел через всю войну чудом не раненный, как работал шофером в послевоенной советской оккупационной зоне Германии у самого Василия Сталина, как тот выслал его домой после шоферского инцидента, когда Кирилл едва не ответил ему оплеухой на оплеуху.

Приходится заметить, что подобные вопросы — откуда и как возникло дело — без большого труда можно усмотреть в девяноста девяти из ста судебных дел, возбужденных в то черное время. Человека, которого по каким-то причинам надо убрать (донос, личная неприязнь, хорошенькая жена, антипатия, заинтересованность в имуществе, жилплощади, ботинках — в чем угодно), нужно было провести по бумагам так, чтобы имелся любой, пусть слабый, намек на виновность. В Одином деле знакомство с семьей Линка, территориальная близость с вымышленным «шпионом» оказались удачно подвернувшимися обстоятельствами для пристегивания его к этому делу. Трудно сегодня представить себе, что кому-то из работников органов могло прийти тогда в голову, что их каракули, определявшие людям жизнь или смерть, станут предметом раздумий потомков...

В Одином деле есть несколько протоколов допросов с самооговорами, признания Оди, что *Колчак его отчим*, и т. д. Значит, Одю пытали. Но как бы эти оговоры ни были ужасны сами по себе, ведь все это случилось уже *после* ареста. Что же явилось причиной самого ареста — на такой вопрос ответа в деле нет.

Опять мы возвращаемся к доносу, но тогда — где же он? Ответить можно догадкой примерно такого рода: какой, спрашивается, смысл (с точки зрения спецслужб) в том, чтобы среди материалов следственного, то есть в какой-то мере общедоступного, дела (давайте обсуждать наш вопрос в терминологии правового общества) хранились материалы и документы, выявляющие одно из самых, может быть, драгоценных достижений кропотливой работы с людьми — личности сексотов, добровольных помощников, да назовите их как угодно! Не-е-т, подобным бумагам не место там, куда могут дотянуться длинные ручки правдоискателей, их лучше припрятать подальше — среди оперативных дел, рабочих материалов, документов для служебного пользования и т. п.

...И, наконец, финал: постановление ОСО НКВД СССР от 17 мая 1938 года — приговорить к высшей мере. 28 мая приговор приведен в исполнение.

Сейчас любое, сразу вслед произнесенное, слово рискует оказаться близким к кощунству, так что просто помолчим минуту, прежде чем продолжать. Царствие Небесное тебе, Володя...

Не исключено, что приведенные в деле даты тоже вранье: бумага у них говорила одно, язык другое, руки делали третье, — так лучше: следы путаются, понять ничего невозможно! Неужели кто-то все же заметал следы перед будущим? Очевидно. А чем еще объяснить, что в том же деле, вслед за сообщением об исполнении смертного приговора, хранится справка о... смерти Владимира Тимирева от крупозного воспаления легких в 1943 году! Массовые расстрелы конца 30-х списывали на «естественную смертность» во время войны.

...Ныне сохранившиеся работы Оди зажили своей (точнее, его продленной) жизнью. Они — в музеях Москвы, Перми, Брянска, других городов (деньги от продажи Одиных работ пожертвованы «Мемориалу»).

1996.

«ОБНИМАЮ ВАС И МАТЕРИНСКИ БЛАГОСЛОВЛЯЮ...»

*Переписка Вячеслава Иванова и Лидии Зиновьевой-Аннибал
с Александрой Васильевной Гольштейн*

Вячеслава Ивановича Иванова (1866 — 1949), выдающегося поэта и блестящего философа, одного из самых ярких представителей русской словесности XX столетия, нет необходимости представлять современному читателю. Сравнительно известна также литературная и житейская судьба его жены Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал (1865 — 1907), прозаика и драматурга, заметной фигуры русского серебряного века. Что касается их постоянной корреспондентки конца 1890-х — начала 1900-х годов Александры Васильевны Гольштейн, то для нее не нашлось места ни в курсах истории русской литературы, ни в новейшем биографическом словаре «Русские писатели».

А. В. Гольштейн родилась 23 января 1850 года. В молодости ходила в народ, участвовала в войне за объединение Италии, возглавлявшейся Дж. Гарибальди, была близким другом М. А. Бакунина, П. Л. Лаврова. Ей довелось общаться с В. И. Засулич, Н. П. Огаревым (о нем и о М. А. Бакунине она оставила воспоминания) и другими деятелями русского освободительного движения.

С 1876 года до самой смерти она жила за границей, где вышла замуж за Владимира Августовича Гольштейна (1849 — 1917) — сотрудника бакунинской газеты «Работник», по образованию врача (дети от ее первого, неудачного, брака с Николаем Вебером жили сначала с ней, а затем младший уехал к отцу в Петербург).

Будучи органично связанной с кругом революционных эмигрантов из России, она легко сходилась с русскими общественными деятелями и учеными младшего поколения; многолетняя дружба связывала ее с семьями членов Приютинского братства — В. И. Вернадского, И. М. Гревса, П. Б. Струве, С. Ф. Ольденбурга, Д. И. Шаховского, А. А. Корнилова и других.

Одаренная литературными способностями и тонким художественным вкусом, с детства владевшая английским, французским, немецким языками, она стала профессиональным литератором, критиком и переводчицей. Она переводила на французский язык А. С. Пушкина, К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, на русский — А. Бергсона, английских писателей XIX — XX веков, писала статьи о литературной и художественной жизни. В своих литературных занятиях она руководствовалась «просветительскими» целями — в заграничных изданиях публиковала материалы о русской культуре, а в русской столичной и провинциальной периодике — статьи о новых литературных и художественных движениях во Франции.

За десятилетия жизни в Париже она приобрела обширные знакомства во французской артистической среде. Несмотря на возраст, радикальное прошлое и часто присущее людям ее поколения «прогрессивно-позитивистское» мировоззрение, Гольштейн оказалась восприимчивой к искусству наступающей новой эпохи. Модернистское искусство конца XIX — начала XX века она принимала, пропагандировала и отстаивала его принципы.

На рубеже веков Гольштейн была связана личным общением и сотрудничеством с русскими и французскими символистами. К ней были близки М. А. Волошин,

К. Д. Бальмонт, В. И. Иванов, Стефан Малларме, Рене Гиль, Рене Аркос, Поль Фор, Жорж Дюамель и другие. Гольштейн принимала живое участие в кружке русских художников «Монпарнас» (1903 — 1914), была организатором женского общества взаимопомощи «Адельфия» в Париже.

Начиная с 1880-х годов приезжавшие в Париж с целью познакомиться с современным французским искусством русские часто посещали дом Гольштейн. По воспоминаниям А. Н. Бенуа, она «пользовалась большой популярностью в русской колонии, а ее «салон» с полным основанием мог претендовать на значение художественного и литературного центра»¹. Она охотно и с большим тактом устраивала необходимые знакомства, помогала найти заработок, опубликовать стихи или статью, устроить художественную выставку.

События октября 1917 года сделали невозможным ее возвращение на родину, на которое Гольштейн не переставала надеяться. Ей, помнившей Н. П. Огарева и М. А. Бакунину, пришлось разделить судьбу многих новых российских эмигрантов: так и не увидев России, она умерла в Париже 14 октября 1937 года.

В начале 1890-х годов Вячеслав Иванов, закончив Берлинский университет и будучи занят написанием диссертации по римской истории, работал в крупнейших музеях и книгохранилищах Европы. В один из своих приездов в Париж в Национальной библиотеке он познакомился с историком-медиевистом И. М. Гревсом, ставшим его другом и конфиденнтом на многие годы (именно Гревсу В. И. Иванов обязан встречей с Л. Д. Зиновьевой-Аннибал).

Гревс и привел молодого ученого к своим русским друзьям Гольштейнам, постоянно жившим в Париже. Образованная и общительная Александра Васильевна пленилась новым многоталантливым собеседником и, прозорливо поверив в дарование еще никому не известного поэта, со свойственной ей энергией приняла участие в его литературных начинаниях.

Знакомство быстро переросло в близкую дружбу. Их переписка дает много сведений об интеллектуальных и творческих занятиях Иванова в 1890-х — начале 1900-х годов. Общение Иванова с Гольштейн и ее кругом оказалось интенсивным и плодотворным, но далеко не безоблачным. И на это были свои причины.

Гольштейн имела на все собственную точку зрения и суждения свои высказывала в решительной и откровенной форме. В 1890-е годы она была сложившимся человеком и не делала тайны из своих убеждений и пристрастий. Отойдя с годами от радикальных социально-политических учений, она все больше склонялась к умеренному либерализму, необходимости просвещения народа, к идеям Партии народной свободы (кадетов).

Когда она познакомилась с Вячеславом Ивановым, тому не минуло еще тридцати. Политические убеждения многознающего историка и филолога были весьма определенны: он стоял на монархических позициях. В 1894 году, после смерти Александра III, который был ему «глубоко симпатичен» как «личность», он надеялся, что «юноша царь еще долго не решится отступить от традиций отца»². «Прекрасную зарю просвещенной свободы» в России он не желал представлять «в виде провозглашения шаблонной конституции», так как «конституционализм означил прежде всего политический разврат для народа, не подготовленного к нему историческим опытом»³.

Однако эти взгляды на будущность России Иванову пришлось пересмотреть после встречи с Зиновьевой-Аннибал, убежденной социалисткой. Круг Гольштейн наверняка не в меньшей степени воздействовал на его политические и социальные воззрения. Иванов либерализовался и пошел до уровня той среды литераторов, с которой он связал свою жизнь и которая однозначно приветствовала демократические преобразования в России в начале столетия. Дальнейший жизненный путь Иванова показал, что вольнолюбивый философ и поэт вряд ли предопределял своему творчеству жесткие социальные ориентиры.

¹ Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Кн. IV — V. Изд. 2-е, доп. М. 1990, стр. 118.

² Черновик письма В. И. Иванова к И. М. Гревсу (ОР РГБ, ф. 109, к. 9, д. 25, лл. 1, 1 об.).

³ Там же, л. 1 об.

На рубеже веков Иванову, стремившемуся скорее к поэтической и литературной стезе, нежели к научной деятельности и преподавательской карьере, нужны были усилия для утверждения себя как литератора. И здесь Гольштейн оказала ему неоценимую услугу: в ход пошли все ее знакомства в России — она давала Иванову самые лестные рекомендации, устраивала встречи с издателями и литературными критиками. Она, безусловно, стала одной из тех, кто способствовал вхождению поэта в русскую литературу.

И все же дружба Иванова и Гольштейн закончилась резким конфликтом. Корень его следует искать не в идеологических разногласиях и не в каком-либо личном недоброежелательстве, а прежде всего в столкновении несовместимых представлений о творчестве.

В «Автобиографическом письме» С. А. Венгеру Иванов писал о 1890-х годах: «Властителем моих дум все полнее и могущественнее становился Ницше»⁴. Гольштейн, приветствовавшая в новом искусстве то, что отвечало ее духовным запросам, тем не менее решительно отвергала некоторые почти «обязательные» составляющие из интеллектуального и эстетического багажа ее младших современников. Так, ей была совершенно чужда философия Ф. Ницше, и особенно идея об антиномичности творческой стихии. «Дионисическую» струю в духовных стремлениях она считала пагубной, однозначно разрушительной и несовместимой с подлинным искусством. «Дионисизм <...>, — писала она М. А. Волошину спустя годы после разрыва с Ивановым, но продолжая полемику с ним, — не искусство. Это стихия жизни, хаотическая борьба, бунт материй против высшего начала, все равно какого. Искусство едино, и это аполлонизм, строительство, выбор, проникновение (не наложение), возвышение стихии в область духа, души...»⁵ Русской литературе, полагала Гольштейн, «аполлонизм» присущ изначально и воплощается, когда она «не спивается», «не впадает в истерию и эпилепсию с Достоевским», не «сияет всеми цветами <...> дрянного, напрокат взятого эстетизма»⁶.

Увлеченный идеями Ф. Ницше, Иванов нашел в лице Гольштейн непримиримого оппонента. В Париже, в салоне Гольштейн на авеню Ваграм, по субботам устраивались вечера, «конференции», куда приглашались художники и литераторы для дискуссий и чтения своих произведений. Иванов выступил там с докладом в феврале 1896 года. Гольштейн поделилась с Гревсом впечатлениями от этого вечера: «Иванов читал у нас конференцию о Ницше. Ужасная гадость этот Ницше, и теперь мы с Ивановым будем спорить жестоко и часто. Читал Иванов свою конференцию плохо в смысле интонации, но зато написал ее прекрасно»⁷. М. В. Сабашникова вспоминала о Гольштейн: «Все в мире разделялось у нее на две категории: то, что она одобряла и чему покровительствовала, и то, что она отвергала и против чего воевала. Ее действительно никак нельзя было упрекнуть в „теплом“ отношении к миру. На первой парижской выставке Ван Гога я спросила ее о впечатлении. Она ответила коротко: „Je hais le mouvement qui déplace les lignes“»⁸.

Гольштейн с восхищением относилась к поэзии Иванова, почитала его как ученого. Она была инициатором и одним из организаторов чтения Ивановым курса лекций о Дионисе в парижской Высшей школе общественных наук в 1903 году, посещала все лекции, восторженно отзывалась о них, желала видеть их напечатанными. Но, едва заметив, что увлечение древним эллинским богом выходит за рамки научного интереса, что «дионисический оргазм» в определенные годы стал творческим ориентиром и «философским камнем» Иванова, она высказывается о поэте так же резко, как о других своих «антигероях» — Ф. Ницше, Р. Вагнере, Ф. М. Достоевском, А. Матиссе, некоторых русских символистах.

⁴ Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. 2. Брюссель. 1974, стр. 19.

⁵ Письмо А. В. Гольштейн к М. А. Волошину от 17 июня 1909 года (СПб. ОР ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, д. 438).

⁶ Там же.

⁷ Письмо А. В. Гольштейн к И. М. Гревсу от 24 февраля 1896 года (СПб. ОР РАН, ф. 726, оп. 2, д. 364, л. 67).

⁸ «Претит движенье мне перестроенем линий» (франц.) — из стихотворения Бодлера «Красота» в переводе Вяч. Иванова. См.: Волошина Маргарита (Сабашникова М. В.). Зеленая змея. История одной жизни. Перевод с немецкого М. Н. Жемчужниковой. М. 1993, стр. 121 — 122.

Гольштейн видела в Иванове огромные потенции «аполлонического» таланта и горячо надеялась на раскрытие и воплощение именно этой стороны его творчества.

Она очень сочувствовала замыслу Иванова написать трилогию — трагедии «Тантал», «Ниобея», «Прометей». Замысел этот родился у него еще в конце 1890-х годов, быть может, в горячих беседах с Гольштейн, хотя и начал воплощаться в 1903 году. Из задуманной трилогии полностью был написан только «Тантал».

И для самого поэта трагедия «Тантал» была важной вехой духовного пути — «соблазны Люцифера», душевная боль, разлад с ноуменальным и реальным миром, приведшие даже к физическому нездоровью, прекратились, когда трагедия была завершена⁹. К нему пришло новое понимание стихии творчества. Ученый-филолог становится известнейшим поэтом и теоретиком символизма. Трагическое богоборчество, язвившее его духовный мир нищенским одиночеством, преобразилось и «успокоилось» в одной из концепций символизма — в причудливом культе «соборного» дионисизма.

В Шатлэне, близ Женевы, где Ивановы почти постоянно жили с 1900 по 1904 год, где их желанным гостем была Гольштейн, Вяч. Ивановым помимо трагедии «Тантал» были созданы поэтический сборник «Кормчие звезды», труд «Эллинская религия страдающего бога», готовился второй сборник стихов «Прозрачность». Гольштейн старалась сделать все возможное, чтобы помочь своему другу издать первый сборник стихов. Не одобряя его духовные искания, она тем не менее следовала всем правилам дружбы с присущим ей бескорыстием и самоотверженностью.

Но внутреннее недоверие было велико, и это не было секретом ни для Иванова, ни для его знакомых. Еще в 1896 году Гольштейн писала Гревсу: «Иван<ова> вижу часто — и очень его люблю, и очень опасно думаю о дальнейшей судьбе Лидии... Знаете, под великим секретом сообщу окончательное впечатление об Ив<анове> — он человек не нашего общества, и этим, я думаю, очень, очень, многое объясняется и в его поведении, и в том впечатлении, кот<орое> он производит. *C'est souvent agaçant: son français est trop correcte*¹⁰, его поклоны слишком низки, его сюртук слишком по талии и проч. и проч. А что слишком совсем — это его чудовищный эгоизм. А иногда он бывает симпатичен умом...»¹¹. Тесно общавшаяся с четой Ивановых Гольштейн не могла не заметить, что «оргиастическое» зерно, прорастая из творческих занятий, не минует и быта. Этим и объясняется ее тревога за жену Иванова — Зиновьеву-Аннибал.

Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал (в первом замужестве Шварсалон) несомненно была тогда музой Вячеслава Иванова. Необычайно экстравагантная, страстная, она искренностью и глубиной своих чувств покоряла многих людей. Ее музыкальные и литературные дарования рельефно и ярко реализовались в годы брака с Ивановым. Гольштейн очень любила Лидию Дмитриевну и опасалась, что «Диотима», как называл свою жену Иванов, предназначается им на роль «мэнады» в его творческих и интеллектуальных вдохновениях.

Считая Зиновьеву-Аннибал натурой исключительно одаренной, она тем не менее не слишком одобряла некоторые ее беллетристические опыты. Ознакомившись с фрагментами романа «Пламенники», присланными ей для прочтения, она ответила резкой критикой. Нелестным было ее мнение и о «Тридцати трех уродах». Но «Трагический зверинец» — последняя и «замечательная», по словам А. А. Блока¹², книга Зиновьевой-Аннибал — вызвал у нее восторженную реакцию. Лидия Дмитриевна, как считала Гольштейн, не могла закончить «Пламенники», ибо боролась с неким поселившимся в ней духом, источавшим и угнетавшим ее личность, а источником этих внушений являлся ее муж. После скоростной смерти Лидии Дмитриевны, глубоко потрясенная, находясь во власти сильных, но несправедливых чувств, она опять-таки обвинила «злого гения», гасившего в ее любимице волю к жизни.

⁹ См.: Дешарт О. Введение. — В кн.: Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. 1. Брюссель. 1971, стр. 81.

¹⁰ Это часто несосноно: его французский слишком правилен (франц.).

¹¹ Письмо А. В. Гольштейн к И. М. Гревсу от 23 апреля 1896 года (СПб. ОР РАН, ф. 762, оп. 2, д. 365, лл. 70 — 70 об.).

¹² Блок А. А. Литературные итоги 1907 года. — Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М. — Л. 1962, стр. 226.

Иванов, бывший самым заметным проповедником дионисийства в литературе серебряного века, навлекал на себя оценки на языке аллегорий им самим создаваемых. Гольштейн, чуждая любой мистики, презиравшая «мифожевание» (ее считали буддисткой, но буддизм был для нее не религией, а просто удобным именем жизненной философии), чуждая конфессиональных рамок, поддалась все же влиянию мифов о Дионисе. Скорее всего, Иванов сам провоцировал экстраполяцию образов древних мистерий на свой быт. Так, Волошин писал Гольштейн сразу после смерти Зиновьевой-Аннибал: «Я знаю и понимаю, что Вы называете «злым гением» в Вячеславе. Но ведь Вы же знаете, что в нем есть и другое. За это другое я продолжал его любить в минуты наибольшей боли и враждебности, нас разделявшей. Я знаю, что его близость страшно губельна для тех, кого он любит. Он не умеет обращаться с людьми, он ломает и коверкает их. Но эта злая сила в нем <...> не от него»¹³.

Когда в конце апреля 1903 года Иванов приехал в Париж, чтобы приступить к чтению лекций, общение его с Гольштейн и ее кругом, как видно из его переписки с Зиновьевой-Аннибал, было очень частым и непринужденным: Гольштейн и Иванов гуляли по музеям и улицам Парижа, Иванов был почетным посетителем салона Гольштейн.

Но соперничество этих равновеликих по темпераменту и силе характера натур к 1903 году становится слишком напряженным. В июле 1903 года Иванов пишет М. М. Зямятниной — домоправительнице и другу семьи: «Знаете ли Вы, что я еще 1-го русского июня поссорился и разорвал с Александрой Васильевной. Имеющий уши да слышит»¹⁴. О поводе ссоры ее возможные свидетели умалчивают, можно сказать только, что разрыв этот был очень бурным. Гольштейн имела обыкновение не скрывать своих чувств, и Иванов ответил ей тем же. Это не стало концом «дипломатическим» отношений, но дружеское расположение исчезает навсегда. Позволим высказать догадку, что Гольштейн возмутил какой-нибудь «нищиеанский» поступок Иванова. Она была уверена, что дионисизм для Иванова — не отвлеченная теория и не творческий символ, а «оправдание и простор собственному распутству, которое» не смело выходит наружу под ферулой мещанского православия»¹⁵. К тому же в то время Гольштейн боролась с Ивановым за Волошину, на которого, как она полагала, Иванов оказывал неблагоприятное влияние — как в сфере творчества, так и в области духовной и нравственной. Позже она очень тяжело переживала перипетии альянса М. В. Сабашниковой-Волошиной и Ивановых.

Когда в 1905 году была напечатана трагедия «Тантал», Гольштейн откликнулась проникновенной рецензией. Как и прежде, она считала, что дарование Иванова должно с наибольшим блеском раскрыться в жанре трагедии, оплодотворенное его огромной эрудицией и тяготением к большой форме.

После происшедшей в 1903 году ссоры Гольштейн и Иванов больше никогда не встречались. А смерть Зиновьевой-Аннибал поставила точку в их затухающей переписке. В 1937 году Гольштейн передала Иванову привет через своего зятя Ю. Ф. Семенова, посетившего поэта на Монте Гарнео. Вячеслав Иванов ответил ей большим письмом, но оно дошло до Парижа, когда Гольштейн умерла. Текст этого неопубликованного письма хранится в архиве семьи Ивановых в Риме.

Тексты писем А. В. Гольштейн к В. И. Иванову и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал публикуются по подлинникам, хранящимся в ОР РГБ, ф. 109 (к. 10, д. 2; к. 16, д. 37 — 39; к. 22, д. 29); письма В. И. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал хранятся в Коллекции А. В. Гольштейн в Бахметевском архиве Колумбийского университета (США). Публикация производится в соответствии с нормами современной орфографии, за исключением тех случаев, когда это касается индивидуальных авторских особенностей.

¹³ Письмо М. А. Волошина к М. А. Гольштейн от 27 декабря 1907 года (Коллекция А. В. Гольштейн, Бахметевский архив Колумбийского университета).

¹⁴ ОР РГБ, ф. 109, к. 9, д. 33, л. 20 об.

¹⁵ Письмо А. В. Гольштейн к М. А. Волошину от 17 июня 1909 года (СПб. ОР ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, д. 438).

Л. Д. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ — А. В. ГОЛЬШТЕЙН

18 октября 1897 г.

Дорогая Александра Васильевна,

Только что получила Ваше письмо и спешу очень поблагодарить Вас за него. Я давно сама собиралась писать Вам и спросить о причине долгого молчания. Боялась, не случилось ли что у Вас. Теперь были оба счастливы узнать, что у Вас дома все благополучно. Очень-очень благодарю за все известия, данные Вами. Мне тоскливо было все лето почти не зная, каково Вам было на даче. Мне кажется, что комбинация с Укой¹ очень хорошая. Вероятно, ему будет очень полезна тишина и ровная дисциплина у его воспитателей. Этой ровности так трудно достигнуть дома. Но я лично более всего радуюсь за Вас. Вы хотя и поскучаете по Вашему баловню, но думаю, что нервы Ваши отдохнут, очень ведь тяжело с такими большими живыми мальчиками². Словом, горячо надеюсь, что Вы все будете удовлетворены новым устройством и что Вы лично найдете больше свободного времени для Ваших трудов литературных. Вот видите, как все сложилось неожиданно у нас! Горы стали до того холодны, что мы стали мечтать о выезде из Montées. В это время получено письмо от моего брата³, которое едва не принудило меня тотчас ехать в Россию, но слабость здоровья и в особенности горло остановили меня, и теперь еще я не уверена в том, что мне удастся отделаться от путешествия. Вот в чем дело.

Шварсалон⁴ явился к брату с предложением добровольно дать мне развод на условии, что ему возместят... убытки от «возможной потери уроков в институте в случае объявления его нарушившим верность супругом» — капиталом, дающим ему ренту в 2000 рублей ежегодно. В подобной ренте он чувствует потребность еще и потому, «что боится, что от мести моей придется ему бросить все и ехать за границу на всю жизнь». Выразив свое желание, г-н Шварсалон прибавил, что в случае его неисполнения он намеревается на суде изложить «скандальные разоблачения про жену». Брат мой, или «испуганный Предводитель», как я его прозвала, пришел в столь великий ужас перед сею угрозою, что, не дожидаясь даже моего согласия, призвал адвоката и еще раз г-на Шварсалона и устроил какой-то экономический совет, на котором, между прочим, трактовалось о том, не согласен ли Шварсалон получить свой капитал с условием по своей смерти завещать его детям, но на это г-н Шварсалон не согласился, ибо знает, что «моя жена так горда, что не примет денег от меня для детей». Словом, пошла там шантажная работа вовсю! Я телеграммами и письмами пыталась остановить всякое дальнейшее действие брата и адвоката и объяснила первому, что развод мой очень верный по количеству обвинительного материала и по истинности свидетелей (это говорил зимою мне адвокат), что развод, добытый правильно и силою, более тверд, чем развод, данный по согласию мужа с неизбежною комедией, что же касается угроз г-на Шварсалона, то они повредить делу могут мало, ибо на законном основании в Париже фактов добыть против меня он не мог, а диффамировать меня он может всегда и везде и после и до получения взятки и вечно будет продолжать столь удачно начатый шантаж. К тому же и права я перед детьми не имею уменьшать свое наследство от отца на 50 тысяч и оставлять их без средств в будущем ради покупки их теперь у их батюшки.

Прибавлю еще Вам то, что пишу теперь матери⁵, то есть что и после получения развода и даже исполнения заветной мечты матери и Предводителя узаконения моего положения браком с Вячеславом я буду по-прежнему удобным предметом для шантажа г-ну Шварсалону, ибо наш брак будет незаконен. Словом, этот подкуп и смысла не имеет и, кроме того, идет против моего чувства так сильно, что знаю наперед, что никогда на него согласиться не могу.

Написала своему преданному, умному и близкому мне по воззрениям и чувствам другу Гаген-Торну⁶ (помогавшему мне с первой минуты потрясшего

меня открытия подлости г-на Шварсалона) и просила его пойти к адвокату передать ему лично мое письмо и переговорить с ним вместо меня, главным же образом добиться гарантии, что без моего разрешения не станут предпринимать каких-либо мер. Получила от Гаген-Торна телеграмму: «Votre volonté sera respectée, attendez lettre»⁷. Жду на днях письма, но дело спешное, ибо последнее и решающее заседание консистории назначено на 13 октября старого стиля.

Теперь объясню, как мы оказались здесь: решили временно на эту зиму, пока дело не решено, переселиться на Ривьеру. Дорога не далекая, климат чудный, что для моего горла хорошо. Италия для нас — рай, притом <нрзб.> условия, мы надеялись найти очень дешевое и удобное местожительство. Дети также не потеряют, так как Вячеслав Иванович занимается с Сережей⁸ и легко пройдет с ним еще 7-ой и 6-ой класс лицея. С Верой⁹ занимаемся оба. Действительно мы нашли еще неизвестное иностранцам местечко в одном часе от Генуи за Пелан — Agenzano. Оно очень красиво, защищено идеально от трамонта¹⁰, и над городком в 10 минутах мы сняли половину чудесного виллино с огромной террасой, с садом, с видом чарующим через море олив на Генуэзский залив. 4 комнаты и кухня, хорошая мебель — и все это за 55 франков в месяц. Провизия очень дешева. Народ не избалован и симпатичен. Была я у доктора, профессора Генуэзского университета, он нашел у меня легкий паралич голосовых связок и общее малокровие. Я здесь буду греться и отдыхать, и я очень счастлива, даже более чем счастлива, только бы не уезжать в Россию. Что касается наших парижских квартир, то в будущем они или не пригодятся, так как я более не буду жить на иную фамилию, как Ивановой, и мне не нравится быть слишком отдаленной от детей. Посылаю Аньоту¹¹ вскоре в Париж, чтобы похлопотать с моими вещами. Она, бедная, очень огорчена тем, что не живет в Париже и не видит Вас. О ней я пишу Владимиру Августовичу, а также о несчастной Шарлотте¹². Простите, что все приходится беспокоить его. Прошу Вас вот о чем.

Во-первых, никому ни под каким видом, кроме, конечно, Владимира Августовича, о предложении Шварсалона относительно ренты не говорить. Я скрываю это старательно от всех, и прежде всего ради самих детей, не желая предавать гласности позорные négociations¹³ их отца на их счет.

Во-вторых, прошу Вас и адрес мой держать от всех в глубокой тайне, чтобы случайно не выдался секрет и я могла бы быть вполне спокойна здесь.

Очень тоскливо, что не имею надежды увидеть Вас теперь, и очень прошу Вас время от времени писать мне хоть несколько строчек, иначе совсем скучно будет по Вас на душе.

Если бы Вы видели, какая здесь красота! И мне является мысль, как было бы хорошо, если бы Ваграмка¹⁴ была ближе, а то очень боюсь, что Вы будете молчать по месяцам. Но делать нечего: приходится делаться цыганами, хотя и не родились мы с кочевыми инстинктами. Правда и то, что наши скитания имеют в себе для меня и много поэзии, и радости, и пользы. Словом, не могу не быть довольною своею жизнью и не знала бы, что в ней изменить.

Дети все Вас крепко целуют. Они отлично поправились и все становятся старше и несколько умнее. Справляться с ними легко теперь и весело видеть интересы к учению и к окружающему двух старших. Ольга¹⁵ очень полезный член семьи и гораздо лучше, чем Вы о ней думали. Она несколько *terre à terre*¹⁶ и мещанка, но привязана, честна и всем счастлива и довольна.

У нас с Вячеславом чудесная комнатка с видом на море вплоть до Генуи и дальше в туман до Специи. Мы здесь в тишине можем хорошо заниматься. Он Вам очень кланяется. Желаем Вам всего хорошего на эту зиму и, как фундамент всего, здоровья. Спасибо Семенову¹⁷ за то, что отходил Вас летом. Пора было построже приняться за Вас. Наташу¹⁸ поцелуйте крепко. Надеюсь, что зима будет ей радостная. Пожелайте ей счастья в ее новом деле. Когда приеду, надеюсь услышать ее голос.

Простите мне бестолковость письма, не знаю, почему совершенно не могу писать сегодня.

Вам горячо преданная и любящая Вас Лидия Зиновьева.

Простите за хлопоты и благодарю.

¹ Ука — домашнее имя А. В. Гольштейна (ок. 1884 — ок. 1971), сына В. А. и А. В. Гольштейн. Юрист, работал на русской таможне КВЖД. Умер в Китае, куда переехал в 1908 году.

² У Гольштейн были еще сыновья от первого брака с Н. И. Вебером — Лев и Валериан. Л. Н. Вебер (1870 — 1956) — доктор медицины, умер в Женеве; В. Н. Вебер (1871 — 1940) — известный русский геолог и палеонтолог, умер в Ленинграде (см. о нем: Марковский А. П., Чернышева Н. Е. Валериан Николаевич Вебер. — В кн.: «Выдающиеся ученые Геологического комитета». Л. 1984, стр. 32 — 53).

³ Имеется в виду Зиновьев Александр Дмитриевич (1854 — 1931).

⁴ Шварсалон Константин Семенович — первый муж Зиновьевой-Аннибал, бракоразводный процесс с которым растянулся на долгие годы. Дети Зиновьевой-Аннибал от первого брака жили с ней и с Ивановым.

⁵ Софье Александровне Зиновьевой.

⁶ Возможно, Гаген-Торн Иван Эдуардович, профессор петербургской Военно-медицинской академии, близкий к кадетскому кругу. См. о нем: Гаген-Торн Н. И. Memoria. М. 1994, стр. 3, 7.

⁷ Ваша воля будет соблюдена. Ждите письма (*франц.*).

⁸ Сережа — Шварсалон Сергей Константинович (1887 — ?), сын Зиновьевой-Аннибал. См. о нем: Аздовский К. М. Эпизоды. — «Новое литературное обозрение», № 10 (1994).

⁹ Вера — Шварсалон Вера Константиновна (1890 — 1920), дочь Зиновьевой-Аннибал, будущая третья жена Иванова.

¹⁰ Трамонтана, северный ветер в Средиземноморье.

¹¹ Анята — Шустова Анна Николаевна, подруга и горничная Зиновьевой-Аннибал.

¹² Шарлотта — неустановленное лицо.

¹³ Переговоры (*франц.*).

¹⁴ Ваграмка — авеню де Ваграм, улица в Париже, на которой жили Гольштейны до начала лета 1898 года.

¹⁵ Ольга — Никитина Ольга Федоровна (? — 1947), подруга Зиновьевой-Аннибал, впоследствии жена Остроги Феликса Валериановича (1867 — 1937), музыканта, композитора, профессора Женевской консерватории (давал уроки музыки дочери Гольштейнов).

¹⁶ Проста (*франц.*).

¹⁷ Семенов Юлий Федорович (1873 — 1947) — друг семьи Гольштейн, был женат на их дочери Наталье Владимировне Гольштейн (1880 — 1953). Впоследствии редактор парижской газеты «Возрождение».

¹⁸ Наташа — Гольштейн Наталья Владимировна.

В. И. ИВАНОВ — А. В. ГОЛЬШТЕЙН

Петербург,
3/15 июля <18>98

Глубокоуважаемая Александра Васильевна,

Благодарю Вас за письмо и доброе извещение. Хотя я и оказался, вопреки Вашему предположению, не с семьей, — все же оно было получено мной не слишком поздно и послужило для Л<идии> Д<митриевны> — которая чрезвычайно благодарна Вам — очень желательным дополнением к письмам Мме Nuges!': деньги были тотчас высланы ей, и, быть может, она управится ко времени; домовладелица Л<идии> Д<митриевны> также просила оказать возможное снисхождение. Поездка Л<идии> Д<митриевны> в Петербург была попыткой двинуть дело личным участием и принесла, мне кажется, в этом отношении некоторую пользу. Дело не решено еще и в первой инстанции благодаря искусному затягиванию его Ш<варсалона>м; но присутствие Л<идии>

Д<митриевны> в Петербурге было полезно, между прочим, уже тем, что дало возможность путем представления обстоятельных медицинских и, специально, психиатрических свидетельств немедленно ответить на новую проделку Ш<варсалон>а — на ходатайство его о расторжении брака в его пользу (с предоставлением, следовательно, детей ему) — по причине душевной болезни жены, обусловленной «печальным (!) законом наследственности» и проявляющейся в *idée fixe* освобождения от него, Ш<варсалон>а, и в болезненно-ожесточенном против него настроении... Что касается моего сопутствования, то оно, на мой взгляд, требовалось подавленным нравственным состоянием Л<идии> Д<митриевны>; кроме того, мне хотелось регулировать свои литературные дела, — не говоря уже о поездке в Харьков², которая оказалась неудобной; я серьезно думал об издании за это время своего *volume de vers*³, но некоторые соображения и компетентные советы практического характера, сойдясь с моею жаждой дополнений и усовершенствований, побудили меня и на этот раз остаться верным своему принципу выжидания и медлительности... В настоящее время Л<идия> Д<митриевна> находится, вот уже с неделю, в Киеве, где набирается русских впечатлений; я же ожидаю ее извещения, чтобы выехать в Москву, где мы встретимся и откуда вскоре тронемся домой. С Иваном Михайловичем⁴ я много и хорошо виделся; рад, что Вам также вскоре предстоит свидание с ним... Оплакиваю уничтожение Ваграмки, которое, серьезно, в некотором роде представляется мне подобным падению Трои; и — храня в душе струны меланхолика — вспоминаю с горечью «губку» древнего поэта, бесследно стирающую дела людей...

Желаю Вам на новосельи здоровья и сил; шлю искренний привет Владимиру Августовичу и Наталии Владимировне.

Преданный Вам Вячеслав Иванов.

¹ Неустановленное лицо.

² В Харькове жила первая жена Иванова Дарья Михайловна Дмитриевская (1864 — 1933) с дочерью Александрой Вячеславовной (1887 — не позднее 1917).

³ Тома стихотворений (*франц.*).

⁴ Гревс Иван Михайлович (1860 — 1941) — историк, один из создателей петербургской школы медиевистики, профессор Петербургского университета. Друг Иванова и Гольштейн.

Л. Д. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ — А. В. ГОЛЬШТЕЙН

27 декабря 1899 г.
27, Endsleigh Gardens
Gordon Square
N. W.

Дорогая Александра Васильевна,

Благодарю Вас за Ваше письмо. Мне было отраднo читать добрые строки. Мне ясно было из них, что Вы понимаете всю глубину и непоправимость горя, какое приносит смерть¹, и мне еще и еще хочется сказать Вам одно: что я ее любила, любила всеми силами своего существа, что в ней умерла вся радость, вся жизнь навек померкла.

Все дурное, что я сделала, а я так много сделала дурного другим, и другие много плакали непоправимых, неискупимых слез из-за меня, и все это горе, казалось, простилось мне в той светлой деточке, такую небывало мирную радость она дала мне. Жизнь моя с нею давно началась: еще когда я носила ее, мне все казалось, что она светленькая и что мы с ней вдвоем. Потом она родилась, и я была так счастлива, как никогда раньше. Ее комнатка была моею мечтою день и ночь, ее улыбка — моим светом и силою. Я любила, любила, любила ее, и за это она умерла на земле. Но сильнее смерти любовь та, и она,

моя детка, со мною. Мы с нею неразлучны, и только злоба может отпугнуть ее. Она пошла одна без матери, без няни, без сосочки, без теплого огня в могилку с крестиком в ручке, с образочком в головах и на грудке. Анюта одела на нее кисейное длинное покрывало, как на маленькую святую невесту. Но любовь сильнее той могилки, потому что несмотря на ту смерть я всегда с моей Еленушкой, всегда, всегда.

Я пропустила несколько дней, чтобы продолжить это письмо, дорогая Александра Васильевна, потому что все лежат вокруг меня. Инфлюэнца здесь очень злая и раз за разом нападает на нас. Я одна не хворала и все нянчила больных, отчего очень устала. Теперь письмо это придет к Новому году. Другому я не решилась бы послать это письмо, но верю, что кто глубоко-глубоко жил и в жизнь вдумывался, тот не боится ее, потому что ничто до глубины души коснуться не может, даже из самой глубины этой жизни знает в себе еще большую глубину, для жизни недоступную. Поэтому я решилась сказать Вам и в этом письме все мои горячие пожелания хорошего, счастливого года: чтобы замыслы Ваши осуществлялись с успехом и чтобы в душе у Вас был мир. Что будет с моей душой в этот год, не знаю и не знаю, на какую дорогу выйдет мысль из этого надлома всего существа: мне кажется, что все мое существо надавлено, выдавлено и, как червь наполовину раздавленный, я тащусь куда-то. Сказать должна: «Да будет воля Твоя», и говорю и скажу.

Попали мы сюда, быть может, благодаря злосчастному часу, когда решили после долгих мучительных размышлений ради детей переехать на север, где старшие могли бы ходить в хорошую школу и пользоваться тем, что дает полезного воспитанию цивилизация (после изнеженной мертвой итальянщины вокруг, влияния которой мы боялись для детей). Также ради младших, которые вместе со старшими приобретут важный европейский язык. Также я мечтала, что Вячеслав освободится от труда многочасовых уроков детям. Труд им любимый, но который давно мучал меня, потому что слишком отрывал его от науки. Я думала, что в Лондоне он воскреснет к науке благодаря свободе и библиотеке несравненной. Так все сначала и оправдалось, и хотя мы оба уезжали с глубоким надрывом из обожаемого края, и хотя наши жаркие желания поворачивали пароход «Вауегн», везший нас в Southhampton, на юг к Греции, в страну нашей давней мечты. Пока жила Елена, мы несмотря на многие внешние отвратительные стороны лондонской boarding-house² жизни устроились очень плодотворно для научных работ и воспитания. Школа Сергея оказалась сокровищем с директором невиданной доброты и педагогической дельности. Британский музей — неистощимым храмом науки и искусства. Но вот умерла она, и все покачнулось. Дети все захворали, потускнели совсем, бледные, малокровные, Сергей болен с краткими перерывами уже 3 недели. Вячеслав лежит в непонятном жару 2 недели. Анюта тоже дней 10 болела, младшие ходят как тени. Туманы, как желтая тюрьма, охватывают город, тусклые красные огни горят с утра и, как туман и страх и одиночество, охватывают нашу душу. Жизнь стала и как и когда двинется, кто знает. Были же времена иные, когда широко раскрывалось сердце под южным небом у южного моря, и любило, и вмещало так многое, и все было ему родным, братским.

Дорогая Александра Васильевна, напишите о себе все, что можете: мы никогда не забывали Вас и не могли забыть. Если не писали, то исключительно потому, что писать надо было слишком многое, и я так странно отношусь к письмам: чем важнее и ближе лежит на сердце письмо, тем труднее мне написать его, и все чувства и мысли хоронятся в душе, пока внешний сильный толчок не вырвет их, и тогда я написала Вам, и Вы, и Владимир Августович оба поняли, что лишь глубокая привязанность могла-таки бросить меня со всею

тоскою и всем моим отношением к Вам с твердой верою не быть оттолкнутой и со смелостью дружбы, которая не стыдится и решается навязать другу свою тяжкую печаль. И как Вы поняли меня! Я никогда не забуду Вашего письма, единственного, так глубоко проникшего в мою душу, утишившего мою скорбь откровений другой души, глубоко учувшей мрак непонятной жизни, кем и к чему возложенной? Почему еще хочу сказать и кому: да будет воля Твоя. Еще не писала и потому, что вечно собираюсь не то в Лондон, не то в Париж и все не решалась тронуться с места. Надеюсь, что общее о нас знаете через письма Анюты. Одно из них еще к прошлому Новому году она, бедная, послала в мое отсутствие, и Ольга написала неверно адрес, отчего мы получили письмо обратно. Она теперь еще больна и потому не пишет сама, а просит передать Вам обоим свои горячие пожелания. Она глубоко Вам предана и благодарна. Скоро сама о себе напишет. Вячеслав горячо благодарен Вам, Александра Васильевна, за теплое слово и передает Вам обоим свои сердечные пожелания к Новому году.

Письмо это затянула еще на день, и сегодня 1 января 1900 года. Еще и еще проживите его счастливо, и пусть письмо мое придет в счастливый час, и пусть столетие начнется в радости и надежде.

Жизнь нам дана, и чем мрачнее она, тем больше, и глубже, и неотразимее вера в ее святое значение.

Лидия Зиновьева.

Р. S. Очень прошу о большой услуге: нам необходимо знать одно правило о записях рождений в парижских мэриях: может ли мать, не заявившая своего имени при рождении ребенка, заявить и вписать его, по желанию, позже.

<Приписка В. А. ГОЛЬШТЕЙНУ>

1 января 1900.

Дорогой Владимир Августович,

Горячо благодарю Вас за Ваше доброе письмо. Я уже сказала Александре Васильевне, что Вы верно поняли мой порыв обратиться к Вам в горе, и благодарю Вас за Ваше понимание.

Всего наилучшего желаю к Новому году от глубины души.

Л. Зиновьева.

От Гревса слышала, что Наташа³ невеста. Правда ли? Можно ли поздравить ее и Вас? Крепко целую ее.

¹ Дочь Зиновьевой-Аннибал и Иванова Елена умерла, не прожив шести месяцев (см.: Иванова Л. В. Воспоминания. М. 1992, стр. 13).

² Гостиничной (англ.).

³ Н. В. Гольштейн вышла замуж за Ю. Ф. Семенова в августе 1900 года.

А. В. ГОЛЬШТЕЙН — Л. Д. ЗИНОВЬЕВОЙ-АННИБАЛ

<Июнь 1900.>

Очень была бы рада видеть Вячеслава Ивановича, если бы он вздумал приехать еще раз посмотреть на выставку, если же он не придет и если все еще продолжает желать издать свой сборник¹ у Пантелеева², то пусть напишет обстоятельно, что я должна предложить Пантелееву; я уже забыла его условия, потому что о них было говорено вскользь.

Очень радуюсь Вашим вестям о Соф<ье> Алек<сандровне> и надеюсь, что здоровье ее поправится окончательно.

Сегодня Ука выдержал вторую половину своего бакалаврского экзамена. C'est fini³, среднее образование. Какое счастье! Правда?

У нас все благополучно.

Крепко Вас, моя милая, целую и милую Вашу маму тоже.

Ваша А. Г.

¹ Иванов готовил к печати со второй половины 1890-х годов свой первый сборник стихов «Кормчие звезды».

² Пантелеев Лонгин Федорович (1840 — 1919) — издатель и общественный деятель, автор известных «Воспоминаний» (М. — Л., 1958) См. о нем: Баренбаум И. Е., Костылева Н. А. Книжный Петербург — Ленинград. Л. 1986, стр. 244 — 246.

³ Закончено (франц.).

В. И. ИВАНОВ — А. В. ГОЛЬШТЕЙН

Адрес: почт<овая> станция Копорье
СПб. губ<ернии>

Копорье,
20 авг<уста>
2 сент<ября 1>900

Глубокоуважаемая Александра Васильевна,

Как раз собирался я писать Вам — просить у Вас извинения за долгое молчание, благодарить Вас за дружеские письма и доброе участие истинной дружбы, наконец — спросить Вас, о чем спрашиваю ниже, — когда сначала записка Лидии, потом (в тот же день) ее неожиданный приезд с Костей¹ ко мне в Сестрорецк, где я сидел под городом ради хлопот и работ в городе (Костю оказалось нужным свозить к доктору), — известили меня о рождении Вашего внука, что заставило меня испытать за Вас всех живейшую радость²: так живо почувствовалось мне, что в Вашу семью упал с ним золотой горячий луч новой жизни и новой надежды и преломился в душе каждого из Вас своей полосой радужного спектра! Вас, и Владимира Августовича, и Юлия Федоровича, и, конечно, уже превыше всех счастливую мать, — всех поздравляю с одним общим счастьем и каждого — с его особенным... Но эти ощущения живейшего сорадования остались по необходимости невысказанными все эти дни, пока мы без устали кружились с Лидией и пока, прошлою ночью, не попали наконец в прочное Копорье³, — как невысказанным осталось и мое горячее сорадование счастливому окончанию учебных мытарств Владимира Августовича и его выступлению на свободную дорогу⁴, каковое событие во всем его важном значении я умею ценить, почему и присовокупляю свои несколько запоздалые поздравления и с этою радостью!.. Только что узнал из письма Вашего к М<арье> М<ихайловне> Замятниной⁵ о Вашем разговоре с Пантелеевым⁶, был поистине тронут Вашим вниманием и помощью и сердечно благодарю Вас! Но книга уже с месяц как печатается в типографии Суворина⁷ — простите великодушно, что не предупредил Вас своевременно, вижу ясно неправильность своего поступка! Думаю, что Пантелеев пожелал бы рассмотреть мой сборник и — не остался бы им доволен по разным причинам. Как бы то ни было, дело сделано. Теперь же, глубокоуважаемая Александра Васильевна, прошу Вас написать мне, если возможно, сюда (уезжаем в последних числах русского августа) — по сердцу ли Вам прилагаемый сонет (один из моих «Итальян<ских> сонетов») и, если да, разрешаете ли Вы дедигировать его Вам, ибо писал я его (было это уже давно, еще в Италии), думая именно о Вас⁸. Прошу об извещении ввиду настоятельности корректур. Желал бы вскоре увидеть Вас всех (теперь уже считаю шестерых) и лично приветствовать радостно радостных, но не знаю еще ничего о возможности свидания. Верьте заочно добрым, дружеским, благодарным чувствам Вашего Вяч<еслава> Иванова.

«CENA»

Леонардо да Винчи

Гость Севера! когда твоя дорога
Ведет к вратам единственного града,
Где блещет храм, чья снежная прохлада
Эфирней Альп встает у их порога;

Но Красота смиренствует, убога,
Средь нищих стен, как бедная лампада:
Туда иди из мраморного сада
И гостем будь за вечерю Бога.

Дерзай! Здесь мира скорбь и желчь потира!
Ты зришь ли луч под тайной бранных линий?
И вызов Зла смятенным чадам Мира?..

Из тесных окон светит вечер синий:
Се, Красота из синего зефира,
Тиха, нисходит в жертвенный триклиний.

¹ Костя — Шварсалон Константин Константинович (1887 — 1918?), сын Зиновьевой-Аннибал от первого брака.

² 31 августа 1900 года у дочери Гольштейн Н. В. Семеновой родился сын Алексей.

³ Копорье — родовое имение Зиновьевых.

⁴ В. А. Гольштейн ушел из газеты «Semaine Médicale», работой в которой он не был доволен.

⁵ Замятнина Мария Михайловна (1865 — 1919) — подруга Зиновьевой-Аннибал, домоправительница Ивановых.

⁶ Письмо Гольштейн от 21 августа 1900 года к М. М. Замятниной:

Многоуважаемая Мария Михайловна

Я потеряла адрес Иванова. Написала Лидии на адрес Соф<ьи> Алекс<андровны> о рождении моего внука. Теперь прошу Вас передать Вяч<еславу> Ив<ановичу>, что я виделась мельком с Пантелеевым. Говорила о сборнике. Вынесла впечатление, что Пант<елеев> издаст сборник. Пусть Вяч<еслав> Ив<анович> подождет его в Петерб<урге>, он теперь поехал кончать лето в Саксонскую Швейцарию.

Всего Вам хорошего. Очень прошу извинить за торопливость этой записки.

Преданная Вам А. Гольштейн.

⁷ Первая книга стихов Вяч. Иванова «Кормчие звезды» была напечатана в типографии А. С. Суворина (СПб., 1902, 1903).

⁸ Стихотворение вошло в сборник «Кормчие звезды», с посвящением А. В. Гольштейн, под названием «„Вечера“ Леонардо», с небольшими разночтениями.

А. В. ГОЛЬШТЕЙН — В. И. ИВАНОВУ и Л. Д. ЗИНОВЬЕВОЙ-АННИБАЛ

20 мая <1902>

Ronjoux. La Motte-Servoles.
Savoie.

Дорогие друзья.

Вот я снова в тихом Ronjoux. Покрытые снегом горы царят над цветущей долиной, как смерть над жизнью; над горами медленно плывут облака, то лизнут вершину, то поднимутся. Кукушки перекликаются, старый фонтан журчит, падая в старый, позеленевший от времени и непогод резервуар. Тихо, мир кругом, примирение, «покорность».

Вот мое впечатление нарушается пробуждением моих сожителей, которые обсуждают в коридоре у моей двери важный вопрос о том, надо ли брать ванну с «пенесом» или без «пенеса»... Что-то решили и ушли.

Навсегда унесла с собою воспоминания о твоей, Лидия, экспансивной дружбе и Вашей, Вячеслав Иванович, вдумчивой дружбе, которая у меня ассоциирована с обгрызком карандаша маленькой Лидии¹. Я этот обгрызок сохраняю на всю жизнь. По маленькой Лидии я поняла Вячес<лава> Ив<ановича> в душевном его образе, который был мне чужд. Обгрызок карандаша — это новый фазис моей дружбы с Вяч<еславом> Ив<ановичем>. Глупо? Но я так чувствую. Уношу с собою и образ М<арии> Мих<айловны>, ее кроткое сияние.

Спасибо всем Вам.

Детей всех нежно целую.

Ваша А. Г.

Гольштейн приедет в Женеву в будущий вторник. Лидия, напиши ему, чтобы он приютился у тебя. Я писала, но и ты напиши. По себе знаю, что это так необходимо. Главное, напиши, чтобы взял с собою работу, которая ему позволит прожить немного больше в Женеве.

¹ Лидия — Иванова Лидия Вячеславовна (1896 — 1985), дочь Иванова и Зиновьевой-Аннибал.

Л. Д. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ — В. А. ГОЛЬШТЕЙНУ

Villa Java, Châtelaine, Genève,
28 ноября <19>02

Дорогой друг Владимир Августович,
<...> Что же не едете? Ждем. Каша, щи, борщ, пироги воскресные настоящие, дружба, сад, горы, дом со всякими воспоминаниями виденного, главное же, любовная дружба ждет Вас. Каковы же дела? Каковы дела дорогой Александры Васильевны? Одного слова просим.

Книга Вячеслава была бы уже в витринах, если бы... Цензура остановила одну из парижских эпиграмм¹ с выражением:

Братство, Равенство, Свобода,
Эти пугала царей и т. д.

Заглавие: «Qui pro quo». Прислали из типографии очень милостиво вычеркнутую страницу с просьбой как можно скорее заменить ее². Вяч<еслав> послал на другой же день замену и теперь дрожит, потому что если раскусят, то, кажется, очень недобровать. Ужасно обидная задержка. Он работает хорошо и разнообразно.

В университете здесь знаменитый санскритолог³, и Вяч<еслав> исполнил то, к чему давно его нудило: изучает санскрит. Ему это необходимо почти, если не совсем даже как для научных изучений в области истории религий, так и даже для поэтического творчества, которое близко соприкасается с ученым. Кроме того, он работает над трагедиями, т. е. своей трилогией.

Я нынче тоже двинулась в своих литерат<урных> делах, то есть решилась печатать первую часть (в себе достаточно законченную) своего романа⁴ и теперь выгадываю минуты для работы, как скупец гроши.

Дети ничего себе, только Вера в критические годы вошла и стала очень малокровна, так что эскулапка Добровольская не пускает ее в школу. А какой славный, светлый человек эта эскулапка! Я очень полюбила ее душу и ее басок. Молчу.

А какие времена-то в России! Надеюсь, что у Вас все ладно. О Мар<ье> Васил<ьевне>⁵ ничего не знаем. Нас Лев Ник<олаевич> не допускает, т. е., вероятно, меня. Думаю, что он побаивается меня, как бы я не взволновала больную. Мы не раз говорили, что находимся aux ordres du téléphone⁶.

От Гревса имеем хорошие известия. Он читает в университете на курсах и в политехникуме, и факультет требует у министра утверждения его профессором

университета». Только ноет по привычке и говорит, что оттого, что вокруг худо. Но лучше не буду писать о нем: не люблю его.

Да, насчет религии: зачем Вы все это весною проповедовали Сереже и насмехались над его верою? Нехорошо. Во-первых, дурно вообще себя навязывать детям, т. е. свои разрушительные мнения, выработанные жизнью. А во-вторых, плохо ставить его в недоумение относительно матери. Почему Вы знаете меня, Вы и Александра Васильевна; ведь Вы же совсем не знаете меня, подумайте-ка искренно и просто без предвзятости об этом. И как можете Вы знать меня, когда я сама никогда не знала себя и еще недавно нашла свои старые письма, которые удивили меня, и именно глубиною религиозности всего внутреннего моего существа, и эта религиозность во мне было первое, что поразило Вячеслава при первой встрече со мною. Пишу все это откровенно от дружбы и для того, чтобы сказать Вам в лицо то, что столько раз думала о Вас. Вы очень решительны в Ваших суждениях о людях, но это часто вредит их глубине и, главное, слепит. Простите и бранитесь, если находите, что я дурно выражаюсь.

Ваш любящий, верный друг «Лидия Иванова-Зиновьева».

<Приписка В. И. ИВАНОВА?>

Дорогой друг, любимый и уважаемый сердечно Владимир Августович! Примите столь — увы! — запоздалое выражение моей постоянно обновляемой Вам благодарности. Чувствую себя хорошо, работаю и все надеюсь на свидание и часто вздыхаю по общению с Вами и Александрой Васильевной. Ей целую ручки и часто вспоминаю ее, углубляясь понемногу в открывающуюся мне Индию.

В. И.

¹ «Парижские эпиграммы», раздел сборника «Кормчие звезды».

² Из типографии А. С. Суворина 2 ноября 1902 года было послано следующее письмо: «...Контора типографии имеет честь уведомить Вас, что в сочинении Вашем цензура не допускает одно стихотворение на 219 странице, которое и прилагается. Книга задержана. Поспешите выслать на одну страницу для замены...» (ОР РГБ, ф. 109, к. 15, д. 44, л. 1).

³ Фердинанд де Соссюр (1857 — 1913), швейцарский лингвист, исследователь индоевропейских языков, теоретик языкознания.

⁴ Имеется в виду незаконченный роман «Пламенники».

⁵ Якунчикова Мария Васильевна (1870 — 1902) — художница, жена Л. Н. Вебера. Умерла 14(27) декабря 1902 года.

⁶ На телефоне (франц.).

⁷ Приписка начинается с чертежика, который не воспроизводится здесь по техническим причинам.

А. В. ГОЛЬШТЕЙН — В. И. ИВАНОВУ

<Ноябрь — декабрь 1902 г.>

Дорогой Вячеслав Иванович,

Обращаюсь к Вам с просьбой и с требованием. Просьба моя заключается в том, чтобы Вы прочли посылаемую *не конченную* статью¹. Требование в том, чтобы Вы доказали мне свою дружбу *беспощадным* отношением к ней. Вот в чем дело: я решительно, безусловно, не судья тому, что пишу. Мой обычный судья — Влад<имир> Август<ович>. Сегодня, сомневаясь в том, стоит ли кончать посылаемую статью — мне всегда кажется, что не стоит, — я дала ему прочесть ее, и он нашел, что она скучная и плохая. Я не хотела бы посылать совсем плохой вещи, что всегда невыгодно для сношений с редакциями, да неприятно и друзей заставлять хлопотать о заведомо негодной работе. En dé-

sespoir de cause² я обращаюсь к Вашему высокоценному для меня мнению и к Вашей верной дружбе.

Прочтите, судите, забудьте свою симпатию к автору и скажите очень прямо — можно ли послать такую вещь, не компрометируя себя. Конечно, если Лидия пожелает прочесть и высказаться — буду благодарна. Посылаю рукопись совсем сырую, со всеми описками и *совсем* мною не перечитанную, поэтому на детали языка и проч^{<ее>} не обращайтесь внимания. Для меня важно знать, стоит ли ее отделять и кончать. Конец должен заключаться в характеристике «<Le> Bon Plaisir»³ и в нескольких заключительных словах о том, как ценно художественное воспроизведение исторических моментов, даже если оно не соответствует вполне исторической истине. Я по этому поводу думаю сделать выписку из Vernon Lee⁴. Все это уложится на 30 — 40 листиках.

Так вот, дорогой Вячеслав Иванович, посылаю Вам бесстыдно свое неумытое детище, которое, кажется, представляет собою мертворожденного уродца.

Итак, беспощадная строгость, если Вы меня любите. Строгость должна Вам быть легка, потому что я не имею авторского самолюбия, к несчастью!

Ваша Александра Гол<ьштейн>.

¹ Статья Гольштейн (А. В. Баулер) «К характеристике направлений современного романа во Франции» опубликована в московском журнале «Научное слово» (1903, кн. 2).

² С отчаяния (*франц.*).

³ «Le Bon Plaisir» — роман французского писателя Анри де Ренье, с историческим колоритом. В русском переводе под названием «По прихоти короля» вошел в Полное собрание сочинений и переводов А. де Ренье (Л., 1922 — 1926).

⁴ Vernon Lee — Ли Вернон, псевдоним английской писательницы Вайолет Пэйджет (1856 — 1935), постоянно жившей в Италии, автора трудов по истории искусств и культуры.

В. И. ИВАНОВ — А. В. ГОЛЬШТЕЙН

16 дек<абря 1>902.

Глубокоуважаемая Александра Васильевна!

Как ни стараюсь ожесточиться, — не нахожу в себе требуемой Вами желчи. Напрасно прислушиваюсь к внушениям злобных сил (разумею Влад<имира> Августовича): они выказывают свое бессилие утверждениями, слишком прямо противоречащими очевидной истине. Ваша статья так «скупна», что от нее трудно оторваться, когда начинаешь следить за нитью пересказываемой Вами с таким искусством эпопеи. Не знаю, покажется ли она интересной русским читателям и научит ли чему их, — мне она ярко осветила и осмыслила целую эпоху и открыла глаза на новый и любопытнейший феномен литературной эволюции. Итак, опять принужден поставить Вам отличную отметку, — и это при искреннем желании быть нелицеприятным. Правда, *забыть* (как Вы требуете), что читаю *Вас*, — мне невозможно. Все, что Вы пишете, — всегда лично; и даже когда Вы пишете не *свое*, Вы пишете *по-своему*. У Вас вполне свой стиль; его качества прежде всего — энергия, свободная простота и естественность, прямота и та меткая сжатость, которую древние называли «быстротой». В Вашем изложении мастерская рельефность; а когда Вы — как бы беспритязательно и быстро Вы ни делали этого — начинаете повествовать, хотя бы и не от своего лица, о том, чего Вы были свидетельницей и что переживали вместе с детьми эпохи, *cela palpite bien autrement*¹ — чем обычные *aragçus*² этого рода. Выбор и постановка темы заслуживает безусловной похвалы*. Анализы эстетические могли бы, быть может, получить более

* Именно самое открытие случайно брошенной Неппекин'ом³ формулы (— заметил ли се кто раньше? —) и вывод из нее последствий в применении к текущей литературе — есть *прямая заслуга*.

широкое развитие. Ваша отзывчивость и тонкость оценок и наблюдений мне давно известны; к этим данным качествам присоединяется в статье особенная объективность и как бы научная добросовестность всматривания и определения, — быть может, как следствие Ваших изучений Hennequin'a. Еще шаг в субтилизации — и, путем систематического подбора цитат и более методического синтеза, — можно было бы прийти к более точно формулированным, более «научным» (!) выводам, «*définir l'écrivain*»⁴... Но для русского журнала такое расширение (или углубление) критической задачи, быть может, именно нежелательно. Другое дело — определение «демотического романа» вообще. Это — новая литературная формула, и исследовать ее возникновение и природу шире, углубленнее было бы, я думаю, вполне кстати. Быть может, и всю статью можно было бы озаглавить «Новая формула романа: роман демотический», — или в таком роде [— хотя, с другой стороны, мне нравилось бы и что-нибудь вроде: «Патриотизм как декадентство» или «*Une nouvelle exhalaison de la fièvre française*»⁵, — по М. Барресу⁶ и в применении к нему]⁷. В этой связи хотелось бы мне, чтобы Вы развили и попутное замечание (принадлежащее Hennequin'у) о «Войне и мире» как образчике демотического романа. Сходство Толстого с Барресом в частности — большее, чем кажется с первого взгляда: как историк, он столь же субъективен, его оценки столь же личны — только он бессознателен нормальной бессознательностью эпох здоровья, тогда как декадент Баррес *лжет* (не как человек партии только, но и как артист и *soi-disant*⁸ философ) сознательно, преднамеренно, рассчитанно, в силу идеалистического принципа автономности Я, все равно индивидуального или национального. Положение, к которому мы с Вами приходим, естественно, в силу всей нашей артистической эволюции, — именно, что «ценно художественное воспроизведение исторических моментов, даже если оно не соответствует вполне исторической истине», — едва ли по сердцу будет наивно-правдолюбивым (то есть здорово-бессознательным) соотечественникам; между тем это — так, и Аристофан тому свидетель! Об Аристофане упомянул я не случайно. La morgue et la priviège de cette civilisation gréco-latine qui est la civilisation par excellence⁹, — не *в том только*, чтобы противопоставлять себя «варварам» (кстати, от себя, — варвары истинно все, кроме латинцев), — но *в том*, чтобы видеть в «варварах» не то, чем они *должны* быть сообразно *стилю* и постулатам полноправной культуры (примеры: «Киропедия» Ксенофонта, «Германия» Тацита). Больше того, *пафос истинной* культуры (наука только до известной фазы остается ингредиентом национальной культуры), пафос ее — игнорирование *объективных* мерил и замена их единственным критерием *своего стиля*¹⁰. Так, Баррес представляется мне поздним отпрыском очень древнего корня. Гиперкультурность и «латинство» в той же мере, как надрыв национальной гордости после *débâcle*¹¹, должны были посорить его с моралью и с истиной. Генезис новой литературной формулы очень интересен, но и прозрачен. Вы очертили его неполно, но верными и ясными линиями. Немного шире раздвинуть рамки этой части статьи было бы, мне кажется, уместно. Несомненно, что в отношении субъективизма нужно восходить до Канта. Из Канта вообще вышла вся новая философия Я, с Фихте — через Фейербаха и Штирнера — до Ницше, который требует, чтобы за Истину были признаны произвольные утверждения, способствующие жизнеусилению (*Lebensförderung*)¹². Опять-таки, что здоровые эпохи делали бессознательно, *décadence*¹³ повторяет сознательно и предумышленно. Один герой Лидии, поэт Умолов, выражается по этому поводу со свойственным ему пафосом нахальства:

...Не все ль равно?
Ведь уж сказано давно:
Кончить с Истиной пора!
Истину долой!
Истину метлой —
Со двора!..

Любопытно, что французский культ *национального Moi*⁴, как и большая часть славянофильства, — немецкого происхождения. Я бы позволил себе посоветовать Вам сказать немного больше как о реалистической школе и ее последствиях, так и о бедной идеалистической, за которую никогда не излишне замолвить доброе слово по-русски. Конец пассажа о Канте (на стр. 13) не довольно вразумителен мало о нем знающим. Повторяю, что «демотический роман» как род может быть утверждаем и может быть разъяснен с большою энергией. Кстати, слово «всеобъемлющий» (стр. 2) как синоним *dénotique*¹⁵ не сразу понятно; смысл, конечно: «народообъемлющий» (согласно с первоначальным значением переводимого термина), или, пожалуй, «жизнеобъемлющий», или, наконец, «всеобъемлющий» в смысле *социологическом*.

Одним словом, и помимо новизны концепции статья — прекрасная, живая чрезвычайно, обильная содержанием первой важности для осмысления новейшей Франции. Только отдел о Paul Adam¹⁶ (Вы его и любите меньше) сравнительно вял и небрежно написан. Я поздравляю Вас, дорогая Александра Васильевна, с такой работой и убеждаю окончить, а если есть возможность и охота — и расширить ее. Простите, что посылаю, быть может, не вполне разборчивый *brouillon*¹⁷: он лучше сохранит формулировку первого, более свежего впечатления.

Целую Ваши руки. Весь Ваш Вяч. Иванов.

Пользуюсь случаем, чтобы напомнить Ваше обещание — познакомить меня с другими Вашими работами.

¹ Это переживается совсем по-другому (*франц.*).

² Обзоры (*франц.*).

³ *Hennequin* — Эннекен Эмиль (1859 — 1888), французский писатель.

⁴ Определить писателя (*франц.*).

⁵ «Новый приступ *французской лихорадки*» (*франц.*).

⁶ Баррес Морис (1862 — 1923) — французский писатель, драматург.

⁷ Заключенная в квадратные скобки часть фразы вычеркнута Ивановым.

⁸ Так называемый (*франц.*).

⁹ Гордость и привилегия этой греко-латинской цивилизации, которая является цивилизацией по преимуществу (*франц.*).

¹⁰ В оригинале слово подчеркнуто дважды.

¹¹ Крушения (*франц.*).

¹² Требования жизни (*нем.*).

¹³ Упадок, декаданс (*франц.*).

¹⁴ Я (*франц.*).

¹⁵ Демотический, народный (*франц.*).

¹⁶ Paul Adam — Адан Поль (1862 — 1920), французский писатель.

¹⁷ Черновик (*франц.*).

В. И. ИВАНОВ — А. В. ГОЛЬШТЕЙН

29/16 дек<абр> 19>02
Villa Java, Châtelaïne

Глубокоуважаемая Александра Васильевна,

Благодарю Вас за дружеское исполнение моей просьбы — за присылку Ваших статей¹. С сожалением отсылаю их. Искреннее пожелание, которым сопровождаю отсылку, — пожелание нового свидания с ними, собранными и преобразившимися в отдельном томике, недоступном карандашу редакторов. Ваша ясная определенность, *netteté*² сделала, при всей беглости очерков, удобообозримой и расчлененной большую сложность рассматриваемых явлений. И это важно: это даст Вам рамки, которые, в самостоятельном издании, вместят более личную и потому более колоритную разработку. До какой степени Вы были связаны, слишком чувствуется; в будущей книжке, которая будет

очень интересна и многому научит, Вы должны дать волю своей личности. Ваши личные наблюдения и оценки, фантазии и произвольности — вот что даст книге ее физиономию: теперь же нужно знать Вас, чтобы ее уже различать и угадывать. Изящный этюд о Вилье³ его рисует, но не с той яркостью, с которой Вы могли бы обрисовать его: ведь Вы же заставили меня некогда его почувствовать! Из намеченных тем меня интересует особенно «Малларме». Шюре⁴ как самостоятельному мыслителю отведено слишком много места; его заслуга — провозглашение идей Бетховена — Вагнера — Ницше. Оценка Huysmans⁵ не адекватна его значению: это — завоеватель; и общая культура, и многие частные дисциплины обязаны его глубоким анализам прочными и большими открытиями. Статья об эстетических теориях мне очень нравится. Стихотворение Verhaegen⁶ (к сожалению, неизвестное мне в оригинале) передано красиво и звучно, но едва ли хорошо комментировано. Оно, — замечает Лидия, — параллель знаменитой «Пещере» Платона⁷, в которой прикованные (спиной ко входу) узники видят внешний мир лишь в отражениях, рисуемых лучом на противоположающей стене. Здесь контраст Сущности и Явления, платоновской Идеи и Действительности, Истины эзотерической и экзотерической, и других антиномических идей того же порядка. Но это аллегория (как и «Пещера») в гораздо большей мере, чем символ... Говоря об общем впечатлении, мною вынесенном, глубокоуважаемая Александра Васильевна, я позволю себе откровенно и — увы! — негалантно заметить, что Вы не были бы une femme supérieure⁸, если бы в статьях, назначенных для русских журналов, не напоминали собой (vaguement⁹) — бодлерова альбатроса¹⁰, помещенного на корабельную палубу...

Сегодня, из объявления в «Новом времени», я узнал о выходе своей книжки в свет!¹¹

Дорогие и любимые друзья, с Новым годом, с новым счастьем! Будьте здоровы и светлы духом!

Весь Ваш Вяч. Иванов.

¹ Гольштейн принадлежит целая серия статей о французской литературе. Часть из них была опубликована в России под псевдонимом А. Баулер. Например, «Стефан Малларме» — «Вопросы жизни», 1905, № 5; «К. Ж. Гюисманс, французский писатель конца века» — «Научное слово», 1904, № 2; «К характеристике направлений современного романа во Франции» — «Научное слово», 1903, кн. 2; «Символизм и его значение во французской литературе» — «Научное слово», 1905, № 2-3.

² Четкость (франц.).

³ Вилье де Лиль-Адан Филипп Огюст Матиас (1838 — 1889) — французский писатель.

⁴ Шюре Эдуард (1841 — 1929) — франкоязычный писатель, мистик, антропософ.

⁵ Huysmans — Гюисманс Жорис-Карл (1848 — 1907), французский писатель голландского происхождения.

⁶ Verhaegen — Верхарн Эмиль (1855 — 1916), бельгийский поэт-символист.

⁷ Символ «пещеры» из диалога Платона «Государство».

⁸ Выдающейся женщиной (франц.).

⁹ Отдаленно (франц.).

¹⁰ См. стихотворение «Альбатрос» из книги Бодлера «Цветы зла».

¹¹ Часть тиража «Кормчих звезд» вышла в свет в 1902 году.

А. В. ГОЛЬШТЕЙН — В. И. ИВАНОВУ

15 фев<раля> 1903

75, Rue de la Tour, 16-me

Дорогой Вячеслав Иванович.

Я полагаю, что обязана полной откровенностью. Я и выскажу свое впечатление откровенно, но предупреждаю, что должна была бы, если бы Лидия была мне не другом, ответить, как отвечаю всем горячим поклонникам Вагне-

ра: я его не понимаю. Мне так же чужд, неприятен, непонятен — самое верное выражение — отрывок романа Лидии¹, как, безусловно, *все*, что написал Вагнер. Вот почему, думаю, мнение мое об этом отрывке не может иметь никакого значения и *не должно* иметь.

Я не понимаю отрывка, потому что не могу связать жизнь и нежизнь, потому что считаю *que la matière guide l'exécution et doit la guider*².

Нельзя сделать из бронзы того, что делают из мрамора, нельзя писать маслом того, что пишут акварелью, и т. д.

Нельзя писать романа, как пишут стихи. Поэтому прежде всего меня шокирует в романе разговорный язык нескольких лиц, совершенно одинаковый у всех, и причем такой, на котором никто не говорит. Это можно и красиво, но тогда все должно быть *фантастично* и все должно совершаться вне времени и пространства: *cela doit être de l'idéalisme pur*³ — картина Пювиса⁴ «*Voyage d'Urien*»⁵. Лица, называющие друг друга по имени и отчеству, должны, для меня, жить. Ведь — даже ультраабстрактный автор «Кормч<их> звезд» говорит иным языком в «Париж<ских> эпигр<аммах>»⁶ и в других пьесах, а там, в этом томе, священное право и даже обязанность автора всегда говорить *самому*. Дух каждого лица для меня тоже непонятен — он тоже всегда *один* и без индивидуальных отметин: для меня это все одно лицо, которое говорит само с собою. Может быть, это так и желательно автору? *En résumé*⁷, по-моему, в этом есть талант, но мне, повторяю, чуждый и непонятный. Скажу, например, что если бы люди были живыми и автор вставлял бы свои описания природы (Альпы, например, или лондонский туман во время похорон) в живое действие и как декорацию, то я нашла бы их прекрасными — в устах этих лиц (и особенно *живописца!*) мне они неприятны. Там они давали бы мне настроение, — здесь они противоречат психологии, которую я невольно жду, прислушиваясь к говору незнакомцев, которых только что встретила.

Это не суждение, а то, что Вы просили, — впечатление. Лидии Вы его сообщите, если найдете нужным. Знаю, как неприятно быть непонятым близкими людьми. А ведь это уже *так*, с ней оно *так* сложилось, и всякие рассуждения бесполезны и могут только ее парализовать, ничего не изменяя.

Очень огорчилась и обрадовалась, когда прочла строчки, относящиеся к происшествию с Лидией⁸. Это все же *ужасно* — пережить такое потрясение. Мы надеемся, что это пройдет Лидии даром, потому что для нервных людей такие ужасы или такой момент ужаса всегда может отразиться каким-нибудь ухудшением нервного состояния. Пожалуйста, напишите, как она себя чувствует.

Я еще не поблагодарила Вас за хлопоты из-за книги у Хилкова⁹. Спасибо. Теперь все получила.

Очень хотела бы написать Вам нечто о враждебном отношении русс<ких> литер<аторов> к Вашему сборнику. Я не думаю, что Ваш сборник встретил эстетическую враждебность. Она должна быть скорее политическая и относиться скорее к Вашему политическому мирозерцанию. Мне кажется, что теперь в России положение дел настолько *обостренное*, что люди невольно группируются друг с другом с точки зрения политических идеалов. Ведь Вы знаете, например, что при большой дружбе, при большом уважении друг к другу, при огромном умственном единении во многом мы с Вами не раз чувствовали огромную рознь в жгучих вопросах русского дня. Но мы живем главным образом в другой сфере и не испытываем *давления* наших несогласных мирозерцаний. Русские люди в России чувствуют обостренно — давление с одной стороны, необходимость отпора — с другой. В русских головах и без того все перемешано, а тут, когда ежеминутно надо *отстаивать* себя и свое, невольно, хотя, может быть, ошибочно, люди теряют способность *расчленения*. Поэтому за некоторыми Вашими взглядами какой-нибудь Батюшков¹⁰ совсем и не чувствует Вашего крупнейшего готического таланта¹¹

Мне очень интересно знать, что напишет мне Новгородцев¹² о Вашем сборнике... Во всяком случае, думаю, что «Новый путь», напр<имер>, несомненно напишет что-нибудь. Напишите мне, видела ли Лидия Волошина? Передала ли ему сборник для Косоротова¹³ и Бенуа?¹⁴ Написал ли Вам что-нибудь Гревс? Не сообщал ли причин недоброжелательного отношения к Вам Батюшкова? Видела ли Лидия Гревса? Я знаю, напр<имер>, что в литературных кругах говорили когда-то, что Вы были корреспондентом в «Москов<ских> вед<омостях>». Все это влияет на отношение к человеку и не может не влиять при боевом положении, кот<орое> либеральная пресса вынуждена занять в наше грозное время. Так что огорчаться Вам не надо. Ваше дело — «справа затыжна», как говорят хохлы. Дело поэта — иметь возможность высказаться в печати, дать миру раз навсегда закрепленные образы, а *когда их прочтет* большая публика, когда его труд будет оценен — ведь это все равно. Vous êtes des ouvriers de l'avenir et de toujours¹⁵. В этом Ваша отрада и в этом слава. Слава — это три мертвые головы, кот<орые> смотрят на лавровый венок, так ее изобразил когда-то один молодой французский скульптор¹⁶, который и сейчас пропадает с голоду... Ваша придет раньше: после того, как поставлена будет на сцене Ваша трагедия¹⁷... Та должна будет победить...

Ну, до свидания!

Всегда Ваша А. Г.

¹ Имеется в виду роман Зиновьевой-Аннибал «Пламенники».

² Материал диктует исполнение, и должен его диктовать (*франц.*).

³ Это должен быть чистый идеализм (*франц.*).

⁴ П ю в и с — Пюви де Шаванн Пьер (1824 — 1898), французский живописец, сим-волист.

⁵ «Странствие Урьена» (*франц.*).

⁶ Этот раздел «Кормчих звезд» был посвящен И. М. Гревсу, но последняя эпиграмма, «Tat twam asi», посвящена А. В. Гольштейн.

⁷ В итоге (*франц.*).

⁸ У Зиновьевой-Аннибал в начале 1903 года случился выкидыш.

⁹ Х и л к о в Дмитрий Александрович, князь (1858 — 1914) — офицер, последователь Л. Н. Толстого.

¹⁰ Б а т ю ш к о в Федор Дмитриевич (1857 — 1920) — публицист, филолог, историк литературы.

¹¹ Написать рецензию на «Кормчие звезды» Ф. Д. Батюшкова просила М. М. Замятина. Ответ Батюшкова был категоричен: «это все вычур, и только»; «я не могу решить, в какой мере г. Иванов действительно поэт, когда, раскрыв наугад книжку, читаю такие строки — «воля, ...приявшая зрак — рыжего льва, — он, с тяжким рыком...». Неужели это поэзия?» (письмо Ф. Д. Батюшкова к М. М. Замятиной от 29 января 1903 года — ОР РГБ, ф. 109, к. 12, д. 12, л. 3 об.).

¹² Новгородцев Павел Иванович (1866 — 1924) — известный правовед и философ.

¹³ Косоротов Александр Иванович (1868 — 1912) — драматург, прозаик, публицист.

¹⁴ М. М. Замятина писала Иванову 3(16) февраля 1903 года, что посетила И. А. Шляпкина и встретила там А. Н. Бенуа. «Я, конечно, воспользовалась случаем спросить Бенуа, передали ли ему письмо Ал<ександры> Вас<ильевны> и книгу. Гов<орит>, что получил и то и другое, но, по-видимому, письму Ал<ександры> Вас<ильевны> недостаточно внял и передал книгу необдуманно просто Философому, предполагая, что он напишет рецензию. Я воспользовалась только что перед тем сказанным мне Шляпкиным, заставив его повторить свое мнение, причем Илья Ал<ександрович> именно указал на то, что книга должна быть разобрана человеком очень образованным и основательно и что Философов, к<а>к юрист, не подойдет, по его мнению, он недостаточно вдумается — он указал на Мережковского, кот<орый> мог бы ее хорошо оценить. Бенуа очень внимательно отнесся к тому, что говорил Илья Ал<ександрович>, сказал, что на него, насколько он ее просмотрел, тоже (но он, кажется, мало с нею позна<комился>) хорошее впечатление книга произвела и что он теперь позаботится, чтобы она действительно была к<а>к следует разобрана. Обещал также обратить на нее внимание Перцова в «Нов<ом> пути», затем, при случае» (ОР РГБ, ф. 109, к. 19, д. 17, лл. 33 — 33 об.).

¹⁵ Вы творцы грядущего и вечного (*франц.*).

¹⁶ Имеется в виду французский скульптор символистского толка, ученик Родена Жозе де Шармуа (1879 — 1919?).

¹⁷ Имеется в виду трагедия Вяч. Иванова «Тантал».

В. И. ИВАНОВ — А. В. ГОЛЬШТЕЙН

Среда, 18/5.II.<19>03.

Дорогая Александра Васильевна,

Благодарю Вас за исполнение моей просьбы¹. Я надеюсь, что, когда повествование развернется, Вы примете внутреннюю необходимость этого нового еще, но не в мечте только, а в *потенции действительности* существующего мира. Вы говорите: «Я не умею связать жизнь и не-жизнь»: это — невольное признание Вашей артистической натуры. Художник истинный и только художник противопоставляет Мечту Жизни. Есть творческие души, которых порыв — налагать Мечту на Жизнь, напечатлеть ее на действительности. Их идеал я пытался формулировать в стихотворении «Творчество». К таким «творцам» скорее, чем «художникам», принадлежат Байрон, Ницше, Достоевский, которых Вы, кажется, равно не понимаете. Пушкин (как и Толстой-романист) — тип чистого художника; Лермонтов — «налагатель» (хотя Вы его и предпочитаете Пушкину, это — Ваша непоследовательность!). Оба типа представлены в великом и малом. К «налагателям» принадлежат не только «пророки», но и всякого рода Schwärmer, Weltverbesserer², моралисты и проповедники, — и, увы! — кажется, мы с Лидией*. Вот почему она не может успокоиться на gêve³, на видении бескорыстном и безотносительном...

Несказанная *воля* мне сердце зажгла,
Нерожденную землю объеблю, любя, —
И колеблю *узилище мира*⁴.

Это — пафос ее героев. И для этого им нужно жить, быть окруженными *жизнью* и вместе *отрицать* ее всем своим *Я*. Они не должны быть похожи на людей, которых мы видели, но они необходимы. Что они *различны* до взаимного отрицания друг друга — в этом Вы убедитесь потом.

Только что написал я эти строки Вам, как получаю Ваше дорогое и доброе извещение⁵. Мы с Л<идией>, конечно, в восторге. Если бы это сотрудничество дало Вам возможность — vous affirmer⁶, не «колебля узилища», в которые иногдо ввергают Вас благосклонно наши просвещенные «органы печати»! Если бы Вы нашли наконец немного простора! Единственное условие Вашего успеха — быть собою самой, иметь право быть *personnelle*⁷.

Радуюсь и поздравляю Вас, дорогой наш друг, понимая всю важность факта, ожидая от него великого добра. Я лично очень смущен тем, что Вы так несправедливо, так пристрастно придаете моим советам значение, которого они не могли иметь *объективно*, но бесконечно счастлив, что моя критика была *субъективно* благотворна для Вашей работы. Дорогой друг Александра Васильевна, великое Вам спасибо за одобрение могущественное и за утешение, но поймите меня правильно: дело вовсе не в жажде большого успеха и даже не в славолюбии, а в борьбе за существование в литературе. Я бы вовсе не заботился о невнимании критики и публики, если бы моя книжка не была только исходной точкой для дальнейшей деятельности, как моей, так и Лидии. И вот об этом-то я должен поговорить с Вами и просить Вашего совета. На очереди — публикация «Пламенников»⁸. (Кстати, подзаголовок будет: «поэма» — как на «Мертвых душах» — и, мне кажется, Вы должны это одобрить.) Так как этот роман-поэма будет очень велик, дело идет ближайшим об-

* Хотя мы не проповедники, не моралисты и не доктринеры.

разом о напечатании его первой части («Славящая»). Она все же нечто цельное, — чего нельзя одинаково утверждать о других частях. Вот мы и напали на мысль издавать последовательные выпуски наших сочинений под общим заглавием. Содержание первого выпуска составили бы первые главы «Пламенников», моя трагедия (первая в трилогии) «Тантал», моя статья о лирической поэзии и афоризмы. Со второго выпуска, посвященного прежде всего продолжению «Пламенников», я бы начал статьи о религии страдающего Бога у греков и т. д. Преимущества и неудобства предполагаемого издания бросаются в глаза. С одной стороны, мы получаем возможность объединить наш труд, внутренне глубоко солидарный, и с полной свободой и двойным голосом высказать наше мирозерцание, эстетическое и философское, не подходящее ни под одну из существующих категорий, но полное и созревшее до внутренней необходимости выражения и провозглашения. С другой стороны — наша безызвестность, изолированность, необычность предприятия и необычность идей, кажущаяся притязательность, недоброжелательность к новаторам вообще и лично нам в частности, наконец, отсутствие издателя, трудность и даже неблагоприятность издания на собственные средства⁹ (хоть отец Л<идии> и поможет, *мечтаем* мы)... (По сведениям, в России дело отца шатается и давно принесит убыток. Будущее темно.)¹⁰

Что нам делать, наш мудрый друг?

Ваш всем сердцем Вяч. Ив<анов>.

Кстати, недоброжелательность ко мне все же, думается, не политического свойства. Сердятся на «трудность», «эрудицию», новаторство в языке и т. п. В сборнике политики нет. Что изумило меня, — это «всеведение» молвы, существования которой не подозреваешь. В мое студенчество в Берлине я одно время сотрудничал в корреспондентском бюро Веселитского («Аргус»), обрабатывая данный материал по иностр<анной> политике и сочиняя фельетоны о берлинской жизни под его именем (для «Моск<овских> вед<омостей>»)¹¹. Разошелся я с ним из-за несогласий о мысли одной корресп<онденции> в «Нов<ом> вр<емени>» об иностранной же политике.

¹ Иванов просил Гольштейн выразить свое впечатление о романе Зиновьевой-Аннибал «Пламенники». Ответом явилось опубликованное выше письмо.

² Мечтатели, усовершенствователи мира (*нем.*).

³ Мечте (*франц.*).

⁴ Из стихотворения «Творчество» (сб. «Кормчие звезды»). Слова «воля» и «колеблю» подчеркнуты в оригинале двумя чертами.

⁵ Речь идет о письме Гольштейн к Ивановым ок. 3(16) февраля 1903 года, в котором она извещала о своем будущем сотрудничестве с П. И. Новгородцевым (см. ниже, примеч. 7 к ее письму от 19 февраля).

⁶ Утвердиться (*франц.*).

⁷ Здесь: индивидуальностью (*франц.*).

⁸ Зиновьева-Аннибал предполагала напечатать свой роман в издательстве «Скорпион» (первоначально отдельные главы печатались в 1903 году в Петербурге, в типографии А. С. Суворина). Подробно об этом см. «Переписку В. И. Иванова с В. Я. Брюсовым (1903 — 1923)» («Литературное наследство». Т. 85. М. 1976, стр. 435 — 438).

⁹ «Кормчие звезды» Вяч. Иванова были изданы на средства автора.

¹⁰ Фраза вписана рукой Зиновьевой-Аннибал.

¹¹ См. вышеприведенное письмо Гольштейн от 15 февраля 1903 года. «Московские ведомости» — газета с репутацией проправительственного и консервативного издания.

А. В. ГОЛЬШТЕЙН — В. И. ИВАНОВУ

Четверг, 19 ф<е>в<раля> 1903.

Дорогой Вячеслав Иванович,

Начинаю свой ответ на Ваше взывание к моей «мудрости» немедленно, потому что не знаю, как сложится мое время в будущем.

1. Безусловно не сочувствую «маритальному»¹ изданию сочинений. Это умаляет значение как Л<идии>, так и Вашего труда; это может вызвать насмешливое отношение к Вашим изданиям. Вы видите, что совсем невольно даже у меня выписалось насмешливое слово! Вы знаете, что смех или насмешка куда хуже ругани. Тут получается всегда обратное: чем сильнее ругают, тем выгоднее, — чем злее смеются, тем хуже. *Le ridicule tue partout et pas seulement en France*².

2. Вы издали сборник стихов — это понятно и правильно. Все равно рано или поздно стихи требуют сборника. Лидия издает роман — это *возможно*, хотя надо было сперва пытаться поместить его в журнале. Какой смысл имеет издание *статьи* даже при трагедии? Смысл pour le <moment>³ один: автора нигде не печатают. Трагедию можно издавать отдельно, но все же можно и должно пытаться поместить ее куда-нибудь.

3. Теперь, я думаю, *место есть* для помещения Ваших статей и трагедии (про роман Л<идии> ничего не говорю, потому что ничего не знаю, каков он будет). Это «Новый путь»⁴. Достаньте или выпишите его, съездите в Россию и войдите с этими людьми в сношение, они хотят делать нечто вроде «*Mercur de France*», «*Tribune Littéraire Libre*». Я уверена, что при личном общении Вы с ними сговоритесь. Я Вам дам рекомендацию к Косоротову, который приглашен туда для помещения своей беллетристики⁵. Если Вы приедете с трагедией или со статьей о лирической поэзии, Вы, наверное, немедленно займете там свое место. Статьи о религии страдающего бога у греков⁶ — в этом безусловно уверена — найдут место *всюду*. Тут уж все упреки — «трудность», «эрудиция» и т. д. — являются высшими достоинствами. Я этого не знаю, но думаю, что такой эрудиции, как Ваша, в этих вопросах нет в России *ни у кого*. Подождите, может быть, когда начну работать у Новгородцева⁷ и присмотрюсь к его журналу, увижу, что там найдется место и для Вас. Есть, наконец, «Журнал Мин<истерства> народ<ного> просвещ<ения>», где также, наверное, рады будут иметь работу такого эрудита, как Вы. Зачем же умалять свое значение совершен<но> излишним дилетантизмом. Новшество вещь хорошая, когда elle a sa raison d'être⁸, а Ваш проект не имеет raison d'être, пока все пути не испробованы.

Вероятно, поеду в Савойю в марте. Может быть, заеду в Женеву на обратном пути, *mais cela n'est pas sûr*⁹.

Ваша А. Г.

Еще раз перечитала письмо Щукина¹⁰. Очень важно было бы для заведения *связей* принять участие в *составлении программы*. Это момент наибольшего единения между профессорами, а между ними есть, как видите, и литераторы. Конечно, это не *Ваши люди*, *mais vous leur imposerez*¹¹, и это важно. Имейте в виду, что около нас есть милый отельчик, где *отличная* комната стоит 1.50 frs. в день. Комната достаточно большая для Вас двоих, если Лидия <при>едет. Окна в сад. До школы добираться — метро и пароход, кроме трамвая. Можно также спать у нас на *лестнице* (?). Это особое смешное учреждение нашей квартиры, но работать трудно. Вернулась ли Мар<ия> Михайловна?

Вот это дело!! Вот это настоящая постановка вопроса для деятельного ума! Читайте, читайте, читайте свой курс! Читайте его так, чтобы его можно было печатать. *C'est la vraie France!*¹² Ужасно рада за Вас. Что Вам за дело, что Русс<кая> Шк<ола>, т. е. что говорит Гольштейн?.. Чтение там Вас все же ставит в деятельное общение с русской профессурой, создает Вашу легенду в России. Никто не скажет, что Вы с неба свалились. Я уверена, что Ваш курс произведет сенсацию. Конечно, Вас будут *ругать*, и это отлично. Это борьба, это жизнь (жизнь идей), а не только как в самом себе. Подумайте, что Вы годами отчуждены от России и от общения с русской мыслью — гораздо больше, чем я! — а ведь там многое изменилось. Там идет горячая борьба не только политическая, но и идейная.

Лидия пишет о *толчке*, кот<орый> дает Вам издание, — никакого не дает. Ведь Вы не лентяй, кот<орый> работает из-под палки. Все равно Вы работаете, но Вы на отлете, а тут Вы, надеюсь, вступите в лёт. Кидайтесь в эту схватку. Вы видите, как я была права вчера, когда писала, что *всякий* ухватится обеими руками за Вашу статью о религии греков? Rien que l'énoncé de vos idées dans ce domaine intéresse tout le monde¹³ и особенно мыслящих людей. Я бы на Вашем месте употребила март на составление блестящего курса, часть кот<орого> или весь можно было бы напечатать в виде статей, а потом осенью поехали бы в Россию с готовыми статьями, с готовой трагедией (*непреремно* — это Ваше победное знамя) и там вошли бы в общение с новыми петербургскими силами. Voilà. Радуюсь за Вас, радуюсь свиданию с Вами, и при свидании мы многое договорим. Надеюсь, что <бы> Вы немедленно сказали «да»?

Ваша А. Г.

¹ «Маритальное» издание — совместное издание сочинений мужа и жены (здесь: иронически).

² Смешное убивает повсюду, а не только во Франции (*франц.*).

³ Пока что (*франц.*).

⁴ «Новый путь» (1903 — 1904) — петербургский журнал, в 1903 году издававшийся П. П. Перцовым, Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус.

⁵ А. И. Косоров в «Новом пути» не печатался.

⁶ Статьи В. И. Иванова были напечатаны: «Эллинская религия страдающего Бога» — «Новый путь», 1904, № 1 — 3, 5, 8 — 9; «Религия Диониса» — «Вопросы жизни», 1905, № 6 — 7.

⁷ П. И. Новгородцев пригласил Гольштейн как автора в издаваемый им журнал «Научное слово», где и были в 1903 — 1905 годах напечатаны семь ее статей.

⁸ В нем есть смысл (*франц.*).

⁹ Но это еще не решено (*франц.*).

¹⁰ Шуккин Иван Иванович (1869 — 1908) — искусствовед, профессор филологии, коллекционер. Жил в Париже с 1893 года, служил в Лувре. Это письмо И. И. Щукина утеряно. В нем содержалось приглашение Иванову читать лекции в Высшей школе общественных наук в Париже (см. «Автобиографическое письмо» Вяч. Иванова в его собр. соч., т. 2, стр. 21). Щукин читал там курсы по истории христианства, религиозному и общественному движению в средневековой Европе, по истории русского права и истории живописи. См. также: Гамбаров Ю. С., Ковалевский М. М. Русская Высшая школа общественных наук в Париже. Ростов-на-Дону. 1903, стр. 31 — 60; Воробьева Ю. С. Русская Высшая школа общественных наук в Париже. — «Исторические записки». Т. 107. М. 1982, стр. 333, 343. Лекции в этой школе читали видные ученые и политические деятели: Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, Е. В. де Роберти, Ю. С. Гамбаров, М. М. Винавер, Е. В. Аничков, П. Н. Милоков, М. И. Туган-Барановский, В. М. Чернов, В. И. Ленин и другие.

¹¹ Но вы им внушите почтение (*франц.*).

¹² Это настоящая Франция! (*франц.*).

¹³ Только изложение Ваших идей в этой области интересует всех (*франц.*).

В. И. ИВАНОВ — Л. Д. ЗИНОВЬЕВОЙ-АННИБАЛ

<27 апреля 1903 г.

Париж.>

Понед<ельник>. 9 ч<асов> веч<ера>.

Дорогая радость.

Пишу за письменным столом А<лександр> В<асильевн>ы. Получил телеграмму, благодарю. Но боюсь, что ты не поняла, что в тексте *нашей* телеграммы¹ «*Succès profond*» выражает мнение А<лександр> В<асильевн>ы и вместе служит ограничением, а не увеличением. Понеже succès: именно она утверждает, что все многим как-то внутренне и т. п. понравилось. Я же не ре-

шаюсь судить. Факт, впрочем, что голова моя *не* чувствовала себя в пространстве, где летают <нрзб.>. Мне было уже вовсе не страшно, а, напротив, очень весело. Но зала оказалась какой-то большой, как я не ожидал. Слушателей было minimum 70 (по А<лександре> В<асильевне>) или до 100. Я же не знаю сколько, но было много, хоть и не полная была зала. И лица мне казались внимательными и сочувственными, а после лекции хорошие аплодисменты, хотя аплодисменты<енты> дело обычное. Шукин выражался мне, что лекция была во всех отношениях блестящая и форма очень литературная понравилась. Доброе лицо Гамбарова² ласково глядело вблизи.

Лекция продолжалась 45 минут и взяла гораздо больше листков, чем сколько я назначал. Я был хорошо слышим, кроме некоторых имен разве. После лекции подошел ко мне откуда-то взявшийся Ковалевс<ки>й³ (Вл<адимир> Авг<устович> ругал его за то, что он пришел только к концу лекции — на 10 минут) с улыбающимся и любезнейшим видом и сейчас же стал говорить мне, чтобы я вошел в состав постоянных профессоров школы. А именно, чтобы зимой читал об учреждениях древности, что им необходим преподаватель древней классики, что если древность будет хорошо поставлена, школа их будет единственной в своем роде для социальных наук по полноте программы и т. д.

Шукина я познакомил с А<лександрой> В<асильевной>, и она была со мной и Щ<укиным> и Семеновым — в лавке консьержа, которая служит профессорской комнатой — для Шукина, п<отому> ч<то> таковой вовсе нет. А есть только передняя перед большой и хорошей залой, полная слушателей, да наверху еще аудитория для практич<еских> занятий. Теперь у них наплыв ученых сил, а силу они имеют только на определенные часы.

На следующей неделе я решил читать только один раз, чтобы не мешать другим. А сегодня, после меня — Ковалевс<ки>й отказался от своей лекции в пользу прибывшего из Киева приват-доцента.

(Пока я пишу, у Гольштейнов сидит гость — уже седой весь, который, проживая в Париже, слушает все подряд лекции, и меня слушал он, но не высказывался...)

После лекции мы с А<лександрой> В<асильевной> решили праздновать и смотреть Париж, и вышло это очень артистично. К сожалению, Пантеон был заперт, а Женевьевы-старухи Пювиса⁴ <увидеть?> мы не смогли внутри. Зато пошли по предложению А<лександры> В<асильевны> по церквям и видели церковь св. Юноны, Hospitalière Notre Dame⁵. И потом мы видели разные чудесные уголки старого Латин<ского> кварт<ала> — так что Париж предстал мне совсем новым, ничего этого я не знал. Завтракали мы хорошо в *taverne du Panthéon* и набрались воздуха Лат<инского> квартала всеми легкими. Вернулись по чудесной электрич<еской> подземной дороге. Дома я нашел твое дорогое и ласковое письмецо...

Целую тебя горячо и как люблю.

С нетерпением жду известий из Москвы. Здесь говорят, что «Сев<ерные> цветы» уже вышли с моими стихотворениями⁶.

В.

<Приписка А. В. ГОЛЬШТЕЙН>

Милая Лидия.

Моя часть телегр<аммы> значила, что Вяч<еслав> имел успех глубокий, т. е. привлек внимание, возбудил мысль, завлек на свою сторону несколько человек, которые прямо в *восторге* от его лекции, от новизны, и увлечены глубиной его мысли и *обаянием* его ума. Вот почему это *глубоко*. Лучшее ведь три-четыре слушателя, глубоко проникнувших в его мысль, чем толпа, славословящая от глупости. Voilà! Мы праздновали символично и сердечно этот *успех*.

Тебя, дорогая, поздравляю от души с успехом. Желаю, чтобы он был полным и удовлетворяющий. Я страшно хочу, чтобы ты мне прислала вторую главу. Вяч<еслав> говорит, что она ключ к остальному.

Мешают писать, говорят кругом. Обнимаю нежно и любовно.

Твоя А. Голь<штейн>.

¹ Телеграмма от 27 апреля 1903 года:

«Succès profond selon Alexandra fêtons en deux Venceslav». (Согласно Александре, успех глубокий. Празднуем вдвоем. Вячеслав — франц.). (ОР РГБ, ф. 109, к. 10, д. 2, л. 13.)

² Гамбаров Юрий Степанович (1850 — 1926) — юрист, профессор Петербургского университета, общественный и политический деятель.

³ Ковалевский Максим Максимович (1851 — 1916) — юрист, историк, социолог, общественный и политический деятель.

⁴ В 1874 — 1878 годах Пюви де Шаванном был создан ансамбль полотен на темы жития св. Женевьевы для парижского Пантеона.

⁵ Милосердной Девы Марии (франц.).

⁶ В «Северных цветах» (СПб., 1903) было опубликовано стихотворение Вяч. Иванова «Хор духов благословляющих» (см. «Переписку В. Я. Брюсова с В. И. Ивановым» — «Литературное наследство». Т. 85, стр. 434).

Л. Д. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ — А. В. ГОЛЬШТЕЙН

<Черновик>¹

<Июнь 1903 г.>

Дорогая и многоуважаемая Александра Васильевна,

Решаюсь еще обратиться к Вам с маленькою просьбою: помня труды, хлопоты и ласки, положенные Mlle Pauline² на мою Верочку во время ее пребывания у Вас, я давно уже мечтала подарить ей что-нибудь на память и в знак благодарности. Теперь по возвращении из Швейцарии это было бы наиболее удобно и кстати. Но, желая, чтобы мой подарок действительно доставил радость этой симпатичной мне девушке, я прошу Вас не отказать узнать и сообщить мне ее желание. Хотела бы положить на подарок около 20 франков. Также прошу Вас исполнить мою просьбу, высказанную письменно на первых днях пребывания у Вас Веры, и сказать мне, сколько я Вам должна за ее содержание. Ведь я знаю, что Вы не имеете лишнего и отделяете от необходимого для тех, кто нуждается [больше]. Но я же имею средства и желала бы [иметь] быть в долгу перед Вами лишь в области нравственной. Пользуюсь случаем, чтобы высказать Вам всю [глубину моей] мою глубокую благодарность за Вашу дружбу, горячее и деятельнее которой я не встречала в жизни, и также мое глубокое горе при сознании, что этой дружбы для меня уже нет. Позвольте мне, как бывало, поговорить с Вами со всею искренностью, которая и Вам, и мне обыкновенно дорога. Дружбы между нами не может более быть, не потому чтобы [я] мы сердились друг на друга, разочаровались друг в друге и т. п. Нет, при всем моем глубоком уважении, благодарности и любви к Вам я чувствую, что между нами стоит нечто, что навсегда разделяет наши сердца. Это ваше отношение к тому, что мне всего дороже в жизни, нет, дороже даже самой жизни, к моей любви, к моему счастью, к человеку, который воплощает эту любовь и счастье. Причиною моей разлуки с Вами является наш последний разговор с двух его сторон: во-первых, по сути своей он доказал, что Вы не уважаете моего лучшего друга и мужа и не верите в него. Правда я или нет в глазах других, я не знаю, но для меня физически невысказанно общение с человеком, которому мой муж внушает подобные чувства. [Между] Это отталкивает, оскорбляет меня, заставляет меня глубоко страдать в обществе этого третьего, недоброжелательного лица и даже чувствовать к нему вражду совершенно несправедливую и тем более мучительную. Все это я глу-

хо, полуинстинктивно испытывала и до [Ва] нашего разговора, и это, и нечто иное отдаляло меня от Вас. Я инстинктом всего своего существа (а я человек инстинктивных ощущений прежде всего и поэтому страшно впечатлительна) чувствую и знаю, что, продолжая (если это далее было бы мыслимо) дружеские отношения с Вами после всего Вами высказанного, я совершала бы неблагородную измену моему мужу, моей любви, которая для меня святая святых. Я не могу уважать человека, который, не разрывая с своей любовью, позволяет другому мало-мальски неуважительно относиться к [чело] тому или той, которая воплощает для него эту любовь. Это всегда [и ве] была, есть и будет подлая измена.

О второй стороне вопроса нечего почти говорить: в Вашем разговоре Вы неоднократно употребляли оскорбительные выражения, которые оставили во мне впечатление обидных ударов, нанесенных Вами мне лично. Я [человек] всегда говорила всем про себя, что я человек «второго слова, второго впечатления», и всегда просила не верить первому, а ждать второго.

Наш разговор с Вами <нрзб.> и сразу оставил на меня ужасное впечатление: я чувствовала себя не обиженной, а поруганной, побитой. [Я им] И я страдала, очень страдала, но чем дальше отступал тот ужасный день в прошлое, тем сильнее, яснее и мучительнее становилось впечатление чего-то брутального, жестокого, невыносимо резкого и грубого. Вы видите, я решаюсь быть откровенной, Вы сами вызывали меня не раз на откровенность Вашими [обращен] вопросами о мне и моем настроении и обращении к девушкам моим. Здесь еще выскажу [свою] одну мучительную мысль. Зачем, как могли Вы говорить с ними о Вашем недоверии к И[ванову]? Я оскорбилась и возмутилась этим двояко.

Во-первых, Вы знали от меня о страданиях нервной, запуганной жизнью Анюты, о том, как мучалась она своим неверием в людей, как молила судорожно и страстно Бога вынуть ей неверящее сердце, дать ей доверие и мир. Зачем Вы жестоко коснулись этой большой нежной и бесконечно дорогой мне души? Если может на свете быть верная дружба, то это наша с ней навек неразрушимая. Зачем направлять ее на путь, который должен фатально разъединить нас, а этой разлуки ни я, ни она никогда не могли бы перенести. Это был бы червь, вечно грызущий нас. Бедная, милая Анюта.

Затем еще вторая сторона: если Вы имели непобедимое желание секретно высказать мне Ваше недоверие и ненависть к И<ванову>, это дело Ваше и мое, но распространять недоверие и враждебность вокруг меня, подкапывать, мутить и возбуждать ближайших мне людей — это прямо нехорошо, по крайней мере я так смотрю. Вы и Владимир Августович, впрочем, иного мнения, и, быть может, оттого, что у Вас обоих ужасающий меня взгляд на любовь. [Вы] Но даже если посмотреть на любовь просто как на дружбу, то и здесь Вы не правы. [Сколько раз страдала я из-за этого в разговорах Вас обоих о М<арии> С<ергеевне> и Иване Михайловиче³. Владимир Августович при всей моей семье говорил о предполагаемой ее любви к другому. Что может быть оскорбительнее этого для Ивана Михайловича. На его месте я более не переступила бы порог Вашего дома, и если он знает], это вопрос его чести и вопрос его [правоты?] измены жены. Но кроме всего этого, теперь так ясно и глубоко <нрзб.> мне хочется еще сказать, что поговорить о том, в чем мы с Вами не гармонизируем [своими] по темпераменту и по некоторым коренным взглядам. Что касается первого, то Я в душе, должно быть, очень мелкий человек, и всякая жесткость, брутальность палача точно ножом ранит мое сердце. Вы знаете, что долгий спор в обществе производит и оставляет во мне надолго впечатление мучительной дисгармонии. Вы же, Александра Васильевна, при всей Вашей поистине глубокой, бесконечно глубокой доброты и человечности бываете и страшно жестоки, и негуманны. Я страдала не раз от жестокости Вашей [не раз] по отношению к людям Вам несимпатичным, как совершенно <нрзб.> например, когда Вы с ненавистью готорите о «белом теле» какой-нибудь еврейки или о ее тайной беременности, о которой Вы громко и со

злостью, так непохожими на Вас, говорите в большом обществе Ваших друзей и знакомых. Например, когда Вы с холодной жесткостью судите жену и наконец с какой-то бесконечной ненавистью говори[те]ли о нем самом мне, его подруге, его любящей жене. Да, [я] мы с Вами глубоко расходимся и во взгляде на любовь. Для меня она священна. Божество, которому я молюсь. Божество, для которого у меня в душе и теле есть целая сложная религия. Для Вас что же? Вы отделяете страсть от дружбы, amour⁴ от affection⁵. Для Вас страсть презренна. Для меня она так же свята, как и дружба. Если любовь полная соединяет двух людей, действительно природою созданных друг для друга, то высшего блаженства, высшей святости нет на земле. Дружба может только утешать меня, любовь же дает счастье. Кажется, с ее смертью умру и я. [О любви] Когда не чувствовала я настоящей любви к первому мужу, то была только affection-дружба, и порою и часто чувствовала я, что мне тяжело жить только этою дружбою, что есть что-то иное, неизведанное, чего ищет моя душа. Но теперь я нашла настоящее, сильное, цельное, абсолютное чувство, и я так счастлива, что человек, не имевший подобного чувства, не может даже измерить половины этого счастья. Моя любовь слишком полна и счастлива для того, чтобы я могла хоть на минуту вообразить ее неразделенной. Теперь я глубоко знаю душу человека, которого люблю, знаю и всю силу его любви чувствую, всю неизмеримость его счастья через меня. Его надо глубоко понять, вернее, почувствовать его душу, чтобы объяснить все ее видимые противоречия и полюбить ее и уважать ее так, как она этого достойна. Другим, быть может, нужны будут годы и года, чтобы поверить ему и нашему союзу, но какое дело мне до других и до их мнения. Я знаю то, что я знаю, верю и люблю, и все существо мое говорит о том, что нечестно и неблагородно мне быть другом человеку, который отделяет меня от него, любимого [человека] существа, уважает меня, презирая его. Да, эта дружба есть физическая невозможность.

Дорогая Александра Васильевна, Вы знаете меня [в мо]: если Вы находите меня дерзкой, бесталанной, неблагодарной, то все-таки Вы никогда не найдете меня неискренней, не правда ли? Вам на прощание еще раз высказываю и умоляю Вас принять мое заявление — свою глубокую благодарность за всю неоценимую, неизмеримую радость, доставленную мне Вашею дружбою, все уважение, всю любовь к Вам, которую никто не может вырвать из моей души, и все горе этого фатального непоправимого разрыва.

Ваша Лидия Зиновьева.

¹ Зачеркнутое воспроизведено в квадратных скобках.

² Неустановленное лицо.

³ Гревс Мария Сергеевна (урожд. Зарудная; 1860 — 1942), жена Ивана Михайловича Гревса.

⁴ Любовь (франц.).

⁵ Дружбы (франц.).

А. В. ГОЛЬШТЕЙН — В. И. ИВАНОВУ

21 июля 1904
Париж

А. В. Гольштейн благодарит Вячеслава Ивановича Иванова за посылку нового тома лирики¹ и с нетерпением ждет рождения труда трудов — трагедий².

¹ Книга стихов Вяч. Иванова «Прозрачность» вышла весной 1904 года в издательстве «Скорпион» (Москва).

² Трагедия Вяч. Иванова «Тантал» впервые была опубликована в «Северных цветах» (М., 1905).

А. В. ГОЛЬШТЕЙН — Л. Д. ЗИНОВЬЕВОЙ-АННИБАЛ

<16 декабря 1904.>

Дорогая Лидия.

Прости, милая, что не сразу написала тебе после получения твоей книги¹. Такое теперь время даже здесь, что голова идет кругом.

Спасибо. «Кольца» прочла. Не знаю, интересно тебе или неинтересно мое мнение, но я его скажу. По существу могу только повторить, что писала о романе. Этот *род* мне недоступен. В частности, позволь пожалеть, что ты хоть для *шутки*, хоть на пробу не напишешь чего-нибудь маленького и простого. Всюду, где попадается у тебя эта простота, по моему скромному мнению, лежащая в основе твоей души, все у тебя принимает другой, по-моему, привлекательный вид... (дети, горничная).

Попробуй послушайся старого друга.

Твоя А. Гольштейн.

¹ Речь идет о трехактной драме Зиновьевой-Аннибал «Кольца», написанной в 1903 и изданной в 1904 году в Петербурге.

В. И. ИВАНОВ — А. В. ГОЛЬШТЕЙН

СПБ,

Таврическая, 25, кв. 24
14/27 марта <1>906

Глубокоуважаемая и дорогая Александра Васильевна,

Простите, что так поздно шлю свой отклик на Ваш драгоценный мне привет¹. Разумею «Ecrits pour l'Art» с Вашей статьею о «Тантале». Хотелось сказать так много — и не удалось. Лучше уже просто скажу Вам, что бесконечно тронут Вашими строками обо мне, Вашим верным вниманием к далекому поэту и полон благодарного к Вам чувства. Великою радостью было для меня найти во французском журнале, и притом таком, как — увы, окончившиеся — «Ecrits pour l'Art», истинный *разбор* моей трагедии. Вам суждено быть добрым гением моей трагической Музы. Только символизирую мертвыми строками то живое чувство радостной признательности, которое сказаться могло бы лучше в живом слове и при личном свидании. Я счастлив, что меня понимают, в моих художественных стремлениях, хотя несколько человек, — если среди них и могу назвать Вас и если понимание это таково, как Ваше проникновенное и тонкое постижение. В частности, благодарю Вас за перевод цитированных мест: такой перевод в прозе именно желателен для поэта, пишущего с некоторою сосредоточенностью мысли и взвешенным выбором слов и образов; приблизительная передача его содержания в стихе такого поэта не пленяет. А Ваша передача заставила меня мечтать о полном переводе «Тантала» в этой форме.

Мне было бы приятно, если бы Вы нашли возможность засвидетельствовать Мг. René Ghil'ю² и другим редакторам журнала мою истинную признательность за честь, оказанную их вниманием моей работе; это внимание их или — лучше — Вашего журнала составляет для меня предмет справедливой гордости.

Простите, глубокоуважаемая Александра Васильевна, если я переведу Ваше внимание внезапно на совсем иной предмет. Есть здесь несомненно талантливая беллетристка — Мире³. Она — поэт, женщина фантастическая и несчастная. Она приняла твердое, как кажется, решение (и, зная ее, нельзя сомневаться, что она готова тотчас же и непосредственно, безрасчетно и почти безотчетно осуществить его) — решение сделаться буддийской странницей-монахиней, непременно на юге или юго-востоке Индии, где-нибудь между оконечностью полуострова и Мадрасом; посвятить всю жизнь созерцанию и аскетическим странствиям, в обществе монахов-буддистов. Поедет она, пожалуй, и

так, слепо, на последние гроши; это я ее убеждаю завести сначала сношения с европейскими буддистами и, быть может, заручиться необходимою для нее, чтобы не погибнуть, поддержкой. Она ведь и без буддизма давно «обручена жизнью с Нищейтой». А странствовать любит, как странствовала когда-то без денег и крова по Нормандии, — пленяет ее обет не ночевать дважды под тем же деревом. Душа страстно ищущая, полная доброты, глубоко «не приемлющая мира». И в Индию влечет ее давно, как на будущую родину. Здесь она едва перебивается журнальным заработком, еще затрудненным ее строгою требовательностью от изданий, где она участвует, в смысле порядочности политической и даже только согласия с ее, хотя и внепартийной, платформой. Желательно было бы найти ей друзей и, быть может, безденежно доставить ее в Индию, если это в пределах возможного, именно *осенью*. Подумайте, если она Вас заинтересует своею судьбой, не можете ли Вы помочь ей. О шарлатанизме или «декадентских» причудах не может быть речи. Здесь нечто подлинное. Но по характеру она кажется мне способною ко всякого рода непоследовательностям, неровностям, зигзагам и прыжкам в пропасть.

Лидия Дмитриевна сердечно Вас приветствует. Целую Ваши руки и приветствую Владимира Августовича.

Вам преданный сердцем Вяч. *Иванов*.

¹ Имеется в виду рецензия А. В. Гольштейн на трагедию «Гантал»: Holstein A. «Tantale». Tragédie de Venceslavs Ivanoff. — «Ecrits pour l'Art». Nouvelle série, mars 1905 — fév. 1906, t. 3, p. 347 — 358; Slatkine Reprints, Genève, 1971.

² См. переписку Рене Гиля с А. В. Гольштейн: Adamantova Véra. Les lettres inédites de René Ghil à Mme A. V. Holstein. — «Cahiers du monde russe et soviétique», XXVIII (3 — 4), 1987. Известны воспоминания А. В. Гольштейн о Р. Гиле: Holstein A. V. A René Ghil. Souvenirs d'une collaboration et d'une très grande amie. — «Rythme et Synthèse», 6-e année, p. 145 — 151.

³ Мире — Моисеева Александра Михайловна (1874 — 1913), писательница, переводчица.

В. И. ИВАНОВ — А. В. ГОЛЬШТЕЙН (телеграмма)

Pour P<aris> de Lubawitschi Mogil<ewskaya guberniya> № 110 Mots 13 Dérôt le 1, à 2 h. 3 m. du

Lidia Dmitriewna décédée scarlatine campagne Zagorié. Iwanow¹.

¹ Лидия Дмитриевна скончалась скарлатины деревне Загорье. Иванов (*франц.*).

Зиновьева-Аннибал умерла 22 октября/4 ноября 1907 года в деревне Загорье Могилевской губернии. Похоронена в Александро-Невской Лавре в Петербурге.

А. В. ГОЛЬШТЕЙН — В. И. ИВАНОВУ

2/15 ноября 1907.

Что сказать? Как выразить боль сердца при страшном весте, что великое сердце Лидии перестало биться? Нужно ли говорить об этом Вам, Вячеслав Иванович, когда Ваша боль беспредельно ужасна... Говорить Вам слова утешения!.. Разве есть утешение, разве есть примирение перед такой могилой, при такой потере? Плачу с Вами горькими, жгучими слезами. Будьте мужественны, постарайтесь вынести, забыть...

Обнимаю Вас и матерински благословляю на тяжкий одинокий путь.

Александра Гольштейн.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕВГ. ШКЛОВСКИЙ

*

ВРЕМЯ И МЕСТО

Заметки о трех поэтах

Вовсе не странно, что именно поэзия, с ее лирической открытостью, с ее доверительной исповедальностью, дает возможность заглянуть в мир человеческой души, соприкоснуться с ее часто произвольными вздохами и бормотаниями. Не всякая, разумеется, но именно та, что в силу некоей внутренней потребности расположена к такого рода откровенной общительности, та, которую тянет к исповеди, а не к самодовлеющему, броскому образу или вольным забавам со словом. Может, потому и хочется прислушаться к хриповатому, словно с похмелья, голосу современников, всмотреться в их созвучный во многом опыт: чем дышат, каково думают, что тревожит? Особенно тех, кто принадлежит к твоему поколению или близок к нему.

Кстати, поэзия словно откликнулась на читательский интерес не к «фикшн», а к произведениям мемуарно-документального характера, представив свой лирико-биографический материал — предмет авторских переживаний и размышлений. А внутренняя жизнь поэта, если его не заносит слишком высоко в эмпирию, если живет он, как все мы, грешные, впритык к жизни, из увековеченного ахматовской строкой сора черпая золотинок своей поэзии, — замечательное свидетельство «времени и места», как назвал свой последний роман Юрий Трифонов.

Любопытно, что время и место становятся определяющими координатами в поэзии наиболее, на мой взгляд, интересных лириков сорокалетнего поколения — Евгения Бунимовича (сборник «Потэму что живу», 1992), Сергея Гандлевского (сборники «Рассказ», 1989, и «Праздник», 1995), Владимира Салимона («За наше счастливое детство», 1996). У всех троих эти координаты прописаны особенно резко: с их «малой родиной» у одного на Патриарших прудах, у другого — в районе Донского монастыря, у третьего — возле сада им. Баумана.

В открывающих их сборники, надо думать, программных стихах поэты сразу очерчивают свое пространство, свой «хронотоп», почти декларируя приверженность тому или иному времени и месту.

Бунимович пишет:

нас как птиц по москве
кольцевал високосный февраль
орнитолог небесный
пометил оставшихся
в марте
я имел эту жизнь
этот город
страну
и букварь
а уехать в париж
все равно что приблизиться к смерти.

Вот эта февральская окольцованность и мартовская помеченность вкупе с городом (сначала), страной и букварем — для поэта, можно сказать, средоточие

жизни, а неведомый «париж», куда, пожалуйста, можешь свободно ехать, — своего рода небытие или приближение к нему.

Противопоставление «этого города» (имеется в виду Москва, которая у Буниновича выступает главным «топосом», тогда как, скажем, у Гандлевского и Салимона может возникнуть и загородный, и даже сельский ландшафт) и «парижа» как символа некой иной, далекой и благополучной, но — чужой жизни связано с одним из центральных мотивов лирики поэта — мотивом утраты себя. Страхом утраты (особенно сильно этот мотив прозвучит у Салимона, но об этом впереди).

Поэт как бы примеривается к ситуации отъезда («обещаю отвальную / если намылюсь»), что было довольно актуально для интеллигенции в момент неожиданно отворившейся свободы, такой незащитной, такой хрупкой, такой ненадежной: либо сейчас, либо никогда... У кого-то не выдерживали нервы, и тогда происходило то, что происходило, — не нам судить, приближение к чему — к смерти ли, к жизни, к процветанию ли, к угасанию, — у каждого своя судьба.

Но для лирического героя Буниновича все очень определенно, даже если где-то в глубине еще шевелится сомнение. У него все то же, что и раньше: школа, где он преподает математику (свою учительскую профессию Бунинович включает в поэтический образ героя, как бы намеренно отказываясь от амплуа «просто поэта»: «я не поэт / может / этим и интересен»), контрольные, которые он коротает, сочиняя стихи, и, наконец, его «отечество» — Патриархии.

Патриархии пруды — центр, ось, начало его мира, хотя он и иронизирует по этому поводу, намеренно избегая пафоса: «лужа во всем сталинизме оград, / рыночный коврик с двумя лебедями» и т. д. Все у него возводится «в квадрат Патриарших прудов». Он и сам как бы недоумевает, что его так привязывает к этой луже и что в ней ищут другие москвитяне.

Ничего не поделаешь, если эта страна и любовь к ней, неразделенная, но и неотступная, столь парадоксальная, что не удивишься и усмешливо-лукавому вопросу: «Слабб задохнуться в просторах России?»

Да и наследство, что говорить, не слишком вдохновляющее — «сталинизм оград», а все равно привязанность к этому «интеллигентному квадрату», где «литературы больше, чем воды», остается.

Суть, впрочем, не только в магической притягательности Патриарших. Даже если поэт меняет место жительства на куда менее романтическое Чертаново — «раздобрешей столицы массивный второй подбородок», то и этот не слишком эстетичный («за оврагами гряда коробок») уголок огромной Москвы вместе с его непритязательным населением становится для него отечеством.

Это вовсе не значит, что герой блаженно непривередлив и ему все равно, где жить. Грустна и безнадежно трезва констатация: «Эта точка на шаре из тех, что не помнят родства...» Но поэт — вместе со всеми, нимало не претендуя не только на башню из известно какой кости, но даже и на мало-мальскую избранность.

...толкаюсь, спешу, бормочу, спотыкаюсь и заново
так все переделаю, если смогу,
чтобы вместе со мной половина Чертанова

влезала — как утром в автобус — в строку...

Бунинович пытается понять эту свою странную, никак не поддающуюся рациональному объяснению привязанность, но ничего, кроме тавтологии, не находит:

Прости меня, в коляске спящий сын,
что в этом доме выпало родиться,
но, может, сила вся родных осин

в том, что они родные...

Однако именно эта тавтология, да и трогательное обращение к не ведающему пока никаких проблем младенцу-сыну, чья судьба зависит теперь от него, неожиданно оказывается гораздо более точной и впечатляющей, чем что-либо иное.

Родные — и все тут, а дальше как хочешь!

«Рядовой отряда безголовых», поэт так формулирует свое стоическое кредо: «...потому что живу — не ищу от добра добра», «потому что живу — не привык дальновидно отбеливать свой черновик». И еще он признается, с открытой полемичностью к известной фразе знаменитого поэта, что не может «ниоткуда с любовью».

К этой жесткой, почти роковой очерченности времени и места, к которым поэт все равно что приговорен, прибавляется щемящее ощущение быстро и почти незаметно промелькнувшей жизни:

Откачали воду в прудах.
Мы опять сидим на мели.
Как проходит время?
В трудах.
Дети наши в школу пошли.

Обычная, способная показаться вполне заурядной, но оттого, может, и особенно привлекательная человеческая биография входит в стихи Бунимовича бытовой хронологией: вот собственное детство, а вот уже и сын «в коляске едет стоя, / как министр обороны...». Все так быстро, так незаметно! Вот и контрольные работы, которые поэт-учитель дает своим ученикам, вызывают у него самого почти катастрофическую ассоциацию:

есть дамоклово чувство контрольных работ —
ничего не успеешь, а время пройдет,
н-и-ч-е-г-о-н-е-у-с-п-е-е-ш-ь-а-в-р-е-м-я-п-р-о-й-д-е-т
жизнь пройдет,
вырвешь лист из тетради...

А вместе с ощущением, что жизнь скоростно откатывается в прошлое, возникает желание постичь, чем была она, подвести первые итоги, хотя бы через «не»:

я не лидер в финале
и не кум королю
мое имя едва ли
дадут кораблю

Эта застенчивая попытка самоидентификации, не поэтической, а обычной человеческой, не менее, а может, и более трудна. Правда, стоит ли их разделять: ведь не будь первой, не говорили бы мы и о второй? Тем более, что размышление о прожитом и о себе самом вырастает у Бунимовича в раздумье о близких по возрасту и духу, о сверстниках. В стихах появляется то самое «мы», которое вмещает судьбу и опыт поколения.

В пятидесятых —
рождены,
в шестидесятых —
влюблены,
в семидесятых —
болтуны,
в восьмидесятых —
не нужны.

Горьковатое чувство собственной пропущенности, неостребованности — один из центральных мотивов, объединяющих всех трех выбранных мною поэтов.

Если в «болтливых» 70-х было ощущение некоторой оппозиционности, поэтической избранности, только подкрепляемой ситуацией андерграундности, то из нового времени, чужого и по-своему недружелюбного, веет какой-

то почти метафизической пустотой. Тем более значимым становится именно свой круг, так что население Земли сужается до всего «человек 15 — 20». Этот круг, компенсирующий отчасти равнодушие мира, которому не нужны поэты («больше не будет в России поэтов — / да и зачем они тут...»), дороже всего, он, по сути, — тоже родина и часть поэтического хронотопа.

Хронотоп этот включает также и советскую историю с ее социокультурной атрибутикой, ведь и он, поэт, — «продукт страны, / продукт семьи, / продукт своей эпохи...». Отношение к ней у автора ироническое, но и беззлобно-мудрое, поскольку «времена не выбирают», и так уж случилось, что выпало расти и жить именно в эти годы. В стихах Бунимовича часто включается иронически озвученная казенная речь — старых ли идеологически репрессивных времен, новая ли, словно вынутая из не менее казенной, пусть и прогрессивной публицистики.

Шум времени заглушает музыку души. И звенит в стихе, наперекор знакомой бодрой мелодии «броня крепка, и танки наши быстры», в слове иронической интонации тревога учителя: «и что вас ждет, мои ученики...»

Сказано с сокрушенностью, с драматическим ощущением, что прошлое как бы закодировано в настоящем и, увы, будущем. Но если прежде, несмотря на социальную «шизь», вопреки ей «жизнь была желанна», потому что были молоды, то теперь... Поэт не стесняется признаться в своей неприспособленности к этой перевернувшейся враз реальности, он чувствует себя «анекдотом бородастым».

Может, эта новая жизнь и вольготнее, может, в «валютной прыти» и есть своя сермяга, но смысла-то бытия это все равно не составит. Потому — «что нам новая жизнь с переплатой, / если с этой не знаешь, как быть?». История, впрочем, не спрашивает: хочешь — не хочешь... Напряжение перетрясок-перетрусков последних лет остро ощущается Бунимовичем, как и другими: «годы такие — которые три за один».

Но, пожалуй, самый трудный и главный вопрос — зачем? («я отмерил полжизни / а зачем...») — относится вовсе не к «конкретно-историческому контексту», не к сути затянувшейся социальной драмы, а к существованию вообще.

Поэта утомляет даже не столько бытовая суеда и текучка («весь тот сор, без которого вроде / можно жить, да вот мне не дано...»), сколько тот же дефицит смысла, что и в прежние годы. Ни учительство его, казалось бы способное компенсировать эту недостачу, ни даже отцовство (дети выросли) не освобождают от по-прежнему неумной тоски.

Не потому ли и тема пьянства появляется в стихах не как один лишь знак канувшего «бухого» времени («мы выжили в года бухие»), когда только так и можно было вынести тупую «ходьбу на месте», тяготиину всесильного ученья «в империи народных слуг», но и — как знак новой неприкаянности поэта и человека — в сменившей прежнюю эпохе.

Может, оттого-то в стихах Бунимовича так отчетлива ностальгическая нота:

Пили водку. Или пиво.
Одевались некрасиво.
Раздевались некрасиво.
Но зато — неторопливо.

Пили пиво. Или — водку.
Ели мало. Или водку.
Пели желтую подлодку.
Для стихов лудили глотку.

* * *

Ностальгическая нота постоянно присутствует и в стихах Гандлевского, также оглядывающегося на прожитое и подводящего итоги. «Чиликанье галок в осеннем дворе, / И трезвон перемены в тринадцатой школе...», московский

двор, работа пионервожатым в лагере МЭИ, будни, а вернее, ночи сторожа, запрещенные книги, опасные разговоры, бесцельные странствия, питье, которое веселие на Руси бысть, но от которого и многая печали... Короче, вполне маргинальное полубогемное существование. Вот, собственно, и вся одиссея «очарованного странника», как называет себя поэт.

И вот он собирает все впечатления за многие годы в емкую, очень сильную строфу:

Я жил в одной стране. Там тишина
 Равно проста в овраге, церкви, поле.
 И мне явилась истина одна:
 Трудна не боль — однообразье боли.

Как точно схвачено — однообразье боли! Словно продолжение одного из самых пронзительных тютчевских размышлений: «Бесследно все — и так легко не быть! / При мне иль без меня — что нужды в том? / Все будет то ж — и выюга так же выть, / И тот же мрак, и та же степь кругом».

Однообразие (вкуче с неблагообразием) — и в отсутствии особых примет скупного городского пейзажа, в который вписана жизнь самого поэта:

Аптека, очередь, фонарь
 Под глазом бабы. Всюду гарь.
 Рабочие в пунцовых робах
 Дорогу много лет подряд
 Мостят, ломают, матерят.

Стихи Гандлевского, как и Бунимовича, проникнуты лирической, экзистенциальной тоской, но и любовной преданностью этой самой улице, двору, городу, стране. Здесь открывало мир детство, металась и искала юность, неожиданно нагрянула зрелость, сквозь шумные пьяные «отрывы» явив отраженным в трофейном трюмо «дядю в шляпе, испачканной голубем».

И вот поэт уже не очарованный странник, а обычный семьянин, рядовой дачник, прущийся в электричке за тридцать земель приладить к завалющему домику отпавшую доску или задумчиво курящий, пригорюнившись над грядкой.

Самое трудное — переход из поэтического междужизнья и странничества в запыленную, кромешную и кропотливую реальность, ничего не сулящую, а только требующую, только отбирающую по частичке всю ту же, увы, единственную, сжимающуюся, подобно шагреновой коже, жизнь. Не так просты и однозначны отношения со страной, ставшей его судьбою, с выпавшим на его долю пространством, которое и притягивает, и отталкивает, и, главное, метит несмываемой печатью — сиротства.

Но знала чертова дыра
 Родство сиротства — мы отсюда.
 Так по родимому пятну
 Детей искали в старину.

Поэт смиряется с этой судьбой, безрадостно, хотя опять же не без самоиронии, напутствует себя:

...и вновь
 Говори, как под пыткой, вне школы и без манифеста,
 Раз тебе, недобитку, внушают такую любовь
 Это гиблое время и Богом забытое место.

Это слово «недобиток» — из лексикона гражданских распрь и боен, из палаческого словаря тех, кто и после спал и видел вокруг врагов, — хотя и возникает в ироническом контексте, но — со всей его кастетной свинцовой тяжестью. Оно — груз все того же прошлого, по-прежнему нависающего над настоящим и не дающего расслабиться, почувствовать это настоящее полноценно своим.

В поэзии выбранных мною поэтов есть своего рода мазохистский комплекс: при всей иррациональной преданности месту и времени — еще и чувство жертвенности. Ясно, что ничего не устаканилось, что все еще кипит и бурлит на глубине, еще варится невкусная каша истории, сизовато отсвечивая все тем же свинцом, однако — иногo-то душа не приемлет. Здесь — судьба, хотя как бы, может, и хотелось, чтобы мимо пронесли чашу сию. Здесь — все родное, несмотря на тяжелые, душные, похмельные сны:

Для отечества нет посторонних,
Нет, и все тут — и дышится так,
Будто пасмурным утром проснулся —
Загремели, баланду внесли, —
От дурацких надежд отмахнулся,
И в исподнем ведут...

Порочная замкнутость времени, трагическая повторяемость событий, избыточность тяжелых снов немилосердной истории, которые не веселее тех, что рождает сон разума, вызывают в поэте апокалипсические предчувствия конца времени вообще. Обостренное недовольство собой перерастает в грозное чувство близости Страшного Суда.

Мой тяжкий сон, откуда эта мука?
Мне чудится, что мы у тех времен
Без усталости скитаемся на ощупь,
Когда под звук трубы на ту же площадь
Повалим валом с четырех сторон.

Многие стихотворения Гандлевского — своеобразный акт внутренней ре-визии («Самосуд неожиданной зрелости, / Это зрелище средней руки / Лишено общепризнанной прелести...»), душевной настройки на нечто глубинное и сущностное, главное в этой быстротечной жизни, которое тем не менее так непоправимо ускользает.

Впрочем, «самосуд» — это сказано слишком сильно. При всей неудовлетворенности собой и своей судьбой поэт чрезвычайно привязан к той жизни, какая есть, не очень складной, с горечью, несуразицей и «бестолочью». Больше того, он готов назвать все те малости, которые наполняют каждодневное существование, — праздником. «Все на свете праздник — / Красный, черный, голубой». Поэт даже цвета называет, на которые обычно не очень щедр.

Это, если хотите, — декларация: «Грядущей жизнью, прошлой, настоящей / Неярко озарен любой пустык — / Порхающий, желтеющий, журчащий — / Любую ерунду берешь на веру».

Между этими полюсами — грустным чувством иссякания жизни, «прожитой впопыхах и взалхлеб», досадой на ее «бестолочь» и ощущением ее же иррационального очарования — напряжение, драматизм и притягательность поэзии Гандлевского, любовно приникающей к пустыкам.

Но даже и очарованный таинством бытия, он вдруг обжигающе трезво скажет:

Будет все. Одного утешенья не будет.
Оправданья.

* * *

В отличие от Гандлевского и Бунимовича, в стихах Владимира Салимона из его последнего сборника неожиданно сильно прозвучало не просто исповедальное, но именно покаянное начало.

Поэт поднимает тост «За наше счастливое детство». Только вот продолжение у этой вроде бы вполне оправданной (ведь, возможно, и впрямь счастливое) здравицы куда более прозаическое и куда менее заздравное:

За наше счастливое детство
хотя бы замолвить словцо,
очнуться, умыться, одеться
и начисто выбрить лицо.

Ну да, замолвить словцо, потому что разве виновато оно в том, что с нами произошло, происходит, в том, что рухнуло что-то очень важное, что заплутали во времени ли, в себе ли самих?

Салимона, похоже, тоже мучают не слишком радужные сны, как и Гандлевского. Жизнь как сон, как обморок, как тяжелая похмельная дремота с ее ощущением нечистоты, внутренней маеты и разлада. Больше того — появляется даже мотив жизни как смерти:

Я все еще жив, а не умер.
Иль жизнь так похожа на смерть,
такая же скука-докука,
тщета, маета,
круговерть?..

«Очнуться...» — пишет Салимон. И тут же парадоксально, но психологически точно добавляет: «Пойти. Отыскать. Откупорить. / Раскупорить и зажевать».

Вот тебе на... Получается, что пробуждение и обновление завершаются — чем? Да все тем же отпадением-отстранением от реальности, которая кажется чужой и отталкивающей.

Какая-то гадость и мерзость
меня под собой погребла —
опивки, огрызки, обрезки,
объедки с чужого стола.

И небо кажется пустопорожним, и сосны с елями, на которые взирает поэт, тощими, и русское высокогорье вызывает не что иное, как ужас...

Постойте, какое высокогорье? Откуда оно-то в нашей местности, на нашей Восточно-Европейской равнине? Только спяну и представится, так что даже семь московских холмов могут показаться Гималаями.

Но ведь это — если внешним оком смотреть. А если внутренним, духовным, то, может, и впрямь — высокогорье? Если внутренним смотреть, то не семь, а куда больше насчитаешь, да что толку? Ужас, ведь он от несоответствия. Вместо трезвения и возвышения духом... Из бездны собственной внутренней опустошенности взирает поэт.

Из пустоты...

Отчаявшись, он действительно оглядывается на детство. Только вот беда: как-то все спуталось — времена, подробности. Будто склероз у героя, он «очумело» оглядывается окрест:

Я города не узнаю.
Как самого себя на снимке,
где крохотный — в одном ботинке,
в девчачьем лифчике стою.

Пойди пойми, о каком времени речь, когда вроде бы о детстве, но тут же — о «газетах вместо занавесок», загораживающих до боли резкий свет за окном. То ли реальность, то ли метафора. Они, газеты, может, и тогда, но, не исключено, и сейчас. Тоже загораживают. Застят.

Вообще все как-то неладно: герой начинает сомневаться в адекватности своего восприятия мира, но и мир утрачивает определенность:

На самом деле — все не так.
Снежок примятый. Площадь. Скверик.
Не то — дворец.
Не то — барак.

«Все не так...» — становится своего рода рефреном. Больше того — мир вдруг обнаруживает свой «звериный оскал», так что страх становится одним из лейтмотивов стихов Салимона:

Всего боишься — крыс, мышей,
жуков и пауков,
баб вздорных, злобных мужиков,
шишиг, кикимор, упырей.

Везде мерещатся обидчики. Но и к себе поэт тоже непривычно суров, называя одно на одно нелестные определения: «Слюнтяй. Задрюга. Мямля. Трус», не говоря уже про резкое неприятие своей привычки — «отождествлять себя с народом, / калеку с нравственным уродом, / и видеть истину в вине...».

Вино — лейтмотив салимоновского сборника. Вино — избавление от терзаний совести, вино — забытьё, вино — потеря себя и саморазрушение, вино — дьявольское искушение, а не просто хмель или праздник. Да уж, праздничности в винопитии у героя нет. Похмелье горько, да и хмель — не в радость и ассоциируется с тем, «кто от века плутоват, / среди нас присутствует незримо. / Он подливает мне вина. / Он говорит мне: — Пей до дна. / Дойди до точки... До конца... / Измена друга. Смерть отца». И т. д. Даже в теплом кругу друзей хмель не спасает от странного озноба, от бегущего по спине холодка. Этот мотив — внутреннего, душевного остывания — проходит через стихи всех трех наших героев.

Но остывает в жилах кровь
не как в реке вода,
а — ни с того и ни с сего,
вдруг — раз и навсегда.

Проще всего предположить: возрастное. Помнится, героиня «Другой жизни» Ю. Трифонова Ольга Васильевна пыталась объяснить себе, что же такое случилось с ее мужем Сергеем, вдруг заметавшимся в конце своей жизни, тогда еще даже неподозреваемом: «После сорока лет с мужчинами происходят странные вещи: они понимают про себя что-то такое, что было им недоступно прежде. Одни успокаиваются навсегда, других охватывает душевная смута».

Похоже, и наши герои попали под чары такой же смуты. Только вот к поэзии психофизиологические критерии как-то мало подходят. Конечно, грустно, если «тошно стало водку пить. / Скучно женщину любить», но неужто только в возрастных кризисах дело?

Неужели и в самом деле причина все в той же, по Гандлевскому, «утечке жизни»? «Просмотрел. Проглядел. Проморгал», — сетует Салимон.

Собственно, тема не новая, творчество в любой своей ипостаси — всегда противоборство с временем и обстоятельствами. Разве что ощущение времени у разных поэтов обычно разное, особенно у поэтов разных поколений. «Я времени заложник, у вечности в плену» — не каждый из современных поэтов способен повторить эти строки, потому что для ощущения вечности нужно, чтобы мир по-другому воспринимался, а небеса не казались пустопорожними. Но даже и скажи он, поверим ли мы?

Да ведь и не дается по заказу!

У Салимона же и вовсе орудует некто, «от века плутоватый», превращая все окружающее в «какой-то немислимый хлам». Стихи печальны и полны искренней горечи, стыдливо прячущейся за припрыжистым, как бы юродствующим ямбом, да и ирония напоминает кривую гримасу.

Так вот, жалит не просто уходящая или проходящая стороной жизнь, а та, что была «жалкой и ничтожной». Салимон как бы вторит Бунимовичу и Гандлевскому: «В самый раз самому с собой / старые счеты свести...»

И в параллель Гандлевскому возникает парафраз блоковского: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека»:

Я сам весь день смотрел в окно
бессмысленно и бесполезно.

Коровник. Кладбище. Гумно.
Меж них разверзшаяся бездна.

Нерв этого «хронотопного» образа, на сей раз сельского, а не городского, хотя у Салимона последний встречается чаще («Больше не зреть хризантемам в саду / имени Баумана»), — именно бессмысленность. Вообще обжитое пространство у поэта сужается до полупустой безбытной комнатенки, в которой не только не тепло, но сквозит каким-то мировым холодом: «Стол. Стул продавленный. Кровать. / Весь в пролежнях матрас».

Вновь — боль однообразия, отрицательная вечность, бесконечная воспроизводимость все той же убогости и нищеты существования, метафизической неподвижности, косности материального мира, так трудно на Руси поддающиеся изменению.

Глаза протер — не помогает.
Все так, как прежде, да не так:
худая крыша, дверь кривая,
полуобрушенный чердак.

Нет, поэт не просто манифестирует свою замороженность метафизической косностью, но действительно творит самосуд, обращая взгляд внутрь, в самого себя: «Что касается друзей — / дружбы недооценил. / Принуждал. Терзал. Казнил» и т. д. Даже детство вдруг извлекается из своей счастливой завершенности, судится — с внезапно прорезавшимся максимализмом — столь же строго и нелицеприятно:

Когда отец меня застучал
за мелкой кражей, воровством
у матери из кошелька,
он зря не дал мне тумака.
Тогда... И прежде... И потом.
За то, что я себе позволил
не оборвать на полуслове,
не обалдеть от первой крови.

Из воспоминания о детском почти невинном грешке вырастает глубокое чувство личной вины за нравственное недочувствие в другие времена и в других ситуациях. И так же как у Бунимовича, экзистенциальный тупик воспринимается не просто как личная драма, но — как драма поколения:

Наше время не пришло.
Наше время вышло.
Как-то исподволь, тайком
все лишилось смысла.

Может, и вправду отсутствие чего-то более высокого, оправдывающего существование, поддерживающего и укрепляющего душу на любых социальных и житейских изломах — драма поколения, воспитывавшегося в пионерских лагерях, не особенно заглядывавшегося в низкое серенькое небо и привыкшего к флажку над фабричной трубой, а потому и растерявшегося перед новой реальностью, когда та ворвалась вместе с так долго чаемой свободой.

Стишок к стишку, строка к строке,
а смысла нет ни в чем,
по пьянке разве что к стене
привалишься плечом.

Сожаление, даже отчаяние — вот нерв этой обнаженной книги, надрывность которой иногда начинает казаться слишком уж нарочитой (особенно там, где появляются упоминания разного рода колюще-режущих предметов вроде ножа, кинжала или даже меча, «острого как алмаз», вонзенного в грудь поэта).

Если б еще знать, в чем же был для автора этот утраченный смысл. Может, в том, чтоб быть братом брату своему, другом другу... Может, в том, чтоб все-таки «стишок к стишку»... А может, в самоценности самой жизни, какая доступна только нерассуждающе принимающему мир детству. Тому самому — счастливому.

* * *

Как бы там ни было, самосуд вышеупомянутых поэтов, в жизни, кажется, не вовсе обойденных (вот и Гандлевскому присуждены сразу две премии — и за поэзию, и за прозу), — действительно свидетельство зрелости, иронизируй или нет. Он — свидетельство не полной потерянности, присутствия в душе чего-то такого, что не дает окончательно утратить себя. И к неуюту, к этому так хорошо знакомому ознобному ощущению российского сиротства примешивается ощущение сладости жизни (живем же!) — парадокс, который только поэзия и способна выразить.

Что бы и как бы ни было, но таинство бытия все равно остается с тобой, наполняя повседневность немудрыми радостями:

Растроганно прислушиваться к лаю,
Чириканию и кваканью, когда
В саду горит прекрасная звезда,
Названия которой я не знаю, —

под этими строками Гандлевского могли бы, думаю, подписаться и Бунимович, и Салимон.

Время и место, конечно, важны. Собственно, во многом именно благодаря пристальной, осязаемой конкретике поэтического мира всех трех поэтов, его осязаемой шероховатости, его близости и узнаваемости, его точному психологическому абрису вызывают отклик и их переживания, побуждая к ответным чувствам и мыслям.

Но рождает отклик и их живое драматичное чувство бытия, одновременно радостное и печальное, благодетельное само по себе и несмотря ни на что.

Удастся ли удержать его поэтам, сохраняя вместе с тем это во многом новое и болезненное недовольство собой, удастся ли подняться на ту высоту, которая брезжит в их смутных, подчас даже апокалипсических снах, пробиться к той глубине, которая не дает покоя, — вот вопрос.

НИКОЛАЙ СЛАВЯНСКИЙ

*

ВЕСТНИК БЕЗ ВЕСТИ

О поэзии Ивана Жданова

Вселенная, разъятая на части,
не оставляет места для вопроса...

А. Еременко.

Коль скоро поэтическое мышление является едва ли не основным для русской культуры, мне хотелось бы остановить внимание на Иване Жданове, который к тому же явление во многом видовое и с поэзией которого еще совсем недавно связывали большие надежды. И ведь не скажешь, что эти ожидания были изначально пустыми: явная талантливость ощущалась в его странных стихах. Что-то говорили о метафоричности и метареалистичности Жданова, пытались установить его литературную родословную. Я же постараюсь понять это явление исходя из его внутренних особенностей. Но не будем терять времени и сразу же обратимся к его стихам.

Запомнил я цветные сны шмеля:
плыла сквозь них ко мне моя земля.

Но неба для нее не подобрать —
пуста моя открытая тетрадь.

Так тучи пробегают по лицу,
так небо приближается к концу.

Оно уже дописано во мне,
оставьте меня с ним наедине.

Эта вещь из самых ранних, трогательная и наивная, почти детская. Но она уже несет на себе признаки именно ждановской поэтики. Сны запомнить в подлинном смысле можно только собственные. Здесь дается исходная родственность лирического сознания с «миром» шмеля. Сны являются общим пространством и для шмеля, и для поэтического субъекта, хоть внутри его они разведены («плыла сквозь них ко мне моя земля»). Цветные сны, открытая тетрадь как-то сразу напоминают о детском рисунке и о детской же озадаченности: подобрать небо к земле. Приближение к концу неба совпадает с завершением рисунка, притом и внутренне данного (во мне). Таково самое беглое впечатление от чтения этой вещицы, с ее тонкими связями и перетеканием одного в другое. Мы становимся обладателями следующего тождества:

(шмель-сон-я) = земля = тетрадь = (лицо-небо) = Я

Но прочтем другое стихотворение, состоящее всего из четырех строк:

Когда умирает птица,
в ней плачет усталая пуля,
которая так хотела
всего лишь летать, как птица.

Поэтическое обаяние этой вещи несомненно. Ясно, что слова «когда умирает птица» отводят ощущение мгновенной насильственной гибели — речь здесь о самой природе смерти. И когда мы узнаём, что в умирающей птице плачет усталая пуля, нам открывается полная интимная сращенность птицы и пули, и пуля уже плачет вместо птицы, и пуля же оказывается усталой, как и умирающая птица, которая как бы сама вынашивала в себе эту пулю. Перед нами еще одно проявление способности поэта сливать не только близкие, но и прямо противоположные вещи. Свойство это окажется, как мы увидим дальше, увы, роковым для всей поэтики Ивана Жданова. Этот маленький этюд, безупречный по чистоте выражения (что у Жданова большая редкость на уровне целого стихотворения), высказывает главную интуицию нашего поэта, вводя нас в сферу нерасторжимых связей всех смыслов, включая и взаимоисключающие. На языке диалектики это называется чистым становлением, где бытие и небытие насквозь пронизывают друг друга. На общепринятом языке эта зона именуется стихией, или хаосом.

А сейчас я предлагаю прочесть другое, на этот раз довольно пространное, стихотворение, где в стихийное втягивается абсолютно все, где и главная тема (любовь) растворяется без остатка в борьбе двух противоположных начал (гибель — неуничтожимость). Это слияние настолько могущественно, что попытка образовать замкнутое (неприступное) кольцо смысла (остров, лебедь, снег) оказывается невозможной.

Ты, смерть, красна не на миру, а в совести горячей.
Когда ты красным полотном звowieшья надо мной
и я займусь твоим огнем навстречу тьме незрячей,
никто не скажет обо мне: и он нашел покой.
Рванется в сторону душа, и рябью шевельнется
тысячелетняя река из человеческих глаз.
Я в этой ряби растворюсь, и ветер встрепенется
в древесном шепоте моем и вспомнится не раз.
Ты, смерть, красна или черна, не в этом вовсе дело, —
съедает мартовский туман последний мокрый снег.
И в смертном шепоте моем уже не уцелело
ни слов для совести моей, ни берегов для рек.
А над оттаявшим прудом весна не городская,
на деревянном островке вчерашний снег уплыл.
Там, клюв упрятав под крыло, как будто замыкая
себя в осеннее кольцо, когда-то лебедь жил.
Я вспомнил лебедя, когда, себя превозмогая
и пряча губы в воротник, я думал о тебе.
Мне так хотелось умереть, исчезнуть, замыкая
в себе все прошлое мое, тебя в моей судьбе.
О, если б вправду умереть пришлось мне в то ненастье,
то кто послушал бы меня и кто б сумел помочь
мне вытравить себя из глаз, пророчащих участь,
неумолимых, как и ты, и обращенных в ночь.
Всю память выжечь о себе, сгореть, лишиться крова.
Кричать: забудьте обо мне, меня на свете нет!
Что будет, если я умру? Меня оттуда снова
оттуда вытащат опять просматривать на свет?
О, если б камни, что мои хранят прикосновенья
и в них живут, как в скорлупе, растаяли, как дым!
О, если б все ушло со мной: вся память, все мгновенья,
в которых я тебя любил отчаяньем моим!
Где зеркало теперь мое? Бродячим отраженьем,
не находя ответных глаз, по городу бреду.
Грозит мне каждое окно моим прикосновеньем.
Мне страшно знать, что я себя нигде не обойду.
Я натываюсь на себя, и там, где не был даже,
весь город мною заражен — повержен в колдовство.
Люблю, боюсь, зачем, кого — слова подобны краже.
Туман съедает мокрый снег, мне не спасти его.

Нельзя не отметить очень выразительного слияния четырех- и трехстопного ямба в единый стиховой период, передающий ощущение срыва в более стремительный, слитный поток, который не могут сдержать и рифмы, едва успевающие отмечать вдох и выдох. Здесь проявляется и своего рода речевая безоглядность, впрочем подкупающая. Нет нужды загромождать очерк подробным разбором этого стихотворения, в котором, кстати, не найти и следа того, что у нас принято называть авангардом или постмодернизмом. Я сразу же перехожу к другой вещи Жданова, написанной в том же ритмическом ключе, но в которой весьма ощутимо проявляются другие важнейшие свойства его поэтики.

Когда неясен грех, дороже нет вины —
и звезды смотрят вверх и снизу не видны.

Они глядят со стороны на нас, когда мы в страхе,
верней, глядят на этот страх, не видя наших лиц.
Им все равно, идет ли снег нагим или в рубахе,
трещат ли сучья без огня, летит полет без птиц.

Им все равно, им наплевать, в каком предметы виде.
Они глядят со стороны, колющий сея свет,
и он проходит полость рук, разомкнутых в обиде,
и возвращается назад, но звезд на месте нет.

Они повернуты спиной, их не увидишь снизу.
И кто — скажите мне — хоть раз подняться выше смог,
чтобы увидеть, как течет не ответ по карнизу,
не тень ручная по стене, а вне лица упрек?

Как эти звезды приручить, известно только Богу.
Как боль неясную унять, понятно только им.
Как в сердце черном возродить любовь или тревогу?
Молчат. И как перед собой, пред небом мы стоим.

И снег проходит нагишом, невидим и неслышим,
и продолжается полет давно умерших птиц,
и, заменяя звездный свет, упрек плывет по крышам,
и мы не чувствуем тебя, и страх живет вне лиц.

Здесь на фоне уже привычной для нас общей смысловой размытости и перетекаемости одного состояния в другое мы имеем и нечто особое, и как тут не вспомнить про Чеширского кота, вернее, его улыбку, кота как раз нужно «снять». Страх и упрек вне лица, треск сучьев без огня, а за ними летит полет без птиц. Конечно, это не просто окольцованность смысла, а разложение целого явления на его составляющие для их последующей абстракции в качестве абсолютных и самодостаточных сущностей. Интенсивное использование этого приема и дало эффект особой метафоричности Жданова.

Но такая изолированная метафора вовсе не противоречит хаотическому окружению, ибо в силу своей изолированности она не может одолеть хаос в целом и неизбежно коллапсирует в самое себя, успевая на мгновение осветить только себя же, но не окружение. Не останавливаясь сейчас на некоторых других любопытных аспектах этой поэтики, отмечу уже здесь, что Жданов — одно из редких проявлений в поэзии именно музыкального уровня художественного сознания. Я имею в виду, конечно же, не мелодичность его стихов, а чисто онтологический срез. «Чистое музыкальное бытие есть всеобщая и нераздельная слитость и взаимопроникнутость внеположных частей» (А. Ф. Лосев, «Музыка как предмет логики»); если поэзия порождает конкретный эстетический смысл, то музыка является лишь зачатием такового смысла, образуя в своем развитии обобщающую структуру числа. Но, прорываясь на вербальный уровень, музыка размывает семантические очертания слова, напоминая этим о стихийном истоке всякого искусства — о необходимой энергетике любого творчества. Однако у Жданова хаос сам становится сферой его переживаний и невольным объектом его поэтического сознания.

Я не буду говорить о том, возможно ли построение творчества на единственной теме хаоса. Разумеется и то, что ни одна поэтическая интуиция не может быть изначально ложной. Мало того что хаос — неизбежный момент диалектического сознания, но и содержательно он — порождающее лоно всех возможных смыслов.

Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий
и гонит по стеклу безмолвный шум травы,
и млечные стволы хрипят в его пожаре,
на прорези пустот накладывая швы.
Мороз в конце зимы берет немую спицу
и чертит на стекле окошка моего:
то выведет перо, но не покажет птицу,
то нарисует мех и больше ничего.

Понятно, что Морозом называет себя здесь стихийное начало, и пока есть его соотнесенность с пусть гадательным ощущением смыслового единства (без которого творчество и впрямь невозможно), целое спасается даже так: «На прорези пустот накладывая швы». У Жданова есть особая прелесть (если хотите, прельщенность риском) угадывания целого по части.

Из интуиции вечного стихийного становления и точечных изолированных смыслов вытекает самым естественным образом и чувство времени, которое у Жданова течет и бурлит, закипая на каких-то невидимых порогах, но, в сущности, кружится на месте, и в какую бы даль (увы, умозрительную) мы ни уносились, нас вместо грохота вдруг настигает безмолвие и неподвижность. Время у Жданова не убывает и не прибавляется, и само оно ничего не меняет. Если Жданов говорит «продолжается полет давно умерших птиц», то всякому понятно, что главное здесь — именно этот полет, а реальное существование птиц — лишь повод для него. Собственно, далее Жданов так и пишет: «...птица — это тень полета». Когда в другом стихотворении снегопад обводит собой очертания прежде стоявшего на этом месте дома, то видно, что сохраняется не сам дом, а его объем, который у Жданова куда важнее дома. Бывшее — лишь повод для памяти, и поэтому дорога не память о чем-то, а память как таковая, взятая сама по себе, без всякой соотнесенности с конкретным предметом. Даже «запах бессмертного жилья» дается в исключительно напряженном отвлечении от всякого реального жилья, тем самым превращаясь в беса пустынного, блуждающего по безводным местам. Запах Бессмертного Жилья — жутковатое имя этого беса. У Жданова ничего не погибает, но лишь потому, что у него ничего не рождается, по сути, у него никто не живет. Изолированный смысл на фоне всеобщей стихийности «исчезает в себе... как синяк».

Я не берусь описать психологические мотивы и внешние влияния, приведшие Жданова к усвоению интуиций хаоса на уровне сознательного метода, волевого конструирования алогичного, но уже в первой книге в подавляющем объеме представлена именно эта вполне умышленная тенденция. Вторая книга стала поэтическим крахом Жданова.

Сказав о вторжении музыкального уровня в творчество Жданова, я вовсе не собирался делать комплимента, хоть это качество и в самом деле придавало своеобразную прелесть иным его вещам, приводя к семантическим смещениям, напоминавшим «высокое косноязычье». И если стихотворчество Жданова действительно пришло к катастрофе, то совсем не потому, что он музыкант, оказавшийся в чуждой ему словесной сфере. Провал в словесности имеет свой неизбежный музыкальный эквивалент, и к нему приходят из-за ложной творческой установки.

Довольно скоро все прочее у Жданова вытесняется холодной манипуляцией, в основе которой лежит уже знакомая нам операция абстрагирования. Изымая из явления одно из качеств (скажем, бег из коня) и разлагая предмет на его составляющие, Жданов выводит эти фрагменты в умозрительное пространство. Такие отдельно взятые и лишенные своей смысловой очерченности

элементы можно вполне беспрепятственно и вполне произвольно комбинировать с другими столь же опустошенными, собирая из них любых динозавров. Конечно, читатель наивно думает, что слова все еще что-то значат и уж тем более дорого обошлись самому автору, особенно изначально ответственные слова, «метафизического ранга», так сказать, и на этой замороченности доверчивого читателя зиждется загадка сфинкса по имени Иван Жданов.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

И при слове клятвы сверкнут под тобой весы
металлическим блеском, и ты — на одной из чаш,
облюбованный насмерть приказом чужой красы,
внимающей снизу один за другим этаж.

Как взыскуемый град, возвращенный тебе сполна,
и как слава миров, под тобою разверстых, на
воздухах левитации реет кремнистый пар —
от стерильной пустыни тебе припасенный дар.
Преображенный клятвой и ставший совсем другим —
всем, что клятвой измерил и чем был исконно цел,
наконец ты один, и тебе незаметен грим,
погрузивший тебя в обретенный тобой удел.

Соучастник в своем воровстве и третейский суд,
пересмешник, свидетель, загнавший себя под спуд
предпоследней печати, в секретный ее завод —
под чужое ребро бесконечного сердца ход.

И при слове клятвы ты знаешь, чему в залог
ты себя отдаешь, перед чем ты, как жертва, строг.
От владений твоих остается один замок,
да и тот без ключа. Остальное ушло в песок.

Обратим внимание на две последние строки, которые вполне осмысленны и, хоть и сказаны с отчаянным нажимом, по сути своей тривиальны. Они словно бы являются выводом из предыдущего, и якобы (то есть почти что, следственно) это предшествующее не может быть вздором. У Жданова это довольно распространенный прием, нечто вроде наклейки на запечатанном непрозрачном сосуде.

А какой непреклонный проповеднический пафос, какой вещательный надрыв, будто нисходящий на вас с самой Голгофы! Поднимаем голову — и видим, что это всего лишь распятый на столбе репродуктор, низвергающий на нас, как мясорубка, речевой фарш. Впервые шило преобразилось в мыло. Чудо великое, не спорьте.

В одном интервью Жданов посетовал на то, что читатели его стихов редко дают себе труд подвергнуть его текст специальному филологическому анализу, что лишает их настоящего понимания его творчества. А между тем сам Жданов убедился в пользе такого разбора еще в свою бытность студентом филфака. Мне понятна законная гордость питомца своей кормилицей, но когда же обсохнет ее молоко на губах поэта?! Ему даже невдомек, что требование текстуального разбора, оправданное отчасти в рамках литературоведческого сознания, прямо противоречит непосредственной и целостной природе искусства, обращенной к такой же тотальной сущности человека. Если вещь искусства как целое ничего добровольно не говорит человеку, то напрасно ждать от нее признаний на пыточном станке анализа.

Впрочем, если у кого есть охота до подноготной ждановских стихов, то пусть такой человек не удивляется, столкнувшись с «неумышленно голым холмом», пусть такой человек лучше вспомнит: разве он не встречал высоких, причем совершенно непреднамеренно, людей? Люди невзначай малого роста попадают на каждом шагу, а ненароком глупые — и того чаще. Если наш исследователь на этом не успокоится, пусть он тогда заменит в этом стихотворении («Холмы») злосчастное «неумышленный» на «предумышленный». Легко убедиться, что результат всего стихотворения из-за нашего проверочного действия несколько не изменился. Дальше дело пойдет веселей: можно заменить

любые слова по своему выбору (разумеется, не ломая «складу») на те, какие вам больше по душе. Удивительное дело, смысл всего стихотворения Жданова остался тем же. Отчего бы это? Может быть, кому-то и не по силам представить себе ждановский «обюдоогромный луч, вникающий в пустоту и которому судьба преломиться», — лично я долго любовался его очертаниями, напоминавшими мне квадратный трехчлен. В абстрактном мире Жданова если еще и попадаются значимые слова, то, встречаясь друг с другом, они взаимно семантически сокращаются хотя бы из вежливости, и только «невинный грех», один как перст, идет себе сквозь «монолитную труху» по «слоеным сугробам агонии». Вот он, вестник без вести! Порой бедолага автор собирает из подручных обломков какой-нибудь схематический агрегат, но тот через исчезающе малое время снова разваливается в умозрительном пространстве.

ЖАЛОБА ИГРЫ

Ты — куст и разбойник в кустах, ты — ветер, и ты —
воздушная яма, куда похоронный гранит
сорвался, заполнив ее до краев пустоты,
и стал монументом, который давно уж забыт.
И рубашка для карты с чужого плеча
на тебя навалилась, любя,
и молекулы ветра, как лед грохоча,
перемешивать стали тебя...

Обрываю цитирование, чтобы не терзать читателя фальшивыми надрывами. Но прошу отдать Жданову и должное: скука у него подлинная, самой высокой пробы.

Известно, что нынешние поэты стыдятся ходить в теоретической наготе. Жданов вместе с другими прочувствованно говорил об авангарде и постмодернизме, ну и, само собой, чутко вслушивался в праязык. И в своем стихописании он часто исходит из того заблуждения, что язык сам порождает поэзию и метафора как особое лингвистическое образование генерирует поэтический смысл. Выходит, что достаточно отыскать особую породу метафор, как они сами собой начнут класть поэтические яйца. На деле же все строго наоборот. Только художественное сознание преобразует речь, создавая из нее образную систему, включая метафору. А язык, несмотря на свою чрезвычайную активность и характер Протея, должен быть преодолен в каждом своем моменте. И речи нельзя давать ключей от поэтической свободы — это обернется уже лингвистическим рабством. А у Жданова иное его изделие стоит себе болван болваном, заляпанное наугад метафорическим золотом, можно сказать, обгаженное им с головы до ног.

Если в первой книге¹ еще происходят попытки прорваться к превышающему хаос смыслу (см. «До слова», вещь хоть и тяжеловатую из-за своей программности, но талантливую, а местами и пронзительную) и есть некое веяние чарующего ужаса от переживания свежей утраты смысла, то во второй книге² аннигиляция Логоса — давно свершившийся факт, и след его не только простыл, но и напрочь затоптан в умышленных потемках бестолковым стадом фантомообразных.

Насколько мне стало понятно из признания Жданова на его авторском вечере, он как бы стыдится некоторых своих ранних (наивных) стихотворений. Еще бы! В них столько личного, следовательно, уязвимого, изрядно неуклюжестей и погрешностей. Зато вторая книга безупречна. Ложная поэтическая беременность торжественно обставлена «философскими» этюдами в прозе.

¹ Жданов Иван. Портрет. М. «Современник». 1982.

² Жданов Иван. Неразменное небо. М. «Современник». 1990. Третья книга стихов (1991) — по существу, избранное из первых двух — и последующие публикации в периодике ничего нового с собой не принесли.

Безукоризненность обеспечивается тем, что категория эстетического вкуса попросту неприменима к миру содержательно опустошенных абстракций. В этом умозрительном хаосе ничего и не происходит. Пусть в текстах Жданова взрываются мириады галактик, читатель даже не сморгнет, потому что вся вселенная Жданова не стоит и чиха из-за отсутствия аксиологической оси, что является следствием самой жуткой утраты этого поэта — потери личного начала, без которого невозможна ценностная система (а личность, замечу попутно, — единственное, что нельзя абстрагировать). И личности в мире Жданова места нет, отсюда его полная безответственность.

Принципиальная невозможность хоть какого бы то ни было мировоззрения из-за утраты личного переживания начал бытия полностью исключает живое, пусть сколь угодно трагическое, становление таковой личности в этом иллюзорном мире, который даже не может наложить на себя рук. Ничего со стихотворцем во второй книге не произошло — ничего, за исключением того, что он перестал быть поэтом.

Разумеется, никто не вправе запрещать поэту работать с любой предметностью (или беспредметностью) и рисковать собой, создавая по собственной прихоти любую эстетическую действительность (или мнимость). Сверх того, разве уже одна склонность художника к сожигательству с той или иной стихией не говорит сама по себе о некоторых значимых силах нашего времени, которые, возможно, превышают и намерение, и разумение захваченного ими поэта? И, конечно же, дело не просто в частной человеческой или творческой ошибке Жданова. Какая-то грозно-объективная воля производит в наше время ликвидацию поэзии руками самих поэтов, и она уходит из нашей жизни, унося с собой свою тайну.

ЛАРИСА МИЛЛЕР

*

УЮТНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА БЕЗДНУ

Свет далекой «Звезды» № 9 за 1996 год долетел до меня с большим опозданием, потому и отклик мой — запоздалый. И касается он исключительно тех страниц, что посвящены творчеству Александра Кушнера, недавно отметившего свое шестидесятилетие. «Поэт нормы» — так Фазиль Искандер назвал свои в целом интересные заметки, в которых пишет: «Он — поэт уюта, поэт окультуренного человеком мира... Вопросы, на которые Кушнер не находит ответа, и не ставятся в его стихах. Он никогда не зависает над бездной, не вглядывается в нее подобно Тютчеву и Блоку. Но это общее свойство поэтов дома».

«Муза А. С. Кушнера — муза оседлой жизни, муза покоя и заведенного порядка», — вторит Искандеру Евгений Голлербах. «Поэт слагает стихи лишь о том, что видит, о тихой, привычной и до боли родной среде обитания...» Прочла я все это — и несказанно удивилась. А удивившись, сняла с полки сборники поэта и принялась их перечитывать. Едва я перелистнула несколько страниц, как на меня посыпались вопросы. Те самые, на которые поэт не находит ответа, но которые тем не менее настойчиво задает себе, читателю, вечности, пространству:

Кто, кто так держит мир в узде,
Что может птенчик спать в гнезде?
.....

В деревьях — ужас нежитья
И ветра шорох с краю,
Как чей-то крик: а как же я?
И чей-то вздох: не знаю.
.....

Какое счастье — сон вдвоем,
Кто нам позволил это?

«Не суй свой нос, не лезь к миропорядку / С расспросами» — одергивает себя поэт, но вопрошает и вопрошает:

На свете, где и так все держится едва,
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет,
Кто сделал, чтобы ты жива и нежива
Была, как тот огонь: то вспыхнет, то потухнет?

Заразившись вопросительной интонацией цитируемых мной стихов, не могу не задать вопрос: как сопоставить эти строки с утверждением, что поэт «никогда не зависает над бездной»? Да, по-моему, он только и делает, что над ней зависает, цепляясь за всякую мелочь, всякую подробность бытия и быта, чтоб удержаться на краю:

И голый ужас, без одежд,
Сдавлив, лишил меня движений

Я падал в пропасть без надежд,
Без звезд и тайных утешений.

Ополоумев, облака
Летели, серые от страха.
Чесалась потная рука,
Блестела мокрая рубаха.

И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, задержаться!

Такой соломинкой служат поэту стихи, которые «Не пишутся — идут, / Раскинув руки, над обрывом, / И камешек то там, то тут / Несется с шорохом счастливым / Вниз...».

Впрочем, кое с чем из сказанного о Кушнере — «поэт оседлой жизни, покой, уюта, дома» (первым поэтом дома Фазиль Искандер считает Пушкина) — можно и согласиться. Кушнер действительно поэт дома, но дома, стоящего на краю пропасти, о которой он не забывает даже занимаясь вполне обыденными делами: кипятя молоко или ставя на стол букет шиповника. Не знаю, в чем больше мужества — в том, чтобы постоянно вглядываться в бездонную черноту, или в том, чтобы, повернувшись к ней спиной, радоваться простым вещам.

За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объатым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!
.....

В саду за столиком... А дело в том, что слишком
Душа привязчива... И ей в щелях стола
Все иглы дороги, и льнет к еловым шишкам,
И склонна все отдать за толику тепла.

И как не захотеть «все отдать за толику тепла», если и дом твой, и сад лепятся на краю пропасти, а значит, весь твой налаженный быт, и оседлая жизнь, и заведенный порядок — сплошная фикция. Особенно если живешь в России, где кроме метафизической бездны существуют вполне реальные ямы и провалы, где даже безмятежный сон на чистой простыне в собственном доме, когда «Не трясут за теплое плечо, / Не подступают с окриком и лаем», — великая роскошь.

Кушнер — поэт уюта? Может быть. Но, читая его «уютные» стихи, я постоянно вспоминаю знаменитую ахматовскую строку: «Ты уюта захотела? Знаешь, где он — твой уют...» Наверное, такова интонация стихов (даже на первый взгляд безмятежных) Кушнера, что не вспомнить эту строчку невозможно. И сколь бы настойчиво поэт ни заклинал судьбу, обещая «привязчивой душе», что «не канет ничто, не пройдет», он отлично знает, что и пройдет, и канет. И все же именно неотвратимость конца рождает особую зоркость и остроту чувств: «Но и в самом легком дне, / Самом тихом, незаметном, / Смерть, как зернышко на дне, / Светит блеском разноцветным», освещая пленительным и неверным светом самые заурядные вещи:

И даже номер на машине
ЛИИ — 12-50,
И те журналы, что в кабине
Багровым веером лежат.
.....

Кому объяснить, для чего на примете
Держу и вино, и сучок на паркетe,
И зыбкую невскую пруть,

Какую тоску, шелестящую рядом,
Я призрачным этим полночным парадом
Хочу заслонить?

«Кому объяснить?» Это не вопрос. Это крик отчаяния. Кто-то мудрый сказал: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». Нарушив этот принцип, я бросилась объяснять. Правда, не столько своими словами, сколько с помощью строк самого поэта. Зачем я это делаю? Затем, наверное, что меня поразила сама возможность такого полного несоответствия между словом поэта и восприятием этого слова.

Вот что писала об одной из его книг Лидия Гинзбург: «„Дневные сны” рассказывают о счастье жизни и о неутраченной за него тревоге. Это ключевая тема книги, и отсюда ее лирическая напряженность. В ней осуществляется взаимосвязанность жизнеутверждающего и трагического» («Человек за письменным столом»). То же самое можно сказать и о последней книге поэта — «На сумрачной звезде».

В отчаянье или в беде, беде,
Кто б ни был ты, когда ты будешь в горе,
Знай: до тебя уже на сумрачной звезде
Я побывал, я стыл, я плакал в коридоре.

Чтоб не увидели, я отводил глаза.
Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса
Уже испытаны на хриплый крик безгласный.

Не отзываются. Но видишь давний след?
Не первый ты прошел во мраке над обрывом.
Тропа проложена. Что, легче стало, нет?
Вожусь с тобой, самолюбивым...

Поэт открытым текстом признается в своих слезах и в том, что отводил глаза, чтоб скрыть эти слезы. Но стихи Александра Кушнера говорят о том, что ему это плохо удается. Отсюда драматизм и сила его поэзии.

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ



«МАКУЛАТУРА» КАК ЛИТЕРАТУРА

На кладбище сеется мелкий дождик. У глинистой ямы нестройно играет духовой оркестр. Ораторы, переступая с ноги на ногу, сменяют друг друга возле дешевого и почему-то закрытого гроба. Некто с недоумением глядит со стороны на происходящее — это его хоронят. Идут похороны Вымысла. Мне уже приходилось писать об этом в статье «Неизвестные результаты речи»¹. И вот еще два газетных «некролога» укладываются в ту же папку. Поэт, прозаик и переводчик Андрей Сергеев, получивший большого Букера за свое мемуарно-автобиографическое произведение «Альбом для марок», высказывается по проблемам современной литературы.

«В наши дни существует большая проза и малая проза, а категории «роман», «повесть», «рассказ» — это достояние отошедшей эпохи. После того разгрома, который мы претерпели в XX веке, когда мы оглядываемся и пытаемся понять, что же случилось и что мы из себя представляем на текущий момент, то предпочитаем (это относится отнюдь не только ко мне) читать не конструкции, а реальные рассказы о реальных событиях в жизни реальных людей, названных собственными именами»².

Для того чтобы разобраться, почему мы претерпели такой разгром в XX веке, не обойтись без невымышленной литературы с подлинными собственными именами реальных людей, тут Андрей Сергеев совершенно прав, но разве это единственный повод обращения к литературе? Да, усталость от литературы вымысла действительно наблюдается. Но вот что любопытно: она затрагивает, как правило, людей из литературных же кругов — людей, которые либо сами пишут, либо по тем или иным причинам получают деньги за чтение художественной прозы. Не говорю уже о тех, кто просто *переезжает культуры*. С нормальным же читателем дело обстоит иначе; нормальным я называю того, кто не имеет никаких внешних стимулов для обращения к роману, только внутреннюю потребность, и читает просто потому, что хочется, и в данном случае не важно, чего именно хочется — отдыха или ответа на экзистенциальные вопросы. Так вот, у таких нормальных читателей, которых гораздо больше, чем ненормальных (вроде меня и моих коллег), никакой усталости от вымысла я не вижу. Собственно, главным образом «fiction» публикой и потребляется (добавьте сюда еще и телесериалы, которых ждут с не меньшим воодушевлением, чем некогда читатели Диккенса — очередную главу его нового романа); более того, «fiction» еще и покупают — наши в большинстве своем небогатые граждане с удовольствием отдают за него далеко не лишние деньги. Скажут: за наркотики тоже платят, мол, массовые жанры — тот же наркотик. Но, возражу я, наркотиком при определенных обстоятельствах может стать

¹ «Новый мир», 1997, № 2.

² «Независимая газета», 1996, № 246, 31 декабря.

все, что угодно: и классическая музыка, и богословская литература, и работа, и спорт, — не отвергаем же мы на *этом* основании спорт, работу и классическую музыку. Между тем есть немало охотников раздуть щеки при упоминании массовых жанров.

Вот я вырезал из газеты очередную статью питерского критика и филолога Михаила Золотоносова под громким названием «Писательство исчезает как профессия». Сначала, бросая недобрый взгляд на литературу ушедшего 1996 года, он отмечает, что «отдельные произведения появились, макулатуры издали с избытком, а Литературы не было»³. Я не хочу выглядеть большим оптимистом, чем я есть на самом деле, и не стану утверждать, что в нашей «настоящей», «серьезной» литературе не происходит ничего дурного. Процессы идут сложные и, может быть, энтропийные. Мне уже приходилось говорить⁴ о том, что литературы, может статься, и вовсе не будет, по крайней мере такой, какую мы, *литературные* люди, привыкли называть литературой. Но, в конце концов, такой литературы когда-то давным-давно и не было. Когда-нибудь ее больше не будет. А почему, собственно, она может или должна существовать вечно? Только потому, что мы, такие, как мы есть, привыкли... нет, даже не кормиться, а *греться душой* возле нее? Дальше М. Золотоносов пишет, что

«писательство исчезает как профессия; людей, живущих на то, что они создают художественный вымысел, к тому же сопряженный с нравственной проблематикой, практически не остается. А тот вымысел, который издают и который приносит доход (книги Николая Леонова, Виктора Доценко, Даниила Корецкого, Александры Марининой, Марины Александровой, Андрея Измайлова, Инны Астаховой...), художественным никак не назовешь; даже в необозримом будущем эта макулатура не сможет приобрести эстетический ранг, так макулатурой и останется. *Зато низкостатусная группа читателей получила необходимый примитив: произошло уникальное совпадение предложения и спроса* (курсив мой. — А. В.)».

«Низкостатусная» — какво? Золотоносов, таким образом, читатель «высокостатусный»? Удивляет не презрение к «макулатуре», а презрение к массовому читателю. Читатель выбирает то, что *не скучно*. Он не прав? Наш кинематограф, среди прочего, рухнул из-за того, что режиссеры вообразили, будто после ликвидации Госкино и Идеологического отдела ЦК они будут свободно самовыражаться, а народ станет платить деньги, чтобы приобщиться к их самовыражению. Но массовый зритель почему-то предпочел *интересное* американское кино⁵. Поскольку литературное творчество не требует таких предварительных капиталовложений, как кино, — бумага да ручка, — в крайнем случае компьютер, — то целая плеяда отечественных детективщиков и фантастов сумела быстро занять свой сегмент рынка, весьма и весьма потеснив зарубежных авторов. Конечно, художественный уровень их сочинений оставляет желать лучшего, это как раз общеизвестно, но «макулатура» и не нуждается в эстетическом признании со стороны критика Золотоносова.

Кстати, другой критик, Сергей Митрофанов, обозревая новейшие «страшные сказки», высказывает предположение, что в гуще российских триллеров рождается ожидаемый читателем «адекватный времени и его эстетике социальный роман»⁶. Да и почему, собственно, в макулатурных детективах нет «нравственной проблематики»? Если под такой проблематикой понимать выбор человека между «плохим» и «хорошим» поведением (конечно, сформулировано грубо), то как же в детективе может ее НЕ быть? Я даже рискованно предположить, что недобро помянутые М. Золотоносовым неприхотливые миллиейские романы Александры Марининой («русской Агаты Кристи», как аттестуют

³ «Московские новости», 1997, № 3, 19 — 26 января.

⁴ «Вопросы литературы», 1996, № 6.

⁵ См. на эту тему статью Ирины Любарской в «Новом мире», 1997, № 2.

⁶ «Ex libris НГ». — Ежемесячное приложение к «Независимой газете», № 2. «Независимая газета», 1997, № 31, 20 февраля.

ее в издательских аннотациях) гораздо *нравственнее* многих сочинений, ну, скажем, Виктора Ерофеева⁷. К тому же Марининой удастся создать запоминающийся и привлекательный характер сыщицы Анастасии Каменской; подробности повествования забываются, образ героини остается — это уже немало.

Еще один критик, Григорий Ревзин, делится впечатлениями от новых российских детективов: «„Антикиллера“ Даниила Корецкого я лично выбросил в мусоропровод. У меня нет знакомых, которым я мог бы отдать книгу, где половые акты со свиньей, кошкой, другими представителями животного мира и преступных группировок случаются через каждые три страницы. Причем пропустить их нельзя, потому что в момент совершения происходят важные для развития сюжета признания и события»⁸. Зоофилия, конечно, тема скользкая, на любителя. А интересно, много ли у каждого из нас знакомых, которым можно было бы подарить номер высокостатусного журнала «Знамя» с романом «Эрон» Анатолия Королева, который по части зоофильных эпизодов даст сто очков вперед любому Корецкому? Да и на фоне Владимира Сорокина Даниил Корецкий (этот «панк» русского детектива, как кто-то его определил) выглядит весьма простодушно, зато в его романах присутствует как минимум напряженный сюжет, тянущий читателя с первых страниц до самого конца и не позволяющий оставить книгу (а прочитав, что ж, можно и выбросить).

Смешно, конечно, но все мыслимые укоры в адрес «макулатуры» давным-давно высказаны. Знаменитый автор детективных рассказов о патере Брауне и христианский апологет Гилберт Кит Честертон вынужден был отвечать на них — оптом — еще *в самом начале нашего века*.

«Если, как принято считать, публика любит книги за то, что они плохие, совершенно непонятно, каким образом одному вымышленному детективу (Честертон имеет в виду рассказы Конан Дойля. — *А. В.*) из тысячи удалось завоевать популярность у всех читателей до единого. На самом же деле простые люди предпочитают одного рода книги (не важно — хорошие или плохие) книгам другого рода, как хорошим, так и плохим, на что имеют совершенно законное право. Они предпочитают любовные и авантурные истории, фарсы, словом, все то, что конкретно и осязаемо, психологическим изыскам и стилистической зауми... Читатели не виноваты в том, что психология и философия не утоляют их жажды к неожиданным развязкам и половомным сюжетным хитросплетениям...»⁹

Это из эссе «Шерлок Холмс».

Другое эссе прямо так и называется — «В защиту „дешевого чтыва“».

«В наше время именно «высокая» литература, а никак не развлекательная откровенно преступна и нагло развязна. В самом деле, на наших солидных письменных столах лежат солидные издания, проповедующие распутство и пессимизм, от которых содрогнулся бы всякий неискушенный читатель... С невиданным доселе лицемерием мы чествуем уличных мальчишек за безнравственность, а сами в важной беседе (с каким-нибудь сомнительным немецким профессором) ставим под сомнение само понятие нравственности... Мы сетуем на то, что комиксы учат молодежь хладнокровно убивать, а сами прекраснодушно рассуждаем о бессмысленности бытия... В самом захудалом и наивном грошовом романе заложены

⁷ Когда текст статьи был уже написан и набран, мне попался в руки специальный выпуск «Нового литературного обозрения» (№ 22), посвященный «другим литературам». Вот что пишет один из авторов этого выпуска, Л. Гудков: «Сказать, что в «массовой литературе» представлено примитивное представление о человеке, было бы чистой клеветой (мотивы героев, пусть даже дамского романа, чаще всего гораздо многообразней и сложнее, нежели у героев Мережковского, Ремизова, Вик. Ерофеева, многих пьес Булгакова)».

⁸ «Ex libris НГ», № 2.

⁹ Здесь и далее цит. по кн.: Честертон Гилберт Кит. Писатель в газете. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1984.

прочные нравственные устои, по сравнению с которыми изысканно-утонченные этические построения лишь эфемерный блеск и мишура... Коварного и жестокого врага следует убивать — мораль, прямо скажем, не самая глубокая, но и эта мораль лучше прославления коварства и жестокости...»

Среди кинолент с пресловутым Шварценеггером есть несколько в своем роде очень хороших, в частности — «Last Action Hero». Там есть такой эпизод. Мальчику, герою фильма, показывают в школе отрывки из фильма «Гамлет». «Предательство, заговоры, секс, дуэль на мечах, сумасшествие, привидения, а в конце все умирают», — объясняет учительница. Смотреть на колеблющегося Лоренса Оливье невыносимо. «Ну, сделай это», — шепчет мальчик и мысленно представляет свою «экранизацию» шекспировской трагедии: под сумрачными сводами Эльсинора стоит огромный Гамлет-Шварценеггер. «Эй, Клавдий, — говорит великолепный Арнольд, раскуривая сигару. — Ты убил отца. Большая ошибка». И выбрасывает его из окна в мрачную пропасть. А что с ним еще делать? Так ему и надо.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

ПРОЩАНИЕ С ВЕЧНОСТЬЮ

Светлана Алексиевич. Чернобыльская молитва. — «Дружба народов», 1997, № 1.

«Одно только благо — знание, и одно только зло — невежество». Но, в отличие от Сократа, мы обнаруживаем в любом знании элементы невежества, а значит, и зла. И никуда от этого не деться. Чем ближе мы подходим к тайнам природы, чем самоуверенней и фамиллярней обращаемся с ней, тем оглушительней и неожиданней вспышки ее испепеляющего гнева.

Человек стал геологической силой задолго до образования ноосферы, поставив тем самым под вопрос саму возможность ее существования. Чернобыльская катастрофа напоминает прежде всего об этом. Прогресс науки в условиях неравномерного социально-экономического и культурного развития стремительно приближает конец света.

Конечно, вовсе не следует думать, что в условиях «ноосферы» человек может претендовать на бесконечную жизнь. Хотя живому присуща способность к созданию порядка из хаоса, однако «снижение энтропии в живых системах возможно только за счет повышения энтропии в окружающей среде». Неизбежное возрастание уровня хаоса — плата за краткую гармонию жизни.

К концу мира, как и к собственной смерти, человек должен быть готов всегда. На этом стоят все этические системы. Как светские, так и религиозные. Быть готовым — значит быть самим собой в каждый данный отрезок времени, жить своей жизнью, реализовывать свой план бытия.

Кто знает, возможно, призвание человеческого рода именно в том, чтобы вернуть все живое в первичное состояние, к чистоте и равновесию истоков. Может быть, это и есть наше призвание — снятие усталости жизни с плеч бесконечно творящей материи? Тем более, что разрушение дается человеку легче всего. Тут тоже присутствует своя логика: пугающая вершина эволюции становится ее спасительной бездной... «Вечное возвращение».

«Чернобыльская молитва» — о том, как апокалипсис застает человека врасплох. Необходимо уточнение: советского человека. А еще точнее — «человека хрупкого идеократического общества», подобно обществам традиционным, проявляющего всю свою мощь только в экстремальных ситуациях, когда по телам индивидов — смертью смерть поправ — вид переходит пропасть беды.

О Чернобыле мы уже вроде бы кое-что знаем — как и о всех более или менее значительных событиях современности. Но знание наше — по большей части мертвое, лишь сумма информации, к тому же не всегда достоверной, идеологизированной, стремительно принимающей форму современного мифа и тем самым окончательно ускользающей из светлого круга сознания, чтобы неожиданно вынырнуть иррациональной и слепо разрушающей энергии.

«После Чернобыля осталась мифология о Чернобыле... Поэтому надо не писать, а записывать. Документировать». Светлана Алексиевич пошла именно по этому пути. «Такое невероятное количество лжи, с которым связан в нашем сознании Чернобыль, было разве только в войну». Ложь — оттого, что идеократическое общество — это «страна власти. а не страна людей». И поэтому «боятся не за людей, а за власть». Боязнь эта естественна и понятна: такое общество, лишенное власти, как песочный замок без влаги, мгновенно рассыпается. Все мы сейчас пытаемся выбраться из-под его обломков.

«Сошлись, — замечает С. Алексиевич, — две катастрофы: социальная — на наших глазах уходит под воду огромный социалистический материк — и космическая: Чернобыль... Я искала человека потрясенного. Ощутившего себя один с этим. Задумавшегося».

Но мысли, философствование («С кем ни заговори о Чернобыле, всех тянет философствовать») — немного после. Сначала — массовый, жестко организованный бездумный порыв, падение в бездну вулкана тысяч Эмпедоклов, побуждаемых сакраментальным «надо!» — Родина велела. Надо так надо. И на атом — с лопатой.

«Мы не знали, что смерть может быть такой красивой!»

«Это была свобода... Страх и свобода! Живешь на полную катушку. Такое чувство я не испытывал даже в любви!»

«Свободен и необходим. И русский человек в такие моменты показывает, как он велик... А герои всегда найдутся!..»

«Политики наши не способны думать о ценности жизни, но и сам человек тоже».

«Вам предлагают умереть, но обрести смысл».

От бессмысленности обывденного, всегда в какой-то мере порабощенного сознания — к трагической осмысленности бытия. Рывком, сразу. С выходом за пределы личного существования. Да, это русский характер, в котором сфокусировалась «тысячелетняя история с космическим чувством Евразии». Отчасти прав и Александр Ревальский, один из героев-авторов, когда утверждает, что «Чернобыль — катастрофа русской ментальности». Производственная дисциплина в народном сознании — это репрессивный инструмент. «Народ... всегда мечтал не о свободе — о вольнице». И у российской верхушки практически не было выбора: всецементирующий порядок представлялся предпочтительнее всеразрушающего хаоса. Поэтому прогресс в России — это серия обессиливающих рывков и изматы-вающих торможений.

Российская «враждебность к прогрессу», по Чаадаеву, — это всего лишь отсутствие привычки к регулярному и свободному труду. Но с этой враждебностью очевидно сочетается — особенно сегодня — любовь к ярким плодам прогресса, к сливкам цивилизации. Сливки хороши (разумеется, если это не помой), но, к сожалению, они с чужого молока. Едва ли пойдут впрок — и тем, кто их потребляет, и тем, кто соблазняет ими. Психология паразитического потребления, которой заражен «третий мир», угрожает цивилизации в большей степени, чем атомное оружие и издержки современных технологий.

Читая «Чернобыльскую молитву», где трагическое и героическое противостояние небывалой беде явлено с поражающей достоверностью — каждый говорит о том, что пережито, — невольно задаешься вопросом: а что было бы, если бы подобная катастрофа все-таки случилась у них? Или даже у нас, но спустя десять лет, сейчас, когда оставшиеся в живых ликвидаторы голодают, чтобы выколотить положенные им гроши? Кто и за какие деньги пошел бы туда, где «умирали роботы»? Конечно, можно сказать, что это вид варварства — отсутствие страха за себя. Ну а вдруг это все-таки иная, пусть и варварская культура, оперирующая не единицами, как демократическая, а множествами, как традиционные или архаические культуры прошлого и как природа в целом?

Вероятно, Чернобыль произошел именно там и тогда, где и когда могли его укротить. Хотя бы на время. И даже именно на той станции, на примере которой был разработан типовой и, разумеется, секретный план ликвидации аварии. Кстати, сейчас ученые связывают многие катастрофы, в том числе Чернобыльскую и гибель «Челленджера», с энергетической активностью Земли. По сегодняшним представлениям, Земля — плазмод, сложная электромашина, находящаяся в энергетическом обмене с космосом и резко сбрасывающая излишки энергии. Возможно, со временем человек научится использовать эту энергию, и тогда наша сегодняшняя технологическая деятельность будет казаться просто варварством. Но и тогда «Чернобыльская молитва» сохранит свое человеческое содержание.

«Много говорили о деньгах. Но не за деньги там работали... Тысячи добровольцев и «специальный воронок», по ночам карауливший запасников. Студенческие отряды, денежные переводы в фонд пострадавших. Сотни людей, безвозмездно предлагающих кровь и костный мозг. И в то же время все можно было купить за бутылку водки... Нормальный русский хаос».

Философствовали под самым реактором. «Живем не на земле, а в мечтах, в разговорах. К обывденной жизни нам надо нечто прибавить, чтобы ее понять. Даже рядом со смертью».

Массовый героизм, как и такое вот философствование, — это вершины человеческого духа. Но человек — существо многоуровневое. И Чернобыль, как и любое испытание, высветил и человеческую низость. Впрочем, это естественное расщепление в экстремальной ситуации обыденного, усредненно-гуманистического образа человека, которого нет в реальности, но который существует в сознании как некая статистическая модель.

Чернобыль взорвал устоявшееся общество, он поставил перед миллионами простых людей вопрос о ценности жизни — твоей, исчезающе-малой и беззащитно-хрупкой. «Новое, непривычное чувство, что у каждого из нас есть своя жизнь, до этого она как бы не нужна была».

Чернобыль оказался детонатором социальной катастрофы, в проявлениях которой у человека, как ему кажется, есть навык ориентироваться. Поэтому возникло такое явление, как «самоселы», — оттуда, где просто убивают, а таких мест сейчас много, люди бросились туда, где тихо, где нет проблем с жильем и землей. Хотя эта тишина лишает их будущего — детей. От знакомого страха люди спасаются под крылом неведомого ужаса. Люди живут без электричества, радио, телевидения. «Ничего от государства нам не надо... Не трогайте только нас!» И оно их не трогает — проблем хватает и без них.

Но вот о смысле сказано иначе:

«Если бы мы победили Чернобыль, о нем говорили бы и писали больше. Или если бы мы его поняли. Мы не знаем, как добыть из этого ужаса смысл. Не способны. Так как его нельзя примерить ни к нашему человеческому опыту, ни к нашему человеческому времени. Так что же лучше: помнить или забыть?» (Евгений Бровкин — один из опрошенных).

Самый первый и самый распространенный ответ: фатализм. Все как-то обрывается, само собой. «Случилось немислимое, а люди жили так, как жили». Едва ли этот ответ такой уж примитивный, как считает А. Ревальский. Другое дело, что это ответ единственно возможный для миллионов людей. Человек реагирует только на раздражители, соизмеримые с возможностями его организма, психики. На предельные раздражители не реагирует. «Вам, понимаю, любопытно. Тем, кто там не побывал, всегда любопытно. А это был все тот же человеческий мир. Нельзя же все время жить в страхе, человек не может, проходит немного времени — и начинается обыкновенная человеческая жизнь». Чернобыль подтверждает, что и перед концом света человек останется таким же, каким он был всегда. Ничего принципиально нового он предложить не может.

Могут ли быть великие ответы? Вероятно, могут. Но любое осмысление — всего лишь эхо события. Крепость заднего ума монументальна. Но столь же и бесполезна. К счастью, прошлое ничему не учит — иначе мы не сделали бы и шага вперед. Наше осмысление — в лучшем случае только психотерапия, заговаривание прошлого. Потребность в интеллектуалах-истолкователях, современных жрецах — налицо. «Чернобыль открыл бездну, что-то такое, что дальше Колымы, Освенцима и холокоста». Но у наших философов-интеллектуалов сегодня другие проблемы: выжить бы. Большинство знает только слово «Чернобыль», уже обкатанное как галька и скользкая по краю сознания.

«Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич несет энергию события и помогает ощутить происшедшее и происходящее там. Поэтому ее надо читать — и тем, кто был там, и особенно тем, кто не был. И в первую очередь интеллектуалам. Ведь не зря же считает один из героев, что «Чернобыль — для того, чтобы дать философов». Я могу согласиться и с мнением другого собеседника Алексиевич, Виктора Лагуна, что «только на почве русской культуры и можно будет осмыслить катастрофу... Только она к этому готова».

Да уж действительно — всегда готова и ко всему. Это свидетельствует о биполярности нашей культуры с ее полюсами Достоевского и Толстого («Чернобыль — тема Достоевского»). Между ними можно поместить все, что угодно. Что это — свойство относительной молодости культуры или ее евразийская особенность?

Пока философы думают, дети дают свой ответ: «Они перестали любить классику... вокруг них уже другой мир». И звучит трезвый вопрос: «А вдруг вся наша культура — сундук со старыми рукописями?» В постчернобыльском мире

люди лишились вечных вещей. Река, Лес, Трава, Земля — все было носителем жизни. Сейчас — пристанище смерти, но не честной, прямой смерти, открыто идущей на человека, а непредсказуемо подлой, мучительной, уродующей детей еще в чреве матери. Страницы, посвященные детям, — самые пронзительные.

«Думалось нам, что это нерушимое, что то, что в чугунке кипит, вечное». И в итоге главный и точный вывод, сформулированный Лилией Михайловной Кузменковой: «Мы лишились бессмертия — вот что с нами случилось». Не знаю, к счастью ли, а может, и к несчастью, но народ привык пока обходиться без интеллектуалов. Получается это у него неплохо, что подтверждает и «Чернобыльская молитва». Еще слово Лилии Михайловны: «А по телевизору я вижу, как каждый день убивают. Стреляют. Сегодня стреляют люди, без бессмертия. Один человек убивает другого человека... После Чернобыля».

Начинает «Чернобыльскую молитву» одинокий человеческий голос — монолог Людмилы, жены пожарника Василия Игнатенко, до последнего дня — их было всего четырнадцать, как и предусмотрено медициной, — оставшейся с мужем, а заканчивает одинокий голос Валентины Панасевич, жены ликвидатора. Чернобыль и любовь. Казалось бы, вещи несопоставимые. Но человек способен противопоставить пугающему и огромному, сминающему — свое слабое, простое, но подлинное чувство. И тем самым утвердить себя в неколебимом противостоянии. «Нет насилия, которое могло бы лишит нас свободы выбора», — это слова не чернобыльца, не лагерника, но философа Эпиктета.

Есть периоды в истории человечества, когда никакая фантазия не угонится за реальностью. Тогда писателю достаточно быть зеркалом — если ему это позволяют, — чтобы история навечно запечатлелась в его произведениях.

В случае со Светланой Алексиевич мы имеем дело с безусловно новым явлением, хотя вроде бы документализм сам по себе не такая уж и новость. Но до сих пор нам всего чаще встречался документализм идеологизированный, то есть рядящийся под документальность и не заинтересованный в реальности. То, что делает Алексиевич сегодня, можно назвать новой литературой факта. Именно гласность, открытость общества сделали возможным появление ее книг. В них звучит неприкрашенный голос народа. В сущности, писатель выполняет работу целого института по исследованию народного сознания. Благодаря ее книгам мы точнее представляем, в какой стране и с какими людьми мы живем.

Материала, собранного и явленного в «Чернобыльской молитве», иному писателю хватило бы на целую жизнь. Но именно этой высокой концентрацией фактов, деталей, эмоций, мыслей достигается особый художественный эффект. В нем нечто от лавины, засыпающей неосторожного путника. Разнообразие точек зрения делает картину объемной, стереоскопической. Благодаря такому множеству, практически исчерпывающему все возможные мнения или типы мнений, каждый находит в тексте что-нибудь свое. Поэтому «Чернобыльская молитва», как и предыдущие книги Алексиевич, обречена стать бестселлером.

Предельная откровенность реально существующих людей вызывает абсолютное доверие читателя. Привлекает и «отсутствие» писателя. Никакой авторитарности, учительства, навязывания своего мнения. Предельный — в соответствии с запросом времени — демократизм. Разумеется, не надо забывать, что вначале было доверие героя-собеседника к писательнице. При всей переполненности пережитым, люди раскрываются далеко не перед каждым. Но для ее героев она — своя, дочка сельских учителей с Полесья. И чтобы вынести груз доверия, тяжелую энергию печали — для этого нужны незаурядные душевные качества, особая прочность психики. «Понять печаль» простых людей, которыми никто никогда не интересовался, и «понести печаль людям» — редкий дар, талант души. Надо вспомнить и о мужестве, которого требует любая работа в Чернобыльской, все еще радиоактивной, зоне. В итоге возникло произведение, которое позволяет глубоко чувствовать и «дает повод много думать». А это, по Канту, и является признаком искусства.

«Событие, рассказанное одним человеком, — его судьба, многими людьми — уже история». И в этом смысле Светлана Алексиевич — писатель исторический. Но писатель-исследователь по преимуществу, а не писатель-психотерапевт. Смысл ее работы — в демифологизации сознания. Притом, разрушая старые мифы, она —

что очень важно — не создает новых. Ее видение мира сродни спокойной уверенности старой крестьянки: все знает, все испытала, ко всему готова и поэтому все переживет. И вырастит внука, что остался сиротой. Светлана Алексиевич упорно прививает литературе дичок народного сознания. Пока еще существующего и страшущего культуру на всех крутых поворотах истории.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

*

В ПРИСУТСТВИИ НАБОКОВА

Владимир Набоков. Незданное в России. — «Звезда», 1996, № 11.

Из-за кулис вышел огромного роста грузный пожилой господин и, подойдя к столику у края сцены, негромко и без улыбки сказал: «Здесь будет проходить лекция Набокова?» В первые минуты трудно было отделаться от невероятного впечатления, что перед нами сам Владимир Владимирович. Однако наваждение тут же рассеялось, и даже старомодная петербургская манера речи с просвечивающей английской интонацией — англичкой, как, вслед за отцом, по старинке говорит Дмитрий Владимирович, — не помешала иллюзии растаять. Нет, конечно, это был не он. И даже не очень похож. Тем не менее нечто подобное уже было, переживалось, где-то описано... Да это же эпизод из романа «Дар»! Дед Федора Константиновича в 1858 году возвращается в Петербург после двадцати двух лет жизни в Техасе, пребывая в девственном неведении относительно событий, случившихся за это время в России, и мемуарист Сухощюков вспоминает, как они с компанией приятелей разыгрывают прибывшего, эксплуатируя его герметичную неосведомленность: на представлении «Отелло» указывают на сидящего в ложе желтоватосмутлого человека с толстыми губами и растрепанными седыми баками, выдавая его за постаревшего Пушкина. «Легкомысленно вызванный дух не хотел исчезнуть; я не в силах был оторваться от соседней ложи... Что, если это и впрямь Пушкин, грезилось мне, Пушкин в шестьдесят лет... Вот это он, вот эта желтая рука, сжимающая маленький дамский бинокль, написала „Анчар“, „Графа Нулина“, „Египетские ночи“... („Лолиту“, „Дар“, „Другие берега“... — ах, надо бы закрыть и снова открыть кавычки). Между тем в течение долгой жизни моей встречаясь с замечательными талантами и переживая замечательные события, я часто задумывался над тем, как отнесся бы он к тому, к этому: ведь он мог бы увидеть освобождение крестьян, мог бы прочитать „Анну Каренину“ или, возвращаясь к Набокову, мог бы увидеть перестройку, приехать в Россию, прочитать, скажем, все то, что написано о нем и его книгах:

Что скажет о тебе далекий правнук твой,
То слава прошлое, то запросто ругая?

«Родители у меня были умные — так что при каждом существенном решении в жизни — моральном, художественном — я старался и стараюсь продумать и представить себе, что бы они сказали. Все еще не уверен, как бы они отозвались на мой приезд, все-таки думаю, что одобрили бы», — закончил сын писателя свое вступительное слово, переходя к ответам на записки и вопросы.

Полной записью выступления, состоявшегося в первый и единственный приезд Дмитрия Набокова летом 1995 года в Петербург, открывается номер журнала «Звезда», целиком посвященный Владимиру Набокову. Интересно, с каким чувством сам Владимир Владимирович прочитал бы этот номер — «Посмертной славою доволен ли, согрет?»

В нем, например, опубликованы три ранних рассказа Набокова, два из которых — «Удар крыла» и «Месть», появившиеся в 1924 году в берлинском еженедельнике «Русское эхо», — в России печатаются впервые, а третий — «Венецианка» (тоже 1924 год) — в русской версии и вовсе не печатался. В этих рассказах Набо-

ков явно экспериментирует с сюжетом, разрабатывая эффектную развязку, придумать которую, конечно же, непросто: ведь еще Чехов сетовал на то, что без выстрела в конце пьесы не обойтись. Сюжеты причудливы, перегружены завитками в стиле рококо (особенно «Венецианка»), но, в сущности, имеют одинаковый психологический мотив: не один, но все три рассказа могли бы называться «Месть». Возмездие настаивает жизнерадостную лыжницу Изабель во время прыжка с трамплина — исход летальный; во втором рассказе муж изощреннейшим способом наказывает неверную жену, — виновата ли она, тут еще надо разбираться, но исход тот же; и наконец, молодой художник осуществляет сравнительно безобидную месть профессиональными средствами, направленную на своего незадачливого приятеля, которого ошибочно считает доносчиком. Интересно? Тогда рассказ первый — «Удар крыла».

Молодой человек по имени Керн приезжает на модный лыжный курорт и останавливается в гостинице (вид на нее открывается такой же, как на ту, что будет манить и подавать знаки Мартыну Эдельвейсу через восемь лет): «Там, закинув ногу за ногу и вздрагивая лаковым башмаком, он снова разглядывал жемчужно-серый снимок — детские глаза и теньевые губы лондонской красавицы — его покойной жены. В первую ночь после вольной смерти ее он пошел за женщиной, которая улыбнулась ему на углу туманной улицы; мстил Богу, любви, судьбе». В этом состоянии, будучи сам близок к самоубийству, Керн знакомится с англичанкой Изабель из соседнего 35-го номера (число, совпадающее, а в конце рассказа навсегда слившееся с количеством прожитых им лет): яркий рот, пушистые глаза, крыло испанского гребня в крутой волне волос, наряды из черного шелка, легкость и стремительность в движениях, смех, — ему кажется, «что прояснилась на время тусклая тоска, вот уже полгода тяготевавшая над ним». Однако соседка почти не обращает на него внимания и предпочитает ему... никогда не угадаете, кого. И это последнее, пускай поверхностное, разочарование обнажает все предыдущие, служит заключительным доказательством того, что «больше нет у него той вдохновенной живости и нежного упорства», без которых невозможна страсть, невозможно на жизнь, и не осталось ни одного яркого лоскута иллюзии, который бы занавешивал бездну, провал... «Вот слушайте: у меня была жена. Она полюбила другого. Тот оказался вором. Крал автомобили, ожерелья, меха... И она отравилась стрихнином», — напившись, Керн делает это признание вьющемуся вокруг него мало-симпатичному типу с козьими глазами и «острыми, набитыми канареечной пылью ушами», некоему Монфиори. Таким образом, Набоков напророчил себе личное знакомство с выдуманным им персонажем, неожиданно материализовавшимся в Берлине в 1930 году: помните — забыть его невозможно — веснушчатого Дитриха из «Других берегов», того, который коллекционировал фотографические снимки казней, сделанные собственноручно, а однажды «провел целую ночь, терпеливо наблюдая за приятелем, который решил покончить с собой и после некоторых уговоров согласился проделать это в присутствии Дитриха». Монфиори тоже охотился на решившихся добровольно вернуть свой билет, с той только разницей, что не отвлекался на фотосъемку: «Послушайте, Керн, я хочу присутствовать... Можно?» Все это похоже на страшный сон, но действие рассказа развивается в такой будничной и подробной реальности, что можно разглядеть лопнувший сосудик на глазном яблоке героя — «в зеркале, блиставшем в светлой уборной, где музыкально журчала вода и плавал в фарфоровой глубине кем-то брошенный золотой оурок». Тем более ужасное разочарование, как кажется, должен испытывать читатель при встрече со счастливым соперником Керна: «В свистящем размахе буйного меха мелькнул белый лик. Керн схватился за гриф гитары, со всех сил ударил белый лик, летевший на него. Его сшибло с ног ребро исполинского крыла, пушистая буря. Звериным запахом обдало его. Керн, рванувшись, встал.

Посредине комнаты лежал громадный ангел».

Журнал падает из рук.

Как нам повезло, что впоследствии Набоков стал искать сверхъестественное в обыденном, отдавая предпочтение фантазии, а не фантастике! Хотя, наверное, иначе и быть не могло, ведь уже в этом раннем рассказе язык, стиль, наблюдения, детали прочно стоят на рельсах, ведущих к зрелой, полной открытий прозе Набокова. Простые чудеса в его более поздних вещах трогают нас куда больше, чем все

ангелы вместе взятые. Например, когда Федор Годунов-Чердынцев проклинает за все грехи немецкой нации ее типичного, как подсказывает ему накопившееся раздражение, почти бешеного, представителя, толкнувшего его в берлинском трамвае, а тот вдруг разворачивает русскую «Газету»: «„Вот это славно“, — подумал Федор Константинович, едва не улыбнувшись от восхищения. Как умна, изящно лукава и в сущности добра жизнь!» И мы тоже улыбаемся вслед за ним.

Именно такие детали больше всего ценит у Набокова Андрей Битов, а уж он-то кое-что в этом понимает.

«Бессмертен комариный укус. Он бессмертен крестиком, продавленным ногтем на лодыжке возлюбленной («Весна в Фиальте»).

Бессмертны потерянные ключи, когда ты стоишь на пороге первого любовного свидания («Дар»).

Бессмертен апельсин в руке матери («The Real Life of Sebastian Knight»).

Бессмертен неразбившийся стакан («Pnin»).

Бессмертна глуховатость мужа Лолиты.

Бессмертна ошибка, случай, опоздание, отсутствие, утрата, незнание — *не-встреча*».

Да, ошибка бессмертна, даже две ошибки... Первая — комариный укус вовсе не из «Весны в Фиальте», а из «Подвига»: ни с того ни с сего бьет Мартына по кисти девочка Лида, когда он хочет показать ей, как нужно сделать ногтем крест на вздутии от комариного укуса, — а вовсе не трогательная и доступная Нина, которую трудно себе представить в этой сцене. Ну и вторая забавная неточность — это то, что стакан-то у Пнина как раз и разбился, — молчаливый кивок судьбы, утешительный знак того, что худшие ожидания сбываются не всегда. Помните, он роняет в раковину с моющей посудой щипцы для орехов, слышится хруст стекла, он уверен, что разбилась любимая ваза синего стекла — подарок пасынка, — так же, как только что разбилась уже было налаженная жизнь: «Он выглядел сейчас очень старым, с его полуоткрытым беззубым ртом и пеленою слез, замутивших невидящий, немигающий взгляд. Наконец, со стоном болезненного предчувствия, он повернулся к раковине и, набравшись духу, глубоко погрузил руку в мыльную пену. Уколотся об осколок стекла. Осторожно вынул разбитый стакан. Прекрасная чаша была цела». Как, в сущности, добра и изящно лукава жизнь, повторим мы!

Если же говорить серьезно, то читатель эссе «Ясность бессмертия — 2» с удовольствием проследует за, как всегда, парадоксальной мыслью Андрея Битова: о смерти и бессмертии, судьбе и даре, предназначении и памяти. Трудно выделить одну, главную, тему этого эссе: вне контекста битовской прозы она тускнеет, как цветной камешек, вытщенный из морской воды. Порой даже трудно уловить смысл:

«Недаром. Не даром...

Потому что.

Потому что Россия и Украина. Потому Пушкин и Гоголь.

Блок — значит, Белый.

Хочется познакомить Пушкина с Лермонтовым, а — никак. Достоевский от Толстого все бежит и бежит и никак убежать не может.

Вот и Солженицын сыграл с Набоковым в гоголевскую коляску».

Ну, последнее, допустим, понятно — это о несостоявшейся встрече Набокова и Солженицына. Об этом еще дальше пойдет речь.

Эссе написано размашисто и как-то стилистически неровно. Подчас в текст почему-то вкрадывается былинная интонация («И повлекся я за ними на пепелище, которое и впрямь от дачки моей было в двух шагах»), или вдруг из чащобы вечнозеленых высоких (все с большой буквы) слов *Тайна*, *Страшный суд*, *Творение*, *Воображение*, *Воскресение*, *Гиперзамысел* выходят, переглянувшись в недоумении, два бандита: «Чистюля и Могила были их кликухи». Но все это можно легко простить за замечательные метафоры, за настоящую любовь к Набокову («застенчивый, нежный, прозрачный, ясный, чистый, даже наивный писатель»):

«Карл Проффер рассказывал, что у Набокова в последние его дни не осталось черновиков. Поверхность стола была чиста, как белый лист бумаги. Все было разложено, систематизировано, подшито. Аккуратные папки. Каков бы был энтомолог, если бы жучки и бабочки были разбросаны по кабинету...

Подобные воспоминания существуют об Александре Блоке: необыкновенная аккуратность и чистота стола, уже не энтомологическая, а «немецкая». Это дополнительно давало пошляку возможность говорить о его «исписанности».

Ничего, кроме исписанности, от писателя не требуется.

Им закончен дарованный ему текст».

Ну что же, «взгляд, конечно, очень варварский, но верный», как сказал поэт. Это рассуждение Андрея Битова переключается со словами Дмитрия Набокова об отце: «За несколько лет до его смерти мы вместе были на горе в Швейцарии, и там как-то случился разговор, который только в романах, и плохих романах, происходит между отцом и сыном. Не знаю, как это началось, но он мне сказал, что достиг всего, что хотел: быть писателем, оставить свой писательский отпечаток на мире. Он у него проявлялся, как пленка, уже существующая в голове... нужно было только проявить и написать то, что уже в ней существовало. Пленки непроявленной осталось очень мало...»

Отмотаем пленку назад и вернемся к другому раннему рассказу Набокова, «Месь», — не столько даже из-за самого рассказа, сколько из-за очень интересной и тонкой статьи о его многообещающих недостатках и элегантно двухъярусном сюжете: «Призрак из первого акта». Ее автор — переводчик Геннадий Барабтарло, тот, который перевел роман «Пнин» на русский язык.

В рассказе две главки и два сюжета, один из которых реальный, явный, другой же вынтен лишь внимательно читателю (да и то не всякому — я, например, очень внимательно читая рассказ, проморгала его второе дно).

Пожилой профессор биологии возвращается на пароходе домой, где его ждет юная, мечтательная и чувствительная жена. С героем рассказа нас знакомят молодая англичанка и ее брат, путешествующие на том же пароходе. «Впервые используя здесь маневр, который Набоков позднее запатентовал, он убирает со сцены этих двух статистов немедленно после того, как их роли сыграны», — пишет автор статьи. Ружье снимается со стены и убирается в пыльную кладовку. Но до этого профессор успевает раскрыть брату англичанки, уже канувшей в небытие, секрет содержимого своего чемодана, чем ставит беднягу, как, впрочем, и читателя, в тупик. Его слова обретут смысл лишь в конце рассказа, однако любители крестословицы (набоковское словечко) могут попробовать угадать, о чем идет речь, с ходу — род вешалки, которая есть у каждого человека, но нет у морского полипа. На этой же вешалке или, как замечает Геннадий Барабтарло, «на этом крюке и подвешен сюжет».

Профессор получает из рук сыщика, нанятого для слежки за женой, письмо, доказывающее измену:

«„Мой любимый, мой Джэк, я еще вся полна твоим последним поцелуем...“ А профессора звали отнюдь не Джэком. В этом-то и была сущность всего дела». Однако сущность дела этим не исчерпывается, потому что, пока профессор занят изобретением наиболее изощренного способа мести, читатель не без удивления узнает, что незаконное письмо было написано к... сновидению — покойнику юноше, который был влюблен в свою корреспондентку еще до ее замужества. На первый взгляд кажется, что Набоков наспех, с некоторой натяжкой придумывает ход с письмом вместо всей этой возни с оброненными платками, браслетами: «В этом письме она солгала бедному Джэку. Ведь она его почти забыла, любит испуганной, но верной любовью своего страшного, мучительного мужа, а меж тем хотелось теплотой земных слов согреть, ободрить милого, призрачного гостя. Письмо таинственно исчезло из бювара, и в ту же ночь ей приснился длинный стол, из-под которого вдруг вылез Джэк и благодарно закивал ей... Теперь ей почему-то было неприятно вспоминать этот сон... Слово она мужу изменила с призраком...» И именно в этом абзаце, сводящемся на нет многоточием, где явный сюжет делает поворот (измены не было, профессор ошибается), происходит завязка подспудного, скрытого сюжета, о котором пишет автор статьи.

Итак, профессор, предъявив содержимое чемодана на таможне (заметим, что именно в этот момент он находит свой «остроумнейший» способ мести), едет на таксомоторе домой, где его с волнением ждет ничего не подозревающая жена. Читатель тоже волнуется в ожидании момента их встречи, и не напрасно, потому что здесь звучит, пожалуй, единственная настоящая лирическая нота рассказа: «Она

прижалась к его шерстяному кашне, легко подняв каблуком вверх одну ногу, тонкую, в сером чулке. Он поцеловал ее в теплый висок. С мягкой усмешкой отстранил ее руки.

— Я запылен... погоди... — пробормотал он, держа ее за кисти.

Она жмурясь тряхнула головой — бледным пожаром волос.

Профессор, нагнувшись, поцеловал ее в губы, усмехнулся опять». А дальше, за ужином, профессор начинает подготавливать осуществление своего плана, поражая воображение увлекающейся спиритизмом, верящей в призраков поклонницы стихов Деламара отвратительной историей о перевоплощении гадалки в склизкого червя, развившего свои кольца после ее смерти и уползшего: «...на постели остался голый, белый, еще влажный костяк... А ведь у этой женщины был муж, — и он когда-то целовал ее, — целовал червя...» (Ну как, еще не отгадали, что было в чемодане?) Приведа таким образом жену в нервное состояние, необходимое для того, чтобы его план сработал, он первый удаляется в спальню и заканчивает нужные приготовления. Затем в уже темную спальню приходит жена. «Улыбнулась — и быстро всем телом скользнула к мужу, раскинула под одеялом руки для знакомого объятия. Пальцы ее вонзились в гладкие ребра. Коленом ударилась она в гладкую кость. Череп, вращая черными глазницами, покатился с подушки к ней на плечо». *Fin.*

«Две главные тематические линии — скелет в саквояже профессора и призрак в сношении его жены — в конце рассказа очень элегантно сливаются в одну», — пишет Геннадий Барабтарло. Действительно, реалистичный рассказ о том, как профессор естествознания в результате ошибочного убеждения в физической измене жены убивает ее, можно прочесть совершенно иначе, стоит только переключиться с явного на скрытый сюжет. И тогда получается, что призрак погибшего юноши манит свою возлюбленную, она отвечает на его призыв, а исчезновение письма из бювара говорит ей о том, что оно получено адресатом. Профессор, лелеющий свою месть (способ, как помните, был найден, когда чемодан открыли на таможне), — лишь игрушка в руках призрака, который добивается, чтобы муж сам отдал ему жену (см. финальную сцену в спальне — мертвая жена в объятиях скелета).

В статье «Призрак из первого акта» замечательно предъявлена композиция, техника перехода от темы к теме, кругообразное построение сюжета этого небольшого, но поместительного рассказа, по форме чем-то напоминающего «ухаженных пуделей или подстриженные купы деревьев... где все эти композиционные элементы доступны ничем не затрудненному изучению», — пишет Геннадий Барабтарло. Добавим — изучению не сухого препарата, а чуткого наблюдателя: автор статьи различает звук, с которым лепесток пожилой хризантемы падает в гостиную профессора, и хлопок накрахмаленной манжеты в более поздних произведениях Набокова.

И все-таки поразительно, какой головокружительный путь проделан писателем с 1924 года до лучших из созданных им рассказов, таких, как (нарочно выбираю очень разные) «Облако, озеро, башня», «Образчик разговора, 1945», «Весна в Фиальте».

Хотя, наверное, не все согласились бы с такой выборкой. Например, Марина Цветаева думала иначе. Ее отзыв на «Весну в Фиальте», который цитирует в своей статье Вадим Старк, невольно повергает в изумление: «Какая скука — рассказы в «Современных записках» — Ремизова и Сирина. Кому это нужно? Им меньше всего и именно поэтому — никому». Ничего себе! Чем объяснить равнодушие Цветаевой к прелести «Весны в Фиальте»? Зинаида Шаховская вспоминает, что Марина Цветаева «особого интереса к Набокову не испытывала». Кое-что, как кажется, проясняет поведение Цветаевой и Набокова в сходных обстоятельствах, о которых пишет в статье «Набоков и Цветаева: заочные диалоги и горные встречи» Вадим Старк.

В 1925 году, на Рождество, редакция журнала «Звено», членом которой был Георгий Адамович, объявила анонимный поэтический конкурс. Цветаевское «Старинное благоговение» не попало в двадцать стихотворений, отобранных из двухсот присланных на конкурс. Она «долго не могла прийти в себя от возмущения и даже писала письма в редакцию «Звена», требуя огласки происшествия: позор, мол,

скандал, стихи разных Петровых, Сычевых и Чижовых одобрили, а Цветаеву — Цветаеву! — отвергли», — писал позже Адамович. Забракoванное стихотворение она напечатала в «Благонамеренном», снабдив примечанием: «Стихи, представленные на конкурс «Звена» и не удостоенные помещений», — а потом еще и статью «Поэт о критике», направленную против своего гонителя Адамовича.

Через тринадцать лет та же история, только как бы вывернутая наизнанку, повторилась. На этот раз Адамович обмишурился со стихами Набокова. Было замечено, что все опубликованное за подписью «Сирин» автоматически вызывает недовольство Адамовича. Что же сделал Набоков? Поза жертвы была для него абсолютно неприемлема, и он, прибегнув к анонимности, от которой как раз и пострадала Цветаева, расставил почтенному критику ловушку — опубликовал свое стихотворение «Поэты» под именем Василия Шишкова. Фокус удался, стихотворение немедленно было расхвалено Адамовичем. Это так понравилось Набокову, что он написал еще и рассказ о своих несуществующих встречах с Шишковым, где, «среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича». Рассказ, тон которого столь не похож на пафос статьи Марины Цветаевой, написан будто бы нарочно к ней в пару. Вадим Старк считает, что Набоков помнил о Цветаевой, когда решил проучить Адамовича, — недаром стихотворение, предназначенное для розыгрыша, называлось «Поэты». Тем более обидно за Набокова: отзыв Цветаевой о «Весне в Фиальте» пока единственное известное упоминание ею Набокова.

Таким образом, сопоставление реакции двух писателей на сходную жизненную ситуацию как нельзя лучше иллюстрирует их принципиально различную духовную организацию, психические особенности, психологическую несовместимость, если хотите. Сильные стороны творчества, делающие обоих ни на кого не похожими, неповторимыми, взаимоисключают друг друга: трагическое мировосприятие, абсолютное одиночество, ощущение себя изгоем, предельная обнаженность души, увлечение абстрактными чувствами в поэзии Марины Цветаевой и сдержанность, чувство меры, скрытая эмоциональность, склонность к шутке и мистификации, непрерывная связь с окружающим миром, внимание к детали, ощущение жизни как чуда в прозе Владимира Набокова. Возможно, в этом и кроется секрет их обоюдного равнодушия. Ведь Цветаева тоже не входила в круг литературных пристрастий Набокова, хотя он и назвал ее в английской версии «Других берегов» гениальным поэтом. Известна его пародия на Цветаеву, написанная примерно в то же время, когда обнаружилась причастность Сергея Эфрона к убийству Игнатия Рейсса и русская эмиграция подвергла Цветаеву обструкции. По мнению Вадима Старка, именно поэтому Набоков, не желая участвовать в травле, не опубликовал свою пародию:

Иосиф Красный, — не Иосиф
Прекрасный: препре-
Красный — взгляд бросив,
Сад вырастивший! Вепрь

горный! *Выше* гор! Лучше ста Лин-
дбергов, трехсот полюсов
светлей! Из-под толстых усов
Солнце России: Сталин!

И он был вознагражден за свое благородство изящным способом, который непременно пришелся бы ему по душе. В 1990 году в Праге пародия была опубликована в качестве оригинального цветаевского текста, и, подобно тому как сам Набоков недолго жил в бывшей квартире Цветаевой, которую после ее отъезда из Праги снимала Елена Ивановна Набокова, набоковская пародия немного погостила в статье о Цветаевой под ее именем (ошибку вскоре исправили, вклеив во все экземпляры издания дополнительный лист с извинениями).

А теперь воспользуюсь цветаевской цитатой как мостиком, чтобы перейти к следующей теме: «Каждый псевдоним, подсознательно, — отказ от преемственности, сыновности. Отказ от отца». Борис Парамонов в своей статье «Набоков в Америке» ссылается на Цветаеву для подкрепления мысли о том, что «даже самому себе Набоков не хотел признаться в том, что его отец был в сущности кому

ческим персонажем», а «героическая (и нелепая) смерть отца не позволяла Набокову осознать некоторые русские сложности». Возможно, на этом даже не стоило бы останавливаться (тем более, что статья Парамонова посвящена не Владимиру Дмитриевичу, а переписке Владимира Набокова с Эдмундом Уилсоном), если бы подобная точка зрения не отстаивалась Иваном Толстым в его исследовании «Владимир Дмитриевич, Николай Степанович, Николай Гаврилович», претендующем на сенсационное разоблачение неоднозначного отношения Владимира Набокова к своему отцу.

«В книгах Набокова два отца: обожествленный (о чем пишут все) и сатирически низвергнутый (о чем, насколько мне известно, не говорил пока что никто). ...Набоков разделил своего отца на две никак не связанные части, на любимую и на ненавистную. Любимую он взрастил в своих ностальгических мечтах до размеров Годунова-Чердынцева-старшего, ненавистную (в пределах того же «Дара») — до размеров Чернышевского.

Я утверждаю, находясь в здравом уме и памяти, что Николай Гаврилович Чернышевский, этот философски подслеповатый и художественно бесслухий пачкун, вызывающий на даровских страницах хохот и отвращение, вырос из размышлений Набокова о своем отце», — пишет Иван Толстой. Начинаешь нервничать, читая эти строки.

То правда, что композиционно вторая глава, где образ Константина Годунова-Чердынцева преувеличенно романтизирован, уравнивается стилистикой четвертой главы. Хотя вряд ли можно сказать, что отец Федора Константиновича стопроцентно идеальный, положительный персонаж. Как такой взгляд, например, сочетается с эпизодом, где после двухлетнего отсутствия Константин Кириллович возвращается домой, дочь повисает у него на шею: он одной рукой придерживает ее, а другой достает часы, чтобы посмотреть, сколько времени заняла дорога со станции. Так же, как невозможно назвать Чернышевского четвертой главы «бесслухим пачкуном», вызывающим лишь «хохот и отвращение». А как же «и белое чело кандалника венчая / одной воздушною и замкнутой чертой», и все то, что стоит за этой строкой: «своя правда» Федора Константиновича, задача которого «все это держать как бы на самом краю пародии», «чтобы с другого края была пропасть серьезного, и вот пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее». Читатель Иван Толстой явно не удерживается на краю и падает в пропасть пародии, карикатуры: его отзыв на четвертую главу мог бы легко разместиться на страницах «Дара», где-нибудь между рецензией монархического органа «Восшествие» и «большевизанствующей» газеты «Пора».

Читаем дальше статью: «Мой тезис, таким образом, сводится к следующему: в романе «Дар» Владимир Набоков вывел своего собственного отца дважды — один раз как Чернышевского, другой раз как Гумилева. Лучше даже сказать так: слепил и по гумилевскому мифу, и по мифу о Чернышевском».

Все, что касается Гумилева, интересно и убедительно. Действительно, при написании второй главы Набоков, очевидно, думал о Гумилеве. Это был, по-видимому, герой, которого выдвинуло время: настоящий мужчина, сильный и выносливый физически, независимый, свободный путешественник, натуралист, охотник. Чуть позже эту традицию продолжил Хемингуэй, который не случайно имел такую колоссальную славу у современников.

Что касается анти-отца, выведенного, по мнению Ивана Толстого, в образе Чернышевского, то «уж тут Набоков душу-то отвел, уж он на отцовских косточках-то покатался». Самое частое слово в рассуждениях Ивана Толстого на эту тему — «кошунственно».

По мнению Ивана Толстого, тот факт, что во второй главе «Дара» Набоков выводит Годунова-Чердынцева-старшего романтиком, путешественником, а не прославляет его в качестве «умеренного представителя партии конституционных демократов», по-человечески «есть не вершина сыновней признательности, а вершина сыновнего предательства». Не слишком ли сильно сказано? О близких людях писать вообще трудно — Набоков, например, никогда не писал о жене, сыне, — не написал по-настоящему и об отце: тем более, что Владимир Дмитриевич был убит. Творческий процесс требует некоторой отстраненности автора от предмета, поэтому на-

стоящее горе, боль, утрата молчаливы. То, что Набоков пытался, но не смог написать о реальном, живом отце, является свидетельством любви, не предательства.

«Ни Лиде, ни ее брату он не сообщил о смерти отца, — потому не сообщил, что вряд ли удалось бы выговорить это естественно, а сказать с чувством было бы непристойно. Сызмала мать учила его, что выражать вслух на людях глубокое переживание, которое тотчас на вольном воздухе выветривается, линяет и странным образом делается схожим с подобным же переживанием другого, — не только вульгарно, но и грех против чувства. Она не терпела надгробных лент с серебряными посвящениями «Юному Герою» или «Нашей Незабвенной Дочурке» и порицала тех чинных, но чувствительных людей, которые, потеряв близкого, считают возможным публично исходить слезами...» Что ж, Мартын Эдельвейс получил хорошее воспитание — Набоков был воспитан не хуже. Запись, сделанная им в дневнике в день смерти отца, суха, приводятся лишь факты, детали:

«Вчера вечером он был такой счастливый, такой добрый. Смеялся, боролся со мной, когда я принялся демонстрировать боксерский прием. Затем все пошли спать, отец стал раздеваться в своей комнате, и я тоже — в своей. Мы болтали через открытую дверь, поговорили о Сергее, его странных противоестественных наклонностях¹. Потом отец помогал мне засунуть брюки под пресс, вынул их, отвернув винты, и сказал, смеясь: «Им, должно быть, больно». Одетый в пижаму, я сидел на подлокотнике кожаного кресла, и отец на корточках чистил ботинки, сняв их с ног. Теперь мы говорили об опере «Борис Годунов». Он пытался вспомнить, как и когда Ваня² возвращается после того, как отец отослал его. Не мог вспомнить. Наконец я лег и, услышав, что отец тоже направился к себе, попросил у него газету, он просунул листы в щель между незакрытыми створками дверей — я даже не видел его рук. И, я помню, это движение показалось неестественным, потусторонним, будто листы пропихнули себя сами... А на следующее утро отец отправился в «Руль», пока я еще спал, и больше я его не видел»³.

Все остальное остается за скобками. Все то, что пережил и передумал о своем отце Владимир Владимирович, осталось с ним, мы об этом никогда не узнаем. И не нужно. Тем более, что для Набокова, как ни для кого другого, была важна частная, скрытая от посторонних глаз, жизнь.

Не помнят, на сколько застегнут ты пуговиц был,
На пять из шести? Так расстегивай с дрожью все шесть.
А ежели что-то с трудом кое-как позабыл, —
Напомнят; на то документы архивные есть.

Иван Толстой не использует архивные документы (они, правда, и недоступны до 2000 года). Все доказательства своей концепции он по крупицам собирает на страницах набоковской прозы. Вот фраза из «Дара», которую Иван Толстой называет «страшной»: «Поневоле привыкнув за все эти годы считать отца мертвым, он уже чуял нечто уродливое в возможности его возвращения». Впрочем, тут же, как бы похлопывая Набокова по плечу, утешает, что она не содержит в себе ничего «кошунственного». Это просто писательство, лицедейство: созданный образ отца стал живым, «и обратная замена его на прообраз разрушила бы абсолютно все эстетические планы». Согласимся, что кошунственного в этой фразе ничего нет, однако по совершенно другой причине. Вспомним шестую из «Северных элегий» Ахматовой. Разве эти стихи не о том же, о чем и набоковская «страшная» фраза: не о том, как по прошествии времени переживается разлука с близкими, их утрата? Не

¹ Лучше бы они этого не делали: на основании этого разговора Иван Толстой считает эпизод отпевания студента (четвертая глава «Дара») пародией на отпевание отца («Другие берега»). В сцене из «Дара» есть гомосексуальная реминисценция, и вот пожалуйста: «Смерть, гомосексуализм, нежность, страница дневника — весь набор последних отцовских ассоциаций целым комплектом перенесен в биографию Чернышевского». Что служит, по мнению автора статьи, доказательством того, что Набоков кошунственно пускает в оборот даже самые священные свои переживания. Вообще говоря, писателю свойственно привлекать весь свой опыт для написания романа. Так, например, чтобы описать болезнь и смерть бабушки («В поисках утраченного времени»), Пруст «использовал» смерть собственной матери.

² По-видимому, Набоков имел в виду оперу «Иван Сусанин».

³ Здесь и далее перевод с английского цитат из дневника, телесюжетов и письма Набокова в «New York Review of Books» принадлежит автору рецензии.

о том ли, как на самом деле устроена жизнь, если иметь смелость взглянуть на нее без ханжества?

И вот, когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Все к лучшему...

Вот почему все к лучшему, а вовсе не потому, что романтизированный образ отца в «Даре» сталкивается с реальным.

Ивану Толстому представляется, что если Набоков наделяет несимпатичного Зиланова из «Подвига» привычкой, которая была у Владимира Дмитриевича Набокова, — трепетать кончиком пера над бумагой, прежде чем начать писать, или способностью вдруг сесть за статью, пристроившись в углу, на вокзале, среди общей суматохи, среди стружки, ящиков и смятых газетных листов, — то это означает, что автору многое было столь же несимпатично в отце. Еще Пруст писал, что художник работает с деталью: если он награждает своего персонажа у кого-то увиденным носом, это вовсе не означает, что вместе с носом контрабандой протаскивается более глубинное сходство. Писатель в некотором роде воплощает мечту гоголевской купчихи: «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича». Писатель Годунов-Чердынцев выносит из табачной лавки не папиросы, а крапчатый жилет табачника с перламутровыми пуговицами и лысину тыквенного оттенка; у петербургского литератора одалживает длинный загнутый волос, растущий из крупной черной поры на широком носу, совершенно не вслушиваясь в то, о чем тот говорит; писатель Бубнов присваивает полосатый галстук Мартына, несмотря на погруженность в любовные страдания. Но это вовсе не означает, что новый обладатель крапчатого жилета будет жаден, как лавочник, а длинный волос вырастет на носу у болтуна. «Другими словами, творческий процесс, по сути дела, состоит из двух стадий: полное смещение или разъединение вещей и соединение их в терминах новой гармонии», — пишет Набоков в эссе «Искусство литературы и здравый смысл», которое переведено на русский и опубликовано в набоковском номере «Звезды» впервые.

Хотя название лучше было бы перевести как «Литература и здравомыслие». Какая разница? Просто лучше звучит. Помните, в «Даре»: «Не все ли равно, — спрашивал он (у радостно соглашавшегося с ним бахмучанского или новомиргородского читателя), — голубоперая шука или шука с голубым пером (конечно, второе, крикнули бы мы, — так оно выделяется лучше, в профиль!)». Выверенность каждого слова для Набокова необычайно важна.

Он никогда, например, не давал спонтанных интервью, всегда готовился заранее, требовал показать вопросы, которые будут заданы, и писал на них ответы, во время интервью лишь произнося уже написанный текст. «Я почти исключительно писатель, и мой стиль — это все, что у меня есть», — сказал Владимир Владимирович по поводу одного телеинтервью. По этой же причине он ревностно относился ко всем переводам своих произведений.

«Переведя текст рассказа на русский, мы нарушили, быть может, волю Набокова, но постарались следовать ей в технике перевода, делая его „со всей возможной педантичностью, иногда даже удручающей“», — пишет Мария Маликова в послесловии к своему переводу одиннадцатой главы «Conclusive Evidence: A Memoir»⁴, которая называется «Первое стихотворение». Педантизм несомненно важен, но все же от него до настоящего перевода далеко. Вот описание послегрозозового неба в «Первом стихотворении»: «Заливы роскошного голубого разрастались среди огромных облаков — горы ярко-белого на пурпурно-сером...» Эта роскошь и пурпур кажутся подозрительными в набоковском тексте. И правда, если заглянуть

⁴ Английская версия «Других берегов».

в английский оригинал, то выяснится, что пурпурно-серому соответствует *purplish gray*. Еще в 1928 году в рецензии на переводы Омара Хайяма Набоков указывал на «ошибку, попадающуюся у всех переводчиков с английского»: «Английское *purple* вовсе не есть русское (или французское) „пурпур“, а значит „лиловый“, „фиолетовый“, иногда даже (в поэзии) „темно-синий“».

Хотя, конечно, уж лучше напускной педантизм, чем сознательное редактирование переводчиком формулировок автора, — например, из чувства патриотизма: «Ироничный читатель, дойдя до пассажа, где Ленин не выстрелил в лисицу, потому что она была „красивой“, может в ответ бросить: „Жаль, что Россия ему такой не показалась“». «Жаль, что Россия была дурнушкой», — на самом деле писал Владимир Владимирович в письме к Эдмунду Уилсону, или Банни, как звали его друзья с университетских времен (нехорошо, что переводчик постарался перевести даже простое имя, и Набоков у него обращается к Уилсону «братец Кролик», при этом на «Вы!»).

В «Звезде» опубликовано шестнадцать писем Набокова к Эдмунду Уилсону. Вся переписка длилась тридцать один год (с 1940-го по 1971-й), и это очень увлекательное чтение. Эдмунд Уилсон был американским писателем, блестящим стилистом и, пожалуй, самым влиятельным литературным критиком своего времени. Он много помогал Набокову, когда тот приехал в Америку, и со временем их отношения переросли в нежную дружбу, подкрепленную еще и тем, что Уилсон интересовался Россией и русской литературой. Набоков как-то сказал жене, что Уилсон был его близким другом, может быть, самым близким. Однако так случилось, что после выхода в свет набоковского перевода «Евгения Онегина» на английский с комментариями в 1100 страниц (в набоковском номере опубликован перевод комментария к XXXIII строфе первой главы — «Я помню море пред грозюю...») друзья стали литературными врагами, до посинения споря на страницах газет и журналов о труде, который занял у Набокова пятнадцать лет. Набоков сетовал на то, что «дражайший друг превратился в упрямого осла», и писал, например, в «New York Review of Books» такого рода письма: «„С какой стати, — спрашивает г-н Уилсон, — Набоков называет слово „нету“ устаревшей и диалектной формой „нет“. Оно в постоянном разговорном ходу, и его, как я знаю, то и дело получаешь в ответ, спрашивая книгу в советском магазине в Нью-Йорке“. Г-н Уилсон путает обычное, разговорное „нету“, значащее „не имеется“, с устаревшим „нету“, которое он никогда не слышал и которое, как я объясняю в примечаниях, форма „нет“ в смысле „не так“ (противопоставление „да“). Продолжи г-н Уилсон: „Хорошо, но Вы можете достать мне эту книгу?“ и ответь продавец „нету“ вместо „нет“, лишь тогда его дружеская попытка просветить меня не была бы столь смехотворной» (25 августа 1965). Можно себе представить, насколько дико выглядел столь детальный спор о тонкостях русского языка в глазах англоязычного читателя популярных журналов. Тем не менее один из самых громких литературных скандалов того времени длился около года; в 1966 году, на Рождество, Уилсон прислал Набокову поздравительную открытку: «Жаль, что наш спор закончен. Редко получал от чего-либо такое удовольствие». На самом деле он так никогда и не простил Набокову публичных баталий. «Странный сон: кто-то на лестнице берет меня сзади за локоть. Э. У. Шутливое примирение», — записал Набоков в дневнике 1967 года. Примирения, кроме как во сне, не произошло. Незадолго до смерти Эдмунда Уилсона, когда он уже был болен, Набоков попытался помириться с другом, но тот не допустил его к себе.

Статья Бориса Парамонова «Набоков в Америке» посвящена отношениям Набокова и Уилсона, их переписке. Фактический материал, взятый большей частью из предисловия Симона Карлинского к английскому изданию переписки двух друзей, достоверен, но выводы Борис Парамонов делает самые неожиданные. Он, собственно, вообще не верит в дружескую искренность со стороны Набокова, не кажутся ему убедительными в этом смысле и длинные письма к Уилсону обо всем на свете: о литературе, языке, делах, планах, наблюдениях, людях: «Набоков постоянно, упорно и, надо сказать, не очень искусно уклоняется от встреч с Уилсоном. То сын заболел свинкой, то самого свалила межреберная невралгия, то какие-то транспортные неувязки, то еще что-то». И к этому утверждению добавляется сноска: «Позднее на такой же манер он избегнул встречи с Солженицыным». Этот факт уже

упоминался в связи с эссе А. Битова. Так почему же не состоялась встреча Солженицына и Набокова? В 1974 году Солженицын был в Монтрё и послал записку Набокову с предложением встречи. Набоков заказал в ресторане своего отеля отдельный кабинет, где в течение часа вместе с женой и прождал гостя. Солженицын же, рассчитывавший получить подтверждение тому, что назначенные им место и время хозяина устраивают, не решился прямо приехать в гостиницу, а пытался дозвониться Набокову в номер, в то время как тот ждал его в ресторане. На следующий день Набоков рассказал о недоразумении Владимиру Максимову. Не очень понятно, почему мы не должны верить Набокову и подозревать его в макиавеллиевом коварстве как в случае с Солженицыным, так и в случае с Уилсоном.

Тон переписки с «дорогим Банни» искренен, да и не пишут настоящих писем, не тратят силы в течение тридцати лет на человека, который не интересен, которого избывают. «Чувствуя, должно быть, некоторую вину перед пропадающим втуне уилсоновским гостеприимством, Набоков довольно неуклюже подслащивал пилюли: как-то раз вздохнул в письме, что ему ужасно хотелось бы посидеть с дорогим Банни за бокалом вина и сигарой; все знающие, какой казнью египетской была для Набокова самомалейшая выпивка, только ухмыльнутся, прочитав эту lamentацию», — настаивает на нелюдимости Набокова Борис Парамонов. «Прибавил 2 кг с тех пор, как вернулся в Монтрё, несмотря на то, что пью лишь пол-литра бордо ежедневно, и никакого пива», — записал как-то в дневнике Набоков. Так что здесь уже явно «на истину ложится тень инструмента». Владимир Владимирович, правда, не терпел «ресторанов, водочки, закусок, музычки» (вспомним его малоудачную встречу с Буниным в ресторане), но никакого отвращения к алкоголю не испытывал. Известно, что во время телеинтервью он под видом чая попивал из чайника коньяк, чтобы снять нервное напряжение, а в европейские годы с удовольствием пил четыре бокала вина в день. Так что вина Набоков не чуждался, как не чуждался и друзей.

Когда впервые была опубликована переписка Набокова и Уилсона, на нее появился отзыв, который приводит в своей книге лучший биограф Набокова Брайен Бойд: «Оба во второй половине жизни завязали дружбу, обычно возможную лишь в юности».

Причина их ссоры, как кажется, скорее лежала в плоскости человеческих отношений, чем отвлеченных идей, взглядов, абстрактных истин, как то доказывает Борис Парамонов. По его мнению, причина взаимного раздражения — разногласия писателя, шамана, чародея с литератором, склонным к «гуманитарной» широте; левые симпатии западного интеллектуала, с одной стороны, и ненависть русского писателя к большевикам — с другой; столкновения на почве русской литературы и т. д. Разумеется, все это имело место, но ведь в 40-е годы, когда представления Уилсона о России были куда как более наивны, чем в 60-е, отношения двух писателей были безоблачны, а ссора произошла, когда на Западе многое стало известно о революции, сталинизме, когда уже никто, и Уилсон тоже, не смотрел на советскую Россию сквозь розовые очки.

В общем, писатели тоже люди и живут не только идеями. Видимо, эта дружба с самого начала содержала нездоровое зерно соперничества, выросшее потом в ссору. «Надеюсь, скоро ты научишься играть достаточно хорошо, чтобы мне тебя обыгрывать», — ответил Набоков Уилсону, когда тот написал ему, что учится играть в шахматы. Согласитесь, Набокову не был чужд дух соревновательности.

Однако вряд ли именно эта черта набоковского характера и ревность, как считает Андрей Битов, заставляли писателя расставлять «ученические отметки русской классике (тайная слабость наедине с Верой Евсеевной): то одному четверку с плюсом, то другому четверку с минусом... и вдруг Тургенев обходит Толстого». Разве есть что-то стыдное в том, чтобы иметь свое, живое, избирательное, отношение к тому, что любишь? И Тургенев у Набокова никогда не обходил Толстого. Места строго распределялись следующим образом (не тайно, с Верой Евсеевной, а явно, в лекции «Об Анне Карениной»):

1. Толстой
2. Гоголь
3. Чехов
4. Тургенев

Это — оставив в стороне Пушкина и Лермонтова.

Интертекстуальным связям стихотворения Федора Годунова-Чердынцева «Благодарю тебя, отчизна...» с Пушкиным и Лермонтовым посвящена первая часть блестящей статьи Александра Долинина «„Две заметки” о романе „Дар”». Контекст эмигрантской литературы 20 — 30-х годов, позиция Набокова в борьбе пропущинской и пролермонтовской группировок русской эмиграции, подтекст, отсылающий к современным Набокову поэтам (Ходасевичу, Адамовичу), — и все это по поводу одного короткого стихотворения из романа.

Удивительно, как работают стихи Набокова в его романах, какое потрясающее впечатление они производят в контексте набоковской прозы («Виноград созрел, изваянья в аллеях синели. / Небеса опирались на снежные плечи отчизны», или задыхающаяся интонация — виновата беготня за Куильти — чуть не плачущего от обиды человека в стихах о Лолите, или последние строки «Дара»), особенно в сравнении с поэтическим наследием Набокова, в котором нет открытий и которое «как бы на номер меньше» его прозы. Кажется не случайным, что Набоков написал о своем первом поэтическом впечатлении, вылившемся в стихи, еще и прозой: в тех ранних стихах оно не было зафиксировано, схвачено, исчерпано, об этом ему хотелось написать еще раз, по-настоящему. В этом же эссе «Первое стихотворение» Набоков говорит о том, что ему свойственно было впадать в поэтический транс, и он с разинутым ртом, мутными глазами бродил часами по Рождественскому парку, находя себя через какое-то время в самых неожиданных местах, например на ветке дерева. Это кое-что объясняет в романе «Дар». До этого казалось не слишком достоверным, что Годунов-Чердынцев, погрузившись в работу часов на пять, начисто забыл о маскараде, на котором его ждала Зина. Как такое могло произойти? Оказывается, могло. Не иначе как Годунов-Чердынцев писал в ту ночь вторую часть сонета, венчающего четвертую главу, за которую его впоследствии бранил Христофор Муртус.

Вторая заметка Александра Долинина называется «Христофор Муртус», она содержит исчерпывающие сведения об этом литературном персонаже. Идя от частного к общему, Долинин говорит, быть может, о самых важных для Набокова вещах: стиле, художническом видении в противовес общим идеям, о даре и бездарности, о «драгоценном и вечном». Сам Владимир Владимирович был бы, наверное, рад тому, что кто-то его так хорошо понимает и ведет разговор с ним на равных.

В набоковском номере «Звезды» есть еще один замечательный разговор — разговор о поэзии:

Я разговаривал с Набоковым,
Как он с Кончеевым в лесу...

Так начинается одно из двух опубликованных в номере стихотворений Александра Кушнера.

Совершенно случайно, читая перевод короткого эссе Набокова «Писатель и эпоха», впервые опубликованного по-русски, удалось расслышать другой, скрытый диалог между замечательным прозаиком и современным поэтом. О чем же он может быть, как не о прошлом и настоящем, которое становится прошлым.

Кушнер:

Говорю тебе: этот пиджак
Будет так через тысячу лет
Драгоценен, как тога, как стяг
Крестоносца, утративший цвет.

Набоков: Иногда я пытаюсь угадать, какой представится наша эпоха человеку XXI века. ...Я смотрю в окно, я высовываюсь во двор, я хочу выйти из моего времени и нарисовать улицу в той ретроспективной манере, которая будет совершенно естественной для наших потомков и которой я так завидую.

Кушнер:

Говорю тебе: эти очки.
Говорю тебе: этот сарай...
Синеокого смысла пучки,
Чудо, лезущее через край...

Набоков: Этот автомобиль, мостовая, одежда прохожих, особый расклад фруктов и овощей в угловой витрине, два огромных гнедых першерона, впряженных в мебельный фургон, гудение аэроплана над крышами — все это, собранное вместе, дает мне чувство настоящей реальности, той комбинации, которая будет возможной еще завтра, но распадется двадцать лет спустя. Я пытаюсь представить себе все это как воскресшее прошлое, я силюсь разглядеть гуляющих, одетых по вчерашней моде, мне почти удается заметить в этом автомобиле что-то, сам не знаю что, плохонькое, бесформенное, что поражает нас при виде какой-нибудь кареты в историческом музее.

Кушнер:

Ты сидишь, улыбаешься мне
Над заставленным тесно столом,
Разве Бога в сегодняшнем дне
Меньше, чем во вчерашнем, былом?

Набоков: А потом говоришь себе: среди вещей, вставших, кажется, в том единственном порядке, который создает данную реальность, есть и такие, что присутствуют долго, — суетливое чириканье воробьев, зелень сирени, ниспадающая на ограду, белая грудь и серый круп гордого облака, скользящего по влажной сиве июньского неба.

Кушнер:

И посланница мглы вековой,
К нам в окно залетает пчела,
Что, быть может, тяжелой рукой
Артаксеркс отгонял от чела.

Ничего, что собеседники повторяют друг друга: плохая слышимость и помехи вызваны расстоянием в шестьдесят лет.

Второе стихотворение Александра Кушнера с супердактилическими рифмами («Под жалкими, под полуразвалившимися...») датировано 1977 годом, годом смерти Набокова.

Для того, кто однажды открыл для себя набоковскую прозу, разговор с писателем никогда не прекратится.

Светлана ЧЕКАЛОВА.

*

НОВАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Ка н у н . Альманах. Под редакцией Д. С. Лихачева. [Вып. 1]; Русские утопии. СПб. «Corvus». 1995. 351 стр.

Всем известно, что Белинский назвал вторую половину 20-х — 30-е годы прошлого столетия «альманачным периодом» русской литературы. Многие издания тех далеких лет («Мнемозина», «Северная лира», «Уrania», «Северные цветы») до сих пор на слуху у историков литературы, некоторые из них («Северные цветы на 1832 год», например) в недавнее время переизданы в солидной серии «Литературные памятники» и вызвали живой читательский интерес.

В середине 90-х годов нашего века есть все основания говорить о возобновлении популярности альманахов, многие из которых не затерялись в пестроте и многообразии нынешней издательской продукции. Причем любопытно, что книжные серии (беллетристические, популярные, справочные, научные), подобно грибам после теплого дождичка, рождаются в обеих столицах. Что же до периодики, то здесь наблюдается явная асимметрия. Москва безусловно держит первенство в деле придумывания и запуска в производство новых газет и журналов. В петербургских же книжных лавках внимание московского гостя-библиофила привлекают прежде всего разнообразнейшие философские и культурологические альманахи и сборники.

Вряд ли все дело в том, что в северной столице попросту меньше банков и прочих магнатов-спонсоров, готовых оплатить не отдельные, лишь время от времени выходящие сборники, но сразу солидное периодическое издание, которое и рекламе поспособствует, а там, глядишь, принесет и прибыль. В одной из недавних неторопливых питерских бесед с замечательным поэтом и незаурядным публицистом Виктором Кривулиным мне, кажется, удалось расставить немало точек над *i*.

Альманахи полторавековой давности, как правило, не имели специальной философской направленности. Это были в большинстве своем достаточно аморфные, лишенные определенных рубрик «собрания пестрых глав»: стихи, фрагменты поэм и драм, критические статьи, переводы... Философия как таковая долгое время оставалась привилегией москвичей, гордо подчеркивавших собственное пристрастие к немецкому любомудрию и отчетливо отделявших себя от чиновничьего, казенного Петербурга. На берегах Невы совершались головокружительные карьеры, делались выгодные брачные партии, наживались огромные состояния, заполучались придворные титулы. В Москве же шла работа подспудная, до поры до времени не видная и не слышная. Здесь на дружеских пирушках читали и азартно обсуждали труды Фихте и Шеллинга, слушали университетские курсы молодых профессоров, недавно вернувшихся «из чужих краев» с последними новостями европейской науки. Словом, именно в Первопрестольной делались первые шаги к осознанию истинной природы российской государственности и народности, нащупывались непростые пути будущего развития отечественной цивилизации.

Ныне все повторяется в зеркально-обратном варианте. Московская пресса озабочена главным образом мельчайшими политическими коллизиями в пределах Садового кольца да еще насильственным и наивным адаптированием к местным условиям норм и устоев пресловутого постмодернизма, давно отшумевшего и в бозе почившего на Западе. Петербург же постепенно обрел в культурном отношении выигрышный статус «младшей» столицы, исключенной из пустопорожней суеты событий. Именно здесь в наши дни движется и набирает ход «большое время» русской культуры, спокойные кухонные беседы ведутся в прежнем темпе и ритме, без перерывов на презентации и фуршеты. Философско-культурологический ренессанс в Северной Пальмире как раз и совпал с подъемом «альманачной» традиции, и это знаменательное совпадение уже принесло ощутимые результаты. Достаточно вспомнить хотя бы только два издания последних лет: «Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры», первый выпуск которых, со статьями и эссе Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, К. Г. Исупова, Д. В. Бобышева, Л. М. Моревой и других, вышел в свет под названием «Метафизика Петербурга» (СПб., 1993), а также сборник «Пути и миражи русской культуры» (СПб., 1994), где опубликованы работы Д. С. Лихачева, М. Н. Виролайнен, В. Е. Багно, О. С. Муравьевой, Т. А. Новичковой и многих других авторов.

Опыт издания «Путей и миражей» не без основания был сочтен особенно удачным, потому, вероятно, редакция сборника ныне приступила к подготовке целой серии культурологических книг, объединенных издательской маркой альманаха «Канун». Уже в ближайшие полтора-два года вслед за «Русскими утопиями» выйдут в свет сборники «Полярность в культуре» (составители В. Е. Багно, Т. А. Новичкова), «Русские пиры» (М. Н. Виролайнен), «Центр и периферия» (А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян), «Русская вера» (А. А. Панченко, А. М. Панченко). Канун третьего тысячелетия — вполне подходящее время для взвешенного, избавленного от субъективных узкопартийных пристрастий разговора об основных категориях, силовых линиях, нервных узлах отечественной культуры. Взаимоотношения столицы и провинции, письменной и фольклорной традиции, особенности салонного и приватного, дружеского общения — все это станет предметом будущих выпусков альманаха.

Впрочем, уже в первом изданном сборнике четко определены основные принципы и стилистические особенности «Кануна», призванного, по словам Д. С. Лихачева из вступительной заметки «От редколлегии», представить на суд читателей «акт самоотчета, самооценки, самоинтерпретации уходящей эпохи». Во

главу угла поставлен тематический принцип, с учетом которого в центре внимания участников альманаха неизбежно оказывается «метафизика таких социально значимых и освященных временем реалий, как „деньги“, „столица“, „храм“, „пир“». Впрочем, «тематический принцип распространяется <i> на распределение материалов по выпускам, внутренняя структура каждого сборника — жанровая, включающая разделы статей-исследований, эссе, публикаций и переводов».

Тема первого выпуска альманаха «Канун» — варианты и перипетии развития российского утопического сознания — избрана, конечно, не случайно. Д. С. Лихачев специально подчеркивает, что «одна черта... действительно составляет несчастье <?? — Д. Б.> русских: во всем доходить до крайностей, до пределов возможного». Именно такое предельно широкое и обобщенное истолкование утопии обеспечивает содержательное единство сборнику, в котором присутствуют столь различные по материалу и методу работы, как «Приближение к раю: утопии небесного царства в русском фольклоре» (Т. А. Новичкова), «Религиозный утопизм русских мистических сект» (А. А. Панченко), «Во всем блеске своего безумия. (Утопия дворянского воспитания)» (О. С. Муравьева), «Глухонемота: утопия спасения» (К. А. Богданов), «Новая русская мечта и ее герои» (Б. В. Дубин) и т. д.

Широта и масштабность замысла книги явствуют уже из приведенного перечня заглавий. От академически выверенных, подкрепленных историко-лингвистическими обзорами рассуждений в работах А. А. Панченко и Т. А. Новичковой читатель стремительно переходит к социологическому анализу складывающейся в постперестроечное время абсолютно новой системы ценностей и жизненных ориентиров в статье Б. В. Дубина. Естественность перехода от церковных дискуссий эпохи раскола к реальности промоутеров и дистрибьюторов обеспечивается единством стилистической установки авторов альманаха. Все они пишут прежде всего в расчете на понимание и сочувствие не только профессионального читателя.

Особый интерес представляет статья Н. И. Николаева «Православный фундаментализм как филологическая утопия», в которой воскрешение глубинных ценностей «кириллической цивилизации» связывается с возможностью и целесообразностью достаточного простого административного нововведения — восстановления массового преподавания старославянского языка. Н. И. Николаев (пожалуй, единственный из участников сборника) занимается не исследованием одного из частных аспектов проблемы «русские утопии», но сам предлагает некий «утопический» (по степени неожиданности, но вовсе не по затруднительности реализации) проект, направленный на воссоединение в нынешней российской культуре ее исконных и необоснованно забытых традиций. Весьма содержательна и статья голландского филолога Йооста ван Баака, входящая в известный цикл его работ о русской литературе и культуре. «Дом» здесь рассматривается как синтетическое и фундаментальное для русской национальной традиции понятие, сохраняющее смысловую преемственность на протяжении столетий. Для анализа Й. ван Баак широко привлекает данные истории, политики, литературы и — что особенно ценно — современные достижения лингвистической компаративистики.

В разделе «Публикации» помещена работа В. П. Бударagina об одном из интереснейших памятников виршевой старообрядческой письменности: списки «Газеты из Ада» извлечены из Дрвলেখранилища Института русской литературы (Пушкинского дома). Под рубрикой «Встречное течение» в альманахе опубликовано эссе В. Б. Кривулина о поэзии Сергея Стратановского. Автор эссе подчеркивает, что в 80 — 90-е годы, когда «повальная антиутопия пришла на смену принудительному утопизму советского искусства», понимание поэзии Стратановского может быть искажено в призме «столь влиятельной нынче иронической московской поэзии». Между тем в стихах, может быть, единственного сейчас в России поэта-метафизика зримо присутствует напряженное внимание к возможным вариантам развития отечественной литературы, культуры, повседневной жизни. Непредубежденное восприятие поэтики Стратановского поможет лучше ориентироваться в современных поисках нашим искусством «третьего пути», идущего мимо перекрестков, на которых сходятся ради поднадоевших ристалищ пророки пресловутых «реализма» и «постмодернизма».

...Время наше невозможно воспринимать иначе как канун грядущих перемен (дай бог, чтобы к лучшему). Потому-то и об утопиях да надеждах кое-что прочитать вовсе не бесполезно. Во время набегов чумы алчущим читателям только и остается, что ждать «Пиров», то есть одного из ближайших выпусков нового петербургского философского альманаха.

Дмитрий БАК.



КАРЛ СЕЛЬВИНСКИЙ И ДРУГИЕ

Вольфганг Казак. Лексикон русской литературы XX века. М. РИК «Культура». 1996. 493 стр.

В «Дополнениях по поводу перестройки в СССР» к русскому изданию «Энциклопедического словаря русской литературы с 1917 года», вышедшему в 1988 году в Лондоне, Вольфганг Казак писал: «Библиографический словарь, перед которым стоит задача отображения современной литературной жизни, оказывается перед фактом быстрой смены событий этой жизни. При этом объем словаря делает невозможным соблюдение какого-то определенного хронологического предела, до которого была бы доведена вся включаемая информация».

Вот уже и «перестройка» стала историей, а до конца века осталась несколько лет. Вышло наконец и давно ожидаемое издание словаря в России — под названием «Лексикон русской литературы XX века». Как мы видим, название претерпело две принципиальные трансформации. Во-первых, исчезло слово «энциклопедический», во вторых, обозначены и «хронологические пределы», а именно — XX век.

Таким образом, окончательно определилась задача перед современными и будущими исследователями русской литературы — создать со временем действительно всеобъемлющий «энциклопедический» словарь, в котором не будет упущен никто и ничто, даже критики и литературоведы, которым — по причине ограниченного объема — места в словаре Казака изначально не отводилось. В этот будущий фундаментальный труд, который обязательно появится, непременно попадет и сам Вольфганг Казак — хотя бы как автор первого словаря, который был на протяжении четверти века (и, может быть, еще долго будет) единственным в своем роде.

На сегодняшний день уже вышло немало рецензий на «Лексикон...». И, кажется, ни один автор не преминул пожуричь кельнского профессора в упущениях по поводу отсутствия статей о тех или иных литературных персонах. Претензии сия сколь справедливы, столь и беспочвенны. Представляется, что сам автор предпочел бы написать про всех и про все, если бы на то у него была хоть малейшая возможность. Такой возможности не было — и по причинам объективным вроде географической удаленности от местопребывания большинства героев (речь идет, естественно, о живых) и от литературных архивов, и по вполне субъективным, — в конце концов, словарь составлял именно профессор Казак, а не академический институт. Ведь достаточно вероятным выглядит и предположение, что некоторые из «обиженных» не попали в словарь потому, что автор их туда поместить просто не захотел. И это — его законное право. По поводу сему позволю себе отметить лишь один бросившийся в глаза факт: в словаре нет статьи о Владимире Викторовиче Орлове, одном из самых популярных авторов 80-х. Но это так, к слову.

Как бы то ни было, но все те не слишком «официальные» литераторы, которые еще помнят советские времена, согласятся, что оказаться в словаре всегда считалось делом достаточно престижным. Мало кто держал тогда саму книгу в руках, но о том, что об N там есть статья, знали все. Кое-кто — наоборот — многое бы отдал, чтобы в словаре не оказаться: уж очень в неприглядном виде некоторые «классики» там были представлены.

Надо отдать должное автору — он все же старался быть максимально широким, собирая под одной словарной обложкой имена и понятия, имеющие «разное» отношение к русской литературе. Возможно, Казак был первым, кто попробовал стереть вроде бы четко обозначенные на тот момент границы между метрополий и эмигрантской диаспорой, между «официозом» и «диссидентством». В предисло-

вии к нынешнему изданию он пишет: «Выбор писателей, включенных в словник, подчинен прежде всего не столько литературному значению их творчества, сколько информационным запросам того, кто прибегнет к помощи данной книги. Это означает, что в «Лексикон» вошли не только те авторы, кого, по моему мнению (часто подкрепленному высказываниями других литературоведов и критиков), можно считать «настоящими писателями», но и те, которым в существовавшей ранее официальной советской шкале было отведено лишь политически обоснованное «выдающееся» место (с вытекающими отсюда расширенными возможностями издавать свои произведения)».

Помимо статей библиографических (кстати, именно к библиографии можно было бы высказать немало вполне обоснованных претензий) в словаре множество статей тематических, посвященных литературным журналам, объединениям, направлениям, явлениям. Что же касается статей-персоналий, то они ориентированы на общепринятый образец: «Фамилия, имя, отчество; настоящее имя и фамилия, если писатель использовал псевдоним; основной вид литературной деятельности; дата и место рождения (до 24.1.1918 и по старому, и по новому стилю); профессия отца; образование; начало литературной деятельности; членство в коммунистической партии; долголетняя работа в редколлегиях литературных журналов; год выезда в эмиграцию; должности в руководящих органах Союзов писателей; место жительства в настоящее время (по данным 1992/93 года)». При этом многие из вроде бы «необязательных» подробностей оказываются едва ли не самыми интересными для читателя, пытающегося понять, какой на самом деле была так называемая «литературная жизнь».

Спору нет, в любом советском энциклопедическом словаре есть сведения о том, что настоящее имя поэта Ильи Сельвинского — Карл. На первый взгляд, и статья о нем в «Лексиконе...» (практически не претерпевшая изменений по сравнению с изданием 1988 года) могла бы быть напечатанной, например, в «Краткой литературной энциклопедии». Однако некоторые интонационные и смысловые детали сделали бы ее «подцензурное» появление невозможным: «В начале 30-х гг. С. сумел объехать все крупные столицы Зап. Европы...», «В цикле стихотворений *Давайте помечтаем о бессмертье* (1964 — 66) явно чувствуется вера С. в то, что после физической смерти человека возрождается и продолжает существовать его индивидуальная духовная сущность; при этом он исходит из новейших открытий в области физики» и т. д.

Если для написания словарных статей о писателях начала века и об известных советских или эмигрантских авторах можно было пользоваться существующими справочными изданиями и архивными материалами, то в случае с литераторами-современниками задача немало усложнялась. Далеко не со всеми можно было пообщаться лично и получить информацию из первых рук. Несмотря на это, словарь с каждым изданием пополнялся новыми именами: «В первом издании 1976 года новым было, например, имя А. Вампилова, в изданиях 1988 года — А. Кима, а в настоящее издание впервые включены И. Жданов, А. Жигулин, И. Ратушинская, Н. Садур, Я. Сатуновский, Б. Хазанов, Б. Чичибабин и многие другие». Именно в этой части к автору предъявляется масса претензий на предмет явной неполноты словаря. Но на эту тему мы уже рассуждали выше, возвращаться к ней не будем.

Лишь рассмотрим для примера одну из новейших статей, а именно посвященную Ивану Жданову. Так как она написана уже практически «сегодня», то и судить о ней можно безо всяких оговорок. Могу признаться, что о данной «персоне» начинал читать с некоторой опаской. Однако при всей академически-словарной сухости изложения принципов поэтики Жданова определения В. Казака кажутся точными и даже (в рамках жанра) вполне охватывающими предмет: «Представление о всеобъемлющем полнее всего выражено тем, что в религиозном в своей основе творчестве Ж. нет границы ни между жизнью и смертью, ни между физическим временем и метафизическим понятием вечности».

Впрочем, для некоторых критических замечаний есть и у меня безусловные основания. Например, в «Лексиконе...» исчезли указатель предметных статей и именной указатель, которые в издании 1988 года присутствуют, библиография лишь в очень редких случаях дополнена более поздними публикациями. Довольно много опечаток и наборного брака. Но в последнем, конечно же, нет вины автора.

В итоге следует признать главное: у каждого, кто еще сохранил хоть какой-то интерес к истории русской литературы XX века, есть теперь возможность поставить на свою книжную полку очередное справочное издание, аналогов которому пока не существует. Тираж в пять тысяч экземпляров вполне на сегодняшний день достаточен, хотя, выйди «Лексикон...», как то и предполагалось, несколькими годами раньше, тираж сей был бы на порядок больше.

И последнее — что называется, по ходу дела. Один мой знакомый художник рассказал, что готовится издание словаря, посвященного современной художественной жизни. Для того чтобы оказаться в числе упомянутых там персон, нужно заплатить некоторую сумму или, в случае крайней неплатежеспособности, преподнести составителям свою картину. К писателям, к счастью, с такими предложениями едва ли кому придет в голову обратиться. И, надеюсь, не только потому, что они в своем большинстве небогаты.

В словарь все же лучше попасть, чем в него вляпаться. Пишите, дамы и господа, пишите, и вам воздастся. Пусть не профессором Казаком, а его последователями, которые, сдается мне, уже где-то тихо трудятся над завершением начатого им «Лексикона русской литературы XX века». До конца столетия еще осталось какое-то время, и у всякого действующего литератора есть шанс стать в нем словарной статьей.

Игорь КУЗНЕЦОВ.



АННА ТИМИРЕВА И АДМИРАЛ КОЛЧАК

«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна...». Составители Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Перченко, И. К. Сафонов. М. Издательская группа «Прогресс», «Традиция», «Русский путь». 570 стр.

История любви Анны Васильевны Тимиревой и Александра Васильевича Колчака под пером совковых писак, которым в перестройку много чего позволили, одно время грозила выродиться в форменную бульварщину: недаром Тимиреву там часто титуловали то княжной, то княгиней — чтобы было еще «красивей».

Особняком стоит эмигрантский роман Владимира Максимова «Заглянуть в бездны». «Пишу роман о любви, только о любви, никакой политики», — поделился он со мной лет десять с лишним назад в Париже. Но, разумеется, публицистический пафос, соприсущий Максимову, и тут никуда не делся, а общая нервность, пронизывавшая его чужбинное бытие, помешала созданию художественно безупречной вещи, в ней проглядывает какая-то азартная спешка.

...И вот перед нами объемный том материалов о Тимиревой и Колчаке: письма, следственные протоколы, фрагменты ее художественного наследия, наконец, щемяще-подробные воспоминания ее племянника Ильи Кирилловича Сафонова; скрупулезные комментарии, дающие массу дополнительных сведений. Всё вместе — впечатляющий, трагический, яркий культурно-исторический организм, неожиданно оптимистично подпитывающий наши начавшие уже было меркнуть представления о высоких возможностях и поразительной стойкости человеческого духа в самых беспросветных условиях.

Колчака только ленивый не попрекал в неэффективности его «диктаторства» и военных ошибках в борьбе с коммунистической армией. Не станем верить недоброжелателям на слово: Белое движение было настолько разношерстно и мировоззренчески эклектично (от социалистов до монархистов), что просто органически не было способно солидарно сфокусироваться в едином авторитетном лидере, — это раз. А во-вторых, Колчак прежде всего военный моряк, высокоодаренный полярный исследователь и гидролог (что в ту пору было неотделимо от донныне поражающих воображение экспедиционных подвигов) — воевать на суше с обезумевшими соотечественниками, конечно, был не его удел. Он взялся за это по обстоятельству и чувству долга, не имея, пожалуй, никаких специальных амбиций. Впрочем, разумеется, определенная идеология у него была — идеология военного человека и патриота (в поэзии нашей, например, отчасти воплощенная Гумиле-

вым). Патриотический империализм — во благо России — до революции. И непредрешенчество — после; впрочем, это уже политика.

Если Константинополя и проливов искали даже такие умы, как Тютчев и Достоевский, а в начале века кадеты, чей замес — освободительная идеология, то почему б не исповедовать то же и адмиралу? В данном случае это по крайней мере логично.

В подробном январском письме 1918 года (ныне уже исчез этот навык, эти умение и охотка писать письма — вот так, за страницей страницу, не комкая и не ужимаясь по лености) Колчак рассказывает о своем пространном разговоре с японским офицером, полковником Hisahide. «Он один из признанных деятелей секретного панмонгольского общества... ставящего конечной целью ни более ни менее, выражаясь деликатней, экстерилизацию индоарийской расы, которая отжила свою мировую миссию и осуждена на исчезновение... Англия и Франция еще сильны своей аристократией, своим воинственным началом, инстинктивно заложенным в ее населении, которое никакой демократический разврат в виде пацифизма и социализма не смог уничтожить. ...Мы откровенно говорим европейской демократии: ...если вы попытаетесь бороться с нами приемами, которыми Германия победила Россию и обратила Великую Державу в конгломерат одичавших «демократий», — мы вас уничтожим... Если Европейская война не покончит с демократией, то следующая погребет демократию с социализмом, пацифизмом и прочими моральными извращениями навсегда, но это будет стоить белой расе дорого».

Рассуждения японского «леонтьевца» произвели на адмирала сильное впечатление. «Я поднялся в свою комнату, — пишет он далее в том же письме, одном из шедевров русского эпистолярного жанра в целом, — на столе, покрытом картой Месопотамского театра, стоял Ваш портрет, и я стал смотреть на него, чтобы отвлечься от тяжкостной справедливости слов японского фанатика. ...Почтеннейший Керенский называл братающихся с немцами товарищей идеалистами и энтузиастами интернационального братства, а я, возражая ему, просто называл это явление проявлением самой низкой животной трусости... Ведь в основе пацифизма лежит... страх боли, страдания и смерти».

Потребовалась — через десятилетия — атомная бомба, чтобы сломить этот уходящий в древность воинственный панмонгольский дух; впрочем, не исключено, что в веке двадцать первом он еще о себе напомнит: самодовольство западной цивилизации не пройдет безнаказанным.

Когда Тимирева и Колчак познакомились, ей шел двадцать первый год; 1916-м датируется первое из сохранившихся писем — ценного сплава пронизательного женского ума, пылкости и силы характера (что был когда-то так хорошо, исчерпывающе схвачен Пушкиным). Вкрапленные в наше сознание в контекст биографии Тимиревой (тридцать лет лагерей, тюрем, ссылок; расстрелянный сын от первого брака Владимир), они читаются так, как и должны читаться: это дальше, выше, больше словесности — здесь «человек сгорел»¹.

В глазок своей камеры она видела, как его уводили. Перед казнью он просил о свидании, в ответ чекистские олигофрены «все расхохотались» — весело вспоминал председатель иркутского Губчека, исполнитель ленинского приказа Чудновский. Труп адмирала был спущен в прорубь, специально заранее вырубленную для этого в толстом ангарском льду. Последний колчаковский месяц и предарестные дни своими невыносимыми «крестными» тяготами, предательством окружающих, трепетным присутствием рядом близкого сердца напоминают екатеринбургское положение государя. Эти «диктаторы», «тираны», «милитаристы» были, по сути дела, людьми с кодексом чести и правилами благородства в их пору уже архаичными. Между ними и их гонителями разница, можно сказать, антропологическая. И всей предыдущей жизнью приученная к натурально высокому, то бишь нормальному, уровню человеческих взаимоотношений, Анна Тимирева — после казни адмирала — оказалась пленницей совсем другого рода двуногих.

¹ Эта переписка сопоставима с другой и могла бы быть так же и озаглавлена: «Наша любовь нужна России...» (Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой — «Новый мир», 1993, № 9 — 10). В некотором роде аналогичная корреспонденция 30-х годов — по множеству причин, о которых стоит писать отдельно, — уже качественно иная (см.: «Письма. Николай Эрдман — Ангелина Степанова». Изд-во «Иван-пресс». М. 1995).

...Так, недавно я спросил о Тимиревой одну очень уже пожилую даму из Рыбинска (где Анна Васильевна работала бутафором в театре перед своей последней посадкой в 1949 году). «Высокомерная, замкнутая была», — вспоминала дама. «Да ведь с вами только разговорись, сразу бы донесли», — полусуто сболтнул я. Дама не возмущилась, а согласно кивнула: «Это правда».

«Освободить ее (Тимиреву. — Ю. К.), — рапортовал чекистский чин Павлуновский такому ж, Фельдману, 30 ноября 1921 года, — ни в коем случае нельзя — она связана с верхушкой колчаковской военщины и баба активная».

Анна Васильевна не растеряла, слава Богу, эту свою «бабью активность» до глубокой старости — все, кому посчастливилось попасть в ее «поле», вспоминают это как событие своей жизни.

Я же — по понятным причинам — с особым тщанием читаю и перечитываю ее рыбинское дело (точнее, *щербаковское* — Рыбинск «кликали» тогда Щербаковым, по имени рано ожиревшего и отжившего сталинского сатрапа родом из Рыбинска; семья купцов Щербаковых в Верхневолжье была хорошо известна). Было мне в ту пору два с половиной, ну, чуть больше, года, и жили мы в Рыбинске, пардон, Щербакове, на улице Дзержинского — окнами прямехонько на НКВД, красный дом в стиле модерн начала века. И, возможно, украшали с бабушкой елку старыми блестяще припудренными игрушками, когда метрах от силы в двухстах, да меньше — через стену нашего дома, неширокую улицу, стену НКВД, допрашивали Анну Васильевну. «Я никакой антисоветской деятельностью не занималась. ...Предъявленное мне обвинение основано на вымышленных показаниях свидетелей и искажении фактов... Нет, Ходсон и не думал меня вербовать, и никакой шпионской деятельностью я не занималась»².

Анну Васильевну этапировуют в Красноярский край — *«как социально опасную личность по связям с контрреволюционным элементом»*.

Реабилитирована «подчистую» была она только в 1960 году.

Миф, что она «умерла в нищете» и забвении³, рассеивают уже упоминавшиеся воспоминания И. К. Сафонова. Да, пенсия, которую выхлопотали ей «за отца» (выдающегося музыкального деятеля Василия Ильича Сафонова) Шостакович, Ойстрах и прочие корифеи, была... 45 рублей. Но бывшая многолетняя зечка (ее судьба протяженностью гулагского срока сопоставима с мытарствами поэтессы Анны Барковой) понимала жизнь и умела радоваться ей даже и «на такие деньги». У нее были друзья, был круг общения очень высокого уровня (куда входил, к примеру, один из лучших наших поэтов 70 — 80-х годов Александр Величанский), а главное, было живое христианское мировоззрение, с которым уже ничего не страшно.

«Когда умерла Анна Васильевна, — вспоминает Сафонов, — поэт А. Величанский произнес слова, несколько резанувшие вначале мой слух; он сказал: «Анна Васильевна прожила счастливую жизнь». Вглядываясь в события, составлявшие эту жизнь, поневоле спросишь: как же можно считать ее счастливой? И тем не менее я соглашусь с Величанским... Жизнь Анны Васильевны всегда была наполнена глубоко человеческим и потому, быть может, драматическим содержанием... Везде и во всем находила Анна Васильевна материал для творчества... Что бы она ни делала, за что ни бралась, все становилось для нее делом, в котором ей было интересно себя проверить и показать».

Но действительно — что понимать под счастьем? Если крепость и рост благосостояния и популярности, основанные на социально-общественной конъюнктуре и азартном крутеже выживания, то такого «счастья» Тимирева не улучила. Но ежели видеть счастье в экзистенциальном самостоянии («Самостоянье человека / Залог величия его», — Пушкин), верности долгу и бескорыстию юности, органичном следовании промыслительной логике судьбы, ненатужном самосоответствии и подключенности к красоте бытия, то была Анна Васильевна и впрямь счастливая. (Все это — со времен стоицизма по крайней мере — общеизвестные истины, которые, однако, сегодня приходится повторять, — да только где же для них трибуна? Культура посттоталитарной поры стала учить совершенно иному «счастью», основанно-

² Какой-то англичанин Ходсон из Британской миссии фигурирует в делах Тимиревой аж с 1925 года. Представляю, как бы он изумился, узнав, что его имя склоняют в советском провинциальном застенке в... 1950 году!

³ «Имена на обелиске „Мемориала“». Изд-во «Рыбинское подворье». 1995, стр. 197.

му на цинизме с прихватом, тем самым дезориентируя миллионы экссоветских людей, и без того глубоко несчастных.)

Жаль, конечно, что не оставила Анна Васильевна развернутых воспоминаний об адмирале. Но думается, что не по «недисциплинированности» («не собралась»), не по осторожности (в 60-е годы в стол можно было работать), а по — боли: писать о том было сверх сил человеческих. Да, может быть, именно в данном случае мемуары как таковые были бы бестактностью: существует невыразимое; мученический конец адмирала «опечатывает уста» самого близкого ему человека. Достаточно того, что сообщала она в своих заявлениях о реабилитации:

«Я была арестована в поезде адмирала Колчака и вместе с ним. Мне было тогда 26 лет, я любила его, и была с ним близка, и не могла оставить этого человека в последние дни его жизни. Вот, в сущности, и все».

Оставшееся от книги эмоциональное впечатление таково, что только рецензентское педантство вынуждает упомянуть отдельные ляпы. Сборник «Минувшее» выходил в Париже в издательстве «Atheneum», а отнюдь не в функционирующем в Штатах «Ардисе». Переименование альманаха «Память» в «Минувшее» в 1985 году никак не связано, разумеется, с обществом «Память», а просто обусловлено переименованием издательства из-за эмигрантских разборок. Хронология публикуемых стихотворений Тимиревой нарушена неоднократно, хотя в предисловии сказано, что только единожды. Примечания перегружены излишними порою подробностями.

И еще одна — более досадная — оплошность. В Рыбинске у Анны Васильевны был верный друг — сотрудница краеведческого музея Нина Владимировна Иванова. «Я не знала человека, — писала о ней Тимирева в 1954 году, — более естественного в своем благородстве... Вот уж действительно праведник, без которого и мир не стоит». В указателе же имен напротив фамилии Нины Владимировны — страничный отсыл к справке на арест Анны Васильевны в Москве в 1935 году, в которой цитируется донос некой Ивановой (без инициалов), «члена ВКП(б) с 1926 г.». Надо ли говорить, что рыбинская Нина Владимировна к этой доносчице никакого отношения не имеет? Вот в таких вещах ошибки неизвинительны.

В «Перечне имен», приложенном к очерку И. К. Сафонова, Н. В. Иванова не упомянута вообще. Илья Кириллович объяснил мне это тем, что даты жизни ее ему неизвестны. По моей просьбе рыбинский журналист Н. Е. Куприянова (приношу ей за это свою благодарность) сделала запрос в городское УВД, так что, надеюсь, о Н. В. Ивановой что-нибудь удастся узнать...

А то ведь у нас как получается: подонки «живее всех живых», а люди благородные словно из ниоткуда пришли — в никуда уходят. Помню, как резанул меня девиз эмигрантского антикоммунистического Народно-Трудового Союза: «Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!» Да почему же одно за счет другого? Убежден, что при таком отношении к памяти соратников никогда Россия не «возвеличится».

...И, наконец, хочется пожелать успеха крепнущему издательству «Русский путь», благодаря которому осуществилась заглохшая было инициатива издания этой книги; пожелать продуманной — в наше хаотичное время — издательской концепции и средств для планомерной реализации оной.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

МАРИЯ ЮДИНА. Из воспоминаний. — «Музыкальная жизнь», 1996, № 7-8.

«ТВОРЧЕСКИЕ ПУТИ ТЕСНЕЙШИМ ОБРАЗОМ ПЕРЕПЛЕТЕНЫ С ПРАВСТВЕННЫМИ...». Письма М. В. Юдиной Р. В. Матсову. — «Знамя», 1996, № 9.

И. С. БАХ. Ария с различными вариациями («Гольдберг-вариации») для кла-

вира с пометками Марии Юдиной. М. «Композитор». 1996. 80 стр.

М. В. ЮДИНА. Фрагмент воспоминаний. «Невельский сборник». Вып. 1. СПб. «Акрополь». 1996.

Воспоминания и статьи пианистки Марии Вениаминовны Юдиной изданы уже почти полностью и широко разошлись; однако драгоценны любые их

новые фрагменты, появляющиеся в печати и радующие читателя (и такого, какой далек от музыкальных дел) всем тем, что было присуще этой уникальной личности в искусстве XX столетия. «Она обеими ногами прочно стояла на почве искусства. Но в своем искусстве ей было слишком тесно. Ее тянуло за пределы музыки. Она чувствовала потребность проникать во все новые и новые сферы культуры и в этом, как и во всем другом, была неистова... После музыки она больше всего чувствовала себя дома в поэзии. Она знала наизусть Пушкина, Гёте, Рильке, Хлебникова, Пастернака, Заболоцкого и постоянно их цитировала...» (М. В. Алпатов).

О поэзии сама Мария Вениаминовна говорила как о своей «второй натуре», «неутоленной страсти», а «служение поэзии» считала чуть ли не главным своим призванием. В чем же практически это стремление выразилось? В создании ею с помощью замечательных наших поэтов и переводчиков русских текстов к шедеврам мировой вокальной литературы. Сама делала подстрочки для поэтов, не знавших в совершенстве языка (Н. А. Заболоцкий), и была редактором. Это дело ее жизни еще мало оценено и специалистами, и издателями, и, как ни странно, самими певцами (кроме разве превосходного баритона Юрия Федорищева, из года в год поющего на разных сценах русские «юдинские» тексты Франца Шуберта). «Я не считаю, что обязательно надо петь в подлинниках, — пишет сама Мария Вениаминовна. — Пламенно любя и боготворя русскую поэзию всех веков (включая нетленную красоту церковнославянских песнопений), я хочу слышать у Шуберта, Брамса, Малера, а также у Иоганна Себастьяна Баха *Русское Слово...* Ведь читаем (и играем на сцене) мы Шекспира в переводах Пастернака, Лозинского и так далее. *Этот русский текст и дает вокальной литературе ее зримую, осязаемую, слышимую Всемирность и Вечность*». Русские тексты к западной вокальной лирике в переводах Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, С. Маршак, А. Кочеткова и других ныне и существуют благодаря Юдиной. Их много, они плятятся в архивах, и лишь небольшое их число парадоксально, «без всякой музыки», стало частью сокровищницы русской переводной поэзии, найдя свое место в разных антологиях и сборниках.

Шуберт, Брамс, Бах¹ породили немало русских поэтических шедевров... А к текстам песен Густава Малера и его же симфонии-кантаты «Песнь о Земле» она только приступила, но не успела их подготовить. (С этими произведениями Мария Вениаминовна встретила как бы вторично, после большого перерыва, благодаря дружбе с композитором А. Л. Локшиным, знатоком и последователем Малера; с Локшиным дома она играла симфонии Малера в четыре руки, а некоторые сочинения самого Локшина признавала подлинно гениальными, например тайно написанный тогда «Реквием», впервые исполненный много позднее ее кончины.)

Те, кто уже оценили стиль Юдиной-мемуаристки или ее эпистолярный стиль, думается, без волнения не смогут читать фрагмент, опубликованный в журнале «Музыкальная жизнь». Подлинное его название, как оно начертано крупно самим автором на первой странице рукописи, гласит: «Об истории возникновения русского текста (перевода) «Жизни Марии» Райнера Мария Рильке, сделанного поэтом Всеволодом Алксандровичем» Рождественским — воспоминания, отрывки» (ОР РГБ, ф. 527, к. 4, ед. хр. 5, л. 1). Речь здесь опять идет о поэзии и о сотворчестве с теми, кого Мария Вениаминовна вплотную знакомила с шедеврами мировой музыки. Если раньше речь шла о Шуберте (о сотрудничестве с некоторыми поэтами Мария Вениаминовна написала в воспоминаниях «Создание сборника песен Шуберта», опубликованных в книге «Мария Вениаминовна Юдина», М., 1978), то теперь — о нашем современнике Пауле Хиндемите и его цикле «Житие Марии» на слова Рильке, исполненном по-русски в те годы, о которых вспоминает Юдина (20-е). Один из друзей

¹ Русские тексты кантат И. С. Баха (примерно десяти их) и арий из «Страстей по Иоанну» создавались в сотрудничестве с Евгенией Николаевной Бируковой (1899 — 1986), кстати тоже переводившей Шекспира; ее «в песнях Шуберта» Юдина называла «моей основной переводчицей» (в одном из писем к М. М. Бахтину), хотя так и не смогла издать ни одного ее перевода, и лишь немногие были спеты на вечерах Шуберта в 40 — 50-е годы. Над Бахом они работали в конце 40-х — начале 50-х, в очередной для Юдиной творческую паузу, последовавшую для нее, как и для многих музыкантов, по-

сказал Юдиной, что она пишет «акафисты» в память дорогих ей людей; сама же она скромно называла этот свой жанр портретом или новеллой, и все же согласился: написанное о поэте Рождественском, как и — в пусть меньшем объеме — о М. Г. Климове, гениальном ленинградском хормейстере, о М. А. Матвееве, авторе романсов, исполнявшихся по почину М. В. Юдиной, о других строителях русской культуры трудных советских лет, похоже именно на акафисты, в которых честь, воздаваемая той или иной личности, перерастает в славословие Культуре, Поэзии, Слову-Логосу. Не удержусь, чтобы не процитировать комментарий Марии Вениаминовны к одному из переводов — правда, не Рильке, а Гёте — баллады, построенной строфически в двух разных размерах: «Сопереживание этой адекватности (музыки и русского текста перевода. — А. К.), развертывание сюжета с его, скажем прямо, нравственным дерзанием на границе уже немыслимого, единая обобщающая формула в обоих размерах, дающая как зримую картину «смерти и просветления», гибели в огне и воскресения, так и демонстрацию Всепрощения чрез Любовь (тему также и «Фауста»), открывает исполнителям — певице и пианисту, а также слушателям — творческую радость и свободу, уже выходящую за пределы искусства, вернее, — за пределы чисто эстетических границ такового, — в мир истинных воплощений Слова».

Поразительно, что воспоминания эти, в сущности-то, говорят об обыденном: встречи и чаепития с поэтами, редактирование их текстов, неустройство и музыканта, и писателей, разные другие житейские обстоятельства... — и все это, весь «груз жизни», не затмевает духовной силы юдинского слова. Мария Ве-

ниаминовна, всегда страдавшая за других («почерпнем мужество из сострадания... растворимся в людях» — ее слова), страдала и сама, скрывая это. Но часто не могла скрыть, выдавая себя буквально «стенаниями», хотя бы в виде любимой цитаты из Гёте (в ее переводе и с ее подчеркиванием): «кто в слезах *свой хлеб* не ел...» (Зная памятьливость Юдиной — а ведь в этом фрагменте она написала о событиях сорокалетней давности, не забыв даже невыплаченного своего «долга» за перевод Рильке Всеволоду Александровичу, — с сожалением заметим, что в пухлой книге «О Всеволоде Рождественском. Воспоминания. Письма. Документы» (Л., 1986) не нашлось места для упоминания о его творческом сотрудничестве с Юдиной, хотя факт этот был известен и сам В. А. Рождественский рассказывал о нем автору этих строк в начале 70-х годов.)

Острота памяти, но не без доли субъективности, сказала в комментарии М. Р. Матсова к письмам М. В. Юдиной, опубликованным журналом «Знамя». Письма опальной пианистки к эстонскому дирижеру Роману Матсову, всегда находившемуся под угрозой собственной опалы и бесстрашно приглашавшему Юдину для совместных выступлений, как и Юдина, подвергавшемуся давлению разного рода цензуры, одинаково «вмешивавшейся», «фильтровывавшей», «запрещавшей», «резавшей», «сокращавшей», что в Таллине, что в Москве, — зеркало культурной жизни 50 — 60-х годов. С каким трудом оба они, и дирижер и пианистка, пробивали исполнение произведения, которое властям казалось то излишне «авангардным», то откровенно «религиозным», то... Через тернии оба больших артиста шли к своим достижениям, к первым исполнениям в СССР тогда запретных сочинений Стравинского, Мессиана, Хиндемита, Шёнберга. Борьба за право исполнить новое произведение западной или советской (например, А. Волконского) музыки превращалась в битву за достоинство музыканта. И они ее выиграла, подавая пример мужества собратьям по ремеслу.

Комментарий М. Матсова изобилует его собственными красочными воспоминаниями и дополняющими юдинские письма документами. Но, невольное сравнивая текст собственно писем с

сле печально памятного постановления ЦК партии 1948 года об опере «Великая дружба». Направленное против «композиторов-формалистов», оно аукнулось и исполнителям, в выборе программ придерживавшихся личного вкуса. Юдину ударили по рукам рецензией под красноречивым названием «Когда слушатель уходит равнодушным...», опубликованной в «Вечернем Ленинграде» 20 марта 1948 года (подписано: С. Х.). И это сказано о Юдиной, которая как исполнитель никого не оставляла равнодушным — ни друзей, ни врагов!

текстом комментария, в какой-то момент вдруг чувствуешь, что последний начинает заслонять самое фигуру Юдиной, события отодвигают личность. Все дело, видимо, в том, что тип художника, каким была Мария Вениаминовна, во многом выходил за рамки эпохи (как и в случае с гениальными поэтами — Пастернаком, Мандельштамом, Ахматовой, Заболоцким), и тут одного социального прочтения всегда бывает недостаточно, тем более социально-политического. Духовное — а это было главным в Юдиной, музыканте и человеке, — комментатором оказалось отчасти затушевано.

В этой безусловно ценной публикации есть изъяны, относящиеся к правильности прочтения юдинских автографов (около десяти искажений); но более всего смутила произвольность истолкования комментатором некоторых событий, прежде всего эпизод мнимого посещения Н. С. Хрущевым и премьер-министром Великобритании Г. Макмилланом квартиры Пастернака в дни его травли после публикации на Западе «Доктора Живаго». Было совсем другое: Пастернак «по рекомендации» МГБ был вынужден выехать из Москвы, и даже не в Переделкино, а в... Грузию, — факт известный. Ссылка на Юдину, на ее рассказ об этом, и вовсе не убедительна, Юдина тогда просто «не отходила» от поэта, оберегая его, и все о нем ей было доподлинно известно. Трагедия, разыгравшаяся вокруг романа и его творца, не нуждается в современных дополнениях в манере «театра абсурда», да еще с оттенком комизма².

Оригинальную серию задумало московское издательское объединение «Композитор»: «Библиотеку современного пианиста» — издание пьес для фортепиано с пометами их выдающихся исполнителей. Ученица М. В. Юдиной Марина Дроздова предоставила издательству экземпляр нот знаменитых «Гольдберг-вариаций» И. С. Баха с маргиналиями педагога, снабдив их своими комментариями. Издание в высшей степени примечательное, потому что дает

представление о направлении музыкальной мысли пианистки, открывшей это творение Баха уже на пороге смерти. М. В. Юдина однажды предприняла разгадку христианской символики «Хорошо темперированного клавира» Баха и экспромтов Шуберта, эти ее расшифровки более или менее известны, и вот теперь — расшифровка «Гольдберг-вариаций». (Скажем к слову, что и комментарий Марии Вениаминовны к циклу Мусоргского «Картинки с выставки», хорошо ныне известной по неоднократным публикациям, является также не чем иным, как расшифровкой христианской, православной символики пьес этого цикла — что слышно и в записи на пластинке, особенно в заключительной пьесе «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве».)

Знакомясь с пометами М. В. Юдиной (и с удачным дополнением — примечаниями М. А. Дроздовой), убеждаешься, что религиозные прозрения Юдиной совпали с духовными импульсами Баха, демонстрируя внутреннее родство разных конфессий. Нотному тексту Баха Юдина нашла те самые эквиваленты, вводящие «в мир истинных воплощений», о которых мечтала, работая с переводчиками. Находки Юдиной конгениальны замыслу композитора, хотя, быть может, Бах и не помышлял о точно таком комментарии. От первоначальной темы, понятой Юдиной как 83-й псалом Давида «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил!» и вводящей в беспредельный космос божественного Творения, до последней (30-й) вариации, толкуемой как кондак Богородице «Взбранной Воеводе...» и вновь повторенной в финале Арии, весь этот музыкальный текст, озаренный юдинской мыслью, предстает как принадлежащее Вечности славословие Творцу.

М. А. Дроздова называет юдинский маргиналий «философским прочтением». Но это и образное, «сюжетное» прочтение, аналогичное тому, как читалась бы икона: «умозрение в звуках» (перефразируем Е. Н. Трубецкого). Для Юдиной, как и для П. А. Флоренского, так сильно повлиявшего на нее за годы их дружбы, не было строгого разделения на образ и идею; и то и другое сливалось в нераздельности Символа... Упомянутые выше «Картинки с выставки» и были прочитаны Юдиной впервые в таком именно духе до того, как

² Ранее этот вымышленный эпизод попал в публикацию: Матсов Марк. Первые мемуары. (М. В. Юдина). — «Грани», 1991, № 162, стр. 185 — 186.

она стала размышлять над «Гольдберговариациями». А еще раньше Юдина познакомилась с неизвестным тогда у нас циклом О. Мессиана «Двадцать взглядов на Младенца Иисуса», где каждой пьесе предпослано название, порой развернутое, указывающее на сюжет, — и исполнила четыре пьесы этого цикла. Думаю, впечатление от Мессиана также повлияло на ее трактовку вариаций Баха³.

Обращу внимание на одну новинку, оперегающую домыслы о неременном «провинциализме» так называемых провинциальных изданий, — на «Невельский сборник». Его первый выпуск посвящен столетию со дня рождения М. М. Бахтина, в него вошли материалы «Бахтинских чтений» 1995 года. Ответственный редактор «Невельского сборника», директор Музея истории Невеля Л. М. Максимовская выпустила образцовое иллюстрированное издание. Отметим присутствие в нем юдинских материалов (М. В. Юдина — уроженка Невеля, М. М. Бахтин жил в Невеле некоторое время, здесь с ней и познакомился). «Фрагмент жизни» — юдинский мемуарный текст, озаренный тем же светом доброты и сострадания... к кому? К Осипу Манделштаму, к Надежде Манделштам, к тому же М. М. Бахтину, к Павлу Корину.

Здесь же о самой Юдиной вспоминают Ю. М. Каган, дочь выдающегося и все еще неизвестного у нас философа, друга Бахтина М. И. Кагана (им обоим в Невеле в 1995 году была установлена мемориальная доска — об этом событии сообщается в сборнике), а также Э. Л. Линецкая, пожалуй, лучшая переводчица «Мыслей» Паскаля (перевод недавно издан), подолгу бывавшая в Невеле и помнившая Юдину. Встречается имя Юдиной и в заметках из газеты «Молот» за 1918 — 1920 годы, подборку которых приводит Л. М. Максимовская. А как привлекательна факсимильно воспроизведенная на наклейке

газета «День искусства» от 13 сентября 1919 года, в которой мы найдем статьи участников ныне всемирно известного философского Невельского кружка и среди них основополагающую статью М. М. Бахтина «Искусство и ответственность», мимо которой не прошла и Мария Вениаминовна, с той поры ставшая пожизненным другом супругов Бахтиных.

Имя пианистки, а еще мыслителя и писательницы М. В. Юдиной приобретает в глазах нового поколения, не знавшего ее при жизни, свой истинный масштаб. Свидетельство этому — не только публикации редких и малоизвестных ее текстов (хотя писем опубликовано пока немного), но и такие события, как первая полномасштабная выставка «Мир Марии Юдиной» и двухдневная научная конференция «Музыка и религия. (Памяти М. В. Юдиной)», проходившие в феврале этого года в Государственном центральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки.

Анатолий КУЗНЕЦОВ.

*

СЕРГЕЙ ДЕНИСЕНКО. Эротические рисунки Пушкина. М. «Независимая газета». 1997. 168 стр.

Изыщная книжка с автопортретом Пушкина на суперобложке обещает новооткрытую и захватывающую тему: «Эротические рисунки Пушкина». Но увы! пролистав ее, укрепляешься во мнении: нет такой темы, потому что нет таких рисунков у Пушкина. В глубине души это понимает и автор, Сергей Денисенко: «Возможно, кого-то эта книга разочарует: рисунки Пушкина более пристойны, чем можно было бы ожидать». Почему от Пушкина непременно надо ожидать непристойностей — не вполне понятно, как и непонятно, почему «пристойность» разочаровывает и нуждается в оправдании. Сергей Денисенко находит такое ей объяснение: все действительно непристойное было затеряно или сознательно уничтожено самим Пушкиным и его друзьями. Объяснение не очень убедительное — ну да ладно, удовольствуемся тем, что сохранилось, и посмотрим на предложенные рисунки спокойно и по

³ В весьма содержательной статье М. А. Дроздовой удивляет отсутствие источников к цитатам и тем или иным сведениям, почерпнутым у других исследователей, явно не анонимных. Ведь за каждой атрибутированной цитатой, даже раскавыченной, таится, как правило, труд другого исследователя, а то и первооткрывателя, ничем, пожалуй, сегодня не вознаграждаемый, кроме как участливым вниманием коллеги.

возможности непредвзято. Многочисленные женские ножки (в туфельке, в стремени и проч.), карикатура на Дегильи, влюбленный бес, ведьма на помеле, фигура Татьяны, женская фигура в виде виолончели, автопортрет в монашеском клобуке с бесом, женские головки и танцующие бесы — и все в таком роде. Есть, правда, и обнаженные фигуры, например: «обнаженный мужчина в позе Геракла» (как сказано в аннотации), «разрывающий волосы на голове некоего лица» (как сказано в предисловии). Судите сами, насколько сюжет эротичен. Единственное «фаллическое изображение», которое автору, при всех его стараниях, удалось разыскать у Пушкина, — это рисунок «конь с фаллосом» в рабочей тетради 838. Честно говоря, если б не подсказка, я б ни за что не догадалась: рисунки в книге напечатаны столь странным типографским способом, что не все разглядишь и поймешь. Но поверим Сергею Денисенко, он несомненно обладает особым зрением, которого многие лишены. Поверим, поздравим его с пушкиноведческим открытием и все же возразим: фаллос присущ коню не меньше, чем ухо или хвост, а брюк конь не носит, так что это рисунок скорее реалистический, чем эротический. Да только книга «Реалистические рисунки Пушкина» вряд ли могла бы рассчитывать на такой читательский успех, какой безусловно обеспечен теперь Сергею Денисенко...

При отсутствии предмета приходится его выдумывать. И тут оказывается, что на известной «картинке для Онегина», изображающей автора и героя романа на фоне Петропавловской крепости, Пушкин придает шпилью Петропавловского собора «фаллическую форму», а в «Осени» описывает творческий процесс как сексуальный акт. Пистолеты в рисунках Пушкина замещают понятно что, а коты как-то таинственно связаны с разного рода отклонениями. Но настоящую сенсацию представляет новое

прочтение стихотворения «Свободы сеятель пустынный...» в эротическом контексте (пересказывать не стану, смотрите сами на стр. 56). Эти научные наблюдения и выводы оснащены ссылками на рукописи Пушкина, на специальную литературу, на Большое академическое собрание сочинений поэта, из которого выбраны буквально все тексты, представляющие интерес в свете означенной темы. И цитируются они не кое-как, а с восстановлением по рукописям всех пропущенных слов. Так что сочинение С. В. Денисенко (вышедшее, кстати, в серии «Литературоведение» издательства «Независимая газета») по всем статьям тянет на диссертацию, и если его автор еще не обременен ученой степенью, то безусловно достоин ее.

Но о чем же все-таки написана эта книжка? «О времени и о себе». Пушкин, как известно, всегда наш современник, и в трудные годы сексуальной революции он тоже, как видите, с нами — откликается на запросы времени и на личные проблемы каждого. Однако не будем излишне суровы к молодому (явно молодому) литератору. Вспоминается мне, как в середине 70-х в домашнем дружеском кругу обсуждалось новое тогда издание Пушкина, награжденное убийственной рецензией под названием «Фахчисарайский бонтан» — за большое количество опечаток. Один мой знакомый, не слишком искушенный в эдиционных проблемах, слушая литературоведческие споры, скромно возразил: «А мне нравится... Тексты хорошие». Так вот и о книге Сергея Денисенко скажем то же: тексты Пушкина в ней — хорошие (хотя отобраны далеко не лучшие), рисунки — тоже хорошие, и специфический комментарий мало им вредит. Некоторые рисунки воспроизведены, кажется, впервые. А потому поблагодарим автора за проделанную работу и пожелаем ему и впредь так же бодро шагать в ногу со временем.

Ирина СУРАТ.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

DRUGAYA ZHIZN

1

ПОРТФЕЛЬ. Литературный сборник. Редактор-составитель Александр Сумеркин. «Ardis». 1996. 418 стр.

Издай Альманах.

А. С. Пушкин.

Итак. Не скажу — самое лучшее, но — *интересное*. «Последняя семиотика. Главы из несуществующей книги» Манука Жажояна (Париж) — эссеистические, местами остроумные размышления и наблюдения в связи с понятиями «Сплетня», «Ложь», «Фразеология», «Телефонофобия». Художники-«соцартовцы» Виталий Комар и Александр Меламид в эссе «Нам кажется, что мы это помним» рассуждают (убедительно стилизуясь под Вайля и Гениса) о советских монументах. Любопытна переписка художников с комиссией Госдумы о возможности установки на Мавзолее электронной «бегущей строки». Неожиданны стихотворные «Письма к Виктору Голышеву» (1971, 1974, 1977) Иосифа Бродского.

Я думаю, я первый из
письменников российских, столько
в Америке проживших. «Стой-ка, —
ты скажешь, — а Набоков?» Please,
не говорите мне о нем,
литературном василиске.
Он сочиняет по-английски.
Про писки и про ход конем.

Писано еще при жизни Набокова. Частота употребления поэтом ненормативной лексики в этих посланиях превышает его же среднестатистическую и достигает уровня рассказов Лимонова (см. ниже). Неплох отдел рецензий «Заметки о книгах», в котором очень хорош критический разбор Татьяной Толстой известного бестселлера Э. Радзинского о Николае II «The Last Tsar» и подписей в фотоальбоме «Prince Michael of Greece. Nicholas and Alexandra. Family albums» (1992).

Неинтересное. По-моему, это эссе той же Татьяны Толстой «Русские?», написанное в 1993 году по заказу английской газеты «Гардиан», обратившейся к «известным представителям разных национальных культур с просьбой вкратце их охарактеризовать». Цитата: «Если бы мне пообещали, что я всю жизнь буду жить только в России и общаться только с русскими, я бы, наверное, повесилась...» Прямо скажем, конкретные разборы (см. выше) ей удаются куда лучше. Но я ее понимаю: есть предложения, от которых очень трудно отказаться. Опять же лестно: «известный представитель русской культуры», это как прежняя номенклатура — однажды впишут, небось уже не вычеркнут. Кстати, у нас в Москве заниматься такой сокрушительной национальной самокритикой становится понемногу моветоном.

Странное. Авторы и составитель посвящают этот сборник памяти Юрия Кашкарова (1940 — 1994), прозаика, многолетнего редактора «Нового журнала». Кашкаров присутствует в посвященном ему сборнике только текстом «Остатки старой Москвы» с пометкой *dubia*, то есть текстом, *возможно*, ему принадлежащим. Эта машинопись была найдена в бумагах покойного, без подписи, но с его правкой. Неужели не нашлось человека, который мог бы дать в сборник короткий мемуар, эссе о творчестве Кашкарова?

Остальное. Рассказы Нины Берберовой из цикла «Биянкурские праздники» с предисловием автора. Они писались между 1928 и 1940 годами для парижской га-

зеты «Последние новости». Стихи из книги И. Бродского «Пейзаж с наводнением» и его эссе «Трофейное» (в переводе с английского А. Сумеркина, с обширной авторской правкой). Стихи Ирины Машинской. С выразительными, накрепко запоминающимися строчками: «Была бы из Заира — / Не звали б меня Ира». Не поспоришь. Три рассказа и стихи Марины Георгадзе. Проза и поэзия Генриха Сапгира. Стихи разных лет Сергея Петруниса. «Сонет венок» Александра А. Пушкина. Рассказ «Иртыш» Константина Плешакова. Стихи из книги «Самсонов день» Николая Сарафанникова. Два рассказа Эдуарда Лимонова — «Дешевка никогда не станет прачкой» и «Первый панк». Стихи из книги «Другая жизнь» Александра Шаталова. Стихи Марии Голованивской. Повесть Ирины Муравьевой «Филимон и Бавкида». Сказка Татьяны Хазовой «Исповедь паука». Стихи из наследия Теренти Гранели в переводе с грузинского Марины Георгадзе. Две главы из книги Александра Познанского «Жизнь и смерть П. И. Чайковского» — о детстве композитора и пребывании его в стенах Училища правоведения, подробно освещаются его детские переживания и гомосексуальная атмосфера училища. Статья Гасана Гусейнова «Язык политики и публицистики в первый постсоветский год России». Рецензия Ирины Машинской на русско-американскую поэтическую антологию «Новые свободы» («The New Freedoms. Contemporary Russian and American Poetry»). 1994). Рецензия А. Сумеркина «Из-под домашнего ареста» — на двухтомник покойного Евгения Харитонов (1941 — 1981) «Слезы на цветах» (М. «Глагол», 1993).

И вот что загадочно... Зачем все это издано в Америке? Словно нельзя было издать то же у нас. Собственно, и издается. Повесть Ирины Муравьевой напечатана в «Дружбе народов» (1996, № 3); и вся-то разница, что в «Ардисе» Филимона пишут через И, а в Москве — через Е. Рассказ Э. Лимонова «Первый панк» — в «Юности» (1996, № 5), правда со множеством уточний. «Трофейное» Бродского мы раньше прочли и в «Иностранной литературе» (1996, № 1), и в четвертом томе его собрания сочинений. Его стихи из книги «Пейзаж с наводнением» печатались в «Новом мире» (1996, № 5). Зачем все это нужно «Ардису»? Зачем это нужно авторам? Будто мало печатаются в России Генрих Сапгир или Гасан Гусейнов? С другой стороны — отчего не издать(ся)? Хорошая бумага, хорошая печать. Может быть, и деньги платят. Американские баксы. До изумления — как в новорусском анекдоте — похожие на те, что ходят у нас на родине.

2

АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ. Другая жизнь. Стихотворения. Houston. Glagol Publishing House. 1996. 130 стр.

Автор — персонаж вполне российский. Разговор о нем в рубрике «Русская книга за рубежом» определен одним только словом *Хьюстон* в выходных данных его четвертой поэтической книги, обстоятельством не принципиальным. Александра Шаталова многие знают в лицо. Он долго вел телепрограмму о книгах «Графومان» («Российские университеты»), неумоимо напоминая зрителям, что графومان — это не ругательство, а... не помню, что именно. Потом он вел программу «Книжные новости» (НТВ) и, как и прежде, метал чужие книжки в мусорную корзину. Кто видел, не забудет. Книга Александра Шаталова «Другая жизнь» (мне больше нравится, как в выходных данных — «Drugaya zhizn») выстроена в обратном хронологическом порядке. От новых стихов — к ранним, из сборников «В прошлом времени» (1991) и «Прямая речь» (1985). Некоторые из новых стихов печатались в «Новом мире». Некоторые — в альманахе «Портфель» (см. выше). Правда, в «Новом мире» они блистали всеми положенными знаками препинания и прописными буквами, а в книге предстали совсем без оных, что выглядит не очень убедительно, но вольному воля. У Александра Шаталова много самоценных и легко запоминающихся строк и строф (помещенных зачастую в необязательный контекст). Скажем, такая: «к смерти ты тоже научишься жить». Или такая: «если стихов не писать то чего еще надо от греции». Или: «это страна как на вишне случайная завязь / нежно набухшая как у мужчины сосок». Полностью отделанных, совершенных в своем роде стихотворений, без внутренних провисаний и пустот у

него не так много, как хотелось бы, но они есть. Надо сказать, что стихи Шаталова можно и даже интересно читать, иногда поверх и мимо их поэтического качества. Читать как прозу, даже как «нон-фикшн». Тем более, что дар изобразительности, описания материального мира (будь то приметы советского детства или американский автобус с низкорослыми мексиканцами) у Шаталова несомненен. А можно читать как неожиданную интимную исповедь случайного попутчика. Это «откровенные тексты», круг тем которых, как торжественно записано на четвертой странице строгой черной обложки, обусловлен «анализом собственных сексуальных ощущений и переживаний». Но меня сильно выраженная в книге гомозротическая тема в данном случае интересует не как часть биографии автора, а как художественный прием, работающий на пресловутое «остранение». Как эффективный способ преодоления поэтической банальности. Цитата: «этот юноша лежащий / этот негасимый свет / нетускнеющий блестящий / металлический предмет / взгляд как будто безразличный / и задумчивый слегка / и присохший земляничный / листик около виска...» И далее: «это тонкое запястье / это хрупкое плечо / это призрачное счастье / недоступное еще». Представим, что это последнее четверостишие относится к девушке, оно от этого не станет менее изящным, и все же... Соотнесенное с юношей, оно приобретает не только новое содержание, но и вообще содержание. Что нам скажут такие фразы: «мне ненавистна больше эта страсть» или «безумная безудержная власть / любви твоей...»? Ничего не скажут. Потому что слова эти если не мертвы, то находятся в летаргической спячке. Их можно разбудить. Но для этого требуются сильнодействующие средства. «Мне *ненавистна* больше эта страсть / и судороги от совокуплений / безумная безудержная власть / любви твоей и семьявыделений». И это уже стихи — «о свойствах страсти», а также греха и смерти. «Путь этого лирика, — патетически утверждает в послесловии к книге Татьяна Бек, — серьезен и гибелен, он сопряжен с творческими потерями, причудами и приобретениями, он абсолютно подлинен и оплачен судьбою». Худшее, что, по-моему, может сделать такой автор, — это осесть на страницах всевозможных (гипотетических) антологий гомозротической поэзии и стать *ведомственным* стихотворцем. Что было бы с его стороны по меньшей мере недалёководно.

А. В.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Юз Алешковский. Еще один том. М. «ННН». 1996. 414 стр. 25 000 экз.

В том, дополняющий вышедший недавно трехтомник Алешковского, вошли повести «Карусель», «Тройка, семерка, туз...».

Дж. Апдайк. Бразилия. Роман. Перевод с английского А. Патрикеева. М. «ВАГРИУС». 1996. 304 стр. 15 000 экз.

Новый роман (1994) Апдайка — современные вариации (с бразильским акцентом) на тему Тристана и Изольды.

Оноре де Бальзак. Серафита. Перевод с французского Леонида Гуревича. М. «Энигма». 1996. 288 стр. 7000 экз.

«Серафиту», писавшуюся одновременно с «Философскими этюдами» и отнесенную впоследствии исследователями к жанру «мистического романа», Бальзак считал одним из своих лучших произведений. На русском языке публикуется впервые. Сопровождается статьей Л. Гуревича «Загадки Бальзака».

М. Безродный. Конец Цитаты. СПб. Издательство Ивана Лимбаха. 1996. 128 стр. 3000 экз.

Бродский о Цветаевой. М. «Независимая газета». 1997. 208 стр. 5000 экз.

Статьи Бродского «Поэт и проза», «Об одном стихотворении», «Примечание к комментарию»; диалог Бродского и Соломона Волкова «О Цветаевой». В Приложении — стихи Цветаевой «Новогоднее» и «Магдалине», Бориса Пастернака «Магдалина»; Р. М. Рильке «Пиета», «Элегия» (Марине Цветаевой-Эфрон), «Роза, противоречье чистое, страсть...». Вступительная статья И. Кудровой.

Монфокон де Виллар. Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках. Перевод с французского Юрия Стефанова. М. «Энигма». 1996. 176 стр. 5000 экз.

Знаменитая книга аббата Николая-Пьера-Анри Монфокона де Виллара (1635 — 1673), «тулузского вольнодумца в сутане», легендарная фигура и загадочная смерть которого до сих пор тревожат воображение писателей и исследователей. О творчестве и личности писателя — работа Юрия Стефанова «Монфокон де Виллар и его двойники».

И. В. Гёте. Тайны. Сказка. Рудольф Штайнер. О Гёте. М. «Энигма». 1996. 256 стр. 7000 экз.

В книгу вошли: не публиковавшаяся ранее авторская редакция перевода «Тайн» Б. Пастернака, новый перевод «Сказки» Н. Федоровой; неизвестные русскому читателю работы антропософа и гётеведа Рудольфа Штайнера «Духовный склад Гёте сквозь призму «Фауста» и сказки о змее и Лилии» (перевод А. Ярина), «„Тайны“. Рождественско-пасхальная поэма Гёте» (перевод А. Ярина).

Виталий Диксон. «Когда-нибудь монах...». Роман-газета. Иркутск. 1996. 316 стр. 2000 экз.

Художественная проза, написанная в жанре «роман-газеты», — вторая книга иркутского прозаика. «История для него — живая субстанция, непредсказуемая и незавершенная, творящаяся вот в эту минуту нами, читателями, — так же, как и мы творимы ею», — из предисловия Виталия Камышева.

Рене Домаль. Гора Аналог. Перевод с французского Татьяны Ворсановой. М. «Энигма». 1996. 176 стр.

Впервые на русском языке книга известного французского писателя Рене Домалья (1908 — 1944). Сопровождается вступительной статьей «Волшебная гора Рене Домалья» Ю. Стефанова и послесловием Веры Домаль.

Ф. М. Достоевский. Бесы. Роман в трех частях. «Бесы»: антология русской критики. Составление, подготовка текста, послесловие, комментарии Л. И. Сараскиной. М. «Согласие». 1996. 752 стр. 10 000 экз.

Кроме романа, в текст которого внедрена глава «У Тихона» (! — новация составителя), в издание вошли статьи о романе, среди авторов — Д. С. Мережковский, С. Н. Булгаков, Вяч. И. Иванов, Н. А. Бердяев, В. Ф. Переверзев, В. В. Виноградов, А. С. Долинин, Н. Л. Бродский, Б. П. Вышеславцев, Л. П. Гроссман, А. Л. Бем, С. И. Гессен, Ф. А. Степун.

Алексей Машевский. Признания. Сборник стихотворений. СПб. АО «Арсис». 1997. 64 стр.

Третья книга стихов петербургского поэта.

Жерар де Нерваль. История о царице Утра и о Сулеймане, повелителе духов. Перевод с французского Нины Хотинской. М. «Энигма». 1996. 244 стр. 7000 экз.

Впервые на русском языке повесть французского поэта-романтика Жерара де Нерваля (1808 — 1855). Сопровождается статьей Ю. Стефанова «Сыны огня, дети вдовы».

Новалис. Гимны к ночи. Перевод с немецкого Владимира Микушевича. М. «Энигма». 1996. 192 стр. 7000 экз.

В книгу вошли: «Гимны к ночи», философская проза «Ученики в Саисе», «Стихотворения» («Духовные песни» и «Стихи разных лет»), эссе «Христианство и Европа» (фрагмент); вступительная статья В. Микушевича «Тайнопись Новалиса».

Шарль Нодье. Фея хлебных крошек. Перевод с французского, предисловие и примечания Веры Мильчиной. М. «Энигма». 1996. 384 стр. 5000 экз.

Впервые на русском языке повесть французского писателя-романтика Шарля Нодье (1780 — 1844). Вступительная статья «О Шарле Нодье и его героях» В. Мильчиной.

Александр Рогов. Игрушка. Тексты. Рязань. Профлитиздат. 1996. 192 стр. 2000 экз.

Вторая книга поэта, на этот раз прозаическая, — тексты, написанные в «маргинальных» жанрах (служебная записка, анекдот, дневниковая запись, пересказ и т. д.).

В. В. Розанов. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. Общая редакция А. Н. Николюкина. М. «Республика». 1996. 702 стр. 10 100 экз.

Современная американская поэзия в русских переводах. Составители А. Драгомощенко, В. Месяц. Екатеринбург. Уральское отделение РАН. 1996. 306 стр.

Стихи двадцати одного из наиболее известных в XX веке американских поэтов — в переводах Аркадия Драгомощенко, Александра Калужского, Михаила Хазина, Руслана Миронова, Вадима Месяца, Нины Искренко, Александра Скидана и других.

А. К. Толстой. Против течения. Композиция, подготовка текстов В. Кабанова. М. «Книжная палата». 1997. 480 стр. 5000 экз.

Д. Хармс. Полное собрание сочинений. Вступительная статья, подготовка текста, примечания В. Н. Сажина. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проект». 1997. 5000 экз.

Том 1. Стихотворения. 440 стр.

Том 2. Проза и сценки. Драматургические произведения. 504 стр.

Владислав Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. Составители С. Сильванович, М. Шатин. М. «СС». 1996. 462 стр.

Олег Хлебников. На краю века. Стихи и повести в стихах. 1990 — 1996. Ижевск. «Удмуртия». 1996. 120 стр.

Маргерит Юрсенар. Восточные новеллы. Перевод с французского Валентины Жуковой. М. «Энигма». 1996. 160 стр. 5000 экз.

«Восточные новеллы» (1938) французской писательницы, обладательницы титула «бессмертного» Французской академии Маргерит Юрсенар (Крейянкур; 1903 — 1987). Вступительная статья «Пространством и временем полная» Ю. Яхниной.



Загадки и тайны «Тихого Дона». Том 1. Итоги независимых исследований текста романа. 1974 — 1994. Под общей редакцией Г. Порфирьева. Самара. Р. S. «Пресс». 1996. 504 стр. 25 000 экз.

Своими «шолоховедческими» работами представлены: А. И. Солженицын, «Невырванная тайна», «По донскому разбору», отрывок из книги «Бодался телёнок с дубом» (глава 14. Пятое дополнение); И. Н. Медведева-Томашевская, «Стремя „Тихого Дона“»; Зеев Бар-Селла, «Тихий Дон» против Шолохова; Л. З. Аксенова (Сова), Е. В. Вертель, «О скандинавской версии авторства „Тихого Дона“»; А. Г. Макаров, С. Э. Макарова, «К истокам „Тихого Дона“».

К. Леонтьев. Восток, Россия и Славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза. 1872 — 1891. Общая редакция, составление, подготовка текстов, комментарии Г. Б. Кремнева. М. «Республика». 1996. 800 стр. 5000 экз.

М. Мамардашвили. Необходимость себя. Введение в философию. Доклады, статьи, философские заметки. Составление, общая редакция Ю. П. Сенокосова. М. «Лабиринт». 1996. 432 стр. 3000 экз.

В книгу вошли: курс лекций «Введение в философию», прочитанный в 1979 году; «Записи в ежедневнике» (1968 — 1970, начало и середина 80-х годов, 1989); работы «О сознании», «Классический и неклассический идеал рациональности», «О возможности метаописания сознания» и др.

Нюся Мильман. Читая Петрушевскую. Взгляд из-за океана. СПб. «Роспринт». 1997. 88 стр.

Исследование американской славистики. Названия глав: «„Женская проза“ и ее истоки», «Людмила Петрушевская. Творческий путь», «Поэтика прозы Л. Петрушевской», «Язык прозы Л. Петрушевской». Снабжена библиографическим указателем публикаций Петрушевской и посвященных ее творчеству работ.

Писатель и вождь. Переписка М. А. Шолохова с И. В. Сталиным. 1931 — 1950 годы. Сборник документов из личного архива И. В. Сталина. Составитель Ю. Мурин. М. «Раритет». 1997. 160 стр. 8000 экз.

Ракурсы. Сборник статей. Редактор-составитель Е. С. Сабашникова. М. Государственный институт искусствознания. 1996. 262 стр.

Сборник, посвященный проблемам современного театра, кино, телевидения, художественной фотографии. Среди работ, помещенных в сборнике, — «Вещь и человек в пространстве телерекламы» Е. Сальниковой, «Театр рок-н-ролла» И. Овчинникова, «Возвращение Андрея Кончаловского» А. Липкова, «Витас Луцкус: портрет на фоне» А. Вартанова.

С. М. Эйзенштейн. Мемуары. Составление, предисловие, комментарии Н. И. Клейман. М. Редакция газеты «Труд». Музей кино. 1997. 5000 экз.

Том 1. Wie sag' ich's meinem Kinde? 432 стр.

Том 2. Истинные пути изобретения. Профили. 544 стр.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



*«Арион», «Волга», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Завтра», «Звезда»,
«Иностранная литература», «Коммерсант-Daily», «Литературная газета»,
«Москва», «Московские новости», «Наш современник», «Нева»,
«Независимая газета», «Новая Европа», «Новое литературное обозрение»,
«Октябрь», «Первое сентября», «Пятый угол», «Российский обозреватель»,
«Русский еврей», «Studia Slavica Savariensia», «Труд»*

Игорь Авдиев. Клюква в сахаре. — «Новое литературное обозрение», № 21 (1996).

О еде и питье у Венедикта Ерофеева. Привлекаются не только всем известные тексты, но и его неопубликованная первая проза «Записки психопата» (1956 — 1957). Неосуществленный проект: «Календарь алкаша».

Анатолий Азольский. Женитьба по-балтийски. Морская лирическая повесть. — «Дружба народов», 1997, № 2.

Март 1953 года. Балтийский флот. Служба. Нравы. Любовь. Семья.

Белла Ахмадулина. Робкий путь к Набокову. — «Литературная газета», 1997, № 3, 22 января.

Большое (на весь газетный разворот) эссе, датированное декабрем 1996 года.

Белла Ахмадулина. Памяти Александра Григорьевича Тышлера. — «Арион». Журнал поэзии. Главный редактор Алексей Алехин. 1996, № 4.

Эссе состоит из двух главок: «Милый великий Тышлер» и «Дитя Тышлер».

Владимир Бондаренко. Синдром Виктора Ерофеева. — «Завтра». Газета Государства Российского. 1997, № 7.

«Он — умный. Он — блестящий критик...», но «его проза — мертвая проза». Среди прочего В. Бондаренко задает интересный вопрос: «Зачем он (Ерофеев. — А. В.) нам навязал самого себя?» О творчестве Виктора Ерофеева см. также рецензию Евгения Ермолина в «Новом мире» (1996, № 12).

Иосиф Бродский. Неизданное в России. — «Звезда», 1997, № 1.

Специальный тематический выпуск журнала «Звезда». Среди множества интересных материалов можно отметить речь И. Бродского в Шведской королевской академии при получении Нобелевской премии и его англоязычные эссе «Поклониться тени», «С миром державным я был лишь ребячески связан...», «Девяноста лет спустя», «Место не хуже любого», «Речь на стадионе», диалог Соломона Волкова с Бродским о творчестве Марины Цветаевой (сокращенный вариант, полностью — в сборнике «Бродский о Цветаевой» — М. Издательство «Независимая газета». 1997). В рубрике «Эпоха» впервые опубликована книга Лидии Чуковской «Памяти Фриды» (1966 — 1967) — о Ф. Вигдоровой. См. оперативный и недружелюбный отклик Виктора Топорова в «Независимой газете» (1997, № 19, 4 февраля). «Новый мир» также предполагает отрецензировать этот номер «Звезды».

Иосиф Бродский. Писатель в тюрьме. Перевод с английского Дмитрия Радышевского. — «Московские новости», 1997, № 4, 26 января — 2 февраля.

Предисловие к нью-йоркской антологии «Тюрьма, в которой я живу», составленной американским ПЕН-клубом из рассказов современных авторов разных стран. Цитата: «В попытке выволить писателя из тюрьмы, где останутся его компатриоты, иными словами, его читатели и персонажи, есть даже некий элемент нечестности. Это все равно что на переполненное судно, тонущее в море несправедливости, кинуть единственный спасательный жилет. С другой стороны, бросать этот жилет необходимо, поскольку лучше спасти хоть одну душу, чем ни одной...»

Иосиф Бродский. Письмо Горацию. Перевод с английского Елены Касаткиной. — «Иностранная литература», 1997, № 1.

Публикуемое эссе взято из последнего сборника эссе И. Бродского «On Grief and Reason», вышедшего в 1995 году в Нью-Йорке.

Анатолий Гаврилов. Рассказы. — «Волга», 1996, № 8-9.

«И восходит солнце», «Никуда не ходить», «Музыка», «Дорога» и другие очень короткие рассказы малопечатающегося современного прозаика. О его творчестве см. — Владимир Потапов, «Обочинные люди» («Новый мир», 1991, № 7).

Мария Головановская. Противоречие по сути (Contradictio in adjecto). Маленький роман. — «Октябрь», 1997, № 2.

Женщина. Перелет на самолете из Люксембурга в Москву. Журнальный вариант.

Нина Горланова. Всем пострадавшим от АО «МММ». — «Пятый угол». Литературно-критическое обозрение. Выпуск первый. Газ. «Вечерний Челябинск», 1996, 25 декабря.

Очень короткий рассказ Н. Горлановой на страницах «самой литературной газеты», запрятанной в глубь обыкновенной челябинской газеты. Как значится в выходных данных, идея, составление и авторство многих текстов принадлежит Дмитрию Бавильскому. Среди прочего во втором выпуске (21 января 1997 года) своего обозрения Бавильский печатает «хит-парад» толстых журналов, отмечая в качестве антиперсоны Алину Витухновскую: «...щедро распечатанная («Новый мир», № 5; «Октябрь», № 6) мученица и страдалница... мерзкое рифмоплетство, претенциозное и монструозное. Юношеские прыщики и поствознесенские гнойнички, выдаваемые за поэзию. О времена, о нравы!»

Священник Алексей Гостев. «Домашняя церковь» как трибуна раздоров. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. 1997, № 10.

Обзор религиозного раздела «Домашняя церковь» (редактируемого В. Н. Крупным) в журнале «Москва». Вывод о. А. Гостева: «Очень жаль, что такое хорошее начинание, как православная рубрика в «толстом» читаемом журнале, оказывается по преимуществу трибуной межконфессиональных раздоров, внутривославных разбирательств и реакционного политиканства под маской богословия».

Евгений Добренко. Соцреализм в поисках «исторического прошлого». — «Вопросы литературы», 1997, № 1.

Советский исторический роман. Советская историческая наука. Советский историк как разновидность советского писателя.

Виктор Драгунский. Конец мая. Рассказ. Предисловие Аллы Драгунской. — «Русский еврей». Литературно-общественный журнал. Приложение к «Международной еврейской газете». Выходит при содействии Российского Еврейского Конгресса. Главный редактор Яков Кумок. 1997, № 1.

Впервые и с некоторыми сокращениями публикуемый ранний рассказ В. Драгунского, датированный 1933 — 1943 годами, сопровождается краткими воспоминаниями Зиновия Гердта: «Он был свободен и начинен радостью». В этом же номере печатается фрагмент новой книги Семена Ласкина «Роман со странностями» — о судьбе художника Л. С. Гальперина (1886 — 1934).

А. К. Жолковский. Еда у Зошенко. — «Новое литературное обозрение», № 21 (1996).

По замыслу автора, эта работа о Зошенко является «беглым очерком его идиосинкратической картины мира, в рамках которой «еда», как показано, занимает одно из ключевых мест».

Вячеслав Иванов. Евреи и русские. Вступительная статья и публикация К. Ю. Лаппо-Данилевского. — «Новое литературное обозрение», № 21 (1996).

Текст наброска Вяч. Иванова, датированный 1888 — 1889 годами, публикуется по автографу, хранящемуся в РГБ. См. также письма Вяч. Иванова и Л. Зиновьевой-Аннибал в настоящем номере «Нового мира».

«Истинная сила — доброта». Два письма Василия Гроссмана. Вступление и публикация С. Липкина. — «Вопросы литературы», 1997, № 1.

«Прочел первый том и часть второго тома романа Пастернака... Оценка моя лежит не в сфере наших современных литературных дел и отношений. Как правильно говори-

ли Толстой, Чехов о пришествии декадентства в самую великую из литератур, самую добрую, самую человеческую. Как далеко от истинного христианства эта пастернаковская проповедь христианства. Христианство лишь средство утверждения его особенной, талантливой, жваговской личности. Какая нищета таланта, равнодушного ко всему на свете, кроме самого себя, таланта, который не горюет о людях, не восхищается ими, не жалеет их, не любит их, а любит лишь себя, восхищен «самосозерцанием духа своего». Худо нашей литературе! И не только потому, что на свете есть Софроновы, Панферовы, Грибачевы. И это худо предвидел Лев Толстой. Но Лев Толстой не предвидел декадентства в терновом венке, декадента в короленковской ситуации. Это не шуточное зрелище, есть над чем подумать» (из письма В. Гроссмана к С. Липкину от 29 марта 1958 года).

Инна Кабыш. «Отсутствие звука не есть немота». Беседу вела Наталья Игрунова. — «Дружба народов», 1997, № 2.

«Я совсем недавно перечитала роман «Мать»... Так вот — я с таким удовольствием его перечитала! Просто как роман о матери и сыне. А все эти маевки, хождения со знаменами — просто антураж. Я увидела, как эти два человека, которые являются по крови родными, становятся родными, близкими по духу. Не важно, какая идея их свела. Один из героев восклицает: «Какое счастье, когда мать и сын рядом!» Но ведь это же действительно счастье» (И. Кабыш).

Татьяна Касаткина. «Таккая болль». — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. 1997, № 10.

Православная «реальная критика» — отклик на повесть Юрия Малецкого «Любью» («Континент», № 88), обсуждение вопросов, поставленных героем повести, а не ее автором. Интеллигент и Церковь. Особенности поэтики «Любью» рассматриваются в рецензии Юрия Кублановского в «Новом мире» (1997, № 2), а также в статье Татьяны Касаткиной «В поисках утраченной реальности» («Новый мир», 1997, № 3).

Поль Клодель. Извещение Марии. Предисловие и перевод с французского Ольги Седаковой. — «Новая Европа». Международное обозрение религии и культуры. 1997, № 10.

Третий акт пьесы «L'annonce faite à Marie» французского католического поэта и драматурга Поля Клоделя (1862 — 1955).

Вадим Кожинов. Истинный смысл и значение Куликовской битвы. Историко-софское исследование. — «Российский обозреватель». Приложение к журналу «Российская провинция». 1996, № 5.

О том, что Русь сражалась на Куликовом поле вовсе не с Золотой, а с Мамаевой Ордой, которая, конечно, тоже имела азиатское происхождение. Но — «всецело оторвавшийся и отчужденный от монгольского государства Мамай вступил в теснейший союз с генуэзцами Кафы, то есть авангардной силой Запада, и... включился в ту политику или, вернее, геополитику, которую Запад, руководимый папством, осуществлял в XIV столетии на всем протяжении «линии», отделявшей его от православной цивилизации».

Лев Копелев. Новая реабилитация Сталина. — «Независимая газета», 1997, № 33, 22 февраля.

Открытое письмо профессора Вуппертальского университета Л. З. Копелева (Кельн, январь 1997 года) «к грузинским друзьям» с выражением тревоги, боли и даже ужаса и отвращения в связи с тем, что в Грузии усилиями талантливых публицистов, литераторов, деятелей театра и кино реанимируется культ Сталина.

Анатолий Королев. Тайна карточной колоды. Карты в «Пиковой даме» А. С. Пушкина. — «Первое сентября», 1997, № 5, 16 января.

Правила игры в фараон. Карточный жаргон. Мистическая подоплека повести. «В основе всех триад пушкинского текста лежит базовый изначальный треугольник Рока, который обозначен у Пушкина как треугольный карточный домик (трех карт и цифр): тройки, семерки и туза». Германн как сын графини, графиня его не узнает.

Илья Крупник. «Отойди от зла...». О Михаиле Михайловиче Бахтине. Из записных книжек. — «Дружба народов», 1997, № 2.

О знакомстве с Бахтиным в Саранске в 1968 году. А также отдельные записи, относящиеся к 1969 — 1975 годам (вплоть до смерти Бахтина).

Михаил Лайков. Безотцовщина. Хроника. — «Москва», 1997, № 1.

Очерки современной деревни. Безотцовщина как символ народной жизни. М. Лайков — автор романа «Возвращение в дождь» («Москва», 1996, № 6).

Клайв Стейплз Льюис. Пока мы лиц не обрели. Пересказанный миф. Предисловие и перевод с английского И. Кормильцева. — «Иностранная литература», 1997, № 1.

Последнее большое произведение известного английского писателя и апологета христианства К. С. Льюиса (1898 — 1963) «Till We Have Faces», написанное весной 1954 года. В основе книги лежит миф об Амуре и Психее.

Олег Михайлов. Забытый император. Роман. — «Москва», 1997, № 1.

Журнальный вариант книги об Александре III. «Александр Александрович оставлял Российскую империю в зените ее славы и могущества... Впереди Россию ждали две несчастные войны и три революции...»

Андрей Немзер. Взгляд на русскую прозу в 1996 году. — «Дружба народов», 1997, № 2.

Цепочка из двенадцати главков-рецензий. Анатолий Азольский, «Клетка»; Леонид Бородин, «Царица Смуты»; Юрий Буйда, «Ермо» и т. д. (в алфавитном порядке).

Олег Павлов. Дело Матюшина. Роман. — «Октябрь», 1997, № 1, 2.

Сыновья полковника. Ужасы семейной жизни. Ужасы армейской службы. Всяческие ужасы. В качестве послесловия идет интервью с автором. «Удалось преодолеть сам материал душевно, но не удалось преодолеть его художественно, не удалось перебороть собственный стиль», — так оценивает свое произведение Олег Павлов. По мнению Сергея Федякина («Независимая газета», 1997, № 56, 28 марта), Олег Павлов «мог написать не только самую тяжелую, но и самую «золотую» свою вещь. И — не дотянул». «Новый мир» намерен отрецензировать этот второй роман автора «Казенной сказки».

Переписка Р. О. Якобсона и Г. О. Винокура. Подготовка текста и комментарии С. И. Гиндина и Е. А. Ивановой. — «Новое литературное обозрение», № 21 (1996).

К 100-летию юбилеям знаменитых филологов. Переписка 1920 — 1929 годов. Все известные на сегодня письма (четырнадцать Якобсона и два Винокура) печатаются полностью. Тут же печатается статья С. И. Гиндина «Друзья в жизни — оппоненты в науке».

Людмила Петрушевская. Три ли сестры. — «Коммерсант-Daily», 1997, № 18, 25 февраля.

Статья («нерецензия») о новой ефремовской постановке «Трех сестер» во МХАТе. По мнению Л. Петрушевской, этот спектакль по не любимой ею пьесе войдет в историю театра.

Письма из Британии. Публикация, предисловие и комментарии Кирилла Кобринина. — «Октябрь», 1997, № 1.

Письма нижегородца Дениса Константиновича Хотова (1962 — 1995), работавшего в 1994 году в библиотеках Университета Уэльса, к своему другу Кириллу Кобрину. Живо, познавательно. В предисловии к публикации Кобрин упоминает об оставшихся в архиве покойного «Историко-логическим рукописям», которые, «если будут когда-либо изданы, вызовут у специалистов несомненный интерес, а у немногих — и восхищение (или возмущение...)». Впрочем, Павел Басинский, обзревая в «Литературной газете» (1997, № 5, 5 февраля) этот номер «Октября», вдруг засомневался: не мистификация ли это? «Был ли Хотов?»

По страницам Онегинской энциклопедии. Предисловие Н. И. Михайловой. — «Октябрь», 1997, № 2.

«Дуэль», «Бильярд», «Двойной лорнет» и т. д. Продолжение публикации, начатой в № 2 «Октября» за 1995 год.

Елизавета Полонская. Петроград — Ленинград — Коктебель. Глава из книги воспоминаний «Встречи». Публикация, предисловие и примечания Б. Я. Фрезинского. — «Новое литературное обозрение», № 21 (1996).

Поэтесса Е. Г. Полонская (1890 — 1969), «серапионова сестра», работала над книгой воспоминаний в 60-е годы. Глава о коктебельском лете 1924 года публикуется впервые.

Михаил Пришвин. Дневник 1938 года. Вступление, подготовка текста, комментарии и публикация Л. А. Рязановой. — «Октябрь», 1997, № 1.

Дневники Пришвина публиковались в журнале «Октябрь»: 1989, № 7; 1990, № 1; 1993, № 10; 1994, № 11; 1995, № 9. Цитата: «И в таком вот чувстве, что жизнь прекрасна, что тебе так хочется жить, а может быть, завтра же тебя убьют или обратят в раба, — в этом особом чувстве человека, не только нашего советского, но и на всей земле, и заключается вкус изюмины XX века» (запись от 26 октября 1938 года).

Станислав Рассадин. Время стихов и время поэтов. — «Арион». Журнал поэзии. 1996, № 4.

Статья о поэзии 60-х. Запоминается наблюдение, что «операцию, производимую Вегиным над стихами Вознесенского, сам Вознесенский производил над стихами Цветаевой и Пастернака».

Александр Сегень. Государь Иван Третий. Роман. — «Наш современник», 1997, № 1, 2, 3, 4.

А. Сегень — автор семи романов. Предыдущий был о Тамерлане.

Н. Семпер (Соколова). Портреты и пейзажи. Частные воспоминания о XX веке. Предисловие, публикация и подготовка текста М. А. Давыдова и Е. Д. Шубиной. — «Дружба народов», 1997, № 2, 3.

Фрагменты воспоминаний. «Наталью Евгеньевну посадили в 1949, и она прожила потом еще очень долгую жизнь» (из предисловия). Автограф хранится в Рукописном отделе Литературного музея.

В. Л. Сердюченко. О мифологемах современной культуры. А. И. Солженицын как тип «русского пророка». — «Studia Slavica Savariensia». Журнал лингвистики и литературоведения (Шомбатеи, Венгрия). 1995, № 1-2.

«Ужо тебе!»

Валерий Сердюченко. Заметки провинциального читателя. — «Нева», 1997, № 1.

О том, что «все эти Мамлеевы, Сорокины, буйноподобные Буйды — «просто» ненормальные, гомункулообразные уроды уродливого исторического времени».

Валерий Сердюченко. Текст вместо жизни. — «Москва», 1997, № 1.

«В. Курицын представляет собою как бы идеологического патрона новой словесности». Почему «как бы»? — спросит Курицын.

Иван Слепцов. Космос Толкина. Бродил ли по Средиземью призрак коммунизма? — «Независимая газета», 1997, № 16, 30 января.

О том, что во «Властелине колец», кроме всего прочего, еще и зашифровано противостояние «коммунистической Тьмы Востока и свободного Запада» и предсказывается «падение Мордора и его реального земного аналога — Советского Союза». Кстати, последний опрос английских читателей показал, что большинство из них признает «Властелина колец» самой великой (из изданных в Англии) книгой XX века. «Улисс» Джойса занял четвертое место.

Борис Слуцкий. Из «Записок о войне». Вступительная статья и публикация Петра Горелика. — «Нева», 1997, № 1.

Часть военных записок Слуцкого, написанных еще в 1945 году, печаталась в 90-е годы в «Вопросах литературы» и некоторых других изданиях. В «Неве» печатаются главы «Себастьян Барбье» — об эсэсовце-перебежчике, «Священнослужители» и «Евреи».

Спецрейсом из Лефортово. Как советские власти изгоняли из страны лауреата Нобелевской премии А. И. Солженицына. Публикацию подготовил Анатолий Карпычев. — «Труд», 1997, № 28, 13 февраля.

Газета публикует некоторые выдержки из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС от 7 января 1974 года, а также выдержки из письма Ю. Андропова Л. Брежневу от 7 февраля 1974 года. Из выступления Косыгина: «Нужно провести суд над Солженицыным и рассказать о нем, а отбывать наказание можно сослать в Верхоянск, туда никто не поедет из зарубежных корреспондентов: там очень холодно...» 13 февраля 1974 года Солженицына выслали из страны.

В. Турбин. Пролог к восстановленной, но неизданной авторской редакции книги «Пушкин. Гоголь. Лермонтов» (1993). Вступительная заметка О. В. Турби-

ной. Публикация О. В. Турбиной и А. Ю. Панфилова. — «Вопросы литературы», 1997, № 1.

Два А. П. — Александр Пушкин и Адриан Прохоров («Гробовщик»). «Подопечные одного — мертвецы. Подопечные другого — персонажи литературных произведений. Но писатель и гробовщик — собратья по ремеслу: оба они жили тем, что изо дня в день кого-нибудь хоронили... Оба получали за это деньги...»

Алексей Цветков. Futurum imperfectum. — «Иностранная литература», 1997, № 1.

Эссе известного поэта. «Мы боимся смерти так, как никто до нас не умел бояться, мы возвели этот трепет в нравственный закон, покрыли золотом и резьбой и поклонились ему»; отсюда — табу на эвтаназию и самоубийство, война с абортами и смертной казнью, осуждение войны независимо от цели, скорбь о вымирающих видах, движение за этичное отношение к животным и вообще доктрина прав человека в ее современном виде. О поэзии А. Цветкова см. статью Лили Панн в «Новом мире» (1997, № 1).

Борис Чичибабин. Все крупно... Ответ на ахматовскую анкету. Вступление, публикация и примечания Е. Ольшанской. — «Вопросы литературы», 1997, № 1.

Чичибабин об Ахматовой. Тут же печатается короткий мемуар Елены Мовчан о Чичибабине.

Михаил Чулаки. Харон. Роман. — «Нева», 1997, № 1, 2.

О питерском хосписе.

Олег Чухонцев. Военный билет № 0676852. — «Арион». Журнал поэзии. 1996, № 4.

Короткая поэма.

Семен Шуртаков. Подводя итоги. О «Пирамиде» Леонида Леонова. — «Наш современник», 1997, № 2.

Доброжелательно анализируя последнюю книгу Л. Леонова, автор статьи среди прочего выражает сожаление, что чуть ли не на каждой странице «звучит анафема советскому строю», а Сталин описан одной черной краской — «наши читательские ожидания не оправдались». О «Пирамиде» и об образе Сталина в этом романе см. также в статье В. Сердюченко («Новый мир», 1996, № 3).

В. И. Щербаков. Неизвестный источник «Войны и мира». — «Новое литературное обозрение», № 21 (1996).

Имеются в виду «Мои записки» масона П. Я. Титова, обильно цитированные Львом Толстым в дневнике Пьера Безухова.

Составитель **Андрей Василевский.**

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июнь

10 лет назад — в № 6 за 1987 год напечатана повесть Андрея Платонова «Котлован».

30 лет назад — в № 6 за 1967 год напечатаны воспоминания С. М. Алянского «Встречи с Блоком. Из записок издателя».

70 лет назад — в № 6 за 1927 год напечатана «Китайская повесть» Бориса Пильняка, рассказ Мих. Пришвина «Нерль» и стихотворение О. Мандельштама «Цыганка» («Сегодня ночью, не солгу...»).

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Sergei Novikov, Alexander Pokrovsky, Alexei Alekhin and lately deceased Vladimir Sokolov (publication by Marianna Rogovskaya-Sokolova, afterword by Natalya Arishina).

We are publishing the short narrative «Foreigners» by Roman Solntsev, the narrative «Mushroomers Go with Knives» by Valery Popov, as well as the autobiographical work «Towards Evening on the Far Hill... Thoughts about Childhood and Babyhood» by Danil Zhukovsky (publication by T. Zhukovskaya).

The section «Publicistics» is presented by the article «At the Black Sea Theatre of War» by V. Novikov.

In the section «Far Nearness» we are publishing the articles «Military Tribunals at Work» by M. Delagrammatik and «New about Soviet Heroes» by M. Petrov and O. Edelman.

The section «Publications and Reports» contains the article «Ode. The Story of a Short Life» by Ilya Safonov, as well as correspondence by Vyacheslav Ivanov and Lidia Zinovyeva-Annibal with A. Golshtein (publication, foreword and comments by A. Tyurin and A. Gorodnitskaya).

In the section «Literary Criticism» we are publishing the articles «Time and Place. Notes about Three Poets» by Yevgeny Shklovsky, «A Messenger without Messages. On the poetry by Ivan Zhdanov» by Nikolay Slavyansky, «A Cosy Little House with a View of the Abyss» by Larisa Miller, as well as the essay «Literature Fit for Pulp» by Andrei Vasilevsky.

The issue also presents our traditional sections «Reviews», «Russian Books Abroad» and «Bibliography».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора),

С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.02.97 г. Подписано к печати 24.04.97 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 16 920 экз. Зак. 4900. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1997 ГОДА
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Подписанты (повесть);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
 ЯН ГОЛЬЦМАН. Страницы северной тетради;
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Из «Дневника» (перевод с польского);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. Наш старый дом (повесть);
 ВАЛЕРИЙ ИСХАКОВ. Пудель Артемон (повесть);
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть);
 МИХАИЛ КУРАЕВ. Произведение (маленькая повесть);
 АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Дельфтский мастер (эссе);
 ОЛЕГ ЛАРИН. Ехала деревня мимо мужика (сцены из захолустной жизни);
 АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Б. Б. и др. (рассказы);
 ПЕРЕПИСКА М. ГОРЬКОГО и И. СТАЛИНА, 1929 — 1936 годы (из Архива Президента Российской Федерации);
 КРИСТОФ РАНСМАЙР. Morbus Kitahara (роман, перевод с немецкого);
 ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак в коридоре (опыт фантастических воспоминаний);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;
 ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Корова на крыше (повесть);
 АНТОН УТКИН. Свадьба за Бугом (повесть);
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Армия любовников (роман);
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также новые произведения СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, АНДРЕЯ ВОЛОСА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, БУЛАТА ОКУДЖАВЫ, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**